



В. ВЕРЕСАЕВ *В тунике * Сестры*

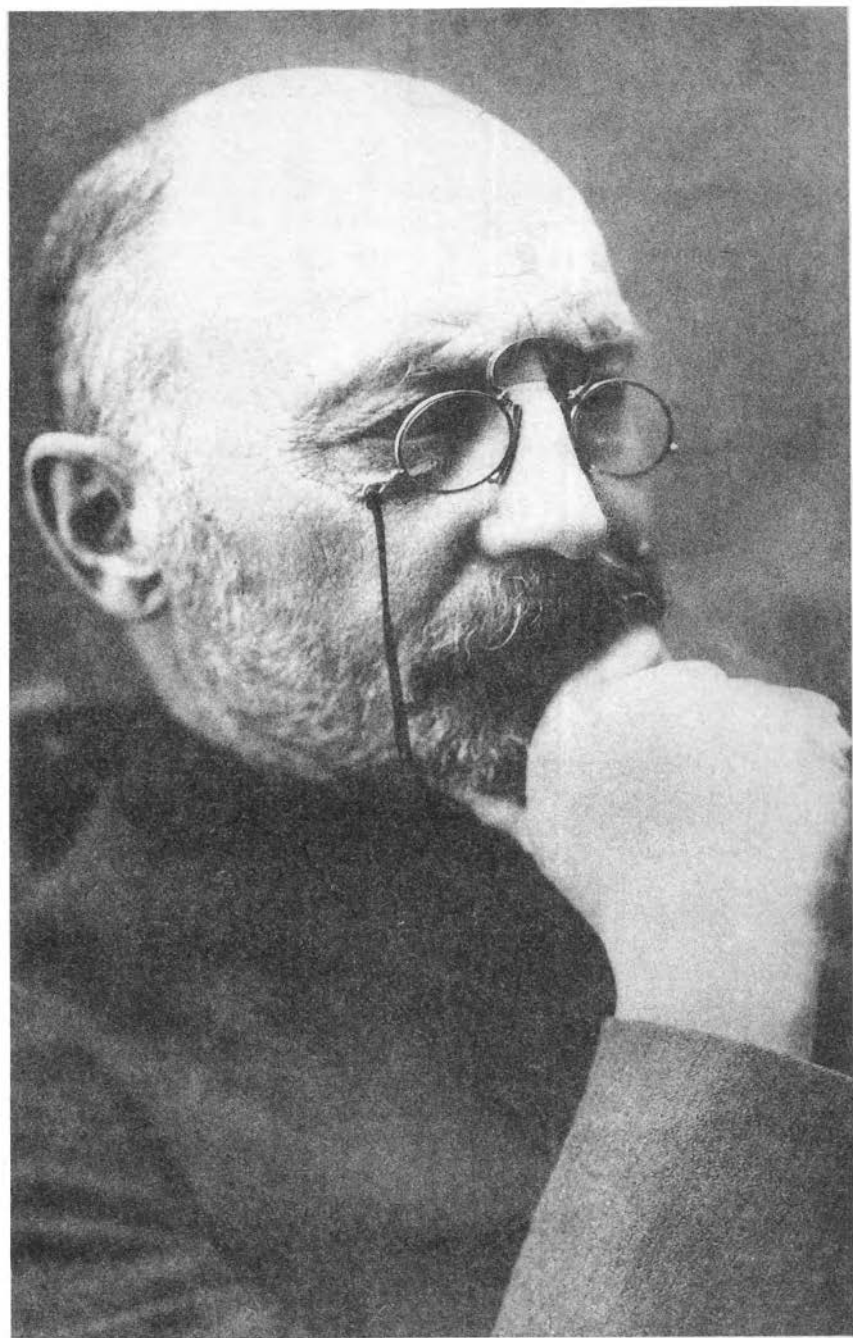
ИЗ АРХИВА ПЕЧАТИ





ИЗ АРХИВА ПЕЧАТИ





В. ВЕРЕСАЕВ

В тупике

*

Сестры



Москва
Издательство «Книжная палата»
1990

ББК 84Р7
В315

Серия «Из архива печати»
основана в 1989 году

Предисловие
Вл. Лидина

Подготовка текста, послесловие, примечания
В. Нольде, Е. Зайончковского

Оформление художников
И. Борисовой, Б. Ушацкого

В 4702010201-034 Без объявл.
008(01)-90

ISBN 5-7000-0206-X

© Послесловие, примечания. Е. Зайончковский,
В. Нольде, 1990

© Оформление. И. Борисова, Б. Ушацкий, 1990

В ПОТОКЕ ЖИЗНИ

Возраст к Викентию Викентьевичу Вересаеву пришел только в последние годы его жизни, вернее — в годы войны. До этого он был человеком без возраста. Огромная протяженность жизни, начавшейся в семидесятых годах, прошедшей через великие водоразделы общественных изменений, русско-японской войны, трех революций, никогда не уводила его от нас, людей другого поколения, в прошлое. Он был жизнедеятельным живым современником — весь в настоящем и меньше всего в прошлом. Его писательская и человеческая честность и принципиальность были столь высокого образца, что многие склонны были отнести эти качества к суховатости его натуры. Это самое несправедливое, что можно сказать о Вересаеве. Напротив, живые источники питали несостарившуюся душу Вересаева. Он любил жизнь как-то по-эллински, со всем торжеством ее утверждения, поэтому одна из лучших его книг и называется «Живая жизнь», поэтому мускулистая, вся в ветре и порывах, в звоне лат, в плеске волн, поэзия древних греков была столь созвучна его духу.

В грохоте шумной Москвы где-то рядом с несущимися по Садовой потоками машин, на четвертом этаже большого серого дома в глубине несколько провинциального Шубинского переуллка, не уставал беседовать с Гомером восьмидесятилетний старик, на закате жизни взваливший на согнутые свои плечи тяжелый груз — заново перевести на русский язык «Илиаду» и «Одиссею»... Для этого мало быть тружеником. Для этого мало быть влюбленным в живого бога Эллады. Для этого нужно быть жизнелюбцем, побороть старость, подчинить себе годы. Да их и не было у Вересаева почти до последних лет его жизни, когда, дряхлея, стал он все чаще отсиживаться

Печатается по изданию: Вл. Лидин. Вересаев// Вл. Лидин. Люди и встречи. М.: Московский рабочий, 1965. С. 35—38.

дома. Всюду до этой поры его можно было увидеть — легкого, с глуховатым говорком, Вересаева сегодняшнего, а никак не Вересаева — современника Чехова, начинавшего свою работу, когда людей нашего поколения еще не существовало на свете. Никогда не был Вересаев отодвинут от нас историей литературы. Да он бы и воспротивился этому — не потому что молодился или хотел поспеть за жизнью, а потому что, любя жизнь, мог быть только в ее потоке.

Он был материалистом в самом высоком смысле этого слова, твердо распознавая все краски на земле и зная что к чему; никто и никогда не смог бы увести его в сторону или нарушить его систему познания жизни. Вот тут-то он становился принципиален, непримирим. Я помню несколько длительных и трудно разрешимых литературных конфликтов, похожих на гоголевскую тяжбу, пока за это дело не взялся Вересаев. Его имя сразу примирило противников, и они заранее согласились принять любое решение Вересаева, веря в его абсолютную справедливость.

Река жизни Вересаева брала свои истоки у горных вершин. Аполлон и Дионис, Лев Толстой и Достоевский, Гомеровы гимны и Пушкин, дорийская лирика и поэмы Гесиода — все это были его комнатные сожители, спутники его жизни. И, заходя к Вересаеву в его квартиру с вещами, лишенными каких-либо следов пристрастий хозяина, я всегда ощущал, что его духу не нужно никакой тщеты окружающей обстановки. Всегда как-то пустынно было в его комнатах и даже, на первый взгляд, неуютно; даже книги не согревали их. Но зато их полностью заполнял Вересаев, извлекая в беседах сокровища своего жизненного опыта и познаний, и его «Невыдуманные рассказы» о прошлом перечеет не одно поколение: он любовно культивировал этот новый для себя жанр, варьируя по-своему в памяти многое, что — будучи даже, может быть, и рассказано другими — приобретало в его передаче особые интонации.

Вересаеву чужда была старость — придиричивая, ревнивая к молодости, обычно чуть обиженная тем, что старость отодвигается молодостью в сторону. Напротив, жизнепонимание его было необычно широкое, а жизнелюбие стирало разницу в летах. Но старость все же подбиралась к нему. То она сыграла шутку с его слухом, и Вересаев очень тяготился этим; то она навалилась физической слабостью, ненавистной для бодрствующего духа Вересаева. И все же старость пришла к Вересаеву — в этом я убедился, зайдя к нему однажды после нескольких лет.

В большом доме в Шубинском переулке иногда выключался в ту трудную военную зиму свет. Лестница была темной. В квартире было холодновато. В пальто и тюбетейке, Вересаев сам открыл дверь, вглядываясь при свете коптилки в лица пришедших.

— Начинаю дряхлеть,— сказал он позднее безжалостно, как врач, поставивший этот безутешный диагноз.

Я попробовал обычной в таких случаях шуткой отогнать это.

— Не утешайте меня,— сказал он с усмешкой,— на вещи надо смотреть прямо.— Он снял двумя пальцами пенсне и положил его на минуту перед собой на стол: может быть, так, меньше видя, лучше было сосредоточиться.— Вот только бы успеть закончить перевод «Одиссеи»,— добавил он грустно: врач Вересаев, как и врач Чехов в свою пору, не могли обмануться иллюзиями,— они знали о себе все.

Сколько же всего строк в «Одиссее» и «Илиаде»? Ведь успел же этот восьмидесятилетний старик на закате своей жизни не только перевести всего Гомера, но и написать обширные воспоминания и свои «Невыдуманные рассказы» о прошлом!

— Двадцать семь тысяч строк,— с докторской точностью сказал Вересаев.

Скудный приборчик из серого уральского камня стоял на его письменном столе; такой прибор мог бы стоять в любой канцелярии, но две его чернильницы с остроконечными крышками как бы напоминали лишний раз о том, что внутреннему существу Вересаева чужды внешние атрибуты благополучия; он жил с собой и в себе, и для беседы с Гомером или Пушкиным ему ничего не было нужно, кроме четырех стен рабочего кабинета, ничем не обогатившегося за долгую писательскую жизнь Вересаева. Это был не результат скупости или равнодушия к вещам: просто Вересаеву все это было не нужно. Мир в себе стоил любого предметного мира. И мир этот был для него гораздо шире и проще, чем для любого, отягощенного привычными представлениями о жизни и смерти. Жизни Вересаев поклонялся с глубоким философским отношением к ней, она радовала его во всех своих проявлениях.

— В природе все закономерно,— сказал он мне своим глухим голосом как-то незадолго до смерти. Неутомимый труженик, он шел по Тверскому бульвару с очередной пачкой бумаги для работы.— Одни явления заступают место других, как это происходит и в материи. Я стал хуже видеть и слышать, но зато сильнее чувствую мир вокруг, а дети в старости восполняют многие утраты,— добавил он с душевной теплотой,— детей я необыкновенно хорошо ощущаю. И знаете, что еще? Ведь говорят, что с годами человек устает жить, а я бы, будь у меня достаточно физических сил, мог бы по состоянию своего духа прожить еще столько же, сколько уже прожил. Жить стало удивительно интересно, каждый день что-нибудь новое, и при этом какие масштабы!

Вересаев и не уставал до последнего часа своей жизни трудиться и прославлять жизнь. Он не был в советской литературе писателем из прошлого, а одним из ее организаторов: следует вспомнить, сколько Вересаев потруился, когда создавалось первое объединение советских писателей, носившее в ту пору название Всероссийского союза писателей, председателем которого одно время он был. Аккуратность, точность, человечность Вересаева, его внимание к людям, его уверенность в величайшем значении писательского дела — все

это поднимало и других писателей, общавшихся с Вересаевым, и обязывало к высоким нравственным качествам.

«Истинно, множество славных дел Одиссей совершает, к благу всегда и совет и брань учреждая», — можно было бы по праву обратиться к Вересаеву эти строки из любимого им Гомера. Удивительной чистоты была река жизни Вересаева и удивительной полноты, ни разу не обмелев за шестидесятилетнее его служение слову.

Я помню, как в очень трудную пору своей жизни один из писателей сказал просветленно: «Пойду к Вересаеву». В переводе на обычный язык это значило: «Пойду к справедливому человеку». И, сколько мне помнится, вернулся он от Вересаева утешенный: в поисках справедливости он не ошибся в адресате.

Вл. Лидин

В. В. ВЕРЕСАЕВ

В ТУПИКЕ

РОМАН

ИЗДАНИЕ СЕЛЬМОЕ

ИЗДАТЕЛЬНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
«НЕДРА»
МОСКВА — 1920

«Читал „В тупике“. Здесь эту книгу хвалили за ее „контрреволюционность“, мне она дорога ее внутренней правдой, большим вопросом, который Вы поставили пред людьми так душевно и так мужественно. Хороший Вы человек, Викентий Викентьевич, уж разрешите сказать это. И когда люди Вашего типа вымрут в России, а они ведь должны вымереть и скоро уже,— лишится Русь значительной части духовной красоты, силы и оригинальности своей.

Лишится.

И не скоро наживет подобных».

*Из письма
М. Горького к В. Вересаеву
03.06.25. Сорренто*

И ангелы в толпе презренной этой
Замешаны. В великой той борьбе,
Какую вел господь со князем скверны,
Они остались — сами по себе.
На бога не восстали, но и верны
Ему не пребывали. Небо их
Отринуло, и ад не принял серный,
Не видя чести для себя в таких.

Данте. «Ад», III. 37—42.

Часть первая

Жил старик со своею старухой
У самого синего моря...

В бурю белогривые волны подкатывались почти под самую террасу белого домика с черепичною крышею и зелеными ставнями. В домике жил на покое, с женою и дочерью, старый врач-земец Иван Ильич Сартанов, постоянный участник пироговских съездов. Врачам русским хорошо была знакома его высокая, худая фигура в косоворотке под пиджаком, с седыми волосами до плеч и некурчаващеюся бородою, как он бочком пробирался на съезде к кафедре, читал статистику смертных казней и в заключение вносил проект резкой резолюции, как с места вскакивал полицейский пристав и закрывал собрание, не дав ему дочитать до конца. Во время войны он стал было подводить на съезде статистику убитых и раненых на фронте, обронил слово «бойня» — и очутился в Бутырках¹. Год назад, уже при Советской власти, он выступил в обществе врачей своей губернии с безоглядною, как всегда, речью против большевистских расстрелов. Чрезвычайка² его арестовала и отправила в Москву с двумя спекулянтами и черносотенцем-генералом. По дороге Иван Ильич вспомнил молодость, как два раза бегал из сибирской ссылки, ночью на тихом ходу соскочил с поезда и скрылся. Друзья добыли ему фальшивый паспорт, и он, с большими приключениями, перебрался в Крым³.

* * *

Бешено дул февральский норд-ост, поэтому Иван Ильич рубил дрова в сарае. Суетливо заглянула в сарай Анна Ивановна, с корзиной в руке.

— Иван Ильич, я иду в потребилку, а Катя⁴ стирает белье. Брось рубить, пойди, заправь борщ. Возьми на полке ложку муки, размешай в полстакане воды, — холодной только, не горячей! — потом влей в борщ, дай раз вскипеть и поставь в духовку. Понял? Через полчаса будем обедать, как только vorochus'.

Она беспокойно заглянула в истомленное его лицо и поспешно пошла к калитке.

Иван Ильич направился в кухню, долго копался на полке в мешочках, размешал муку и поставил борщ на плиту. Вошла Катя с большим тазом выполосканного в море белья. Засученные по локоть тонкие девические руки были красны от холода, глаза упоенно блстели.

— Смотри, папа, как белье выстирала.

Иван Ильич со страхом глядел на закипавшую кастрюлю.

— Да, да! Очень хорошо... Погоди, как бы не убежало!..

— Да не убежит. Посмотри! — Она развернула перед ним простыню.— Как снег под солнцем! Подумать можно, жавелевой водой стирано! Ну, теперь могу сказать, умею стирать. Скажи же,— правда, хорошо?

— Ну, хорошо, конечно!

— Я нашла секрет, как стирать. И как мало мыла берет!

— Охота класть на это столько сил. Побелее, посрее,— не все равно!

— Ну, уж нет! Делать, так по-настоящему делать... Как снег у нас на горах! Ах, как интересно!.. Ну-у, как ты мало восхищаешься!

— Погоди! Закипело!

Он озабоченно снял кастрюлю с плиты и поставил в духовку. Катя с одушевлением говорила:

— Я тебе объясню, в чем дело. Совсем не нужно сразу стирать. Сначала нужно положить белье в холодную воду, чтобы вся засохшая грязь отмокла. Потом отжать, промыть хорошенько, налить водой и поставить кипеть...

— Ну, матушка, я этого не пойму... Нужно идти дрова рубить.

— И все, больше ничего! Немножко только протереть... Ужасно интересно! Пойду вешать.

Иван Ильич побрел в сарай, опять взялся за дрова. Движенья его были неуверенные, размах руки слабый. Расколет полено-другое,— и в изнеможении опустит топор, и тяжело дышит, полуоткрыв беззубый рот.

Донесся крик Кати:

— Папа, обедать! Мама пришла.

Иван Ильич взвалил на плечи вязанку дров и с бодрым видом вошел в кухню. Анна Ивановна сидела на табуретке с бессильно свисшими плечами, но при входе Ивана Ильича выпрямилась. Он свалил дрова в угол.

— Ну, что, достала керосину?

— Нету в потребилке. Даром только прошлась. И муки нету. Катя поставила на стол борщ. Анна Ивановна подняла крышку, взглянула в кастрюлю и обомлела.

— Чего ты туда насыпал?

Иван Ильич обеспокоенно ответил:

— Как чего? Муки, как ты сказала.

— Ах, ты, боже мой! Так и есть!..— Она зачерпнула борщ разливательной ложкой и раздраженно опустила ее назад.— Ты туда

картофельной муки всыпал, получился кисель... Как ребенок малый, ничего нельзя ему доверить.

— Да что ты? Неужто картофельной? — Иван Ильич сконфузился.

— Как же ты не видел, что картофельная мука?

— Я вижу, белая мука, а какая, — кто ее знает! Ну, ничего! Ведь все питательные вещества остались. Дай-ка, попробую. Ну, вот. Очень даже вкусно.

Анна Ивановна, чтоб овладеть собою, стала раскладывать на плите дрова для просушки. Катя жадно ела и, откусывая хлеб, говорила:

— Хлеб-то зато какой вкусный! Настоящий пшеничный, и ешь сколько хочешь. А помните, в Пожарске⁵ какой выдавали: по полфунта в день, с соломой, наполовину из конопляных жмыхов!

Поели постного борща и мерзлой, противно-сладкой вареной картошки без масла, потом стали пить чай — отвар головок шиповника; пили без сахара. После насытной еды и тяжелой работы хотелось сладкого. Каждый старался показать, что пьет с удовольствием, но в теле было глухое раздражение и тоска.

Анна Ивановна обеспокоенно сказала:

— А Глухарь Тимофей опять не пришел крышу чинить. Третий раз обманывает, что же это будет, как дожди пойдут!..

Катя вдруг рассмеялась.

— Господа, помните прежние времена, как, бывало, все ужасались на жизнь студентов? Бедные студенты! Питаются только чаем и колбасой! Представьте себе ясно: настоящий китайский чай, сахар, как снег под морозным солнцем, французская булка румяная, розовые ломтики колбасы с белым шпиком... Бедные, бедные студенты!

Все рассмеялись. Уж очень, правда, смешно было вспомнить и сравнить. Стало весело, и раздражение ослабело. Катя, смакуя, продолжала:

— Или, помните, калоши студенческие? Тусклые, потрескавшиеся, с маленькой только дырочкой на одной пятке! Вы подумайте: калоши! Домой не приносишь лепешек грязи, чулки сухие и только чуть мокро в одной пятке!.. Правда, бедные студенты?

Наружная дверь без стука открылась, вошла в кухню миловидная девушка в теплом платке, с нежным румянцем, чудесными, чистыми глазами и большим хищным ртом.

— Добрый день!

— А, Уляша!.. Садитесь, попейте чайку.

Девушка поставила на стол две бутылки молока, покраснела и села на табуретку. Иван Ильич, расхаживая по кухонке, спросил:

— Ну, что хорошенького слышали про большевиков? Где они сейчас?

— Вы, чай, лучше знаете.

— Откуда же нам знать?

— Вчера почта из города проезжала, ямщик сказывал,— в Джанкое.

Иван Ильич захохотал.

— Ого! Быстро они у вас шагают!.. Что же, ждут их на деревне? Уляша помолчала и с неопределенною улыбкою взглянула в угол.

— Большевиков-то у вас, должно быть, не мало.

— Кто ж их знает...— Она застенчиво улыбнулась и вдруг: — Да все большевики!

— Вот как?

— И папаша большевик, и все наши большевики.

— И вы тоже?

— Ну, да.

— А что такое большевизм?

— Сами знаете.

— Нет, не знаю. Каждый по-своему говорит.

— Представляетесь.

— Ну, все-таки,— что же такое большевизм?

Уляша помолчала.

— Дачи грабить.

— Что?!

— Дачи ваши грабить.

Иван Ильич громко захохотал на всю кухню.

— Точно и верно определила. Молодец Уляша!

Катя сказала:

— Вот, Уляша, вы говорите, что и вы большевичка. Что же, и вы пойдете, например, нас грабить?

— Все пойдут. Уж теперь сговариваются. Отказываться никому не позволят. А нам что ж свое терять?

— Почему же именно дачников грабить?

— Они богатые.

— А мужики у вас в деревне не богатые? Вон, Албантов осенью одного вина продал на сто двадцать тысяч. Сами же вы говорили, что у каждого мужика спрятано керенок на двадцать-тридцать тысяч. И всё у них есть, всякая скотина. Где же нам, дачникам, до них?

— Нет, мужики не считаются богатыми.

— Да почему же? Вон, у вашего отца — две лошади, две коровы, гуси, свиньи, десятка два барашков... Да вы бы дня, например, не стали есть так, как мы едим. Теперь только мужики у нас и богаты.

— Мы работаем. А дачники все лето на берегу лежат голые да цветы по горам собирают.

Катя возмутилась. Она стала говорить об интеллигентном труде, о тяжести его. Потом стала объяснять, что большевики хотят лишить людей возможности эксплуатировать друг друга, для этого сделать достоянием трудящихся землю и орудия производства, а не то, чтоб одни грабили других.

Возмутился Иван Ильич и напал на Катю.

— Это ты о социализме говоришь, а не о большевизме. Зачем

ты тогда уехала из Совдепии?.. Нет, Уляша, большевизм именно в том, как вы говорите: грабь, хватай, что увидишь, не упускай своего! Брось работать и бездельничай. И только о себе самом думай.

Уляша выпила чай, сказала «спасибо» и встала.

— Папаша велел сказать, что с завтрашнего дня молоко по три рубля кварта.

Анна Ивановна всплеснула руками.

— Да что ты, Уляша, говоришь! Было полтора и вдруг три рубля, вдвое дороже!

— И потом больше не велел вам носить, сами ходите. Много, говорит, время уходит.

Иван Ильич решительно сказал:

— Ну, чего тогда разговаривать. Столько платить не можем. Не надо. Пейте сами.

Глаза Уляши стали серьезными, она значительно ответила:

— Мы сейчас молока не пьем: великий пост.

Иван Ильич захохотал.

— Молока пить нельзя, а людей грабить можно! Нет, Уляша, вы просто прелесть!

— В город будем возить сметану, творог.

— Ну и возите себе.

Уляша застенчиво улыбнулась, покраснела и сказала:

— До свиданья вам!

— До свиданья.

Катя протянула печально:

— Значит, и без молока!

Иван Ильич сердито накинулся на нее:

— Я не понимаю, с чего ты вдруг вздумала защищать пред нею большевизм. Удивительно своевременно!

— Пусть же она знает, что такое большевизм в идее.

— «В идее!..» Чрезвычайки, расстрелы, разжигание самых хамских инстинктов — и идея!

Они стали спорить, сердясь и раздражаясь. Иван Ильич махнул рукою и ушел в спальню.

Лег на постель и стал читать газету. В обычном старом стиле сообщалось о доблестных добровольческих частях, что они, «исполняя заранее намеченный план», отступили на восемьдесят верст назад; приводилось интервью с главноначальствующим Крыма, что Крыму большевистская опасность безусловно не грозит; сообщалось, что Троцкий убит возмущившимися войсками, что по всей России идут крестьянские восстания, что в Кремле всегда стоит наготове аэроплан для бегства Ленина. Ничему этому не верилось, но все-таки приятно было читать.

Из деревни за Иваном Ильичом приехал на линейке красавец-болгарин: жена его только что родила и истекает кровью. Иван Ильич поехал. У роженицы задержался послед. Иван Ильич оста-

новил кровотечение, провозился часа полтора. На прощание болгарин, стыдливо улыбаясь, протянул Ивану Ильичу бумажку и сказал:

— Вот примите малость!

Домой Иван Ильич воротился в сумерках. Катя спросила:

— Сколько тебе заплатили?

Он усмехнулся.

— Вот какая хозяйственная стала! Все сейчас же о деньге.

— Нет, серьезно,— сколько?

Иван Ильич неохотно ответил:

— Три рубля.

Катя ахнула.

— А фунт хлеба стоит семьдесят пять копеек! Значит, четыре фунта хлеба, гривенник на прежние деньги! Да как же ему не совестно! Ведь это Албантовы, первые богачи в деревне, они осенью одного вина продали на сто двадцать тысяч. Как же ты его не пристыдил, что так врачу не платят?

Иван Ильич решительно и серьезно ответил:

— Этим не торгуют и об этом не торгуются. Оставим.

— Да, выгодно для них! Сами за бутылку молока полтора рубля берут, а доктору платят трешницу. Вот где настоящие эксплуататоры!

— Марфа, Марфа! О многом печешься! — вздохнул Иван Ильич, и пошел к себе.

Начиналась самая трудная пора дня. Керосину не было, и освещались деревянным маслом: в чайном стакане с маслом плавал пробочный поплавок с фитильком. Получался свет, как от лампадки. Нельзя было ни читать, ни работать. Анна Ивановна вязала у стола, сдвинув брови и подняв на лоб очки. Когда-то она была революционеркой, но давно уже стала обыкновенной старушкой; остались от прежнего большие круглые очки и то еще, что она не верила в бога. Иван Ильич медленно расхаживал по узкой спальне, кипя от вынужденного бездействия. В железной печке полыхали дровешки, от нее шел душный жар. По крыше шумел злобный норд-ост, море в бешенстве бросало на берег грохочущие волны. Катя убралась с посудой и ушла в бывшую каморку для прислуги за кухней, где она теперь жила зиму. Там, не жалея глаз, она села с книгой к своей коптилке.

* * *

Вечером пили в кухне чай. Снаружи в кухонную дверь постучались. Иван Ильич отпер.

— А-а, профессор!

Вошел профессор с женой,— знаменитый академик Дмитревский, плотный и высокий, с огромной головой. Его работы по физике были широко известны за границу. Несколько лет назад он открыл способ опреснения морской воды силою солнечной энергии и работал над удешевлением этого способа. Но все сложные аппараты остались в России, а он второй год проживал на своей крымской

даче, паял мужикам посуду и готовил для потребиловки жестяные коптилки. Кроме того, впрочем, два раза в неделю ездил в город и читал в народном университете лекции по физике. Среди рабочих они пользовались большой популярностью.

Сочным, жизнерадостным голосом, наполнившим всю кухню, профессор сказал:

— Ну, погодка! Еле дошли до вас. Ветер еще сильнее стал, с ног сшибает. Мокреть какая-то падает и сейчас же замерзает... Gruss aus Russland! ⁶

Он счищал ледышки с седой бороды и усов. Профессорша скорбно вздохнула.

— Да, Gruss aus Russland! Так и представляется: холод, все жмутся в дымных, закопченных комнатах, грызут хлеб с соломой и ждут обысков.

Катя сняла со стола самовар и поставила на пол к печке.

— Садитесь, сейчас самовар подогрею.

— Не надо, мы уж пили.

— Все равно, мне нужен кипяток, отруби заварить для поросенка.

Профессорша села на табуретку возле плиты.

— А у меня горе какое, Анна Ивановна! Весь день сегодня плакала... Представьте себе, любимое мое кольцо с брильянтом, свадебный подарок мужа,— пропало сегодня.

— Что вы говорите, Наталья Сергеевна? Ведь вы же его никогда с пальца не снимали!

— Да... Так странно! — Наталья Сергеевна машинально оглянулась и понизила голос.— Вы знаете княгиню Андожскую?

— Это, что у Бубликова живет, красавица такая?

— Да. Ее мужа, морского офицера, во время революции матросы сожгли в топке пароходного котла, все их имущества конфискованы. Живет она с маленькой дочкой и старухой-матерью у Бубликова, все, что было, распродала, он ее гонит из комнаты, что не платит. Ужасно несчастная. Так вот пришла она сегодня утром к нам, я тесто месила. Увидела кольцо и пришла в восторг. «Как,— говорит,— можно с ним тесто месить! Ведь пачкается кольцо, портится!» — «Боюсь,— говорю,— потерять, очень дорого мне это кольцо». Ну, все-таки убедила меня, сняла я и положила на туалет. Через четверть часа она ушла, а после обеда хватилась я кольца,— нету. Весь туалет обыскали, все отодвигали,— нету. Когда княгиня была, муж в столовой мыл пол, он видел, что княгиня подошла к туалету и странно как-то стояла... Только вы, пожалуйста, никому этого не говорите! — испугалась Наталья Сергеевна.

— Может быть, кто другой взял?

— Никого решительно не было больше. Я ей написала письмо, завтра утром пошлю. Уж не знаю... Пишу: вы для шутки взяли мое кольцо, чтобы напугать меня, зная, как оно мне дорого. Пошутили и будет. Будьте добры прислать назад.

Катя взволнованно воскликнула:

— Да нет, это не может быть! Такая изящная на вид, отпечаток такой глубокой аристократической культуры!

— Тяжелое происшествие! — поморщился профессор.

— Господи, как мы все зачерствели! Ясно, погибает с голоду человек!

Наталья Сергеевна сочувственно вздохнула и, занятая своими заботами, продолжала:

— А вы слышали, у Агаповых вчера ночью выбили стекла. У священника на днях кухню подожгли. Чуют мужики, что большевики близко... Господи, что же это будет! Так я боюсь, так боюсь! Двое мы на даче с мужем, одни; он — старик. Делай с нами что хочешь.

Катя нетерпеливо закусила губу и стала подкладывать в самовар угли. Она не выносила этого ноющего, тревожного тона профессорши, с вечными страхами за будущее, с нежеланием скрывать от других свои горести и опасения. Разве теперь можно так?

Профессор обратился к Ивану Ильичу:

— Заметили вы, как деревня опустела? Вся молодежь ушла в горы. Это — ответ деревни на мобилизацию краевого правительства. Ни один не явился. Говорят, пришлют чеченцев из дикой дивизии для экзекуции, решено прибегнуть к самым суровым мерам.

Иван Ильич захохотал.

— Это — добровольческая армия!

— Да-а... Дело с каждым днем усложняется. Говорят, на днях в деревне были большевистские агитаторы, собрали сход и объявили, чтобы никто не являлся на призыв, что красные войска уже подходят к Перекопу и через две недели будут здесь. А в городе я вчера слышал, когда на лекцию ездил: парходные команды в Феодосии бастуют, требуют власти советам; в Севастополе портовые рабочие отказались разгружать грузы, предназначенные для добровольческой армии, и вынесли резолюцию, что нужно не ждать прихода большевиков, а самим начать борьбу. Агитаторы так везде и кишат.

Анна Ивановна взволнованно сказала:

— Ведь, ждали, в Феодосии должен был высадиться греческий десант!

— Да, но высадился он в Константинополе. Там революция, правительство бежало.

— Господи, что это творится в мире! — с отчаянием сказала Наталья Сергеевна. — Неужели союзники бросят нас на произвол! Говорят, французы оставили Одессу... Я все об одном думаю: придут большевики в Крым, — что тогда будет с Митей?

Иван Ильич расхаживал по кухонке. Он угрюмо сказал:

— Охота ему была идти в добровольцы!

— Так ведь вы же знаете его: человек совершенно аполитический. Ему бы только сидеть в кабинете со своими греческими книгами, на уме у него только элевсинские мистерии, кабирь⁷ ка-

кие-то. Объявили призыв,— что же мне, говорит,— скрываться, жить нелегально? Я на это неспособен.

У Кати стало неестественное лицо, когда Наталья Сергеевна заговорила о сыне. Она равнодушно спросила:

— Давно он вам не писал?

— Давно. И всё в боях. Так за него сердце болит!

Сильный стук раздался в кухню. Блеснули золотые погоны, молодой голос оживленно сказал:

— Мир вам! Здравствуйте! Папа и мама не у вас?

— Митя!!

Все вскочили и бросились навстречу.

Бритый, с тонким и обветренным лицом, с улыбающимися про себя губами, Дмитрий сидел за столом, жадно ел и пил и рассказывал, с жадной радостью оглядывая всех.

Их полк отвели на отдых в Джанкой, он обогнал свой эшелон и приехал, завтра обязательно нужно ехать назад. Он останавливал взгляд на Кате и быстро отводил его. Наталья Сергеевна сидела рядом и с ненасытной любовью смотрела на него.

— Ну, что у вас там, как? Рассказывай.

— А вы знаете, оказывается, у вас тут в тылу работают «товарищи». Сейчас, когда я к вам ехал, погоня была. Контрразведка накрыла шайку в одной даче на Кадыкое ⁸. Съезд какой-то подпольный. И двое совсем мимо меня пробежали через дорогу в горы. Я вовремя не догадался. Только когда наших увидел из-за поворота, понял. Все-таки пару пуль послал им вдогонку, одного товарища, кажется, задел,— дальше побежал, припадая на ногу.

Катя приглядывалась к Дмитрию. Что-то в нем появилось новое: он загрубел, движения стали резче и развязнее, и он так просто рассказывал о своем участии в этой охоте на людей.

Иван Ильич засмеялся.

— Ого, какой вояка стал!

Профессор поспешно спросил:

— Как дела у вас в армии?

— Знаешь, папа, смешно, но это так: мы там меньше знаем, чем вы здесь.

— Нет, я не про то. Какое в армии политическое настроение? За что вы, собственно, сражаетесь?

Дмитрий неохотно ответил:

— Розно. Есть части, совершенно черносотенные, только о том и мечтают, чтобы воротить старое,— например, сводно-гвардейский полк, высший командный состав. Но офицерская молодежь, особенно некадровая, почти сплошь за учредительное собрание.

Иван Ильич захохотал своим раскатистым смехом.

— И вы верите, что вас не проведут на мякине, как наивных воробушков?

Дмитрий слабо и виновато улыбнулся. Катя размешивала деревянной ложкой заваренные кипятком отруби. Он спросил:

- Что это вы, Катя, мастерите?
- Месиво для поросенка. Сейчас пойду кормить.— Она надела пальто, повязалась платком.— Хотите посмотреть поросенка моего?
- Пойдемте! Давайте, я миску понесу... Мама, мы сейчас.
- Только оденься, холодно.

* * *

Ветер шумно пронесся сквозь дикие оливы вдоль проволочной ограды и бешено бил в стену дачи. Над морем поднимался печальный, ущербный месяц. Земля была в ледяной коре, и из блестящей этой коры торчали темные былки прошлогодней травы.

Катя с Дмитрием зашли по ту сторону дачи. Под лестницею на мезонин был чуланчик, из него несло взволнованное хрюканье и визгивание.

— Давайте миску.— Катя отперла дверь и исчезла с мискою в темноте чулана. Послышался ее смеющийся голос: — Погоди, дурачок!.. Ах ты, господи! Миску опрокинешь!.. Пошел прочь! Ну, ешь!

Она вышла из чулана. Дмитрий протянул ей обе руки.

— Ну, Катя, здравствуйте!

И крепко пожимал ей руки, и смотрел в похорошевшее лицо.

— Рассказывайте, Катя, как вы тут живете.

— Как живу. Я всегда хорошо живу. Может, надоест, а сейчас очень интересно все. Вот поросенок этот,— сколько нового, неожиданного, я и не думала, что свиньи такие умные. Наседка уж сидит на яйцах. В стирке я нашла новый способ. И еще очень интересно в кухне готовить. Вы знаете,— если слушать, у всех вещей свои голоса. Каждая кастрюля на плите, каждая сковорода имеет свой звук. Я, не глядя, слышу, когда закипает молоко, когда каша густеет. Очень интересно в этом шипеньи и клекотаньи ловить чуть слышные живые голоса. И новые кушанья выдумывать. Не видишь времени. Дни, как стрелки: проносятся,— жжик, и падают.

Дмитрий смотрел на нее говорящими глазами и улыбался.

— Смотрю я на вас, и мне вспоминается Паскаль⁹. Он говорит, что мысль наша всегда обращена к прошедшему и будущему, а о настоящем мы никогда не думаем, и поэтому никогда не живем,— только все надеемся жить... А вот вы это умеете,— из всего извлекать настоящее. Как это редко!

— Ну, Дмитрий, это все пустяки. Расскажите про себя. Правду. Что у вас?

— Что у нас... Катя, так скверно, так скверно, что хуже и нельзя! Нигде никаких решительно корней, народ относится к нам враждебно, весь пропитан большевистской злобой, совершенно одичал, звериные стали глаза и звериные алчные лапы,— только рвать, забирать себе все, что увидят. И сам тоже звереешь. Кругом кровь, грязь без конца. И в каком-то далеком прошлом представляется,—

лампа с зеленым абажуром, Эсхил, Гераклит, несравненный мой Эрвин Роде, Виламовиц¹⁰. И кажется,— никогда уже, никогда это никому не будет нужно. Происходит новое нашествие варваров. Ведь, по существу, это война против культуры, против всех высших духовных ценностей. Вместо науки — публицистика «Правды», вместо поэзии — Демьян Бедный, вместо живописи — толстопузые попы и звероподобные генералы на плакатах.

— Дмитрий, нельзя так. Это же временное.

— Временное? А культура гибнет, кругом всё разрушают, жгут, разваливают. Что мне до того, что в свое время пришло Возрождение? А Венера-то Милосская — без рук, фидиевы скульптуры безголовые, от Архилоха, Сафо, Гераклита¹¹ остались одни ключья. А главное, и в народ я теперь потерял всякую веру. Теперь он открыл свой подлинный лик — тупой, алчный, жестокий. Какой беспробудный душевный цинизм, какая безустойчивость! В самое дорогое, в самое для него заветное наплевали в лицо,— в бога его! А он заломил козырек, посвистывает и лушит семечки. Что теперь когда-нибудь скажут его душе Рублев, Васнецов, Нестеров¹²?

Растрепанные тучи мчались по небу, бесшумные и стремительные. Ветер, как взбесившаяся хищная птица, налетал из-за угла, толкал обоих в спину и начинал яростно трепать оледенелые ветки акаций и тополей.

— Холодно вам, Дмитрий? А правда, не хочется уходить?

— Ничего, пусть холодно.

— Вот что. Пойдем на террасу. Она на юг, там тихо.

Стульев не было на террасе, был только большой садовый стол. На столе кучами лежала мерзлая земля, черепки разбитых садовых горшков, путаная мочала. Шум ветра был меньше слышен, но зато море грохотало. Под студено-зеленоватым лунным светом белые водяные горы вырастали, казалось, перед самой террасой и вдруг проваливались куда-то.

— Дмитрий, зачем вы все-таки идете вместе с ними? Неужели вы не чувствуете, за что борются ваши?

Дмитрий озлобленно ответил:

— За что бы ни боролись! С кем угодно, только против этих мерзавцев!.. Ох, Катя, вы их тут не знаете, в своем далеке. Если бы увидели своими глазами,— прокляли бы жизнь, прокляли бы все на свете...— Он взволнованно замолчал.— Я никому не хотел рассказывать,— ну, вам расскажу. Только не говорите никому. Я тут привез Агаповым кой-какие вещички их убитого сына Марка. Он убит, да. Но как... Под Татаркой был у нас бой. Впереди матросы шли на нас, в кожаных куртках,— сомкнутой колонной, по германскому образцу. Нужно отдать справедливость,— как львы, шли под пулеметным огнем. К вечеру разбили нас и погнали. Ротный наш командир упал с простреленной ногою, махнул нам рукой и устроил себе смерть под музыку.

— Это что такое?

— Ручную гранату под голову, дернуть капсюль и трах!.. Это у нас называется смерть под музыку. Чтоб живым не попасться в их руки... Рассеялись мы во все стороны. Едет в тачанке мужчина мещанистого вида. Револьвер ему ко лбу, снял с него пиджак, брюки, переделся и побежал балкою.

Катя вздрогнула.

— Вот вы еще чем можете возмущаться! — улыбнулся Дмитрий. — Вижу, тащится Марк, на руке несет свою другую руку, раздробленную в локте. Повел его. Уж ночь. Вдали лай собак, огни. Осторожно подходим, вдруг: «Стой! Кто идет?» Взяли нас, повели. Железнодорожный полустанок, весь зал набит матросами. Огромный, толстый матрос, — я бы под мышку подошел ему, — подходит ко мне: «Кто такой?» — Мещанин, говорю, мелитопольский. Вижу, раненый человек, повел его, не знаю, кто таков. — «А-а, — говорит, — ваше благородие!» Развернулся и кулаком Марка в ухо.

— Раненого?

— Раненого. Пошел он летать под кулаками и пинками по всему залу. Перебитая рука мотается, вопль, — понимаете, животный вопль зверя, которого забивают насмерть...

Катя глухо застонала.

— Не надо!

Дмитрий беспощадно продолжал:

— Скоро замолк, а тело все летает из конца в конец. Тяжелыми сапогами с размаху в лицо, хохот, грубые шуточки... Толстый ко мне: «Ну-ка, товарищ, пойди сюда!» Руку мне за пазуху. Нашупал во внутреннем кармане жилетки бумажник, вытаскивает. А там удостоверение мое, — поручик Дмитревский. Развернулся наотмашь, и дальше я ничего не помню... Очнулся в комнатке кассира, в окошечко билетной кассы из зала свет. Лежит рядом Марк с раздутым, черным лицом, со стеклянными глазами, уж не дышит. Ощупываю себя. Тело ноет, но кости целы. Вдали выстрелы, все ближе. Пулемет затрещал, звенят разбитые стекла. Суматоха, матросы попадали на пол. — «Это недоразумение! Свои!» Комиссар к телефону. Вдруг — «ура!» Нет, не «свои»... Граната ручная в залу, матросы поскакали в окна, выстрелы, лампа упала и потухла. Открывается дверь, входят двое в нашу комнатку, один нажал кнопку электрического фонарика карманного, свет упал на его рукав, — череп с перекрещенными мечами. Марковцы!..¹³ Я хотел крикнуть, и только мог застонать. Они назад. — «Господа! Тут еще т о в а р щ и!» Я собрал все силы, крикнул: «Свои! свои!» И опять потерял сознание.

Он замолчал. Катя вздрагивала короткими толчками всего тела.

Ветер завывал и с шумом пронесся поверху. Чудовищные волны лезли на берег, шипели пеною, разбивались с гулким, металлическим звоном и, задохнувшись, ползли назад.

— И вот теперь, Катя, подумайте...

— Не надо говорить... — Катя блуждала вокруг глазами. — Что это за звон кругом? Такой нежный-нежный?

Дмитрий с недоумением смотрел на нее.

— Я не слышу. Море гудит.

Катя настойчиво сказала:

— Нет, другой какой-то звон. Стекланный, особенный.

— А ведь правда.

— Ах, вот что! Это ветки оледенелые звенят... Как странно!

Они подошли к перилам. Ледашки, облепившие ветки акаций, стукались под ветром друг о друга, и мелодический, тихий, хрустальный звон стоял в воздухе, независимый от медного рева моря.

— Пойдем,— сказала Катя.

Они пошли. За домом рев моря стал глуше, и яснее раздавался по всему саду таинственный, нежный хрустальный звон.

Катя остановилась.

— Дмитрий! — Она, задыхаясь, смотрела на него.— Митя. Милый мой! Так вот что тебе приходится там...

Она вдруг охватила его шею руками и крепко поцеловала.

— Катя!

Девушка припала к его плечу, он заглядывал в ее румяное от холода, небывало прекрасное лицо и целовал в губы, в глаза.

* * *

Катя, спеша, развешивала по веревкам между деревьями сверкающее белизною рваное белье. С запада дул теплый, сухой ветер; земля, голые ветки кустов, деревьев, все было мокро, черно и сверкало под солнцем. Только в углах тускло поблескивала еще ледяная кора, сдавливавшая у корня бурые былки.

Пришел, наконец, штукатур Тимофей Глухарь с сыном Мишкой. Иван Ильич сговорился с ним.

— Ладно, пятьдесят рублей. Только уж хорошенько все замажьте, перемените, где нужно, черепицы. Года два, говорите, простоит крыша?

— И пять простоит, ручаюсь вам... Где известка? Мишка, пойдем.

Они замешивали известку. Иван Ильич спросил:

— Вы, говорят, большевик?

Тимофей поспешно ответил:

— Какой я большевик, что вы! Хулиганье это, мошенники,— слава богу, нагляделись на них.

— А ведь вы были в революционном комитете при первом большевизме.

— Заставили идти, что ж было делать? Не пошел бы, на мушку. А мне своя жизнь дорога.

Иван Ильич обрадовался и стал рассказывать о большевистских зверствах в России, о карательных экспедициях в деревнях, о подавлении свободы мысли среди рабочих, о падении производительности труда, о всеобщем бездельничестве.

Глухарь поддакивал.

— Это действительно! Да, конечно! Разве наш народ на всех станет работать! Каждый только и норовит для себя урвать.

Парень Мишка с неопределенною усмешкой слушал.

Катя развесила белье и поспешила к Дмитревским.

Профессорша пекла на дорогу Дмитрию коржики, профессор в кабинете готовился к лекции.

— А где Дмитрий?

— Дрова колет в сарае, сейчас придет.— Наталья Сергеевна почему-то сильно волновалась.— А вы знаете, мы вчера с Митей засиделись до пяти часов утра.

В дверь постучались. Срывающийся женский голос спросил:

— Можно войти?

Наталья Сергеевна побледнела.

— Княгиня. Вы знаете, я ей утром письмо-таки послала. Ах, боже мой!.. Можно, можно!

Растерянно улыбаясь, она суетливо пошла к двери. Княгиня вошла,— с огромными, широко открытыми глазами, с неулыбающимся лицом.

— Наталья Сергеевна! Я сейчас получила ваше странное письмо... Как вам это могло прийти в голову? Да разве бы я позволила себе так шутить с вами?.. Хорошо ли вы везде искали?

— Кажется, все переглядела.

— Ведь вы, я помню, на туалет кольцо положили. Отодвигали вы туалет?

Наталья Сергеевна поспешно ответила:

— Нет.

— Позвольте, я посмотрю.

Княгиня стала отодвигать туалет. Наталья Сергеевна продолжала сидеть на месте.

— Ну, так и есть! Вот же оно! У плитуса лежало, среди сора.

Она поднялась и протянула кольцо.

— Ах, так вот, где было... Да. Да.

Наталья Сергеевна взяла кольцо, избегая смотреть княгине в глаза. И та тоже не смотрела. И говорила облегченно:

— Ну, вот! Слава богу! Я так рада... И как вы могли подумать, что я стала бы с вами так шутить. Не хватало бы, чтобы вы меня в краже заподозрили! — весело засмеялась она.

— Что вы, княгиня! — всполошилась Наталья Сергеевна.

Княгиня посидела немножко и ушла. Из кабинета вышел профессор и остановился на пороге. Молчали. Катя спросила:

— А вы смотрели за туалетом?

Наталья Сергеевна заговорщицки ответила:

— Все, все пересмотрела! Несколько раз отодвигала. И сору-то там никакого уже не было, я все вымела. А она так сразу и нашла!

Профессор поморщился и пошел обратно к себе в кабинет. Вошел с террасы Дмитрий.

— Ну, мама, дров наколол тебе на целый месяц. А-а, Катя!.. Мама, мы сейчас пройдемся, мне нужно отнести Агаповым вещи Марка.

— Скорей только возвращайтесь. Через полчаса завтрак будет готов.

Катя с Дмитрием вышли. Дмитрий сказал:

— Забыл я топор в дровяном сарае. Зайдем, я возьму.

В сарае Дмитрий обнял Катю и стал крепко целовать. Она стыдливо выпросталась и умоляюще сказала:

— Не надо!

— Ну, Катя...

— Вот сколько ты дров наколол!.. Где же топор?

— Э, топор! Его вовсе тут и нету.

Дмитрий крепко сжимал Кате руки и светлыми глазами смотрел на нее. Она сверкнула, быстро поцеловала его и решительно двинулась к выходу.

— Пойдем!

Они пошли вдоль пляжа. Зелено-голубые волны с набегающим шумом падали на песок, солнце, солнце было везде, земля быстро обсыхала, и теплый золотой ветер ласкал щеки.

Катя просунула руку под локоть Дмитрия и сказала:

— Вот что, Митя! Что ты вчера рассказал про себя, про Марка,— это что-то такое огромное,— как будто все эти горы вдруг сдвинулись с места и несутся на нас. Я всю ночь думала. Это и есть настоящая война. Если люди могут друг друга убивать, все жечь, разрушать снарядами, то пред чем можно тут остановиться? Так уж много нарушено, что остальное пустяки. А когда идут рыцарства и всякие красные кресты, это значит, что такие войны изжили себя, и что люди сражаются за ненужное. И знаешь, мне начинает казаться: когда победитель бережно перевязывает врагу раны, которые сам же нанес,— это еще ужаснее, глупее и позорнее, чем добить его, потому что как же он тогда мог колоть, рубить живого человека? Настоящая война может быть только в злобе и ненависти, а тогда все понятно и оправдательно.

Дмитрий слушал с серьезным лицом, с улыбающимися для себя тонкими губами.

— Это оригинально.

— Нет, это правда. И вот, Митя... Те матросы,— они били, но знали, что и их будут бить и расстреливать. У них есть злоба, какая нужна для такой войны. Они убеждены, что вы — «наемники буржуазии» и сражаетесь за то, чтобы оставались генералы и господа. А ты, Митя,— скажи мне по-настоящему: из-за чего ты идешь на все эти ужасы и жестокости? Неужели только потому, что они такие дикие?

В глазах Дмитрия мелькнули страдание и растерянность, как всегда при таких разговорах.

— Это, Катя, сложный вопрос.

— Ничего не сложный.

Дмитрий украдкой оглянулся, поднес Катину руку к губам и шепотом сказал:

— Зачем, зачем теперь об этом говорить? Катя! Так у нас мало времени,— давай забудем обо всем. Когда мы опять свидимся! А мы будем ворошить то, чего, все равно, не изменить... Вот дача Агаповых. Зайдем.

— Я с какой стати? Не хочу я к ним. Я тебя здесь подожду.

— Ну, хорошо. Только отдам, и сейчас.

Он ушел. Садовник вскапывал клумбы у широкой террасы. Маленькая, сухая Гуриенко-Домашевская стояла у калитки своей виллы и сердито кричала на человека, сидевшего на скамеечке у пляжа.

— Пьянчужка несчастный! Тут тебе не кабак! Думаешь, большевики близко, так и нахальничаешь! Подожди, пока твои большевики подойдут!

Человек на скамейке отругивался. Катя узнала пьяницу столяра Капралова, сторожа Мурзановской дачи. Гуриенко ушла. Катя подошла к нему.

— Чего это она?

— Хе-хе! Ч-чертово окно! Пошел, говорит, прочь отсюда, мужик! Не смей тут петь, мне беспокойство!.. Да разве я у тебя? Я на берегу сижу, никого не трогаю... Какая язвенная! Сижу вот и пою!..

Мой полштоф в кармане светит,
Рюмки гаснут на носу,
Ночью нас никто не встретит,
Мы проспимся на мосту...

Ты, говорит, большевик! Нет, я говорю, я не большевик. А все-таки, когда большевики придут,— ей богу, голову тебе проломлю.

— А вы не большевик?

— Нет, не большевик! Когда в летошнем году экономию Бреверна разносили, я им прямо объяснил: то ли вы большевики, то ли жулики,— неизвестно. Тащит каждый, что попало,— кто плуг, кто кабанчика; зеркала бьют. Это, я говорю, народное достояние, разве так можно? Вот дайте мне бутылочку винца,— очень опохмелиться хочется. «Ишь,— говорят,— какой смирный!» Да-а... А вы что такое делаете? За это они меня теперь ненавидют... Жизнь разломали,— как ее теперь налаживать? И с той, и с другой стороны идет русский народ. Братское дело! Брат на брата, товарищ на товарища!

Глаза у него были умные и серьезные, тою интеллигентною серьезностью, при которой странно звучало: «каждый» и «в летошнем году». Катя из глубины души сказала:

— Ах, Капралов, зачем вы пьете!

— Гм! Как пью,— все видят. А как работаю,— никто не замечает!

— Катерина Ивановна!

К ним бежала от дачи Ася Агапова.

— Катерина Ивановна! Мы арестовали Дмитрия Николаевича, не выпускаем его, пока не выпьет кофе. А он рвется к вам, совесть его мучит, и кофе останавливается в горле. Сжальтесь над ним, зайдите к нам!

Была она хорошенькая и вся сверкала,— глазами, улыбкою, открытой шейкою. Катя увидела, что не отделаешься, и встала. Капралов, когда она с ним прощалась, придержал ее руку.

— А только все-таки имейте в виду: будет народное одоление. Все равно, как мошкара поперла. Нет сильнее мошки, потому,— ее много. А буржуазии — горстка. И никогда ей теперь не одолеть. Проснулся народ и больше не заснет.

У Агаповых было чисто, уютно и тепло, паркет блестел. На белой скатерти ароматно дымился сверкающий кофейник, стояло сливочное масло, сыр, сардинки, коньяк. Деревенский слесарь Гребенкин вставлял стекла в разбитые окна.

Катя со всеми поздоровалась, подошла и к Гребенкину, протянула ему руку.

— Александр Васильевич, вы разве и стекольщик? Ведь вы же слесарь?

Гребенкин, с впалую грудью, исподлобья взглянул обрадованными глазами и развязным от стеснения голосом ответил:

— Я на все руки мастер: и слесарь, и стекольщик, и огородник, и спекулянт.

— Катерина Ивановна, садитесь кофе пить,— позвала г-жа Агапова.

Катя чувствовала,— всем стало враждебно-смешно, что она поздоровалась с Гребенкиным за руку.

Г-жа Агапова рассказывала Дмитрию, как ночью кто-то выбил у них на даче стекла, как ограбили по соседству богатого помещика Бреверна.

— До чего дошло! До чего дошло! А как мы все радовались революции. Я сама ходила в феврале с красным бантом...

Муж ее, невысокий, с остриженной под машинку головою и коротко подрезанными усами, курил сигару и ласково улыбался.

— Ну, что же, ну, говорите нам прямо: как у вас дела в армии? — допрашивала Агапова.— Сумеете вы нас защитить или нет?

Дмитрий посмеивался.

— Сумеем!

Чახоточный адвокат Мириманов,— у него была в поселке дачка, и он по праздникам наезжал из города отдохнуть,— покосился на стекольщика и знающим голосом тихо сказал:

— Скоро уж не будет надобности вас защищать.

— Почему?

Мириманов посмеивался своими умными глазами.

— Скоро все так переменится, что вы даже не ожидаете.— Он помолчал.— Ленин уже два месяца ведет тайные переговоры с великим князем Борисом Владимировичем. Будет инсценирован государственный переворот. Идеиные вожаки большевизма заблаговременно исчезнут, а всех скомпрометированных прохвостов оставят на расправу, чтобы окружить большевизм мученическим ореолом и уйти с честью. Ленин, Троцкий и другие получают пожизненную пенсию по пятьдесят тысяч рублей золотом и обязуются уехать в Америку.

— Дай-то бог! — вздохнула Агапова.— Там с ними уж легче будет управиться.

Борис, племянник Мириманова, шушукался с Асею. Лицо у него было бледное, а глаза томные и странно красивые. Барышни Агаповы сверкали тем особенным оживлением, какое бывает у девушек только в присутствии молодых мужчин. Они изящно были одеты, и красивые девические шеи белели в вырезах платьев. Глаза их, когда случайно останавливались на Кате, вдруг гасли и становились тайно скучающими и маловидящими.

Катя решительно отказалась от кофе,— потому что она была голодна, потому что ей очень хотелось всего этого вкусного после мерзлой картошки и чаю из шиповника. Дмитрий сидел с Майей, сестрой Аси, они с увлечением говорили о несравненной красоте православного богослужения. Майя смотрела медленными, задумчивыми глазами Магдалины, под взглядом которых так хорошо говорится.

Ася села за рояль и стала петь. Все песни ее были какие-то особенные, тайно дразнящие и волнующие. Пела об ягуаровых пледах и упоительно мчащихся авто, о лиловом негре из Сан-Франциско, о какой-то мадам Люлю, о сладких тайнах, скрытых в ласковом угаре шуршащего шелка, и обжигающе призывает был припев:

Мадам Люлю,
Я вас люблю!

Ей шепчут страстно и знойно...

Остро вспыхивали брильянты в серьгах Аси. И была дурманящая, сладострастно ластящаяся красота в ее песнях. И только мешал шум стекольщика и его чахоточный, как будто намеренно громкий кашель.

И сверкало солнце. И мягко качались за окнами малахитово-зеленые волны. На Катю музыка всегда действовала странно: охватывало сладкое, безвольное безумие, и душа опьяненно качалась на колдовских волнах, без сил и без желания бороться с ними.

Подошел Дмитрий. От него слегка пахло дорогим коньяком. Он сказал извиняющимся голосом.

— Пять минут еще посидим и уйдем. Знаешь, после бивачной жизни так приятна эта чистота, блеск, эти оживленные лица...

Старик Агапов тоже подошел.

— Странно, знаете, слушать... Девочка, с ее чистой душой, совсем сама не понимает, что поет. Вон, послушайте-ка!

И, благодушно улыбаясь, он потирал руки.

Ах где же вы, мой маленький креольчик,
Мой смуглый принц с Антильских островов,
Мой маленький китайский колокольчик,
Изящный, как духи, как песенка без слов?
Такой беспомощный, как дикий одуванчик...¹⁴

Гребенкин прервал пение намеренно громким, ни с чем не считающимся голосом:

— Хозяин, эти стекла коротки,— наставить кусок, или есть у вас стекла побольше?

Агапов, мягко улыбаясь, подошел к нему.

— Нет, побольше нету. Уж наставьте, ничего не поделаешь.

Потом, как-то странно нараспев, читал стихи Борис, племянник Мириманова. И стихи все были такие же, говорившие о легком, бездумном веселье, праздной и богатой жизни, утонченно-сладо-страстном соприкосновении мужчин и женщин.

В группе девушек нервных, в остром обществе дамском
Я трагедию жизни претворю в грезе-фарс.
Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском!..¹⁵

Голос красиво и гибко пел и баюкал на мелодических стихах. Катя вдруг отдала себе отчет, почему у этого Бориса глаза так странно красивы и томны: они были искусно подведены снизу тонкою черною черточкой.

Катя с Дмитрием уходили. Барышни убеждали его отложить отъезд до завтра.

— Нынче именины Гуриенко-Домашевской, вечером все будут у нее. Она будет играть; Белозеров, наверно, придет, будет петь.

— Нельзя. Сегодня вечером должен быть в полку.

Они вышли. Катя жадно дышала морским ветром, с души смывалась колдовская красота баюкающей музыки. Она вздрагивала плечами и повторяла:

— Какая гадость! Какая гадость!

Дмитрий удивленно спросил:

— Что гадость?

— Все! Все! Почему гниль может быть такой красивой и душистой? Как будто парфюмерный магазин, где все дорогие духи разбились и пролились, и кружится голова, и не хочется уходить, и вдруг — солнце, ветер, простор... Ах, как хорошо!

Дмитрий слушал с улыбающимися про себя губами. В голове приятно кружилось от коньяку, сверкали пред глазами зовущие девичьи улыбки, было сладкое ощущение покоя и уюта.

— И за них-то вот бороться! Как она спрашивала: «Сумеете вы нас защитить?» А тебе не хочется, когда ты смотришь на них, чтоб все это взлетело к черту, чтоб развалилась эта ароматно-гнилая жизнь?

Дмитрию хотелось закрыть душу от рвавшегося в нее из Кати буйно-злобного вихря, и не чувствовалось способности защищать эту жизнь, к которой, однако, в нем не было ненависти. Он взял в руки Катину руку и устало улыбнулся:

— Катя! Мне так ничего не хочется! Так не хочется! Одного только хочется: чтоб был мне какой-нибудь тихий уголок, чтоб никто не тревожил и чтоб переводить Прокла¹⁶.

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...¹⁷

Не пожелал бы я никому этого блаженства!

— Неужели же тебе не интересно сейчас жить?

— Совсем не интересно. Гораздо интереснее было бы изучать все это, как давно минувшее.

Катя впилась в него пристальным, изучающим взглядом, от которого ему стало неловко.

— За что я полюбила тебя? — спросила она как будто саму себя. И вдруг увидела его бесконечно усталое лицо, умный, прекрасно сформированный лоб, что-то детски беспомощное во всей фигуре, — и горячий, матерински нежный огонек вспыхнул в душе.

Они шли, тесно под руку, по песку вдоль накатывавшихся волн. Дмитрий, с раскрывшейся душою, говорил:

— ...какая-то полная атрофия активности. Там, где нужно мыслить, изучать, искать, у меня энергия неистощимая. Но где в жизни хоть шаг нужно сделать самостоятельный, меня отчаяние охватывает, и сама жизнь становится скучной, грубой и темной...

* * *

— Что же это такое?

— Как, что такое?

— Вы же ничего не сделали. Как было, так и есть.

— А это что? Тут какая щель была, ай забыли? Везде, где нужно, подмазали. Что вы такое выдумываете!

— Ну, вот, посмотрите: даже небо сквозь щель видно.

— Так эта щель вбок идет. Будьте покойны, в нее вода не залетит, ручаюсь вам. Если хоть капля протечет, вы за мною пошлите, я вмиг заделаю.

— Ну, вот сейчас вмиг и заделайте.

— Ах-х ты, господи! Ведь вот народ! Чтоб этих щелей не было, всю крышу надо перекрывать, я же вам сказывал.

— Вы мне сказывали, что крыша пять лет простоит.

Мишка, как молодой петушок, учащийся петь, сказал:

— Нешто по крыше такой можно лазать? Две черепицы примажешь, а заместо того десять подавишь.

— Э, Мишка, пойдём! Не надо нам ваших пятидесяти рублей. Рады прижать рабочего человека. Эксплоататоры!

— Ваших мне пятидесяти рублей не нужно...

Катя прервала отца.

— И правильно! Конечно, не нужно давать. Сами же они видят, что ничего не сделали.

— Не сделали! Для хозяйского глаза все мало. За грош рады всю кровь высосать из рабочего человека!

Иван Ильич с отвращением молчал и доставал деньги.

— Да зачем же, папа, ты даешь? Пусть суд установит,— стоит эта работа пятьдесят рублей?

— Э, пусть его совесть это устанавливает!

Иван Ильич, не глядя на Глухаря, протянул деньги. Глухарь сунул их в карман и ласково сказал:

— Если печечку занадобится поправить, или потолок заштукатурить, вы пришлите. Мы это тоже можем. До свидания!

Катя напала на отца: как можно было давать деньги за такую работу! Пусть бы в суд подавал!

— Катенька! Смотреть противно! Ну его к черту, только бы с глаз долой!

— Ах, эти интеллигенты наши мяклые! На казнь пойдет,— не дрогнет. А что несправедливо назовут эксплуататором,— нет, уж лучше что угодно! Пусть лучше первый жулик обирает средь бела дня, как дурачка!..

Катя порывисто повернулась и пошла в дом.

* * *

Гуриенко-Домашевская, известная пианистка, была именинница. Маленькая и сухая, с огромными черными глазами, она с привычно преувеличенным радушием артистки встречала гостей и каждому говорила приятное.

Сидели в просторной, богато обставленной зале и пили чай. Стол освещался двумя кухонными лампочками со стеклами. Чай разливался настоящий. На дне двух хрустальных сахарниц лежало по горсточке очень мелко наколотого сахара. Было в волю хлеба и сыра брынзы, пахнувшего немытыми овцами. Стоял десяток бутылок кислого болгарского вина.

С горько-юмористической хвастливостью хозяйка говорила:

— Вы посмотрите только, вы посмотрите, господа: какое царское освещение! Какие яства! И чай — настоящий! И даже сахар к нему! Роскошь-то какая... Нужно же перед голодной смертью попить, как следует, всюю!

И в голосе ее было: да, я, знаменитая артистка, имя которой встречается во всяком энциклопедическом словаре,— вот как я принуждена жить, и вот что ожидает меня по чьей-то чудовищной несправедливости.

— Не правда ли? Нужно благодарить бога. То ли еще бывает! Певец Беркутов умер в Петрограде от голода, скрипач Менчинский повесился в Москве... Буду и я ждать, что мне готовит судьба...

Возле Кати сидел молчаливый инженер Заброда, с светло-голубыми глазами и длинной шеей чахоточного. Специальности своей он не любил и пятый год на грошом жаловании работал бухгалтером в деревенском кооперативе. Через Катю он наклонился к Ивану Ильичу и сипло спросил вполголоса:

— Вы получили приглашение на организационное собрание отдельного кооператива дачников?

— Да. В чем тут дело?

— Я хотел об этом сговориться с вами. Гуриенко-Домашевская, Агапов и другие задумали основать дачный кооператив, чтоб отделиться от деревни. Мотивируют тем, что крестьяне неохотно пропускают в правление интеллигенцию и закупают только то, что нужно им самим.

— И верно! — подтвердила Катя. — Мука и ячмень, например, у них у самих есть, они их в потребилке и не держат, а мы нигде не можем достать.

Заброда сурово поглядел на нее.

— Можно их убеждать. Но отделиться — значит загубить деревенский кооператив.

Иван Ильич решительно сказал:

— Не годится!

— И потом: как же интеллигенцию не пропускают? Председатель правления — Белозеров¹⁸.

— Ах, Белозеров ваш, — воскликнула Катя. — Певец он, конечно, великолепный. Но не нравится он мне. Ищет популярности и во всем поддакивает мужикам. А у самого почему-то всегда все есть, — и мука, и сахар, и керосин. А мы ничего не можем достать.

Местный дачевладелец, о. Златоверховников, с наперсным крестом на георгиевской ленте, рассказывал о большевиках. Он был полковым священником в одной из добровольческих частей и на неделю приехал к себе отдохнуть. Большой, крепкий, с крупными чертами лица, он говорил четким, крепким басом. Недавно под Мелитополем большевики распяли на церковных дверях священника, а в алтаре устроили пирушку с девками. Священник был старик, уважаемый всею паствою. «Товарищи» приставили к нему караул и никого не подпускали. Он пять дней висел на гвоздях и умер от жажды.

Катя засмеялась.

— По крайней мере, раз пятьдесят я уже слышала про этого распятого священника и девок в алтаре, и всё в разных городах.

О. Златоверховников замолчал и внимательно поглядел на Катю.

— Удивительного ничего нет. Во многих городах они это и делают.

И отвернулся. Заброда наклонился к Кате.

— Вы при нем поосторожнее. Он — «даровой сотрудник», в постоянных сношениях с контрразведкой. Доносы написал на полдервни. Я ему руки не подаю.

Катя прикусила язык. Она заметила, что и все говорили при нем с опаскою.

О. Златоверховников продолжал рассказывать.

— Только удивляться приходится, какое это дикое зверье. Хуже зверья! Кончен, например, бой. Обыкновенно у всех в это время только одно желание: отдохнуть. А они первым делом бросаются раскапывать могилы наших и начинают ругаться над трупами. Находят на это силы! А уж про раненых — что и говорить!

Адвокат Мириманов, со своею знающею улыбкою, заставлявшею всех ему верить, рассказал, что недавно в Москве предполагался съезд Коминтерна. Пред открытием заграничных рабочих-делегатов пригласили на банкет. Фрукты, цветы зимою, шампанское. Декорированные комиссарши. Рабочие поглядели... «Россия ваша погибает от голода и холода, вы выдаете рабочим по полфунта хлеба с соломою, а сами пьете шампанское! Теперь мы знаем, что такое ваш коммунизм». И уехали обратно.

И много все рассказывали.

Как всегда, очень поздно пришел Белозеров, артист государственных театров. Бритый, с желтоватым лицом, с пышными, мелко вьющимися волосами. Его встретили радостными приветствиями. Добродушно и сдержанно улыбаясь, он здоровался. Барышни восторженно смотрели на него.

Хозяйка спросила:

— Вы сегодня из города. Что новенького?

Белозеров взглянул на о. Златоверховникова.

— Вот, батюшка, наверно, больше осведомлен. В городе потрухивают, слухи самые фантастические. Должно быть, так, беспричинные?

О. Златоверховников сказал веско:

— Работа агитаторов большевистских. Дела очень прочны. Вся паника оттого, что войска отступили к Перекопу. Но Перекоп, это — Фермопилы¹⁹, один полк легко может задержать целую армию. А Деникин тем временем совершает перегруппировку войск.

Белозеров принял из рук хозяйки стакан чаю и подсел к красавице княгине Андожской. Сейчас же, как мухи каплю сиропа, его кольцом обсели дамы.

О. Златоверховников простился и ушел. Белозеров проводил его глазами и потом сказал встревоженно:

— Дела, господа, очень плохи. Не сегодня-завтра большевики будут по эту сторону Перекопа. В городе паника. Сорок банкиров и фабрикантов наняли за двести тысяч отдельный пароход и собираются уезжать.

Гуриенко-Домашевская желчно засмеялась.

— То-то, должно быть, наш большевик деревенский радуется, Афанасий Ханов! Опять его пора приходит... Одного я не понимаю: как его добровольцы не повесят? При первом большевизме был

комиссаром уезда, а спокойно расхаживает себе на воле, и никто его не трогает.

Профессор Дмитревский сказал:

— Это прекраснейший человек. И очень интересный, с ищущей душой.

Хозяйка низко поклонилась Дмитревскому.

— Очень вас благодарю, профессор, за эту прекрасную душу! Когда был комиссаром, встречает меня: «Мы вашу дачу, Антонина Павловна, реквизируем под народный дом». — Прекрасно! — говорю. — А свой двухэтажный дом в деревне вы подо что реквизируете?

— И свой бы дом реквизировал. Вы знаете, ведь он нижний этаж его отдал под кооператив даром, ничего за это не берет.

— Это верно, — подтвердил Заброта.

— Пусть свое отдает! А какое же он имеет право распоряжаться моим? Я тоже тяжелым трудом нажила свою дачу. Никого не эксплуатировала, все зарабатывала вот этими руками!

Жена профессора вздохнула.

— Да. Другие вот уезжают. А нам приходится тут сидеть и ждать.

Агапов, скромно сидевший с сигарой в уголке дивана, вдруг сказал, ласково улыбаясь:

— Ничего не поделаешь: придется сидеть и ждать. Нужно же сказать правду: идет истинно народная власть. И пусть приходят, я рад. Хоть какой-нибудь порядок.

Все удивленно молчали. Хозяйка, подняв брови, глядела на Агапова.

— Раньше вы, Михаил Михайлович, иначе говорили... Вот как отберут у вас большевики ваш миллион, который вы из Москвы привезли, тогда узнаете, какой порядок.

— Какой миллион? — Агапов весело засмеялся про себя. — Я бога благодарил, что удалось провезти сорок тысяч. А говорю я с высшей точки. Рад я, не рад, а признать нужно, что только у большевиков настоящая сила.

Белозеров настороженно прислушивался. Профессор Дмитревский своим громким, полным голосом сказал:

— Да, печально это, но я с Михаилом Михайловичем вполне согласен. Широкие народные массы за большевиков, — это неоспоримо.

Иван Ильич вскипел:

— Та-ак-с!.. И отсюда выходит, — идти большевикам навстречу? Приветствовать их приход? Если широкие народные массы за еврейский погром, то прикажете мне идти с ними, бить жидов?

Профессор мягко возразил:

— Я этого не говорю. Но борьба с ними бессмысленна и не имеет под собою почвы. Добровольцы выкидывают против них затрепанные, испачканные грязью знамена, и народ к белым откровенно враждебен. Сейчас же только эти две силы и есть. Надо же нам,

истинным демократам и социалистам, честно взглянуть правде в глаза, как бы она тяжела ни была.

Заброда неодобрительно замычал. Закипел ярый спор между Иваном Ильичом и профессором. Агапов поддерживал профессора. Мириманов молча слушал, едко улыбаясь про себя. Хозяйка и остальные гости были за Ивана Ильича, но от их поддержки спор все время сбивался с колеи: у них была только неистовая злоба к большевикам, сквозь которую откровенно пробивалась ненависть к пробудившемуся народу и страх за потерю привычных удобств и выгод.

Как только спор стал принимать острый характер и в колющих глазах хозяйки забегали недобрые огоньки, профессор искусно замаял разговор и стал просить хозяйку сыграть.

Гуриенко-Домашевская погасила огоньки в глазах и ласково улыбнулась.

— Ну, как хозяйка, уж начну первая. А потом будем просить спеть Владимира Ивановича.

Гуриенко села за рояль. Она играла Бетховена, Шопена. Большие глаза ее засветились загоревшимся изнутри светом и стали прекрасными. И вдруг все злобное, придавленное, испуганное стало таять в людях и испаряться. В полутемной зале засияла строгая, величавая красота.

Кате бросилась в глаза княгиня Андожская. Она грустно сидела, опустив голову на руку, — изящная, с отпечатком тонкой, многовековой культуры в лице и движениях. Но чисто вымытая шея пестрела красными точками от блошиных укусов; красивые руки были красны, в черных трещинках; спереди во рту не хватало одного зуба. И это кольцо! Это кольцо! Как последняя горничная... Пройдет еще полгода, — и вся многовековая культура сползет с нее, как румяна под дождем, станет она вульгарною, лживою, с жадно приглядывающимися исподтишка глазами, — такую, каких она раньше так презирала и чьими трудами создавалось благородное ее изящество. Лежит прекрасная лилия, вырванная с корнем, и уж не будет ей жизни, и другие какие-то цветы зацветут на развороченной почве... А возле Белозерова сидели барышни Агаповы. Их еще не коснулось лихоletь: брильянты в ушах, белые ручки, изящные платья... А они, — они тоже уже назади? Или выплывут из моря, куда их сбросит налетающий вихрь, и опять воротятся со своими лиловыми неграми и томно-сладострастными креольчиками?

Гуриенко заиграла «Осеннюю песню» Чайковского. Затасканная мелодия под ее пальцами стала новою, хватающею за душу. Липовые аллеи. Желтые листья медленно падают. *Les sanglots longs des violons de l'automne*²⁰. И медленно идет прекрасный призрак прошлого, прижав пальцы к глазам.

Княгиня низко опустила голову, плечи ее стали тихонько вздрагивать. Катя быстро пересела к ней.

— Ну, княгиня, не надо!.. Я давно на вас смотрю... Нужно стать выше судьбы, нужно бодро нести все, что бы ни послала жизнь...

Она взяла в руки ее руку и стала нежно гладить. Княгиня удивленно взглянула,— они были едва знакомы,— и вдруг порывисто сжала в ответ руку Кати. И молчала, сдерживая вздрагивания груди, и крепко пожимала Катину руку.

Ни сна, ни отдыха измученной душе,
Мне ночь не шлет отрады и забвенья²¹ —

запел Белозеров.

Это был какой-то пир: пел Белозеров, опять играла Гуриенко-Домашевская; потом пели дуэтом Белозеров с княгиней. Гости сели за ужин радостные и возрожденные, сближенные. И уже хотелось говорить о большевиках и ссориться из-за них. Звучал легкий смех, шутки. Вкусным казалось скверное болгарское вино, пахнувшее уксусом. У Ивана Ильича шумело в голове, он то и дело подливал себе вина, смеялся и говорил все громче. И все грустнее смотрела Анна Ивановна, все беспокойнее Катя.

Расходились. Иван Ильич, с всклокоченными волосами, жарко жал руки Домашевской и Белозерову.

— Спасибо вам, мои хорошие! Встряхнули душу красотой. Легче стало дышать!

* * *

Было тихо, тепло. Ущербный месяц стоял высоко над горами. Впереди по шоссе шли Анна Ивановна и Катя с княгиней, за ними сзади — Иван Ильич, Белозеров и Заброта. Иван Ильич громко говорил, размахивая руками.

У канавки шоссе, близ телеграфного столба, густою кучкою сидели женщины в черных одеждах, охватив колени руками. Месяц освещал молодые овальные лица с черными бровями. Катя взглядела и удивилась.

— Смотрите! Да ведь это наши деревенские! Васса, Дока! Вы это? Чего вы тут сидите?

Женщины молчали. Наконец, одна сказала:

— Дикая орда идет из города.

— Какая дикая орда?

— Один болгарин наш прискакал, подал весть: всех девок себе забирают.

— Да что это за дикая орда?

Деловито вмешался Иван Ильич:

— Не понимаешь! Погоди, я сейчас разберу... Это дикая дивизия, значит, чеченцы. Правильно?

— Ну да.

— Вы-то чего же, красавицы, испугались?

— Наши у фонтана стерегут. Как дадут весть, в горы побежим, в сады.

Иван Ильич захохотал пьяным смехом.

— Да не за вами они идут, дурочки! Они парней идут ловить, что на мобилизацию не явились. Им лучше скажите, чтоб в горы утекали!

Девушки молчали.

— Ну, ну! Сидите уж! Оно, конечно, все-таки вернее и вам уйти... Сидите, девочки мои хорошие!

Пошли дальше. Иван Ильич вздохнул.

— Эх, хорошо бы выпить теперь! Как следует! Так, чтобы этот однобокий дурак на небе заплясал.

— Выпить сейчас хорошо,— согласился Белозеров.— Знаете что? Зайдем ко мне. У меня вино есть. Хорошее! Барзак, старый.

— Да неужто?! Благодетель! Вот это так штука!.. Нюра, Катя! — закричал он.— Вы дойдите одни до дому,— ничего, тут недалеко. А мы к маэстро на часок зайдем, по пьяному делу.

Белозеров жил совсем один в маленькой уютной дачке недалеко от шоссе. Месяц светил в большие окна, в углу блестел кабинетный рояль. Белозеров зажег на столе две толстых стеариновых свечи. Осветилась над роялем полированная ореховая рама с Вагнером в берете.

Иван Ильич удивился.

— Ого! Вот буржуй! Как живет! И свечи есть.

Белозеров лихо подмигнул.

— В Петрограде еще запася, давно. Я человек коммерческий. Покупал у кондукторов по двадцать пять копеек фунт. Столько напас, что пред отъездом с полпуда знакомым распродал по два рубля за фунт.

— Ловко! — расхохотался Иван Ильич.— Слышишь, хохол? — обратился он к Заброде.— Знакомым по два рубля, а незнакомым, наверно, рубликов по пяти. Вот они где, спекулянты-то!.. Ты, брат, у меня смотри! — погрозил он Белозерову пальцем.— Певец ты божественный, но душа у тебя... по-до-зрительная! Я тебя насквозь вижу!

Белозеров кисло улыбнулся и пошел за вином.

Уж несколько опорожненных бутылок стояло на столе. Свет месяца передвинулся с валика турецкого дивана на паркет. Иван Ильич говорил. Он рассказывал о бурной своей молодости, о Желябове и Александре Михайлове, о Вере Фигнер²², об огромном идеалистическом подъеме, который тогда был в революционной интеллигенции.

— И вот теперь все разбито, все затоптано! Что пред этим прежние поражения! За самыми черными тучами, за самыми слякотными туманами чувствовалось вечно живое, жаркое солнце революции. А теперь замутилось солнце и гаснет, мы морально разбиты, революция заплевана, стала прибыльным ремеслом хама, сладострастною утехой садиста. И на это все смотреть, это все видеть — и стоять, сложив руки на груди, и сознавать, что нечего тебе тут делать. И что нет тебе места...

Дрожащею рукою он налил в стакан вина и жадно отхлебнул.

— А что они с народом сделали,— с великим, прекрасным русским народом! Вытравили совесть, вырвали душу, в жадного грабителя превратили и звериное сердце вложили в грудь.

Иван Ильич поколебался и вдруг решительно махнул рукою.

— Ну, уж все равно! Расскажу вам, что со мною случилось, как сюда ехал... На маленькой станции неожиданно двинулся наш поезд, я прицепился на ходу к первому попавшемуся вагону, вишу на руках и только одним носком опираюсь на подножку. На ступеньках и площадке солдаты, мужики. Никто не двинулся. Ледяной ветер бьет навстречу вдоль вагонов, стынут руки, нога немеет. А наверху — равнодушные лица, глаза смотрят на тебя и как будто не видят, шелуха семечек летит в лицо. «Товарищи,— говорю,— сдвиньтесь хоть немножко, дайте хоть другой ногой на подножку стать. Я только до первой остановки, там в свой вагон перейду...» Молчат, лущат семечки. Кажется, начни кто на их глазах живого потрошить человека, они так же будут равнодушно глядеть и шелуху выплевывать на ветер. И проскочила у меня мысль: вот для кого я всю жизнь мыкался по тюрьмам и ссылкам, вот для кого терпел измывательства станковых и околоточных... Вышел, наконец, какой-то человек из вагона, крикнул: «Не видите, что ли, человек замерзает на ветру, сейчас сорвется? Сукины вы дети, подвиньтесь, дайте место!» И чуть-чуть только пришлось двинуться,— один коленкой шевельнул, другой плечом повернулся,— и так оказалось легко взойти на площадку! А правду скажу: еще бы минута,— и в самом деле сорвался бы, и уж самому хотелось пустить руки и полететь под колеса... К черту жизнь, когда такое может делаться! О, друзья мои! Други мои милые! Год уж прошел, а все горит у меня эта рана!

Он опустил лохматую голову на локоть; плечи, дергаясь, поднимались и опускались.

Белозеров молча сел к роялю, взял несколько аккордов и запел:

О, Волга-мать, река моя родная!
Течешь ты в Каспий, горюшка не зная...

Иван Ильич изумленно поднял голову.

— Что это? Это наша старая волжская песня, студенческая... Откуда вы ее знаете? Вы разве с Волги сами?

— С Волги. Не мешайте,— строго сказал Белозеров.

О, Волга-мать, река моя родная!
Течешь ты в Каспий, горюшка не зная,
А за волной, волной твоей свободной,
Несется стон, великий стон народный...

Речные просторы чувствовались в голосе, и молодая печаль, и молодая, жаркая ненависть, какую горят только сердца, сжечь себя готовые в жертвенном подвиге. Иван Ильич жадно слушал с полуоткрытым, как у ребенка, ртом.

Ты все несешь, плоты и пароходы,
Что ж не несешь сынам своим свободы?
Тебе простор, тебе гулять приволье;
А нам нужда, и труд, и подневолье...

Иван Ильич рыдал. Долго рыдал. Потом поднял смоченное слезами лицо и ударил кулаком по столу.

— Да! И все-таки... Все-таки,— верю в русский народ! Верю! Вынес он самодержавие,— вынесет и большевизм! И будет прежний великий наш, великодушный народ, учитель наш в добре и правде! В вечной народной правде!..

Покачиваясь и поддерживая друг друга, шли они с Забродой по шоссе. Красный полумесяц уходил за горы. С севера дул холодный ветер. Иван Ильич, с развевающимися волосами,— шапку он забыл у Белозерова,— грозил кому-то кулаком навстречу ветру и кричал громовым голосом, звучащим на весь поселок:

— Палачи русского народа!!

Вошедши в кухню, он натолкнулся в темноте на составленные стулья,— кто-то на них спал. Голос Кати сказал:

— Папа, это я.

— Чего ты тут улеглась?

— Леонид у нас.

— Леонид? Что ему тут нужно, подлецу?

— Тише, он в моей комнате спит. Приехал, говорит, проведать, отдохнуть.

— Знаю я, зачем он приехал... Приятный сюрприз!

Ворча, он ушел к себе в спальню.

* * *

Проснулся Иван Ильич поздно. Долго кашлял, отхаркивался, крихтел. Голову кружило, под сердцем шевелилась тошнотная муть. Весеннее солнце светило в щели ставень. В кухне звякали чайные ложечки, слышался веселый смех Кати, голос Леонида²³. Иван Ильич умылся. Угрюмо вошел в кухню, угрюмо ответил на приветствие Леонида, не подавая руки.

Катя оживленно болтала, наливала Леониду чай, подкладывала брынзы.

— Ешь! Как ты похудел! И даже сединки в волосах. Это в двадцать восемь лет!

Иван Ильич,— мрачный, с измятой бородой,— пил чай и молчал. Катя взяла с холодной плиты миску с ячменным месивом.

— Подожди минутку, сейчас поросенку дам поесть, приду.

И ушла. Иван Ильич хмуро спросил:

— Ты из Совдепии?

— Да.

— Зачем приехал?

— Вас проведать. Отдохнуть. Устал.

Иван Ильич приглядывался к нему: по-прежнему в темных волосах — ярко-седой клоч над левым виском; добродушные глаза, добродушный голос, но губы решительные и недобрые.

Воротилась Катя. Она очистила кухонный стол, выложила из кошелки семь цыплят и стала их кормить рубленным яйцом.

— Вчера вылупились. Посмотри, какие.

— Прелесть!

— Правда, как будто пушистые желтые яички на ножках? И такие серьезные, серьезные!

Леонид взял цыпленка, закрыл его ладонями и стал нежно на него дышать.

— Ты знаешь, я решила в этом году завести полсотни кур. Будем жить куриным хозяйством. Противно смотреть на дачников,— стонут, ноют, распродают последние простыни, а сидят сложа руки. Будем иметь по несколько десятков яиц в день. Сами будем есть, на молоко менять, продавать в городе. Смотри: сейчас десяток яиц стоит 8—10 рублей...

Ивану Ильичу было досадно, что Катя с таким увлечением посвящает в свои хозяйственные мечты этого чужого ей по духу человека. Он видел, с какою скрытою усмешкою слушает Леонид, с добродушною усмешкою взрослого над пустяковою болтовней ребенка. А Катя ничего не замечала и с увлечением продолжала говорить. Иван Ильич ушел к себе и лег на кровать.

— Еще я кабанчика откармливаю, осенью зарежем,— на всю зиму колбасы будут, ветчина, сало. А какие умные свиньи! Вот я никогда раньше не думала. Одно из самых умных животных... Хочешь, я тебе свое хозяйство покажу?

Леонид вскочил на ноги.

— Покажи.

Лицо его сморщилось от неожиданной боли, но он поспешил разгладить морщины.

— И хозяйство твое, и вообще всю вашу дачку. Ведь я ее еще не видел.

Они вышли в сад. Леонид слегка прихрамывал. Солнце сверкало и грело. Сад был просторен, гол, но травка уже зеленела. На миндальных деревьях розовели набухшие бутоны. Сквозь ветки темнело море, огромное и синее.

Катя выпустила из чулана под лестницей поросенка. Он очумело выскочил, радостным карьером сделал несколько кругов, потом сразу остановился и, похрюкивая, стал щипать молодую травку.

— Смотри, какой жирный и большой! И знаешь, что я заметила? Что свиньи — очень чистоплотные животные. В грязь они лезут потому же, почему мы умываемся. Грязь засохнет и задушит на ней всех вшей, блох. А потом отскребет грязь об угол или ствол,— и чистенькая, как вымытая. И только нежная розовая кожа просвечивает сквозь щетину... Как все интересно, куда ни помотришь!

Леонид жадно глядел на море.

— Хорошо у вас тут!

И вдруг он засмеялся неожиданно прорвавшимся, внутренним смехом.

— Странно! Какое у вас здесь тихое, мирное житие! А жизнь клокочет, как в вулкане... Пойдем, покажи дачку.

Он брезгливо оглядел поросенка и, прихрамывая, пошел к террасе.

— Отчего ты хромаешь?

— Так... Телега опрокинулась, когда сюда ехал. Ушиб ногу.

Пустяки.

Но Катя женским своим взглядом заметила неумело наложенную заплату на левом бедре и замытую кровь у ее краев.

— А это что? Вот ты зачем у меня вчера иголку брал... Ленька, что-то тут...

Она с любовью и с просьбой заглянула ему в глаза. Леонид сердито нахмурился.

— Вот пристала! Оставь ты меня, пожалуйста! Нежности эти бабьи...

Катя вздрогнула. Вдруг она вспомнила рассказ Дмитрия, как он стрелял по двоим, убегавшим от контрразведки, и как ранил одного в ногу.

Дача, кроме маленькой комнаты и кухни с каморкой, где Сартановы жили зимою, имела еще три больших летних комнаты.

— Славная дачка! — В углах губ Леонида задрожала дразнящая улыбка.— Когда мы будем здесь, мы ее реквизируем под клуб коммунистической молодежи.

— А вы скоро будете здесь?

— Недельки через две, не позже.

Катя жадно спросила:

— Встречал ты за это время Веру?²⁴

— Встречал много раз. Она в Петрограде работает, в Женотделе. Чудесная работница.— Он насмешливо улыбнулся.— А дядя к ней по-прежнему?

Катя грустно ответила:

— По-прежнему. Говорит, что Вера для него умерла. Мы при нем никогда не говорим про нее: сейчас же у него делается такое беспощадное лицо... Расскажи подробно,— что она, как?

После обеда Катя стала гладить белье, а Леонид ушел в горы.

Воротился он в сумерки, с большим букетом подснежников, и установил его в стеклянной банке посреди кухонного стола. Сели пить чай. Иван Ильич по-прежнему недоброжелательно поглядывал на Леонида. Он спросил:

— Ну, что? Как дела у вас? По-старому,— арестовываете, расстреливаете?

Леонид сдержанно улыбнулся.

— Кого нужно, арестовываем и расстреливаем.

— А многих нужно?

— Многих. Контрреволюция так и шипит, так и высматривает, куда бы ужалить.

— Да, многих, многих! Всех, кто не большевик. Значит, почти весь русский народ. Много еще работы предстоит.

— Трудового народа мы не трогаем, его мы убеждаем, и знаем, что он постепенно весь перейдет к нам. А буржуазия,— да, с нею церемониться мы не станем, она с нами никогда не пойдет, и разговаривать мы с нею не будем, а будем уничтожать.

— Уничтожать? Я что-то не пойму. Как же,— физически уничтожать?

— Да хоть бы и физически. Не ликвидируешь их,— уйдут к Колчаку, к Деникину, и будут сражаться против нас.

Катя ахнула.

— Леонид, что ты говоришь? Для марксизма важно уничтожение тех условий, при которых возможна буржуазия, а не физическое ее уничтожение... Какая гадость!

Леонид пренебрежительно взглянул на нее.

— Э, милая моя! С чистенькими ручками революции делать нельзя. Марксизм, это прежде всего — диалектика, для каждого момента он вырабатывает свои методы действия.

— Но погоди,— сказал Иван Ильич.— Ведь вы сами при Керенском боролись против смертной казни, вы Церетели называли палачом. И я помню, я сам читал в газетах твою речь в Могилеве: ты от лица пролетариата заявлял солдатам, что совесть пролетариата не мирится и никогда не примирится со смертной казнью. Единственный раз, когда я тебе готов был рукоплескать. И что же теперь?

Леонид изумленно пожал плечами.

— Удивительно! Мы уже совсем на разных языках говорим... Ну, да! Тогда речь шла о казни солдат, мужественно отказывавшихся участвовать в преступной империалистической бойне. А теперь речь о предателях, вонзающих нож в спину революции.

— Но ведь ты говорил,— пролетариат никогда не примирится со смертной казнью, в принципе!

— Полноте, дядя! Может, и говорил. Что ж из того! Тогда это был выгодный агитационный прием.

Катя гадливо вздрогнула. Иван Ильич схватился за грудь, прижал руки к сердцу и, закусив губу, шатающимся шагом заходил по кухне.

— Предали революцию! — с тоскою воскликнул он.— Предали безнадежно и безвозвратно!

Леонид насмешливо блеснул глазами.

— Да неужели вы, дядя, не понимаете, что революция — не миндальный пряник, что она всегда делается так? Неужели вы никогда ничего не читали про Великую французскую революцию, не слышали про ее великанов — Марата, Робеспьера, Сен-Жюста или хотя бы про вашего мелкобуржуазного Дантона? Они тоже не миндальные пряники пекли, а про них вы не говорите, что они предали

революцию... Ну, хорошо, мы предали. А вы, верные ее знаменосцы,— вы-то где же? Нас много, за нами стихия, а вы,— сколько вас?

— Вас много, потому что хамов много.

— Допустим. А вы, чистенькие, безупречные,— что вы делаете в это великое время? Вы,— я не знаю, может быть, вы за добровольцев?

— Нет, брат, избавь от этой чести!

— А тогда что же? Кто с вами? И что вы хотите делать? Сложить руки на груди, вздыхать о погибшей революции и негодовать? Разводить курочек и поросяточек? Кто в такие эпохи не находит себе дела, тех история выбрасывает на задний двор. «Хамы» делают революцию, льют потоками чужую кровь,— да! Но еще больше льют свою собственную. А благородные интеллигенты, «истинные» революционеры, только смотрят и негодуют!..

Иван Ильич ходил и молчал. Потом вдруг круто остановился перед Леонидом и спросил:

— Скажи, пожалуйста, для чего ты сюда приехал?

— Я уже вам говорил: отдохнуть.

— Зачем же тебе было ехать для этого сюда, пробираться через фронт, подвергаться опасностям? Ведь для «усталых советских работников» отдых у вас создается просто: выгони буржуя из его особняка, помещика из усадьбы,— и отдыхай себе вволю от казней, от сысков, от пыток, от карательных экспедиций,— набирайся сил на новые революционные подвиги!

Леонид, улыбаясь про себя, молча отхлебывал из кружки чай. Иван Ильич тяжелым взглядом смотрел на него.

— А скажи, пожалуйста: если бы кто-нибудь приехал и остановился у тебя, кто,— ты верно знаешь,— всею душою против большевиков, и кто, ты подозреваешь, приехал работать против них,— что бы ты сделал?

Леонид взглянул вызывающе смеющимися глазами.

— Станный вопрос. Конечно, дал бы знать в чрезвычайку. Она бы мигом с ним разделалась.

— Донес бы, значит?

— И глазом бы не моргнул.

Иван Ильич тяжело дышал и смотрел на него. Лицо его краснело, в душе поднимался вихрь. Стараясь овладеть собою, он медленно и спокойно сказал:

— Вот что, голубчик! Я не доносчик, и в жизнь свою никогда доносчиком не был. И на тебя не донесу. Но... уходи, милый мой, от нас сейчас же.

Катя порывисто двинулась, но ничего не сказала. Леонид, не допив стакана, с неопределенною улыбкою встал и медленно вышел. Слышно было, как он в Катиной каморке зажег спичкою коптилку, как укладывал свои вещи. Все молчали.

Анна Ивановна нерешительно сказала:

— До утра бы оставить его, пусть переночует. Куда он пойдет, на ночь глядя?

— Нет!! — бешено крикнул Иван Ильич. Лицо его стало темным, как чугунок. — Сейчас же вон! Доносчик, палач, — не позволю поганить нашего дома! Иначе сам уйду! Так вы все и знайте!

Он зашагал по кухне и вдруг качнулся, как сильно пьяный. Анна Ивановна побледнела, Катя вскочила и подбежала к нему. Он отстранил ее рукою.

— Не-ет!.. Нужна, господа, хоть какая-нибудь брезгливость! Вы самого Иуду готовы в постельку уложить и укрыть тепленьким одеяльцем!.. Не-ет!..

Вошел Леонид с котомкою за плечами.

— Палку свою я, кажется, здесь оставил.

Он взял в углу палку. Глаза его смотрели кротко, в них было то хорошее, покорное и грустное, что Катя знала в нем в часы преследований и несчастий в былые времена. У ней сжалось сердце.

— Куда ты пойдешь?

— Наших тут везде много, приют найду, где угодно. До свидания! — мягко сказал он.

— Погоди, Лёня!

Катя быстро отрезала половину большого хлеба и подала ему.

— Э, дурочка, на что мне! Ведь у самих муки мало.

— Ну, ну, бери!

Он взял и вышел. Все молчали.

* * *

Муж и жена, с очумелыми глазами, полными отчаяния и усталости. С утренней зари до поздней ночи оба беспомощно трепались в колесе домашнего хозяйства, неумелые и растерянные. Пилили вдвоем дрова тупою пилою с обломанными зубьями и злобно ссорились. Он колот поленья зазубренным топором, то и дело соскакивавшим с топорница. Она доила корову, которой смертельно боялась.

Корова брыкалась, ей связывали ноги. Жена опасливо доила, каждую минуту готовая отскочить, а муж стоял перед мордою коровы, косился на рога, грозил толстой палкой и свирепо все время кричал. И были у коровы такие же ошалелые глаза, как у хозяев.

Ложились поздно ночью, — никак не успевали управиться раньше, а к пяти утра нужно было вставать доить корову. Хоть бы раз выпастись влать, — это было бы высшим блаженством, о котором не смели и мечтать. И результатом чудовищной работы, выматывавшей все силы, было, что этот день, слава богу, кое-как сыты.

Катя помнила их два года назад. Счастливая, милая семья на уютной своей дачке, с детками, нарядными и воспитанными. Он тогда служил акцизным ревизором в Курске. У нее — пушистые, золотые волосы вокруг веселого личика. Теперь — лицо старухи, на голове слежавшаяся собачья шерсть, движения вульгарные. Распу-

ценные грязные ребята с мокрыми носами, копоть и сор в комнатах, неубранные постели, невынесенная ночная посуда. И бешеные, злобные ссоры весь день.

— Катерина Ивановна, вы гладите свое белье?

— Конечно.

Она с торжеством посмотрела на мужа.

— Что?

— «Что!» Совершенно бессмысленная трата сил. Нелепое щегольство, когда и без того погибаем от работы.

— «Щегольство!» Катерина Ивановна, посмотрите на меня,— правда, какая щеголиха? Ха-ха-ха!.. И то хуже кухарки всякой.

* * *

— Здравствуйте! Как живете?

— Плохо, конечно. Вещи распродают,— этим питаюсь. А вы?

— Все вещи распродал. Воруя.

— Распродам,— тоже останется воровать.

* * *

По-крымски медленно надвигалась весна. Высокое солнце лило на землю нетерпеливый жар, но остывшее море перехватывало его и пускало в воздух острый холодок. Неспешно набухали почки акаций и тополей. Миндальные деревья, как повенчаннные невесты, медленно сбрасывали свой воздушно-белый наряд и одевались в плотные зеленые платья. Скворцы черными четками усаживались к вечеру на холодеющие телеграфные проволоки, упоенно бляели козлятами, квакали лягушками, свистели как чабаны. Без северной тревоги и томления шла весна.

А в людях была тревога. «Идут? Не идут?» Никто ничего не знал. Но чувствовалось,— что-то надвигается, что-то ломается и трещит... Свирепее и безудержнее становились реквизиции, разнузданнее войска. На дорогах казаки отнимали у мужиков муку и вино, забирали хороших лошадей и оставляли взамен своих, загнанных и охромевших. В городе офицеры сводно-гвардейского полка ворвались в тюрьму, вывели тридцать бандитов и большевистских комиссаров и расстреляли их на берегу моря. Богатые люди выезжали на пароходах в Новороссийск, Батум, Константинополь.

Смелее становился народный говор и ропот. Дерзче грабежи в экономиях и дачных поселках. Чаше поджоги. Безбоязненное уклонение от мобилизации. В потребиловке Агапов и Белозеров, осторожно оглядываясь, говорили, что добровольцы, собственно, обманули народ, и что истинно народную власть могут дать только большевики.

Привезли, наконец, муку в потребиловку. Сартановы уже неделю сидели без хлеба и ели разваренные кукурузные зерна. Катя пришла получить муку.

В прохладной лавке с пустыми полками народу было много. Сидели, крутили папиросы, пыхали зажигалками. Желтели защитные куртки парней призывного возраста, воротившихся из гор. Болгарин Иван Клинчев, приехавший из города, рассказывал, что на базаре цена на муку сильно упала: буржуи бегут, везут на пароходы все свои запасы, а дрягли²⁵ вместо того, чтобы грузить, волокут муку на базар.

Штукатур Тимофей Глухарь злобно сказал:

— Ишь, сволочь какая! Народ с голодудохнет, а они муку увозят!

Толстая болгарка с черными, как сажа, бровями спросила продавщицу Маню:

— Сколько катушка стоит?

— Сорок рублей.

— Господи, что же это!

Глухарь отозвался:

— Дай, большевики придут,— сорок копеек будет стоить. Они все это спекулянтство уничтожат.

Катя, со всегдашнею своею привычкою говорить, что в душе, удивленно поглядела на него.

— Тимофей! Как же вы совсем еще недавно говорили, что вы против большевиков?

— А вам желается, чтоб у нас кадеты остались? Хе-хе! Не-ет! Довольно! Поездили на наших шеях!

— Я вам не говорила, что мне желательно.

— Еще бы теперь говорить! Вы теперь затаились. Чуете, что дело ваше плохо.

Осторожные болгары с молчаливою усмешкой поглядывали на Катю. Русские злорадно стали глумиться над добровольцами и ругать их. Веселый парень в солдатской рубашке без пояса запел:

Пароходик идет, вода кольцами,

Будем рыбу кормить добровольцами!

Катя стала с чеком в очередь. Толстая болгарка подошла и встала перед нею.

— Послушайте, Марина, не видите,— очередь? Что ж вы вперед заходите?

— Мне некогда.

— И мне тоже некогда.

— Подождете. Что вам делать? Мы работаем, а вы на берегу голые лежите.

Кругом засмеялись. Подвыпивший столяр Капралов вдруг грозно спросил болгарку:

— А кому какая польза, что ты работаешь? Кабы вы на общественную пользу работали, то было бы дело. А вы зерно в ямы зарываете, подушки набиваете керенками,— «работаем!» Сколько подушек набила? А приду к тебе, мучицы попрошу для ребят, скажешь: нету!

Он властно отстранил болгарку и обратился к Кате:

— Становитесь, барышня, в свою очередь. А твое вот где место. Ее отец хороший человек.

Болгары щурились и молча смотрели в стороны. Толстая болгарка не так уж уверенно возразила:

— А мы нешто плохие?

— Вы не хорошие и не плохие. Он за народное дело в тюрьме сидел, бедных даром лечит, а к вашему порогу подойдет бедный,— «доченька, погляди, там под крыльцом корочка горелая валялась, собака ее не хочет есть,— подай убогому человеку!» Ваше название — «файдасыз»*!.. Дай, большевики придут,— они вам ваши подушки порастрясут!

Катя получила полтора пуда муки и волоком вытащила мешок наружу.

По шоссе в порожних телегах ехали мужики. Катя подбежала и стала просить подвезти ее с мешком за плату к поселку,— за версту. Первый мужик оглядел ее, ничего не ответил и проехал мимо. Второй засмеялся, сказал: «Двести рублей!» (В то время сто рублей брали до города, за двадцать верст.)

Из потребиловки мужик, с рыжеватой бородой и красными, обтянутыми скулами, вынес свои покупки и стал укладывать в телегу. Катя быстро спросила:

— Вы по шоссе поедете, мимо поселка?

Мужик, не оглядываясь, пробурчал:

— Нечего мне с тобой. Проходи!

Деревенские, сидевшие на скамеечке у потребиловки, засмеялись. Парень Левченко, с одутловатым, в прыщах, лицом, в солдатской шинели, сказал:

— Тащи-ка на своем хребте. Ноне на это чужих хребтов не полагается.

Катя вспыхнула.

— Знаете что? Когда на почте неграмотный человек просит меня написать ему адрес на письме,— я не смеюсь над ним, потому что знаю, он не умеет писать, а я умею. А мешок поднять у меня нет силы. Не хотите помочь,— ваше дело. Но как же вам не стыдно смеяться?

Сидевшие на скамейке молчали. Левченко улыбался нехорошою улыбкою. Мужик в телеге удивленно взглянул на Катю и вдруг сказал:

— Садитесь.

И сам положил ее мешок в телегу.

Они затряслись по шоссе. Катя усаживалась на своем мешке и радостно говорила:

— Ну вот, видите: все-таки,— все-таки, люди добрее и лучше,

* Великолепное татарское слово, значит оно: «человек, полезный только для самого себя». Так в Крыму татары называют болгар. (Примеч. В. Версаева.)

чем кажутся! Ведь вот стало же вам совестно! Но скажите,— почему теперь все стали такие жестокие?

Мужик улыбнулся хорошою мужицкою улыбкою.

— Верно. Осатанел народ.

— Но почему же?

Он подумал, но не нашел ответа. Пошевелил плечами и стегнул кнутом лошадь.

Легкий ветерок дул с залитых солнцем гор, пахло фиалками. Мужик разговорился. Он был из соседней степной деревни. Рассказал он, как после ограбления экономии Бреверна к ним в деревню поставили постоем казаков.

— Корми их, пои. Всё берут, на что ни взглянут,— полушубок, валенки. Сколько кабанчиков порезали, гусей, курей, что вина выпили. Девоч за груди хватают, и не моги им ничего сказать,— сейчас за шашку. А мы чем виноваты? «К вам,— говорят,— след от колес ведет из экономии». Может, и из наших кто. Мало ли с войны солдат воротилось. Да ведь он сказываться не станет; если что своровал, схоронит. А к ответу всех поставили. Нашего брата как хочешь обижай. У зятя моего в Бараколе кадеты стали лошадь отымать, он не дает.— «Я, говорит, через нее хлеб кушаю».— «Ну, вот, покушай!» И из ливарвера ему в лоб. Бросили в канаву и уехали. Старики в город пошли жаловаться, все расписали, как было. Те опять приехали: — Вы,— говорят,— жаловались? — «Мы». Отхлестали нагайками и — ходу!

Катя в беспомощном негодовании оглядывала сверкавшие солнцем дали.

— Да это и большевики не хуже!

— Кто их знает. Нам все одно. Царь ли, Ленин ли,— только бы порядок был и спокой. Совсем житья не стало.

Мужик слегка подхлестывал кнутом лошадь. Несло от него чем-то светлым, тихим и крепким, что всегда чуялось Кате в мужиках сквозь их жадность, жестокость и грубость.

Подъехали к калитке дачи. Мужик внес мешок и отказался взять деньги.

* * *

Керосиновая лампочка тускло освещала пыльные выступы камней в подвале. Отдушины были завешаны дерюгами. Ася месила лопатой известку, Агапов, в фартуке, клал поперечную стенку, Майя подавала камни. Из-за стенки выглядывали ящики, мешки с мукою, бочонки.

Говорили шепотом.

— А золото я вот в эту щель вмазываю. Запомните, девочки! Вот, зеленый камушек, на высоте моего роста.

Вывели стенку под самый свод. Завалили ее старыми ящиками, пустыми бочками. Затрусили пол сором. Выходили из подвала поодиночке, зорко вглядываясь в глухую темноту ночи.

У профессора пили чай. Он сегодня ездил в город читать свои лекции в народном университете, и Катя забежала узнать новости. Профессор был заметно взволнован. Наталья Сергеевна сидела за самоваром бледная, с застывшим от горя лицом.

— Добровольцы по всем дорогам уходят в Феодосию, а оттуда в Керчь. В городе полная анархия. Офицеры все забирают в магазинах, не платя, солдаты врываются в квартиры и грабят. Говорят, собираются устроить резню в тюрьмах. Рабочие уже выбрали тайный революционный комитет, чтобы взять власть в свои руки.

Наталья Сергеевна сказала:

— У нас сейчас стирает девушка с деревни, рассказывала: в Насыпное заночевали два офицера,— их ночью убили, раздели догола и трупы увезли куда-то.

С террасы вбежала девушка-прачка, хлопнула зазвеневшею стеклянную дверь, крикнула на бегу: «Кадеты идут!» и в ужасе пробежала в кухню.

Вышли на террасу. С горы по дороге спускался высокий молодой офицер с лентою патронов через плечо, в очень высоких сапогах со шпорами... В руке у него была винтовка, из-за пояса торчали две деревянные ручки ручных гранат. На горе, на оранжевом фоне заходившего солнца, чернела казенная двуколка и еще две фигуры с винтовками.

— Скажите, здесь живет профессор Дмитревский?

— Это я.

— Вам письмо от вашего сына.

— Очень вам благодарен, поручик... Не зайдете ли выпить стакан чаю?

— Благодарю вас, меня товарищи ждут.

— Так ведите и их.

Офицер конфузливо улыбнулся.

— Ну, спасибо. Сейчас приведу.

Двуколка, нагруженная большим бочонком, спустилась с горы. Высокий вошел на террасу еще с двумя офицерами. Их усадили пить чай. Профессор и Наталья Сергеевна жадно стали читать письмо.

— Вам записочка от Мити,— сказал профессор Кате.

Записка была написана наскоро, взволнованным почерком. Митя писал, что их полк экстренно двинули к Керчи, что навряд ли скоро придется увидеться. «Катя, милая моя девушка! Навряд ли и вообще уж когда-нибудь увидимся. Прощай, не поминай лихом!»

Профессор спросил офицеров:

— Как положение?

Офицер в гусарской фуражке, с рыжими подстриженными снизу усами, ответил:

— Обычное маневрирование. Из стратегических соображений войска передвигаются к Керчи.

Высокий усмехнулся, поколебался и вдруг махнул рукою.

— Какие там стратегические соображения! Просто гонят нас большевики. Да и гнать-то, в сущности, некого. Армия больше не существует, расплзлась по швам и без швов, как интендантские сапоги. И надеяться больше не на кого. Союзники от нас отступились, французы отдали большевикам Одессу...

Гусар сумрачно покосился на него.

— Вы не профессиональный военный, поэтому все вам и кажется так страшно. Во всякой войне бывают колебания в ту и другую сторону. Вот соберемся с силами, подойдут пополнения,— и погоним красных, как стадо овец, вот увидите. Их только раз разбить, а дальше работа будет уж только нам, кавалерии.

Третий, очень молодой артиллерист-прапорщик, смуглый, с родничком на щеке и с серьезными глазами, сдержанно возразил:

— С таким командным составом никого не разобьем.

Высокий с негодованием воскликнул:

— Ох, уж этот командный состав!.. Совсем как при царе: бездарность на бездарности, штабы кишат франтами-бездельниками, которые и носа не кажут на фронт. Воровство грандиозное, наши солдаты сидят в окопах в рваных шинелишках, в худых сапогах, а в тылу идет распродажа обмундирования, все мужики в деревнях ходят в английских френчах и американских башмаках. В ресторанах шампанское потоками, миллионы летят, как рубли... А мы что делали на фронте? Вместо того, чтобы защищать перешеек,— ведь сами говорят: Фермопилы,— бросили нас далеко на север, три тысячи против пятнадцати тысяч красных,— для того, видите ли, чтобы соединиться у Дебальцева²⁶ с Деникиным. Ну, конечно, разбили нас и отбросили... А теперь транспорт наших крымцев пришел к Деникину,— он их не принял: вы, говорит, убежали от большевиков, вы мне не нужны.

Профессор встал.

— Извините, вы мне позволите написать письмецо сыну?

Он ушел с женою. Катя, без кажущейся связи с разговором, сказала:

— На днях я ехала с одним мужиком из соседней деревни, он мне рассказывал: добровольцы отобрали у его зятя лошадь, последнюю, а когда он стал противиться, его застрелили.

Гусар враждебно смотрел на нее.

— Да ведь это все сказки! Как вы им верите!

Высокий устало отозвался:

— Нет, так бывает.

— Да ведь это же хуже большевиков!

— Мы хуже и есть. Недавно перестреляли из пулеметов сто двадцать красно-зеленых в каменоломнях. Они сдались, побросали винтовки, выкинули белый флаг. А мы их пулеметами.

— Сдавшихся!

— А они не так?

— Ну, и как на душе у вас?

Высокий усмехнулся.

— Ничего. Привыкли. Умом, конечно, понимаю, что нехорошо. Замолчали. Катя сказала:

— Или вот еще, тот же мужик рассказывал. У нас тут недавно ограбили помещика Бреверна,— к ним поставили казаков, и они ограбили мужиков. Одежду отбирали, припасы, вино.

Гусар тяжелым взглядом посмотрел на Катю. Она почувствовала, что он уж ненавидит ее всеми силами души.

— А как с ними иначе? Мы раздеты, голодаем, а они сыты, в тепле; продавать ничего не хотят, набивают подушки керенками...

Катя весело всплеснула руками.

— Да большевики совсем так же рассуждают о буржуях! Вот потеха!

Гусар прикусил губу. Прапорщик-артиллерист с родинкой тихо сказал:

— Если двадцатого числа не получим жалованья, придется и нам жить разбоем.

Высокий усмехнулся.

— А теперь не разбоем живем? Вон бочку вина везем,— запла- тили мы за него?

Гусар заговорил взволнованно:

— Вы говорите,— в сдавшихся стреляли. С немцами, с австрий- цами мы были рыцари. А против большевиков мне совесть моя раз- решает в с е! Меня пьяные матросы били по щекам, плевали в лицо, сорвали с меня погоны, Владимира с мечами. На моих глазах рас- стреливали моих товарищей. В родовой нашей усадьбе хозяевами расхаживают мужики, рвут фамильные портреты, плюют на паркет, барабанят на рояле бездарный свой интернационал. Жена моя ни- щенствует в уездном городишке... Расстреливать буду, жечь, пы- тать,— все! И с восторгом! Развалили армию, отдали Россию жидам. Без рук, без ног останусь,— поползу, зубами буду стрелять!

Высокий задумчиво курил папиросу.

— У меня такой ненависти к большевикам нету. Но я человек деятельный, сидеть в такое время сложа руки не мог. А выбор только один: либо большевики, либо добровольцы. И я колебался. Но когда в Петрограде, за покушение на Ленина, расстреляли пятьсот ни в чем не повинных заложников, я почувствовал, что с этими людьми идти не могу. И я пошел к тем, кто говорил, что за свободу и учредитель- ное собрание. Но у большинства оказалось не так, до народа им нет никакого дела. А народ ко всем нам враждебен, тому, что говорим, не верит и всех нас ненавидит. Выходить можем только по несколько человек вместе, вооруженными. Вон на днях где-то тут поблизости, на греческих хуторах, нашли голые трупы двух офицеров... Буржуа- зия на нас молится, но ни кровью своею, ни деньгами поддержать не хочет.

Катя воскликнула:

— Зачем же вы тогда остаетесь?!

Гусар быстро поднял голову.

— То есть, как это?

Высокий безнадежно махнул рукою.

— Нет, уж не уйти. Да и куда? Буду тянуть до конца. А разобьют окончательно, — поеду в Америку ботинки чистить. Теперь ко всему привык. — Он показал свои мозолистые руки. — У меня своего — вот только эти сапоги. Имущество не громоздкое.

Мальчик-артиллерист с родинкою сказал:

— Что окончательно разобьют, я не верю. Пройдет же этот угар, народ поймет, что Россия, которую он же с такими муками создавал, не пустой звук. Нужно только продержаться, пока народ не отрезвеет.

— Мы недавно расстреляли двух офицеров, которые собирались уйти, — сказал гусар.

Вошел профессор с письмом.

— А вы, Екатерина Ивановна, не напишете Мите?

— Нет.

Офицеры стали прощаться. Профессор предлагал им остаться переночевать, но они отказались. Гусар и артиллерист пошли взнуздывать лошадь. Высокий задержался на террасе с Катею.

— Вы знаете, такой ужас, такой кошмар! — говорил он. — Как мы до сих пор не сошли с ума!

Катя украдкой быстро оглянулась и вдруг решительно спросила:

— Скажите, вы хороши с Дмитрием Николаевичем?

— Да.

— Тогда вот что. Уговорите его, чтобы он ушел. И уходите сами. Как можно все это выносить за дело, в которое не веришь!

Офицер медленно покачал головою.

— Нет, ничего не стану говорить.

И, не прощаясь, пошел к двуколке.

Колеса загремели по каменистой дороге. В сухих сумерках из-за мыса поднимался красный месяц. Профессор взволнованно шагал по террасе, Наталья Сергеевна плакала. Катя горящими глазами глядела вдаль.

— Господи, какие у этого рыжего глаза! Как пустые дырки! — Она нервно повела плечами. — Ой, какие тяжелые глаза! Да, он и пытать будет, и застрелит, если кто уйдет, — всё!

Профессор растерянно усмехнулся.

— Положение! Проваливаться куда-то в присподнюю за дело совершенно чужое!

— Я завтра отправлюсь к нему, уговорю его уйти, — сказала Катя.

Профессор изумился.

— Что вы говорите! На фронт! Да кто вас пропустит? И как вы доберетесь туда?

Наталья Сергеевна радостно слушала.

— Прoberусь. Чего захочу, я всегда достигаю. Нельзя, нельзя ему там оставаться!

* * *

Они говорили долго и горячо. Губы Дмитрия не улыбались всегдашнюю его тайною улыбкою, глубоко в глазах была просветленная печаль и серьезность. Катя страстно старалась вложить в его безвольную душу все напряжение своей воли, но чувствовала, — крепкая стенка огораживает его душу, и этой стенки она не может пробить.

А он держал в руках руку Кати, с тихой любовью смотрел на ее почерневшее от солнца лицо, осунувшееся от трудной дороги, на пыльные волосы...

— Катя, может быть, не хорошо прямо говорить тебе все, что сейчас в душе...

— Ну, именно все скажи, именно все!

— Да, я все-таки скажу... Вот, ты мне говоришь: уйди. Скажем, я пошел бы на эту гадость, — бросить товарищей в беде. Ну, а дальше? Куда уйти с тобою? Ведь красные меня либо расстреляют, либо мобилизуют, и я должен буду пойти с ними. Или скрываться, прятаться? Где? До каких пор? Папа тоже вот неуверенно говорит: «уходи». А когда спрошу: «куда?» — он начинает бегать глазами... Ужас в том, что выбора нет н и к а к о г о. Либо с теми, либо с этими. А кто в промежутке... Да и ты сама. Тебя никто не будет заставлять, а тебе разве легче? Разве, с твоею активной натурой, ты сможешь удовлетвориться тем, чтобы говорить обеим сторонам: «Уходите!» — уходите, и больше ничего!

Катя заломила руки. На это нечего было возразить. И туго натянутая воля, стремившаяся бросить в жизнь действенный поступок, оборвалась, как надрезанная тетива.

Они сидели на скамеечке под распускающимися тополями, у крыльца белого домика немца-колониста. Над приазовскими степями голубело бодрое утро, частые темно-синие волны быстро бежали из морской дали к берегу. По деревне синели дымки бивачных костров, и приятно пахло гарью.

Подошел солдат и сказал:

— Господин поручик!

— Да, да! Я сейчас!

Дмитрий быстро встал.

— Тебе, Митя, нужно идти. Прощай.

— Я тебя провожу до околицы. Мне все равно в ту сторону идти.

За низкими сараями артиллеристы торопливо устанавливали орудия с длинными хоботами. Солдаты пробивали в глиняных оградах бойницы. К деревне крупной рысью подъезжал отряд лохматых казаков, лошади играли. И везде солнце сверкало, и была бодрящая

прохлада утра, и кипела взволнованная работа, и таинственно бухали в туманной дали редкие орудийные выстрелы. Скоро тут закрутится сверкающая смерть. Лица всех были сосредоточены, серьезные — и как прекрасны!

Дмитрий сказал:

— «Уйти». Уйти можно только... в царство теней. Когда уж слишком ясно почувствуешь, что и здесь ты все равно только безжизненная тень ненужной сейчас жизни...

Катя жадно глядела кругом и вдруг воскликнула страстно:

— Если бы я могла остаться тут вместо тебя!

Дмитрий потихоньку пожал ее руку и умиленно прошептал:

— Спасибо тебе.

Катя удивленно взглянула на него.

* * *

Катя сидела у фонтана под горой и закусывала. Ноги горели от долгой ходьбы, полуденное солнце жгло лицо. Дороги были необычно пусты, нигде она не встретила ни одной телеги. Безлюдная тишина настороженно прислушивалась, тревожно ждала чего-то. Даже ветер не решался шевельнуться. И странно было, что все-таки шмели жужжат в зацветающих кустах дикой сливы и что по дороге беззаботно бегают милые птички посорянки, похожие на хохлатых жаворонков.

С горы спускалась линейка. Подъехала к фонтану. Высокий болгарин сошел, чтобы попоить лошадей. Катя с удивлением и радостью узнала Афанасия Ханова. И он ее тоже узнал.

— Барышня, что это вы? Куда в такое время собрались?

— Я домой иду. А вы из города?

Ханов не ответил. Разнуздal лошадей перед корытом. Потом сказал:

— Не годится сейчас ходить по дорогам. Садитесь, подвезу.

— Ах, спасибо! Так устала!

Попоили лошадей, поехали в гору, — по плохой дороге с торчащими в колеях белыми камнями. Катю давно интересовал Афанасий Ханов. Он был комиссаром уезда при первом большевизме в Крыму, его ругали дачники, но и в самых ругательствах чувствовался оттенок уважения. И у него были прекрасные черные глаза, внимательно прислушивающиеся к идущим в душу впечатлениям жизни.

У Кати был свой особенный бессознательный подход к людям. Она сама по-детски говорила всегда то, что думает и чувствует, и к душе другого человека подходила сразу, вплотную, без всяких условностей. Это удивляло — и часто налаживало на откровенность. Ханов незаметно разговорился по душе и стал рассказывать о себе.

— Раньше я, понимаете, торговал. Стою за прилавком, деньги сами в руки плывут. Двухэтажный дом себе построил, — вон, где

потребилка сейчас. А в мыслях все думается: не то это! Скучно как-то сердцу. Прикрыл, понимаете, дело, опять поворотился в мужики. Труднее стало жить, а в душе получилась легкость. А раньше, бывало, мужики виноград дают, а я скупаю вино и продаю, сам ничего не работаю. «Дураки,— думаю,— как же не видите, что из вас кровь сосут?» У меня в саду абрикосы, груши, персики, а сквозь забор, понимаете, ребятишки сапожника — до чего жадно смотрят! И я тогда понял, что это — права неправильные, что все это нужно ликвидировать. Вон Бреверн в коляске ездит, спит до двух часов дня, а у него тысячи десятин земли. Как это можно терпеть? И когда мне все это большевики объяснили, я сразу и понял.

— Афанасий! Да ведь это же совсем еще не большевизм. Это социализм, за это и мы. Ведь вы в прошлом году сами были комиссаром, вы видели, как людей грабили, резали, как издевались над ними. Разве кто думал о справедливом строе? Каждый тащил себе. Что из этого может выйти?

В ясных глазах Ханова мелькнула растерянность, как у человека, который с великим трудом утвердился среди болота на кочке, и его вдруг хотят с нее столкнуть.

— Да нет, я, собственно... Я, пожалуй, сам не большевик... Я понимаю, что рано все делать. В социализм, понимаете, идти,— нужно, чтобы руки были так.— Он вытянул вперед раскрытые ладони, как бы все отдавая.— А у нас — так.— Он жадно прижал стиснутые кулаки к груди.

Катя радостно засмеялась.

— Вот именно! А они этого кровью хотят достигнуть и грязью. Два года назад солдаты продавали на базаре в Феодосии привезенных из Трапезунда турчанок,— помните, по две керенки брали за женщину? А сегодня они — большевики, насаждают «справедливый трудовой строй». И вы можете с ними идти!

Ханов с любопытством спросил:

— Ну, а с кем идти? С кадетами?

— Зачем же с кадетами? Нужно свое образовать, соединиться всем, кто, вправду, за справедливость и свободу.

— Ну, хорошо. А вот вы: ваш батюшка на каторге был, вы в тюрьме сидели. Отчего же не соединяетесь?

Катя измученно засмеялась.

— Вот и давайте соединяться... Господи, что это?!

Через низкие ограды садов, пригнувшись, скакали всадники в папахах, трещали выстрелы, от хуторов бежали женщины и дети. Дорогу пересек черный, крючконосый человек с безумным лицом, за ним промчались два чеченца с волчьими глазами. Один нагнал его и ударил шашкою по чернокудрявой голове, человек покатился в овраг. Из окон убогих греческих хат летел скарб, на дворах шныряли гибкие фигуры горцев. Они увязывали узлы, навьючивали на лошадей. От двух хат на горе черными клубами валил дым.

И еще Катя увидела: старуха с растрепанными волосами, прон-

зительно крича, цеплялась за чеченца, а он тащил на руках в хату прелестную полуобнаженную девочку. В воздухе бились золотисто-мерзлые руки, и выгибалась девическая грудь.

— Господи! Да что же это!

Катя хотела соскочить с линейки и броситься усовещивать чеченца. Ханов крепко охватил ее рукою и сильно ударил кнутом по лошадям. Они понесли под гору.

По дороге поспешно шел старик татарин с подстриженными усами, бледный и взволнованный. Катя крикнула ему:

— Слушайте, вы не знаете, что это там, из-за чего?

— Дикая орда приезжал. Греков порубал.

— За что? Садитесь к нам, расскажите. Ханов, можно?

Они поехали. Татарин сообщил, что недавно в соседней русской деревне мужики убили двух заночевавших офицеров, а трупы подбросили на хутора к грекам... Из города послали чеченцев для экзекуции.

Вечером Катя одиноко сидела на скамеечке у пляжа и горящими глазами смотрела в вольную даль моря. Крепкий лед, оковывавший ее душу, давал странные, пугавшие ее трещины. Она вспомнила, как ее охватило страстное желание остаться там, где люди, среди бодрящей прохлады утра, собирались бороться и умирать. И она спрашивала себя: если бы она верила в их дело, — отступилась ли бы она от него из-за тех злодейств, какие сегодня видела?

* * *

Было везде тихо, тихо. Как перед грозой, когда листья замрут и даже пыль прижимается к земле. Дороги были пустынные, шоссе как вымерло. Стояла страстная неделя. Дни медленно проплывали — безветренные, сумрачные и теплые. На северо-востоке все время слышались в тишине глухие буханья. Одни говорили, — большевики обстреливают город, другие, — что это добровольцы взрывают за бухтою артиллерийские склады.

Дачники были в смятении. Болгары тоже чувствовали себя тревожно. Кучки бедноты стояли на деревенской улице и вполголоса переговаривались. По слухам, в соседней русской деревне уже образовался революционный комитет, туда приезжали большевистские агитаторы и говорили, чтобы не было погромов, что все — достояние государства. Крестьяне наносили им вина, хлеба, яиц, сала и отказались взять деньги.

В страстную пятницу Анна Ивановна ходила в потребиловку и принесла известие, что в кофейне Авраамиди сидит восемь большевистских разведчиков с винтовками.

Перед обедом Иван Ильич, в кожаных опорках и грязной, заплатанной рубахе, копал у себя в огороде грядки. Вдруг до него донесся надменно-повелительный голос:

— Эй, ты! Поди сюда!

Иван Ильич изумленно поднял голову. За проволочную ограду, сквозь нераспустившиеся ветки дикой маслины, виднелся на велико-

лепной лошади всадник с офицерской кокардой, с карабином за плечами.

— Ну!!! Живо!

Иван Ильич негодуяюще смотрел. Офицер сорвал с плеч винтовку и прицелился. Закусив губу, Иван Ильич медленно пошел к оgrade. На шоссе были еще два всадника с винтовками.

— Что это за деревня? — Голос у офицера был взволнованный и решительный.

— Это не деревня, а дачный поселок Арматлук. Деревня там, за холмом.

Офицер разглядел лицо Ивана Ильича, увидел его очки и сразу стал вежлив.

— Скажите, пожалуйста, большая деревня?

— Большая.

— А жители кто?

— Больше болгары.

— Очень вам благодарен.

В этом надменном окрике и неожиданном переходе к вежливости и к «вы» только из-за очков Иван Ильич вдруг остро почувствовал тот старый, брезгливо огородившийся от народа мир, который был ему так ненавистен.

Офицер приложил руку к козырьку и вместе со своими спутниками медленно двинулся по шоссе к деревне. У поворота они остановились, долго разговаривали, поглядывая вперед, потом двинулись дальше. Иван Ильич в колебании смотрел им вслед. Они скрылись за холмом.

Иван Ильич трясущимися руками взялся за лопату. Вдруг за холмом затрещали выстрелы, послышалась частая дробь подков по шоссе. Пригнувшись к шеем лошадей, всадники карьером скакали назад. Офицер держал повод в правой руке, из левого плеча его текла кровь.

* * *

Настало светлое воскресенье. Из-за моря встало яркое солнечное утро, синее небо сверкало. Добровольцы исчезли, — без шума, без грома исчезли, растаяли неслышно, как туман под солнцем. По шоссе непрерывною вереницею катились линейки и тачанки, на них густо сидели мужские фигуры в красных повязках, с винтовками. Молодежь, выкопав из земли запряженные еще при немцах винтовки, отовсюду шла и ехала записываться в красную армию. По всей степи ярко цвели тюльпаны, алые, как свежая кровь. И повсюду горели букеты этих тюльпанов, — в руках, в петлицах, на фуражках.

Промчался от города автомобиль с развевающимся красным флагом. На повороте шоссе автомобиль запыхтел, быстро заработал поршнями и остановился, окутавшись синим дымком. Поднялся с сидения человек и стал громко говорить в толпу. Замелькали в воздухе белые листки воззваний, против ветра донесся восторженный крик: «Ура!» Автомобиль помчался дальше.

Катя стояла у калитки сада и жадно смотрела на шоссе. Катилась мимо огромная, ликующая река, кипящая общим подъемом, а она одиноко стояла на берегу, чуждая и враждебная этому подъему. Вспомнились ей февральские дни в Москве,— как тогда было иначе! Как тогда билось сердце в один такт с огромным всенародным сердцем, как сладок был свист пуль над ухом на Каменном мосту, как незабываем этот подъем над обыденною, маленькою жизнью! И все, о чем так светло грезилось,— все это рухнуло, развалилось, все утонуло в трясине кровавой грязи...

Катя пошла в свою каморку за кухню, села к открытому окну. Теплый ветерок слабо шевелил ее волосы. В саду, как невинные невесты, цвели белым своим цветом абрикосы. Чтобы отвлечься от того, что было в душе, Катя стала брать одну книгу за другою. Но как с человеком, у которого нарывает палец, все время случается так, что он ушибается о предметы как раз этим пальцем,— так было теперь и с Катей.

Открыла «Жизнь Иисуса» Ренана и через две страницы натолкнулась:

«Есть люди, которые сожалеют, что французская революция несколько раз выходила из границ и что ее не совершили мудрые и умеренные люди. Не будем прикладывать наших маленьких программ рассудительных мещан к этим чрезвычайным движениям, стоящим столь высоко над нашим ростом. Контраст между идеалом и печальною действительностью всегда будет создавать в человечестве мятежи против холодного разума, считаемые посредственными людьми за безумие,— до того дня, когда эти восстания восторжествуют. Тогда те, кто сражался против них, первые признают в них высокий ум».

Открыла Герцена «С того берега»:

«Или вы не видите новых христиан, идущих разрушать? Они готовы. Они, как лава, тяжело шевелятся под землю, внутри города. Когда настанет их час,— Геркуланум и Помпея исчезнут, правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот... Эта лава, эти варвары, этот новый мир, эти назареи, идущие покончить дряхлое и бессильное и расчистить место свежему и новому, ближе, нежели вы думаете».

Катя глубоко задумалась. Она ведь все это читала совсем недавно,— как же она не восприняла тогда, не почувствовала того, что написано так ясно и так страшно определено?... «Правый и виноватый погибнут рядом, это будет не суд, не расправа, а катаклизм. Они ближе, нежели вы думаете...» И вот они пришли,— пришли именно такими, какими все их предвидели, принесли то, о чем сама она мечтала всю свою сознательную жизнь. А она стоит, чуждая им, и нет у нее в сердце ничего, кроме ужаса и брезгливого омерзения.

Под окном хрюкнул поросенок. Он подошел к миске с водою, попил немного, поддел миску пятакон и опрокинул ее. Катя вышла, почесала носком башмака брюхо поросенку. Он поспешно лег, вытянул ножки с копытцами и замер. Катя задумчиво водила носком по

его розовому брюху с выступами сосков, а он лежал, закрыв глаза, и изредка блаженно похрюкивал. Куры обступили Катю и поглядывали на нее в ожидании корма.

Кате вдруг стало смешно. Ей представилось: все, что кругом,— как будто это тихая подводная пещерка глубоко-глубоко в море. Там, наверху, сшибаются вихри, чудовищные волны с ревом бросаются на небо, земля сотрясается, валятся скалы, поросшие вековым мхом, зловеще ползет по склонам огненная лава,— а тут, в пещерке, мирно плавают маленькие козявочки, копошатся в иле, сосут водоросли. И что сама она такая же маленькая козявочка. Ахнет в дно подземный удар, расколет пещерку, бросит в нее шипящую лаву,— козявочки опрокинутся на спину, подождут лапки, удивятся и умрут.

Вечером к Ивану Ильичу пришел профессор Дмитревский. Он был слегка взволнован, и глаза его бегали.

— Пришел к вам посоветоваться. Сейчас на автомобиле приехал ко мне из города представитель военно-революционного комитета, сообщил, что рабочие наметили меня кандидатом в комиссары народного просвещения. Спрашивал, пойду ли я. Что вы об этом думаете?

Иван Ильич расхохотался.

— А возможно просвещение, когда свободную мысль душат, когда издаваться могут только казенные газеты?

Профессор поспешно ответил:

— Я сказал, что подумаю, но что, во всяком случае, необходимое условие — свобода слова и печати, что иначе я просвещения не мыслю. Они заявили, что в принципе со мною совершенно согласны, что меры против печати принимаются только в виду военного положения. Уверяли, что теперь большевики совсем не те, как в прошлом году, что они дорожат сотрудничеством интеллигенции. Через два дня обещались приехать за ответом.

— И вы им верите? — смеялся Иван Ильич.— Мало они всех обманывали!

Заспорили жестоко. Катя энергически поддерживала профессора и доказывала, что нужно идти работать с большевиками. Иван Ильич с негодованием воскликнул:

— И ты — ты тоже бы пошла?

— Не пошла бы, а прямо и определенно пойду... Николай Елпидифорович, возьмите меня в свой комиссариат.

Профессор очень обрадовался. Он умиленно сказал:

— Славная вы девушка, Екатерина Ивановна! Если бы вы знали, как вы мне много даете!

Иван Ильич, ошеломленный, смотрел на Катю.

— Ты... ты, вправду, пойдешь?

— Обязательно!

Глубоко в глазах Ивана Ильича сверкнул тот же темный, сурово-беспощадный огонь, каким они загорались при упоминании о Вере. Он сгорбился и, волоча ноги, пошел к себе в спальню.

Приказ за подписью коменданта Седова объявлял, что, в виду военного положения, гражданам запрещается выходить после девяти часов вечера. Замерло в поселке. Нигде не видно было огней. Тихо мерцала над горою ясная Венера, чуть шумел в темноте прибой. Из деревни доносились пьяные песни.

Была глухая ночь. На даче Агаповых все спали тревожным, прислушивающимся сном. В дверь террасы раздался осторожный стук. Потом еще. Агапов, трясущимися руками запахивая халат, подошел к двери и хриплым голосом спросил:

— Кто там?

Голос их кухарки, — кухня стояла отдельно от дома, — ответил:

— Барин, это я. Телеграмму почтальон принес.

Агапов отпер. Отстранив кухарку, в дверь быстро вошли три солдата с винтовками. Один, высокий, властно спросил:

— Ты — купец Агапов?

— Я.

Ноги затопали, три дула быстро вскинулись и уставились ему в грудь. Свеча в руке Агапова запрыгала.

— Погодите... Товарищи! В чем дело?

— Конtribusiция на тебя наложена. Пять тысяч рублей.

Агапов ласково улыбнулся.

— Конtribusiция? Превосходно. Раз наложена, то я что же? Я ничего возразить не могу... Сейчас вам вынесу.

Он торопливо вышел в дверь направо. Бледная кухарка тяжело вздыхала. Солдаты смотрели на блестящий паркет, на большой черный рояль. Высокий подошел к двери налево и открыл ее. За ним оба другие пошли. На потолке висел розовый фонарь. Девушка, с обнаженными руками и плечами, приподнявшись на постели, испуганно прислушивалась. Она вскрикнула и закрылась одеялом. Из темноты соседней комнаты женский голос спросил:

— Ася, что это ты?

— Что вам нужно? — спросила Ася.

Солдаты, не отвечая, стояли посреди комнаты и с жадным любопытством оглядывали бледные шелки кушеток, снимки с Беклина²⁷ на стенах, кружева больших подушек вокруг черноволосой девичьей головки. Вдыхали розовый сумрак, пропитанный нежным ароматом.

В дверях ласково зажурчал голос Агапова:

— Товарищи, вот вам деньги. Пожалуйста в зал. Вы не беспокойтесь, тут вам делать нечего.

Из-за него выглядывала его жена, бледная, в ночной кофте.

Высокий коротко сказал:

— Обыск нужно сделать.

— Вы чего же ищете?

Солдат подумал.

— Оружие.

Он подошел к туалету и стал выдвигать ящички. Нашел два футляра с колечками и опустил колечки в карман. Венецианское зеркало туалета с невиданною четкостью отразило его лицо. Он выпрямился и подправил черные свои усики; заглянул в зеркало и другой солдат, совсем молодой. Его Агапов с удивлением вдруг узнал. Это был Мишка, сын штукатура Глухаря. И третьего он узнал, — прыщеватого, с опухлым лицом: тоже деревенский, Левченко.

Глухарь взял со столика, около кровати, золотые часики.

— Борька, вот еще.

Высокий подошел. Он оглядел покрытую одеялом девушку.

— Что это у тебя на руке? Покажь.

Ася робко протянула нагую руку с гладким золотым браслетом.

— Сымай.

Она сняла и подала.

— Слазь с кровати. Обыск нужно сделать. Может, у тебя оружие под тюфяком.

Девушка растерянно приподнялась, закрываясь одеялом.

— Ну, ну, слазий!

Он сдернул одеяло. Как в горячем сне, был в глазах розовый, душистый сумрак, и белые девические плечи, и колеблющийся батист рубашки, гладкий на выпуклостях. Кружило голову от сладкого ощущения власти и нарушаемой запретности, и от выпитого вина, и от женской наготы. Мать закутала Асю одеялом. Из соседней комнаты вышла, наскоро одетая, Майя. Обе девушки сидели на кушетке, испуганные и прекрасные. Солдаты скидывали с их постелей белые простыни и тюфяки, полные тепла молодых тел, шарили в комодах и шкапах.

Потом они вышли в залу. Высокий сказал:

— До утра никому не выходить. И про все молчать. Коли станете рассказывать, воротимся и всех постреляем.

Они ушли, оставив дверь террасы настежь. Агапов запер дверь. Взволнованные, долго все сидели в Асиной спальне и обменивались впечатлениями. Кухарка рассказывала, как солдаты наставили на нее винтовки и принудили сказать про телеграмму. Валялись на полу затоптанные сапогами простыни, тонкий аромат духов мешался с запахом застарелого пота и винного перегара. Уже стало светать, когда все разошлись и легли спать.

Опять в дверь террасы раздался стук, — на этот раз сильный и властный. В спальне девушек голос с отчаянием сказал:

— Господи, когда же конец!

Вошли солдаты с винтовками и впереди — командир с револьвером у пояса.

— Оружие есть у вас? Бинокли, велосипеды? Военное обмундирование?

Агапов бледно и ласково улыбнулся.

— Этого ничего нету, товарищи. А золото, какое было, и наложенную контрибуцию сегодня ночью ваши уже взяли.

Командир, с седым клоком в темных волосах, удивленно поднял брови.

— Наши? Какую контрибуцию?

— Не знаю-с. Взыскали пять тысяч.

Командир закусил губу.

— Я сейчас велю выстроить перед вами весь наш отряд. Укажите, кто это сделал.

— Из вашего ли отряда, не знаю. Солдаты, но только здешние, деревенские.

— Кто такие?

— Извините, дал им слово их не называть.

— Все равно, назовете.

— Претензий на них я не имею.

— Я вас про это не спрашиваю. Потрудитесь назвать, кто такие. Агапов огорченно улыбнулся и развел руками.

— Не могу-с!

— Товарищи, нарежьте в саду розог и снимите с него пиджак. Будем вас сечь, пока не назовете.

— Ну, это зачем же-с!.. Коли так, то, конечно... Глухарь Михайло, сын штукатура, и Левченко Игнат, недавно воротился из австрийского плена. Третьего не знаю, не здешний,— высокий, с черными усиками, товарищи называли его Борька.

— Хорошо. Сейчас сделаем у них обыск. К двенадцати часам приходите в ревком.

И, не делая обыска, они ушли.

* * *

Катя встала с солнцем. Выпустила и покормила кур. Роса блестела на листьях и траве. По затуманенной глади моря бегали под солнцем и ныряли тусклые красно-золотые змейки. По подъемам Кара-Агача клубились облака, но острая вершина его твердо темнела над розовым туманом.

Давно так сладко и так крепко Катя не спала, как в эту ночь. Тяжелый камень, много месяцев несознательно давивший душу, вчера вдруг сдвинулся, и душа — помятая, слезавшаяся — блаженно расправлялась, недоумевая и не веря свободе. Жадно дышала грудь крепким морским воздухом, солнце пело и звенело в душе. С Катей это часто бывало: вдруг как будто совсем другими стали глаза, все обычное, примелькавшееся встало пред ними, как только что возникшее чудо. Она неподвижно стояла среди сада и в остолбении смотрела.

Медленно ступала по траве около колодца невиданно огромная и красивая птица с огненно-красной шеей, с пышным хвостом, отливавшим зеленою чернью... Петух? Это — «просто» петух? Миллионы лет, в муках, трудах и борьбе, создавалась из первобытной слизи эта сверкающая красота,— и вот шагает по траве простой петух, и никто не чувствует, во что обошелся он жизни, и какой он чудесно необычайный... Из косной земли выползло что-то гибкое,

ярко-зеленое, живое и светится под солнцем кустами барбариса. В тысячеуевиковый миг с чудовищными усилиями слились друг с другом мертвые частицы,— и весело перебегает через шоссе осознавшая себя жизнь, забывшая о заплаченных судьбе невероятных своих страданиях. Смеется смуглое личико, тонкий стан качается, качаются на коромысле ведра, и сверкающие капли падают с них на дорогу.

Калитка протяжно скрипнула. С шоссе входили в сад два солдата с винтовками, с красными перевязями на руках. Катя весело спросила:

- Вам чего, господа?
- Оружие есть у вас?
- Нету.

Солдаты направились к дому. Не стучась, вошли в кухню. Иван Ильич умывался у раукомойника, Анна Ивановна поджаривала на сковородке кашу. Когда солдаты вошли с Катею, Иван Ильич повернул к ним свое лицо с мокрой бородой, Анна Ивановна побледнела. Иван Ильич спросил:

- Что скажете, граждане?

Враждебно глядя, один из солдат, с белыми бровями и усиками на загорелом лице, сказал:

— Пришли обыск сделать. Оружие есть у вас? Если бинокли есть, велосипеды, одежда военная,— должны выдать.

Иван Ильич брезгливо повел на них глазами.

- Обыскивайте.

И стал вытираться полотенцем.

Солдаты неуверенно оглядели закопченную кухню, заглянули в убогую Катину каморку, потом пошли в спальню. Было грязно, бедно. Белоусый для виду приподнял за угол тюфяк неубранной постели.

- Ну, что же! Нету ничего,— обратился он к товарищу.

Катя рассмеялась. Ей милы были их конфузливые лица и неуверенность.

— Да разве так обыскивают? Так вы ничего не найдете. У нас тут под тюфяком спрятано три пулемета.

- Нет, что ж!.. Сразу выдать, что ничего нету.

Они пошли назад в кухню. Катя сказала:

- Садитесь, попьем чайку.

Солдаты удивились, переглянулись и со смущенною улыбкою ответили:

- Ну, спасибо. Сегодня ничего еще не пили, не ели.

Они поставили винтовки свои в угол.

Пили из кружек горячий настой шиповника, закусывая хлебом. Катя жадно спрашивала. Белоусый, с посверкивающим улыбкою загорелым лицом, рассказывал:

— Мы составили свой партизанский отряд, дали клятву беспощадной борьбы и железной дисциплины. Командир у нас лихой — товарищ Седой. Сознательный человек. Всем беспонятным дает понятие.

— А сами вы кто?

— Мы рабочие, из города.

— Отчего же вы такой загорелый?

— В горах уж целый месяц — на ветру, на солнце. Ушли от кадетов, сорганизовались, чтоб начать у них в тылу партизанскую борьбу, а тут как раз наши подошли от Перекопа.

— Вы сами тоже, значит, большевики?

Он с удивлением поглядел на Катю.

— Ну да!

Иван Ильич спросил:

— А что такое большевизм?

Солдат с готовностью стал объяснять:

— Большевизм, это — за рабочую власть. Чтоб вся власть была у рабочих и крестьян. Сделать справедливый трудовой строй.

— И крестьянам чтоб была власть? Почему же вы тогда против Учредительного Собрания? Крестьян и рабочих в России море, а буржуазии — горсточка. Что кому помешало бы, если бы в Учредительном Собрании был десяток представителей от буржуазии? А между тем тогда всем было бы видно, что это всенародная воля, и всякий бы пред нею преклонился.

Солдат улыбнулся.

— Я вам сейчас все это объясню вполне полноправно. Мужик — темный, его всякий поп проведет и всякий кулак. А мы, рабочий класс, его в обиду не дадим, не позволим обмануть.

— Напрасно вы думаете, что наш мужик такой дурачок. И напрасно думаете, что у него нет своих интересов, отличных от интересов рабочего класса.

— Ваня! — позвала из спальни Анна Ивановна.

Иван Ильич пошел к ней. Анна Ивановна шепотом накинулась на него.

— Ваня, да что ж ты это? Арестуют они тебя, — а там вдруг откроется, что ты бежал из России. Ведь вот какой неугомонный!

— Э, ч-черт! — Иван Ильич махнул рукою и лег на постель.

Солдат с любопытством спрашивал Катю:

— А вы за кого стоите?

— Я стою за социализм, за уничтожение эксплуатации капиталом трудящихся. Только я не верю, что сейчас в России рабочие могут взять в руки власть. Они для этого слишком неподготовлены, и сама Россия экономически совершенно еще не готова для социализма. Маркс доказал, что социализм возможен только в стране с развитою крупною капиталистическою промышленностью.

Солдаты с недоумением смотрели на нее, и лица их становились все более настороженными. И все больше сама Катя чувствовала, что для них, сейчас, при данном положении, то, что вытекало из ее слов, было еще более нежизненно, чем тот утопический социализм, о котором она говорила.

Белоусый поднял брови, подумал и сказал:

— Вы говорите, вы за рабочих? Так как же теперь? Мы, значит, власть взяли,— и отдать ее назад буржуазии, чтоб она развивала эту самую промышленность?

— Отдавайте, не отдавайте, а она все равно власть себе заберет. Или Россия совсем развалится.

Другой красноармеец — желто-бледный, с черной бородкой — резко спросил:

— А скажите,— вот эта дачка,— ваша, собственная?

— Ну... Ну, да, наша! Но что же это меняет?

Он встал, взял из угла винтовку и пренебрежительно ответил:

— Ничего... Спасибо за угощение.

Они пошли из кухни. Катя провожала их до калитки. С черной бородкой сказал:

— Вот, брат Алеха, дело-то какое выходит, а? Пойдем-ка в город, поищем буржуев,— может, какие еще остались. Отдадим им винтовки свои,— виноваты, мол, ваше степенство, получайте власть назад!

Катя радостно смеялась.

— И все-таки,— все-таки я очень рада, товарищи, что видела вас. Вы действительно товарищи, вас я так могу называть... А то — хулиганы, грабители, обвешались золотыми цепочками, брильянты на пальцах, у мужика в вагоне отбирают последний мешок муки, и все — «товарищи».

По шоссе проходил красноармеец с винтовкой. Он крикнул:

— Гришка, Алешка! В двенадцать часов собирайтесь к ревкому! Бандитов судить.

* * *

Катя тоже пошла к двенадцати часам.

На площади, перед сельским правлением, выстроился отряд красноармейцев с винтовками, толпились болгары в черном, дачники. Взволнованный Тимофей Глухарь, штукатур, то входил, то выходил из ревкома. В толпе Катя заметила бледное лицо толстой, рыхлой Глухарихи, румяное личико Уляши. Солнце жгло, ветер трепал красный флаг над крыльцом, гнал по площади бумажки и былки соломы.

Из ревкома вывели под конвоем Мишку Глухаря и Левченко, с оторопелыми, недоумевающими глазами. Следом, решительным шагом вышел командир отряда, в блестящих лакированных сапогах и офицерском френче. Катя с изумлением узнала Леонида. С ним вместе вышел Афанасий Ханов, председатель временного ревкома, и еще один болгарин, кряжистый и плотный, член ревкома.

Леонид остановился у перил крыльца и привычно громким, далеко слышным голосом заговорил:

— Товарищи! Героическим усилием рабочих и крестьян в Крыму свергнута власть белогвардейских бандитов. Золотопогонные сынки помещиков и фабрикантов соединились в так называемую добровольческую армию, чтоб удушить рабочий народ и отобрать у него

обратно свои поместья и фабрики. Рабоче-крестьянская красная армия раздавила гнездо этих гадов. От нас не будет пощады никому, кто жил чужим трудом, кто сосал кровь из трудящихся. Мы выгоним их из роскошных дворцов и вилл, обложим беспощадной контрибуцией, отберем съестные припасы и одежду, заставим возратить все награбленное...

Слова были затасканные и выдохшиеся, но от грозного блеска его глаз, от бурных интонаций голоса они оживали и становились значительными. Леонид продолжал:

— Но, товарищи, это не значит, что наша Советская Социалистическая Республика разрешает любому желающему грабить всякого встречного буржуя и набивать себе карманы его добром. Все имущество буржуазии принадлежит республике трудящихся, помните это! Только она будет отбирать у них имущество, чтоб по справедливости разделить между нуждающимися... Между тем сегодня ночью три человека, — два из них — вот они, третий скрылся, — записавшись вчера вечером в Красную армию, ночью сделали налет на поселок, взыскали в свою пользу контрибуцию с гражданина Агапова, награбили у него золотых вещей, белья, даже женских рубашек. При обыске мы нашли у них эти вещи...

Солдаты с загорающим негодованием слушали. И было это опять не от слов, а от грозного возмущения, каким горели слова, от гипнотического заражения ощущением неслыханной позорности совершенного.

— Гражданин Агапов! Расскажите, как было дело.

Выступил Агапов, с приплюснутым спортсменским картузиком на голове. Сладко и виновато улыбаясь, он рассказал, как его грабили, всячески смягчая подробности, и прибавил, что злобы не имеет и просит простить обвиняемых.

Леонид обратился к болгарам:

— Вы, товарищи, имеете что-нибудь против гражданина Агапова?

Из толпы неохотно ответили:

— Что ж иметь... Дачник как дачник.

Леонид вызвал барышень Агаповых. Ася, с вспыхнувшими злобою красивыми глазами, указала на Мишку Глухаря:

— Вот этот взял у меня со стола золотые часики.

Агапов растерянными, говорящими глазами старался удержать дочь, но она нарочно не смотрела на него. Вдруг старик Глухарь резко спросил:

— А скажи, где твой брат?

Ася смутилась.

— Какой брат?

— Како-ой!.. Не знаешь? Ну-ка, подумай!

— Мы о нем уж полгода не имеем вестей.

— Ишь ты, как! Не имеешь! Ну, а я имею. Он в кадетях служил офицером.

— Это мы исследуем,— зловеще сказал Леонид и обратился к арестованным:

— Что вы скажете?

Парни в один голос ответили:

— Пьяны были, товарищ начальник! Ничего не помним. Мы думали, что Борька Матвеев по приказу действует.

Леонид сурово оглядел их.

— Вы этого не могли думать. Всем записавшимся в наш отряд я вчера вечером ясно сказал, что грабить мы не позволяем... Товарищи! — обратился он к своему отряду.— Наша Красная рабоче-крестьянская армия — не белогвардейский сброд, в ней нет места бандитизму, мы боремся для всемирной революции, а не для того, чтоб набивать себе карманы приятными разными вещичками. Эти люди вчера только вступили в ряды Красной армии и первым же их шагом было идти грабить. Больше опозорить Красную армию они не могли.

И как будто стальная молния пронизала напоенный солнцем воздух:

— ...Я предлагаю им наказание: расстрел!

Толпа глухо охнула. Арестованные побледнели и затряслись. Короткий стон выделился из гула. Глухариха с мертвенно-бледным лицом и закрытыми глазами валилась на руки соседок.

Леонид обратился к своему отряду:

— Как вы, товарищи?

— Расстрел! — пронеслось по рядам, и защелкали затворы винтовок.

Крестьянская толпа взволнованно гудела. Выделился голос:

— Не надо расстрела. Выпороть довольно...

— Выпороть! — подхватила толпа.

Леонид помолчал.

— Хорошо. Предлагаю пятьдесят розог...

— Много!

— Ну, двадцать пять. Больше разговаривать нечего... Товарищи, нарежьте розог!

Выступил Агапов.

— Прошу слова... Я бы предложил для светлого праздника совсем их простить. Они это сделали по неосознанности, сами теперь жалеют, а мы на них зла не имеем.

Леонид резко оборвал его:

— Приговор уже произнесен!

Красноармейцы шли от огорода с нарезанными прутьями. Парни трясущимися руками стягивали через головы рубашки.

Со смутным чувством омерзения и торжества Катя то взглядывала, то отворачивалась. Белели спины, мелькали прутья, слышались мальчишеские жалобные вопли. Уляша, вытянув голову, жадно и удивленно смотрела через плечи мужиков. Нервно смеясь, Катя подошла к ней.

— Ну, что, Уляша, большевизм, это — дачи грабить?

Уляша застенчиво улыбнулась и опустила глаза. Катя, сквозь стыд, сквозь гадливую дрожь душевную, упоенно торжествовала,— торжествовала широкою радостью освобождения от душевных запретов, радостью выхода на открывающуюся дорогу. И меж бараньих шапок и черных свит она опять видела белые спины в красных пологах, и вздрагивала от отвращения, и отворачивалась.

Громко раздался в тишине голос Леонида:

— Теперь вы будете отправлены на фронт, в передовую линию, и там, в боях за рабочее дело, искупите свою вину. Я верю, что скоро мы опять сможем назвать вас нашими товарищами... А третьего мы все равно отыщем, и ему будет расстрел... Товарищи! — обратился он к толпе.— Мы сегодня уходим. Красная армия освободила вас от гнета ваших эксплуататоров, помещиков и хозяев. Стройте же новую трудовую жизнь, справедливую и красивую!

Потом выступил Афанасий Ханов. Он говорил путано, сбиваясь, но прекрасные черные глаза горели одушевлением, и Катя прочла в них блеск той же освобождающей радости, которая пылала в ее душе.

— Товарищи! Мы сейчас, значит, слышали, что вам объяснил товарищ Седой. И он говорил правильно... Теперь, понимаете, у нас трудовая власть и, конечно, советы трудящихся... Значит, ясно, мы должны о р г а н и з о в а т ь с я и, конечно, устроить правильно большое дело... Чтобы не было у нас, понимаете, богатых эксплуататоров и бедных людей...

Катя шла домой коротким путем, через перевал, отделявший деревню от поселка. Открывалась с перевала голубая бухта, красивые мысы выбегали далеко в море. Белые дачи как будто замерли в ожидании надвигающегося вихря. Смущенно стояла изящная вилла Агаповых, потерявшая уверенную свою красоту. Кате вдруг вспомнилось:

Я трагедию жизни претворю в грезо-фарс...

Подведенные девичьи глаза, маленький креольчик и лиловый негр из Сан-Франциско... И грубая, мутно бурлящая новая жизнь, чудовищною волною подлинных трагедий взмывшая над этою тихую, ароматно-гнилою заводью.

Толстый слой льда, оковывавший душу Кати, растрескался, и шел бурный ледоход, полный радостного шума и весеннего счастья самоосвобождения.

* * *

Около двух часов дня в автомобиле с красным флагом по шоссе пронеслись матросы. А в четвертом часу к Ивану Ильичу пришел худенький, впалогрудый почтальон с кумачным бантиком на груди, с огромной берданкой и передал приказ ревкома явиться к четырем часам в сельское правление.

— Зачем?

— Не знаю. Приказано собраться всем взрослым мужчинам из... — Он конфузливо улыбнулся... — из буржуазии. Кто не придет, — на расстрел.

Иван Ильич захохотал.

— Вот так, вы меня возьмете и застрелите?

Почтальон виновато улыбнулся.

— Значит, и пожалуйте.

Катя пошла вместе с отцом. В сельском правлении собралось много дачников. Сидели неподвижно, с широко открытыми глазами, и изредка перекидывались словами. Были тут и ласково улыбающийся Агапов, и маленький, как будто из шаров составленный, владелец гостиницы Бубликов. В углу сидел семидесятилетний о. Воздвиженский, с темным лицом, и тяжело, с хрипом, дышал. Афанасий Ханов, бледный и взволнованный, то входил в комнату, то выходил.

Иван Ильич спросил его:

— Чего это вы нас сюда согнали?

— Не знаю. Комендант Сычев приказал. Он сейчас приедет из Эски-Керыма.

Вошел артист Белозеров, с пышным красным бантом, с неподвижным и торжественным лицом. В руках у него была бумажка и карандаш. С ним вошел студент Вася Ханов, племянник Афанасия, красивый мальчик болгарин с черными бровями.

Белозеров сел к закапанному чернилами столу.

— Граждане! Прошу вас поочередно подходить к столу, я должен всех вас переписать.

Иван Ильич громко спросил:

— А позвольте узнать, с кем мы имеем дело?

— Член ревкома, — коротко ответил Белозеров, не глядя на Ивана Ильича.

Всех переписали.

Прошел час, другой. Комендант не приезжал. Собранные покорно ждали. Только Иван Ильич возмущенно ходил большими шагами по комнате. Когда вошел Ханов, он сердито спросил:

— Послушайте, господин, долго вы нас тут будете держать?

Ханов сконфуженно пожал плечами.

— Пойду еще позвоню по телефону.

Позвонил в Эски-Керым. Комендант-матрос ответил: — Всем ждать! Приеду.

Солнце склонялось к горам. Местные парни с винтовками сидели у входа и курили. Никого из мужчин не выпускали. Катя вышла на крыльцо. На шоссе слабо пыхтел автомобиль, в нем сидел военный в суконном шлеме с красной звездой, бритый. Перед автомобилем, в почтительной позе, стоял Белозеров. Военный говорил:

— Белозеров, артист государственных театров? Как же, как же! Я вас слышал в Петрограде... А это что там за народ?

— Буржуев собрали, по приказу товарища коменданта.

— А-а! — зловеще протянул военный.— Ну, до свидания! Очень приятно таких людей встречать в наших рядах.

Он благосклонно протянул руку Белозерову. Автомобиль мягко сорвался и поплыл по шоссе. Белозеров пошел к крыльцу. Катя пристально смотрела на него. Белозеров поспешил согнать с лица остатки почтительно-радостной улыбки.

Еще час прошел. Звенел телефон в соседней комнате. Темнело. В правление вошли Ханов и Белозеров.

Белозеров, с серьезным и непроницаемым лицом, сказал:

— Граждане! Я должен объявить вам печальную весть... А впрочем,— для многих, может быть, и радостную,— поправился он.— Вы тоже имеете возможность послужить делу революции. Вы отправляетесь на фронт рыть окопы для нашей доблестной Красной армии.

Все молчали. Стало тихо. Слышно было только хрипящее дыхание о. Воздвиженского.

Иван Ильич резко и властно сказал:

— На окопные работы, по советскому декрету, отправляются мужчины только до пятидесяти лет, здоровые. А здесь есть больные, старики.

Белозеров и Ханов недоуменно переглянулись. Опять пошли к телефону. Воротились. Белозеров объявил:

— Все мужчины, без всяких исключений! Больные и старые,— все равно. Все должны отправиться сегодня ночью. Предлагаю вам, граждане, к одиннадцати часам ночи собраться к кофейне Аврамиди. Должны явиться все записанные, под страхом революционной ответственности.

И он вышел. Катя налетела на Ханова.

— Как же так? Что это за распоряжение нелепое?

Ханов растерянно поежился.

— Сычев по телефону велел всех представить. Больных хоть на койках тащить. Если кого оставим, весь ревком на мушку.

— Да поймите, как же больной на койке будет рыть окопы? Вот, например, батюшка Воздвиженский. Ведь вы же сами понимаете,— нелепость!

И вдруг с холодным, усталым ужасом чей-то женский голос произнес:

— Господи! Их везут расстрелять!

Трепет пробежал по всем. Бледный Ханов вышел. Взволнованно стали расходиться.

Иван Ильич с Катей воротились домой. Был уже девятый час вечера. Анна Ивановна торопливо собирала белье и еду. Когда Иван Ильич вышел в спальню, она растерянно взглянула на Катю и сказала:

— Леонид объявит там, что Иван Ильич бежал из России от чрезвычайки.

Катя нетерпеливо воскликнула:

— Ах, мама, ну что за вздор говоришь!

Вошел Иван Ильич, они замолчали. Катя, спеша, зашивала у копилки продранную в локте фуфайку отца. Иван Ильич ходил по кухне посвистывая, но в глазах его, иногда неподвижно останавливавшихся, была упорная тайная дума. Катя всегда ждала в будущем самого лучшего, но теперь вдруг ей пришла в голову мысль: ведь правда, начнут там разбираться, — узнают и без Леонида про Ивана Ильича. У нее захолонуло в душе. Все скрывали друг от друга ужас, тайно подавливавший сердце.

Только что поужинали, опять явился почтальон с винтовкой и уже сурово сказал:

— Что ж не идете? Все уж собрались, вас ждут. Приказано вас привести.

Катя властно ответила:

— Можете идти. Мы сейчас выходим.

Почтальон помялся, сказал: «Поскорее велели!» и ушел.

Оделись. Катя взяла саквояж. Иван Ильич остановился у двери:

— Ну, Анечка, тут простимся!

Он мягко улыбнулся беззубым ртом и раскрыл объятия жене. Анна Ивановна всхлипнула и припала к нему.

— Старенькая моя! — умиленно сказал он, и гладил рукою ее волосы.

Потом лицо его стало серьезным и прислушивающимся, он снял с пальца обручальное кольцо и протянул жене. Анна Ивановна отшатнулась.

— Ваня, что это ты!.. Зачем мне твое кольцо? Ведь это... Это только у покойников берут!

С тихой улыбкою Иван Ильич ответил:

— Может быть, так надо!

И они опять прильнули друг к другу.

— Ну, идем! — весело сказал Иван Ильич.

У кофейни стояло несколько мажар. Старуха жена и дочь поддерживали под руки тяжело хрипящего о. Воздвиженского, сидевшего на ступеньке крыльца. Маленький и толстый Бубликов, с узелком в руке, блуждал глазами и откровенно дрожал. С бледною ласковою улыбкою Агапов рядом с хорошенькими своими дочерьми. Болгары сумрачно толпились вокруг и молчали. Яркие звезды сверкали в небе. Вдали своим отдельным, чуждо-ласковым шумом шумело в темноте море.

Секретарь ревкома, Вася Ханов, с заплаканными глазами, отмечал по списку отправляемых. И вдруг у всех еще крепче стала мысль, что везут на расстрел.

Густо усадили арестованных в мажары. Рядом с возницами село по милиционеру с винтовкой. Подошел подвыпивший, как всегда, столяр Капралов. Поглядел, покрутил головою.

— Гм! Советская Федеративная Республика!

У крыльца была суета.

— Доктор, помогите! — позвали Ивана Ильича.

Старик священник лежал в обмороке.

— Скорее, граждане! — торопил Афанасий Ханов.

Иван Ильич осмотрел больного, пощупал пульс и суровым, не допускающим возражений голосом громко сказал:

— Гражданин Ханов! Этого больного нужно оставить, его нельзя везти.

Афанасий Ханов истерически крикнул:

— Что это такое? Прошу вас не рассуждать, товарищ доктор. Вас никто не спрашивает! Поднимите его, положите в мажару! — приказал он болгарам.

— Я вас предупреждаю, гражданин Ханов, что больной не вынесет дороги. Ответственность я возлагаю на вашу совесть!

— Не ваше дело! Прошу не разговаривать! — взволнованно кричал Ханов.

Священника положили в подводу. Капралов смотрел, сложив руки на груди.

— Гм! Федеративная Республика!

Мажары двинулись. Женщины рыдали. Только Анна Ивановна смотрела вслед скрипевшим подводам, поджав губы, без слезинки, — она привыкла к непрерывным бедам, сыпавшимся на мужа всю его жизнь.

Болгары тихо переговаривались.

— Запьянствовал комендант в Эски-Керыме, потому сам не приехал.

— Это Васька Сыч, комендант-то! Я его сразу признал. До войны известный вор был в порту, а теперь гляди, — комендант, на машине ездит.

Кате не позволили ехать с отцом. Она бросилась в деревню, узнала, что ночью едет в город закупщик кооператива, устроилась с ним. Выехали они глухою ночью. Из моря вылез огромный, блестящий Скорпион и сидел в небе, поджав хвост. На перевале подул холодный ветер. Восток побледнел. За мостом подвода обогнала ряд мажар, густо усаженных арестованными с соседних дачных поселков. Молодые люди в изящных шляпах; толстый старик еврей с глазами навывкате и отвисшею губою; сизолицый отставной полковник. Сзади — линейка с пьяными красноармейцами. На шоссе-ных откосах в глубокой предрассветной дреме кивали головками красные и желтые тюльпаны. Взошло солнце. Внизу, у бухты, голубел город, окутанный дымкою, сверкали кресты церквей, серели острые стрелки минаретов.

От возвращавшихся болгар-подводчиков Катя узнала, куда отвезли арестованных. По набережной тянулись дворцы табачных фабрикантов-миллионеров. Среди них белел огромный особняк с воздушными шпицами, похожий на дворец Гарун-аль-Рашида²⁸ в сказках. Над чугунными решетчатыми воротами развевался

красный флаг. Два часовых с винтовками отгоняли толпу женщин, теснившихся к решетке.

Сбоку дома солдаты выводили из подвалов арестованных, кричали на них, ругали матерными словами:

— Стройся вдоль стенки! В затылок!.. Куда прешь, борода? Вот я тебе, ай не знаешь? А еще генерал!

Солдат замахнулся прикладом на худощавого, сгорбленного генерала с седой бородой.

Толстая дама в шляпке сказала упавшим голосом:

— К стенке строят, расстреливать будут!

Мастеровой в отрепанном пиджаке возразил тоном опытного человека:

— Нет, в два ряда строят. Значит, не на расстрел.

Другая дама униженно говорила часовому:

— Вы мне позвольте только пальто передать мужу. Подняли его ночью, в одном пиджаке увезли,— как же он там, в окопах...

— А прикладом в спину хочешь?

Катя вскипела.

— Почему вы ей говорите «ты»?! Мы вам «вы» говорим. Советская власть это отменила, чтобы гражданам говорить «ты»?! Это только в царское время так становые да урядники разговаривали с людьми.

Солдат с удивлением оглядел ее.

— А за решетку хочешь? Вот я тебя сейчас в подвал отправлю.

— Нет, не отправите, не имеете права.

От ее решительного тона он замолчал и отвернулся.

Нервная дама в пенсне приставала к другому часовому:

— Но ведь мой муж — советский служащий, доктор. Вот документы. Дайте же мне пройти.

— Нельзя, товарищ!

— Его же расстреляют!

Часовой успокоительно сказал:

— Нет, только в окопы пошлют. Вон струмент раздают... Ничего, пушай, поработают в окопах.

— Да ведь он больной совсем!

Мастеровой в пиджаке враждебно возразил:

— «Больной». Что ж, что больной, за вас там даже безрукие сражаются, кровь свою проливают.

Подкатил автомобиль, развевались по ветру гвардейские желто-оранжевые ленточки матросских фуражек.

— Комендант!.. Сычев!

— Который?

— Вон тот, рыжий.

Дама в пенсне кинулась к нему.

— Товарищ комендант! Мой муж арестован, а он советский служащий, вот документы.

— К черту ступай! — Комендант отмахнулся и с другими матросами вошел в ворота.

Катя видела сквозь решетку, как его обступили арестованные. Комендант кричал, закинув голову и тряся кулаком, сыпал ругательствами. Катя поняла, что он совершенно пьян и ничего не станет слушать.

— Гнать всех в окопы! Никаких разговоров! — крикнул матрос и по мраморным ступеням вошел в парадный подъезд.

В толпе арестованных Катя увидела высокую фигуру отца с седыми косицами, падающими на плечи. Ворота открылись, вышла первая партия, окруженная солдатами со штыками. Шел, с лопатой на плече, седобородый генерал, два священника. Агапов прошел в своем спортсменском картузике. Молодой горбоносый караим²⁹, с матовым холемым лицом, в модном костюме, нес на левом плече кирку, а в правой руке держал объемистый чемоданчик желтой кожи. Партия повернула по набережной влево.

Подкатил к воротам другой автомобиль, вышло трое военных. В одном из них Катя узнала Леонида.

— Леонид!

Он удивился.

— Катя! Ты как здесь?

— Папу забрали, гонят на окопные работы.

— Что за нелепость! Ведь ему шестьдесят пять лет.

— И не только его. Посмотри, какие старики там, есть совсем больные... Священник Воздвиженский...

Леонид, не слушая дальше, прошел в подъезд.

Через минуту вышел красноармеец, выкликнул Ивана Ильича. Катя видела сквозь решетку, как отец спорил с ним, как тот сердился и на чем-то настаивал. Подошел другой солдат и взял Ивана Ильича за рукав. Иван Ильич выдернул руку.

— Э, черт! Еще разговаривать с тобой!

Солдат крепко схватил Ивана Ильича за руку под плечом, вывел за ворота и толкнул в спину.

— Ступай!

От толчка Иван Ильич пробежал несколько шагов поперек панели. Катя бросилась к нему.

— В чем дело?

Иван Ильич, не глядя на нее, быстро шагал вдоль набережной. Катя побежала за ним.

— В чем дело? Папа, что они с тобой?

Он остановился.

— Это что? Твои хлопоты? По протекции освободили? Через «товарища Леонида»? С какой стати мне одному уходить? Не благодарю тебя.

— Ну, папа... Погоди...

— Старик Воздвиженский умер ночью у нас в подвале.

Катя ахнула.

Загудела сзади сирена. Леонид со спутниками ехал на автомобиле. Катя остановила его.

— Леонид, одного только папу освободили. А там много еще стариков, больных. Священника Воздвиженского забрали совсем больного, он у них ночью умер в подвале.

Спутники Леонида насмешливо смотрели на Катю. Леонид нетерпеливо нахмурился.

— Освободили тебе его, чего же еще?

— А других? А за то, что комендант этого больного священника велел забрать, умирающего, и он умер?.. Это декрет запрещает. Неужели он не ответит?

— Извини, мне некогда... Товарищ шофер, можно ехать.

* * *

Через несколько дней почти все арестованные воротились домой. Командующий фронтом отправил их обратно, заявив: «На что мне эта рухлядь?»

Часть вторая

В Отделе народного образования,— сокращенно: «Отнаробраз»,— работа была ключом. Профессор Дмитревский, оказалось, был еще и прекрасным организатором. Комиссаром его не утвердили,— он был не коммунист. Комиссаром был юный студент-математик, не пытавшийся проявлять своей власти и конфузливо уступивший руководство Дмитревскому. Официально Дмитревский числился членом коллегии.

Он привлек к работе лучших местных педагогов и деятелей народного университета. Вводилось в школы трудовое начало, организовались вечерние курсы и рабочие клубы, расширена программа народного университета, намечалась сеть подвижных библиотек по уезду, увеличение числа школ. Педагоги сначала настроенно следили за начинаниями профессора: они ждали, что командовать над ними поставят школьных сторожей и ломовых извозчиков. Увидели, что не так, и охотно взялись за работу. Катю Дмитревский сделал своим секретарем. Ей много приходилось принимать рабочих, крестьян, и весело было иметь с ними дело.

И весело было, что смело ломались все застывшие формы школьного дела, что выносились из школ иконы, что баричи-гимназисты сами мыли полы в классах, что на гимназических партах стали появляться фабричные ребяташки. И хорошо было, что Дмитревский умел устранить из всего этого всякий оттенок измывательства. Он сам посещал школы, беседовал с учениками, объяснял им, что не нужно стыдиться физического труда, что религия — это

частное дело каждого, что предметам одного религиозного культа не место в школах, где для совместного обучения сходятся люди самых разнообразных вероисповеданий.

Дмитревский умел выбирать людей. Делами Отдела управлял бывший банковский служащий Гольдберг. Молодой, смуглый, с сверкающими зубами и смеющимися глазами; внутри его как будто была заложена тугая, никогда не ослабевающая пружина. Все он умел устроить, все умел добыть. Раньше всех других отделов выцарапывал жалованье для служащих, организовал совместное получение хлебного пайка, добывал удобные помещения для клубов и библиотек, охранные грамоты для теснимых ученых и художников. Самые трудные дела поручал ему Дмитревский.

— Ну, что?

— Есть! — отвечал он, плутовски смеясь глазами.

Среди милых, но пассивных и мяклых русских сотрудников он был как крутящийся волчок среди неподвижных кукол. И когда его звали:

— Арон Моисеич! — он весь взвивался и, вместо «что?», спрашивал:

— Ради бога?

Приехал из Арматлука артист Белозеров и предложил свои услуги по организации подотдела театра и искусств. Ревком дорожил именами и с радостью принял его предложение. Белозеров немедленно реквизировал только что достроенный театр частного предпринимателя, хотя театры в Крыму в то время не реквизировались. Наробраз делал объявления: «Предлагается гражданам», — Белозеров в своей области выпускал «приказы» и грозил расстрелом саботажникам, которые не регистрируют в Отделе своих музыкальных инструментов. Он быстро перезнакомился и сошелся со всеми влиятельными лицами; бывал у них на дому, пел им, пил с ними и сразу приобрел самое привилегированное положение. Заявил, что его зовут в Симферополь на крупнейший оклад, и ревком, не в пример прочим, назначил ему шестнадцать тысяч в месяц, когда все комиссары получали жалованья по одной-две тысячи. Получал он какими-то способами и вино, и сахар, и мясо. Занимал две роскошных комнаты с ванной в реквизированном особняке. И он говорил:

— По душе я всегда был коммунистом.

* * *

Кате отвели номер в гостинице «Астория». Была эта лучшая гостиница города, но теперь она смотрела грустно и неприветливо. Коридоры без ковров, заплеванные, белевшие окурками; никто их не подметал. Горничные и коридорные целый день либо валялись на своих кроватях, либо играли в домино. Никто из них не знал, оставят ли их, какое им будет жалованье. Самовары рядком стояли на лавке, — грязно-зеленые, в белых полосах. На звонки из номеров никто не шел. Постояльцы кричали, бранились. Прислуга лениво отвечала:

— Кричи не кричи, а паном все равно не будешь!

Жили в гостинице советские служащие, останавливались приезжавшие из уезда делегаты, красноармейцы и матросы с фронта. До поздней ночи громко разговаривали, кричали и пели в коридорах, входили, не стучась, в чужие номера. То и дело происходили в номерах кражи. По мягким креслам ползали вши.

Катя встретила на улице с адвокатом Миримановым. По-всегдашнему изящно одетый, в крахмальных манжетах и воротничке.

Кате понравилось, что он не старается теперь, как все, одеваться попроще. Он спросил, где она живет.

— Ради бога, переезжайте ко мне! Вы мне сделаете огромное одолжение. А то начнут уплотнять, нагонят «товарищей»... Я вам дам прекрасную комнату.

Огляделся и, понизив голос, сказал:

— Объясните мне, пожалуйста,— что же это кругом делается? Всё портят, ломают, загаживают. Ни в чем никакого творчества, какое-то сладострастное разрушение всего, что попадает на глаза. И какое топтание личности, какое неуважение к человеку!.. С гуннами вздумали устраивать социалистический рай!

Еще больше понизил голос и сказал, смеясь умными своими глазами:

— Хорошее недавно словцо сказал Ленин в интимном кругу: «Мы давно уже умерли, только нас некому похоронить». Единственная умная голова среди них.

Катя переехала к Миримановым.

* * *

Жизнь катилась, шумя и бурля,— дикая, жестокая и жуткая, сбросившая с душ все сдержки, разнуздавшая самые темные страсти.

В одной из верхних квартир дома Мириманова жил бывший городской голова Гавриленко, а у него занимала комнату фельдшерка Сорокина, служившая в госпитале. Она иногда забегала по вечерам к Кате. Рассказывала, что в госпитале назначили главным врачом ротного фельдшера, что председателем комитета служащих состоит старший санитар Швабрин. Врачей он перевел в подвальные помещения, а их квартиры заселил низшими служащими. Врача-хирурга заставил мыть полы в операционной. Больные лежат без призора, сиделки уходят с дежурства, когда хотят. Врачи не смеют им ничего сказать.

Была эта Сорокина худенькая, безгрудая, с узким тазом, и вся душа ее была в ее больных. Вот что еще она рассказывала,— и беспомощный ужас стоял в бледных глазах.

— Недавно в тюремную палату к нам перевели из особого отдела одного генерала с крупозным воспалением легких. Смирный такой старичок, тихий. Швабрин этот так и ест его глазами. Молчит,

ничего не говорит, а смотрит,— как будто тот у него сына зарезал. Как у волка глаза горят,— злые, острые. И вчера мне рассказывал генерал: Швабрин по ночам приходит — и бьет его!.. Вы подумайте: больного, слабого старика!

Для Кати ужасы жизни были эгоистически непереносимы, если смотреть на них, сложа руки, и перекипать душою в бессильном негодовании. Она кинулась отыскивать Леонида. Нашла. Он только что приехал с фронта. Злой был и усталый. Раздраженно выслушал Катю и грубо ответил:

— Эту твою фельдшерницу нужно бы арестовать и отправить в чрезвычайку, чтоб не распространяла таких клевет. Ясное дело,— большой бредит.

Но Катя видела,— в усталом взгляде его мелькнуло растерянное отчаяние, и она поняла: просто, они не в силах обуздать того потока злодейства и душевной разнузданности, в котором неслась вышедшая из берегов жизнь.

А через день утром опять пришла Сорокина. И вся дрожала крупной дрожью, и губы прыгали. И рассказала: ночью она зашла в палату, где помещался генерал, видит: лежит он на полу мертвый, с синим лицом и раскинутыми руками. Она бросилась к дежурному врачу. Пришли с ним,— труп лежит на постели, руки сложены на груди. Синее лицо с прикушенным языком, темные пятна на шее. И Швабрин пришел,— глаза бегают. Дежурный врач отказался подписать свидетельство о смерти,— говорит, нужно сделать вскрытие. А главный врач, фельдшер этот: «Чего тут вскрывать, дело ясное. Давайте, я сам подпишу».

* * *

Объявили регистрацию офицеров. Приказ заканчивался так: «Кто не регистрируется в указанный срок, объявляется вне закона и будет убит на месте».

Пришел к Миримановым их племянник Борис Долинский,— тот юноша с подведенными глазами, который тогда пел у Агаповых красивые стихи об ананасах в шампанском. Мириманов сурово глядел на его растерянное лицо с глазами пойманного на шалости мальчишки.

— Что ж, брат, этого нужно было ждать. Не хотел сражаться вместе с нашими, не хотел с ними уходить,— теперь послужишь у красных, если совесть позволяет.

— Так ведь у меня же правда туберкулез легких. Они не возьмут.

— Процесс пустяковый, ты сам знаешь. И отсрочку-то на год тебе дали только благодаря протекции генерала Холодова.

Борис истерически плакал.

— Ну, что же... Ну, ведь и ваш же Николай тоже в Красной армии...

Мириманов сердито сверкнул глазами.

— Во-первых, я этого точно не знаю. А во-вторых, если он действительно там, то уж никак не для того, чтобы способствовать торжеству «рабоче-крестьянской власти».

— Мама говорит,— пойти, зарегистрироваться.

— Конечно, что ж теперь делать. В горы ты не уйдешь.

* * *

Катя после службы зашла пообедать в советскую столовую. Столовая помещалась в нижнем этаже той же «Астории», в бывшем ресторане гостиницы. Столики были без скатертей, у немывтых зеркальных окон сохли в кадках давно не поливаемые, пыльные пальмы. Заплеванный, в окурках, паркет. Обед каждый приносил себе сам, становясь в очередь.

Сидели за столиками люди в пиджаках и в косоворотках, красно-армейцы, советские барышни. Прошел между столиками молодой человек в кожаной куртке, с револьвером в желтой кобуре. Его Катя уже несколько раз встречала и, не зная, возненавидела всею душою. Был он бритый, с огромной нижней челюстью и придавленным лбом, из-под лба выползали раскосые глаза, смотревшие зловеще и высокомерно. Катя поскорей отвела от него глаза,— он вызывал в ней безотчетный, гадливо-темный ужас, как змея.

— Товарищи, можно сесть к вашему столику?

— Пошалоста!

Это были два немецких солдата, их каски с копьевидными вершущками стояли на столе. Катя со своею тарелкою супа села к столику. И сейчас же стала жадно по-немецки спрашивать солдат,— кто они, как сюда попали, почему.

Тот, который отозвался на ее вопрос,— высокий и крепкий красавец с веселыми глазами,— рассказывал: он — спартаковец, был арестован немецким командованием за антимилитаристскую пропаганду в войсках; несколько раз его подвешивали на столбе, били. Перед уходом немцев из Крыма он бежал из-под караула.

Немец засмеялся и любовно ткнул товарища локтем в бок.

— Вот с этим парнем (mit diesem Kerl)! Он был моим караульным. Сбил его с пути истинного; изменил он кайзеру, забыл честь германского воина.

Товарищ его, с большими рыжими усами, стыдливо улыбался.

Первый с восторгом стал говорить о русских: во всемирной истории не бывало такого случая,— в первый раз не фразами одними, а делом люди пошли против войны, свергли биржевиков, которые бросили трудящихся друг на друга. И борьбу в стороны заменили борьбою вверх.

— А мы? Как ребята, мы дали затуманить себе головы нашим руководителям. Мы, дескать, не пойдем,— а вдруг те все-таки пойдут? Разве так можно было рассуждать? Все равно как при атаке: я брошусь вперед, а вдруг остальные не двинутся с места? Каждый

бросайся вперед и верь, что и другие бросятся. Только так и можно дело делать. И что теперь получилось? Цвет нации истреблен, накопленные богатства расточены, а победитель тклет паутинку и налаживается, чтобы прикинуть и пить из нас остатки крови. Конец Германии!

— А если бы вы победили, вы то же бы самое сделали с Францией.

— Ну, да (ja wohl)! В этом и ужас. Создавали культуру, науку, покоряли природу,— и все для того, чтобы превратить Европу в дикую пустыню и людей — в зверей. Какой позор (welcher Unfug)! И вдруг русские: не хотим! Довольно! Molodtzi rebjata!

И с любовью он оглядывал красноармейцев за соседним столиком, вших с заломленными на затылок фуражками.

* * *

В квартиру к Мириманову вселили десять солдат. Они водворились в кабинете Мириманова, выходявшем на садовую террасу, и в комнате рядом.

Лежали в грязных сапогах на турецких диванах. Закоптелые свои котелки ставили прямо на сукно письменного стола, на нем же и обедали, заливая сукно борщом. Жена Мириманова, Любовь Алексеевна, — полная дама с золотыми зубами, — хотела поставить им простой стол, — они не позволили. Солдаты ничего не делали круглые сутки, но пола никогда не мели. Дрова кололи на террасе, разбивая цветные плиточки мозаичного пола; а спуститься пять ступенек, — и можно было колоть на земле. За нуждой ходили в саду под окнами. Пробовал их убеждать Мириманов, пробовала Катя, — они слушали, не глядя, как будто не с ними говорили, с predetermined нежеланием что-нибудь делать, о чем просят буржуи.

Вечером Катя готовила себе ужин в саду на жаровне. На дорожке три красноармейца развели костер и кипятили в чайнике воду. Двое сидели рядом с Катей на скамейке. Молодой матрос, брюнет с огненными глазами, присев на корточки, колол тесаком выломанные из ограды тесины.

Он опустил тесак и сказал:

— А на кой они нам черт, ваши образованные? Только то и делали, что за грудки нас хватали. Миллион народу, каждый расскажет, как измывались над ним. А теперь, — «я, — говорит, — образованный!» — А кто тебе дал образование? — «Отец». — А отец, значит, нас грабил, если тебе мог дать образование, значит, и ты грабитель!

— Дело не в том. А без просвещения, без культуры вы никогда не создадите социализма.

— Мы вашу буржуазную культуру попираем ногами.

— Вы, товарищ, повторяете чужие слова, а сами их не понимаете. Вот у вас винтовки, пулеметы. Это дала буржуазная культура. Бросьте их, сделайте себе каменные топоры, как наши далекие пред-

ки. В комнатах у вас,— как загажено все, как заплевано, никогда вы их не метете. А буржуазная культура говорит, что от этой грязи разводятся вши, чихотка, сыпной тиф. К нам войдете,— никогда даже не поздороваетесь, шапки не снимете.

— А вам так нужно: «Ах, милосливая государыня! Наше вам низжайшее! Позвольте ручку поцеловать!» — Солдаты на скамейке засмеялись.— Прошло времечко!

— Нет, нужно только, чтоб вы сказали: «Здравствуйте!» Чтoб видно было, что вы по-человечески относитесь.

— Никакого человечества! Борьба классов! Весь вред — от буржуазного элементу. Как ужа вилами, прижать — и растерзать! Почему до сих пор социализму нету? От них! Саботажничают, антанту призывают! Всю эту сволочь нужно истребить, и чтоб осталась одна святость!

— Много у вас святости останется при такой кровожадности! Вот потому-то, что у вас почти все такие, социализма вы и не сможете устроить.

— Что?! — Матрос вскочил на ноги и с тесаком ринулся на Катю.— Не устроим?! — Он остановился перед нею и стал бить себя кулаком в грудь.— Поверьте мне, товарищ! Вот, отрубите мне голову тесаком: через три недели во всем мире будет социальная революция, а через два месяца везде будет социализм. Формальный! Без всякого соглашательского капитализму!.. Что? Не верите?!

Катя смеялась.

— Конечно, не верю.

— А говорите, тоже социалистка! — Матрос с изумлением оглядел ее.— Какая же вы социалистка?

Сгущались сумерки. В темноте взволнованно вспыхивал огонек папироски во рту матроса. Он мало слушал Катю и только повторял беспощадно:

— Растерзать их всех, шкуры спустить и повесить на фонарях! Пусть все видят! Уничтожить! Вот, как с офицерем было! Попищали они у нас, как погоны мы с них срывали, да в море бросали с палубы вместе с погонами ихними! А то в топку прямо,— пожарься!

Позже Катя часто припоминала тот кровавый хмель ненависти, который гудел в эти годы во всех головах и, казалось, вдруг обнаружил звериную сущность человека. И спрашивала себя через несколько лет: куда же девались эти миллионы звероподобных существ, захлебывавшихся от бурной злобы и жажды крови?

Солдат на скамейке, скуластый парень с добродушным лицом, не торопясь, рассказывал:

— Мы на фронте только в газетах прочли, что погоны снимают,— не стали и приказа ждать, прямо офицера за погоны: «Ты что, сукин сын, погоны нацепил?» Если ливарвер найдем, штык в брюхо. Согнали всех офицеров в одно место, велели погоны скидать. Иные плачут,— умора!

И другой отозвался, бородатый:

— Да, изменение большое тогда пошло. Раньше, бывало: «Ваше высокопревосходительство!» «Ваше благородие!» «Рад стараться!» А тут командиру корпуса: «Ну-ка, товарищ, дай-ка прикурить». Не даст,— в ухо!

А матрос взволнованно говорил:

— Теперь у нас разговор короткий: труд! И больше ничего! Не трудящийся да не ест! Не хочешь работать,— к черту ступай! А как раньше бывало: руки белые, миллиарды десятин у него, в коляске развалился, кучер с павлиньими перьями, а мужик на него работает да горелую корку жует!

— Вы говорите,— труд. А я вот смотрю,— меньше всех трудитесь сейчас как раз вы все. Я даже не могу понять: как не скучно так бездельничать!

Матрос опять ринулся на Катю, сумасшедше сверкая глазами.

— Что?! Бездельничаем?.. Вчера на субботнике вот как работали! До кровавых мозолей! Дрова пилили... Смотрите, руки какие! А вы что говорите!

Катя взглянула и вдруг расхохоталась. Схватила матроса за руки и потащила к костру.

— Слушайте, да что же это такое?! Ну-ка, ну-ка! Господи, какие нежные, барские ручки! Белые, мягкие и два кровавых волдырика на них!.. Посмотрите мои.

Она протянула ладони, покрытые плотными, желтыми мозолями. Матрос сконфузился и спрятал руку.

— Нет, нет, дайте мне посмотреть! Что же это такое? Я такие ручки только в последнее время у барышень видела, которые всегда в перчатках... Если сейчас людей сортировать по мозолистым рукам, то вас в первую очередь надо на мушку!.. Ха-ха-ха!

Скуластый солдат враждебно возразил:

— Мы сейчас кровь проливаем.

— «Кровь»... Вы — армия трудящихся. Глядя на вас, все мы должны уважать труд, а все только говорят: «Вот бездельники! еще больше, чем прежние офицеры!» У них тоже такие вот ручки белые были, как у вас. И они тоже говорили: «Мы кровь проливаем, потому бездельничаем».

— Вскипел, что ли, чайник?.. С разговорами вашими...

Матрос стал подкладывать щепки в костерик. Катя беззвучно смеялась про себя.

Продолжали разговаривать. Матрос сделался смирнее и уже не кидался на Катю с тесаком.

Она спросила:

— А скажите, много вы на своем веку убили людей?

Матрос улыбнулся.

— Штучку эту видите? — Он хлопнул рукою по револьверу у пояса, вынул его и стал вертеть в руках.— Много бы она могла вам порассказать!

Катя с тоскою воскликнула:

— И неужели, неужели никогда совесть вас не мучит!

— С чего? А они как? Попадись к ним,— тоже разговаривать мало станут.

— И никогда вам не снятся те, кого вы убили?

Он не ответил. Замолчали. На меркнувшем западе, меж пирамидальных акаций, ярче сверкала Венера.

— Вы раньше крестьянином были?

— Крестьянствовал.

Катя тихо сказала:

— Ну, а так: не думается вам иногда? Вот бы все это поскорее кончилось, воротиться домой. Звезда на вечернем небе, пруд, скотина с луга идет домой... Нива своя, волны золотые идут по ржи...

Матрос поморщился и сказал:

— Эх! Никогда этого, думается, уж не будет!.. Зверем стал.

Потом подбодрился, взял себя в руки и другим голосом сказал:

— Своей нивы теперь не будет полагаться. Сознательность пойдет. Везде будет коммуна. Какой смысл? Каждый на своем клочке ковыряется, без солидарности. Будет общий труд, товарищество, общественная нива, и все, как один человек, будут выходить с косами.

Бородатый солдат, больше все молчавший, вдруг вскочил на ноги, взволнованно подошел к матросу.

— Вот! Бей меня тесаком по шее! Руби голову долой! Я десять лет свиной пас! Понимаешь ты это дело?

— Ну, свиной пас? Что понимать? — пренебрежительно спросил матрос.

— Десять лет свиной пас у барина! Сейчас у нас пять десятин на отрубе. Руби голову, а не отдам вам! На,— вымай тесак свой, руби!

— Вот дура! — Матрос растерянно взглянул на него.— Пьян!

— Нет, не пьян. И пусть Николай Второй опять будет!

* * *

К Мириманову пришла повестка: временным революционным комитетом на него налагается контрибуция в сорок тысяч рублей; деньги должны быть внесены в двадцать четыре часа: если не будут внесены к сроку, с гражданином Миримановым будет поступлено со всею революционною строгостью.

Мириманов изумился: деньги его лежали в банке, а на днях только было объявлено, что все вклады в банках конфискуются. Он пошел объясняться в ревком. Долго спорили, торговались. Наконец, спустили ему до пятнадцати тысяч. Мириманов внес.

Вдруг через два дня новая повестка: внести дополнительные двадцать пять тысяч. Мириманов опять пошел и решил добиться свидания с самим председателем ревкома Искандером. Воротился домой часов через шесть, бледный от подавляемого бешенства, гадливо вздрагивающий.

— Кричал на меня, как пьяный, топал ногами. «Все мы знаем, что вы золото лопатами загребали! Если не внесете, — сгною в подвале!» Он обратился к Кате: — Ну, объясните мне: вклады конфискованы, продавать вещи запрещено, дом теперь не мой, — откуда же прикажете достать денег? Все, что было, отдали им. А ты знаешь, кто этот Искандер? — спросил он жену. — Приказчик из универсального магазина Оганджанца и К°, я его помню, в мануфактурном отделении торговал, — молодой армяшка с низким лбом... И какой себе псевдоним взял, паршивец! Наверно, и не слыхал про Герцена.

Заплатить было нечем. Назавтра пришли милиционеры и увели Мириманова. Любовь Алексеевна проводила его до ворот Особого Отдела. Дальше ее не пустили. Но она видела решетчатые отдушины подвалов, где сидели заключенные, в отдушины несло сырым и спертым холодом. А толпившиеся у ворот родственники сообщили ей, что заключенные спят на голом цементном полу.

Любовь Алексеевна истерически рыдала, сверкая золотом зубов, и говорила Кате:

— Ведь у него туберкулез легких! Его подвал убьет в одну неделю!

— Подайте прошение в ревком, укажите, что он тяжело болен. Не может же быть, чтоб на это не обратили внимания! Завтра же подайте.

— Екатерина Ивановна, пойдите со мной!

* * *

Назавтра они пошли.

Записывала на прием барышня с подведенными глазами, слушавшая высокомерно и нетерпеливо. Четыре часа ждали очереди в темном коридоре. Хвост продвигался вперед очень медленно, потому что приходили рабочие и их пропускали не в очередь. Наконец, вошли.

В просторном кабинете стиля модерн, за большим письменным столом с богатыми принадлежностями, сидел бритый человек. Катя сразу узнала неприятного юношу с массивной нижней челюстью, которого она видела в советской столовой. Так это и был Искандер! Но тут, вблизи, она увидела, что он не такой уже мальчик, что ему лет за тридцать.

Искандер молча взглянул на золотые зубы Любви Алексеевны странными своими глазами, как будто разошедшимися в стороны под придавленным лбом. Любовь Алексеевна протянула ему прошение и, волнуясь, стала говорить.

Он слушал, читал бумагу и кивал головою.

— Угу!.. Да... Так...

И все сочувственнее кивал головою.

— Хорошо. Все, что возможно, будет сделано. Не волнуйтесь. Взял чернильный карандаш и на углу прошения стал писать.

— Вот. Пойдите, отдайте бумагу управляющему делами. По коридору вторая дверь направо.

Любовь Алексеевна растерялась от радости.

— Спасибо вам!.. Большое, большое вам спасибо, товарищ Искандер!

— Не стоит, сударыня. Это наш долг.

Они вышли. Любовь Алексеевна восторженно говорила:

— Смотрите, какой милый! Совсем не такой, как о нем говорили. Что он написал?

На площадке лестницы они стали читать. Любовь Алексеевна вздрогнула.

— Господи! Да что же это? Екатерина Ивановна, что же это здесь...

На прошении крупным размашистым почерком было написано: «Оставить эту нахальную бумагу без последствий. Держать в подвале, пока не внесет до копейки. А сдохнет, беда не велика».

Милиционер у двери в кабинет не хотел их впустить. Катя властно сказала:

— Да мы сейчас тут были, нам два слова.

Председатель ревкома разговаривал с толстою заплаканною женщиной. Он взглянул на них, и Катя прочла в его глазах скрытно блеснувшее острое наслаждение. Любовь Алексеевна пошла.

— Товарищ Искандер!.. Что же это, недоразумение? Вы издеваетесь надо мной...

Искандер вскочил с потемневшими глазами и топнул ногою.

— Вон!! Как вы смели сюда войти?

Катя вмешалась.

— Да послушайте! Поймите же: откуда им взять денег, если деньги были в банке, а из банка не выдают!

— Где хотите доставайте! Нам хорошо известно, как он зарабатывал! Тысячи загребал. Юрисконсультom был у самых крупных фабрикантов; рабочих засаживал в тюрьмы. Пусть теперь сам посидит. Я вас заставлю распотрошить ваши подушки! Сегодня же переведу его в карцер,— будет сидеть, пока все не внесете.

Катя в бешенстве спросила:

— Скажите, пожалуйста, кому можно на вас жаловаться?

Искандер изумленно поднял брови, поглядел на нее и с наслаждением ответил:

— Можете телеграмму послать Ленину... Товарищ Григорьев!

В дверях появился милиционер.

— Чего вы сюда впустили этих? Гоните их вон!

Они вышли. Когда спускались по широкой лестнице, Любовь Алексеевна вдруг дернула Катю за рукав и покатила по мраморным ступенькам вниз.

Мучительный был день. Катя не пошла на службу и осталась с Любовью Алексеевной. Мириманова была как сумасшедшая, вырывалась из Катиных рук, билась растрепанною головою о стену и проклинала себя, что ухудшила положение мужа.

Только поздно ночью она заснула тяжелым, летаргическим сном. То и дело как будто кто-то другой рыдал в ней смутным, словно из другого мира звучащим рыданием.

На заре в прихожей зазвенели сильные, настойчивые звонки. Любовь Алексеевна со стоном проснулась и вскочила. Катя отперла.

Вошло четверо,— двое мужчин и две женщины.

— Что вам нужно?

Один, высокий, с револьвером у пояса, властно спросил:

— Кто живет в этой квартире?

— Тут много живет...

— Рабочие или из буржуазии?

— В тех двух комнатах живут красноармейцы... Я — советская служащая...

— Вон в тех двух? Хорошо... Товарищи, сюда!

Они вошли в комнату Любви Алексеевны. Женщины подошли к комодам и стали выдвигать ящики. Высокий с револьвером стоял среди комнаты. Другой мужчина, по виду рабочий, нерешительно толкся на месте.

С револьвером сказал:

— Товарищ, что ж вы? — Он повел рукой вокруг.— Выбирайте, берите себе, что приглянется. Вот, откройте сундук этот.

Рабочий мялся. Катя спросила:

— Скажите, что это? Обыск?

— Изъятие излишков у буржуазии... Товарищ, пойдите-ка сюда!

Мужчина с револьвером открыл сундук.

— Вот, шуба меховая. Я думаю, пригодится вам?

Любовь Алексеевна, в кофточке, сидела на постели с бессильно свисшими, полными плечами и безучастно смотрела.

Рабочий конфузливо вынул шубу, отряхнул ее от нафталина и нерешительно оглядел. Женщины жадно выкладывали на диван стопочки батистовых женских рубашек и кальсон, шелковые чулки и пикейные юбки.

Одна, постарше, с желто-худым лицом работницы табачной фабрики, спросила нерешительно:

— Товарищ, а зеркало можно взять?

— Берите, берите, товарищ, чего стесняетесь? Видите, сколько зеркал. На что им столько! По три смены белья оставьте, а остальное бере.

У женщин разгорелись глаза. Младшая взяла с туалета две черепаховых гребенки, коробку с пудрой, блестящие ножницы.

Мужчина с револьвером обратился к рабочему, все еще в нерешительности смотревшему на шубу.

— Ну, товарищ, чего ж вы? Берите, нечего думать. Шуба теплая, буржуйская. Великолепно будет греть и пролетарское тело!

Любовь Алексеевна сказала:

— Послушайте, вы говорите,— изъятие излишков. Это единственная шуба моего мужа.

— А где ваш муж?

— Он... он сейчас арестован за невзнос контрибуции...

— Та-ак...— Мужчина усмехнулся.— Берите, товарищ! Ему в тюрьме и без шубы будет тепло.

Любовь Алексеевна уткнулась головой в подушку.

— Господи!.. Господи, господа! Когда же смерть? Когда же, когда же смерть!

Она рыдала в подушку, колыхаясь всем своим телом.

Женщины, с неприятными, жадными и преодолевающими стыд лицами, поспешно, как воровки, увязывали узлы. Рабочий вдруг махнул рукою, положил шубу обратно в сундук и молча пошел к выходу.

* * *

Через день Катя читала в газете «Красный Пролетарий»:

ПОХОД НАШИХ РАБОЧИХ НА БУРЖУАЗИЮ.

22-го апреля состоялось торжественное заседание конференции Завкомов и Комслужей и разных комиссий при Завкомах. Зал театра «Иллюзион» был переполнен. Собралось свыше 800 рабочих и работниц. Раньше были обсуждены некоторые нерассмотренные вопросы конференции, как-то Собес и жилищный вопрос. В обоих докладах ясно вырисовывалась необходимость принять срочные решительные меры по отношению к буржуазии и облегчению участи рабочих. После этого был заслушан доклад тов. Маргулиеса о революционном движении на Западе.

С внеочередным заявлением выступил предревком товарищ Искандер, который предложил революционные слова претворить в действия и этой же ночью произвести первое нападение на буржуазию для изъятия излишков.

Гром аплодисментов и несмолкаемые радостные клики всего собрания были показателем того, что предложение любимого вождя нашло пролетарский отклик у всех делегатов собрания.

Вопрос не вызвал споров. Он был слишком ясен, он был слишком понятен, слишком бесспорен!

Загорелись глаза у пролетариев, понасупились брови, сжались неволью в кулаки мозолистые руки. Уж мы покажем.

Предстояло просидеть в театре до пяти часов утра с тем, чтобы на рассвете двинуться на работу. Время пробежало весьма быстро.

Члены союза «Всерабис» сколотили на скорую руку концерт, и зал начал жить небывало интенсивною жизнью. Знаменитый артист Белозеров затаял родную нашу «Дубинушку». Мощный голос певца звучал истинно революционным подъемом, и дружно подхватила рабочая масса припев. Все слились в один общий коллектив, спаянный великим огнем революционно-пролетарского гнева. Сцена не оставалась ни на минуту пустой. К двум часам ночи уже не было нужды в артистах-профессионалах.

Раскачалась рабочая масса. Один за другим вылезали на сцену простые рабочие и нехитрым языком, не смущаясь, рассказывали анекдоты, декламировали стихи.

К пяти часам утра коммунисты уже разбились на районы и на тройки, чтобы руководить отрядами. Очередь была за рабочей конференцией.

Весело, толкая друг друга, перекидываясь шутками, выходила группа за группой рабочих на соединение с коммунистами в поход на буржуазию.

— Петь можно? — спросил у меня один рабочий.

— Не стоит, — ответил я.

— Чего же бояться, ведь мы же рабочие! — возразил он, полный мощного сознания силы рабочего класса.

С п а р т а к.

* * *

Любовь Алексеевна где-то достала двадцать пять тысяч и внесла в ревком. Мириманова выпустили.

* * *

В отделе Наробраза работа шла полным и ладным ходом. Открывались новые школы, библиотеки, студии, устраивались концерты и популярные лекции.

Однажды Дмитревский, когда остался у себя в кабинете один с Катюю, пожал плечами и сдержанно усмехнулся.

— Все это, конечно, очень хорошо, но ведь для того, чтоб такую огромную программу провести в жизнь, нужны средства богатейшего государства. Программы намечают широчайшие, а средств не дают. Народным учителям мы до сих пор не заплатили жалованья. Дело мы развертываем, а чем будем платить?

Приехал из Арматлука столяр Капралов, — его выбрали заведывать местным Отделом народного образования. Он был трезв, и еще больше Катюю поражало несоответствие его простонародных выражений с умными, странно интеллигентными глазами. Профессор и Катя долго беседовали с ним, наметили втроем открытие рабоче-крестьянского клуба, дома ребенка, школы грамоты. Капра-

лов расспрашивал, что у них по народному образованию делается в городе, на лету ловил всякую мысль, и толковать с ним было одно удовольствие.

Он сообщил, между прочим, что несколько барышень-дачниц хотят открыть частную школу. Болгары охотно соглашаются платить, потому что программа предполагается много шире программы народной школы; особенно почему-то их прельщает, что дети их будут учиться французскому языку.

Дмитревский ответил:

— Мысль хорошая. Но только одно необходимое условие: школа должна быть бесплатной.

— Ну, где ж бесплатно! Барышни с голоду умирают. А болгары платить могут, они богатые.

— Все равно. По декретам, обучение всякого рода должно производиться совершенно бесплатно.

— Вы, значит, можете нам такую школу устроить бесплатно?

— Нет, у нас на это нет средств.

Капралов внимательно смотрел на него, и в глазах зажглись смеющиеся огоньки.

— Так как же?

Катя, с удивлением слушавшая профессора, вмешалась:

— Но ведь сами же они соглашаются платить! А без платы ничего не выйдет. И хорошее культурное начинание заглохнет.

Глаза Дмитревского смотрели растерянно, но тем решительнее он ответил:

— Бедняки платить не в состоянии. И получится опять привилегированная школа. Пусть тогда общество сложится, платит от себя.

— Ну! Не знаете, что ли, наших мужичков? У кого детей нет или учить не желает,— разве согласится платить?

— Тогда не могу разрешить.

В первый раз Катя повздорила с Дмитревским. Но он остался при своем.

* * *

В сумерках шла Катя через приморский сквер. Душно было, горячая пыль неподвижно висела в воздухе. От загаженной, с оторванными досками ротонды, где в прежние времена играла музыка, шел тяжкий, отшатывающий запах; там уж третий день смердела в кустах дохлая собака с оскаленными зубами, и никто ее не прибирал. Поломанные кусты, затоптанная трава. И от домов за сквером тянуло давно нечищенными помойными ямами и отхожими местами. Хотелось вон из города, наверх в горы, где не загажена людьми земля, где плавают в темноте чистые ароматы цветущих трав.

По узкому переулку, мимо грязных, облупившихся домиков, Катя поднималась в гору. И вдруг из сумрака выплыло навстречу

ужасное лицо: кроваво-красные ямы вместо глаз, лоб черный, а под глазами по всему лицу — вьевшиеся в кожу черно-синие пятнышки от взорвавшегося снаряда. Человек в солдатской шинели шел, подняв лицо вверх, как всегда слепые, и держался рукою за плечо скучливо смотревшего мальчика-поводыря; свободный рукав болтался вместо другой руки.

Катя, широко раскрыв глаза, долго смотрела ему вслед. И вдруг прибойною волною взметнулась из души неистовая злоба. Господи, господи, да что же это?! Сотни тысяч, миллионы понаделали таких калек. Всюду, во всех странах мира, ковыляют и тащатся они, — слепые, безногие, безрукие, с отравленными легкими. И все ведь такие молодые были, крепкие, такие нужные для жизни... Зачем? И что делать, чтоб этого больше не было? Что может быть такого, через что нельзя было бы перешагнуть для этого?

Катя быстро шла вверх по переулку.

Ничего такого нет! Все допустимо. Все, что только возможно! И слава, — да, да, — и слава, привет тем, кто с яростною решительностью ринулся против этого великого мирового преступления! Вспомнился немец солдат в «Астории», и как с любовью он оглядывал красноармейцев с заломленными на затылок фуражками.

Были до сих пор для Кати расхлябанные, опустившиеся люди, в которых свобода развязала притаившийся в душе страх за свою шкуру, были «взбунтовавшиеся рабы» с психологией дикарей: «До нашей саратовской деревни им, все одно, не дойти!» А может быть, — может быть, это не все? Может быть, не только это? И что-то еще во всем этом было, — непознаваемое, глубоко скрытое, — великое безумие, которым творится история и пролагаются новые пути в ней.

По безумным блуждая дорогам,
Нам безумец открыл Новый Свет,
Нам безумец дал Новый Завет, —
Потому что безумец был богом!³⁰

Катя шла по горной дороге, среди виноградников, и смеялась. Да, эти разнузданные толпы, лущившие семечки под грохот разваливающейся родины, — может быть, они бросили в темный мир новый пылающий факел, который осветит заблудившимся народам выход на дорогу.

На повороте лежал большой белый камень. За день он набрал много солнечного жару и был теплый, как печка. Катя села.

Внизу, вокруг дымно-голубой бухты, в пыльной дымке лежал город, а наверху было просторное, зеленовато светящееся небо, металлическим блеском сверкал молодой месяц, и, мигая, загоралась вечерняя звезда. Там, внизу, — какая красота в этой дымке, в этих куполах и минаретах, в светящихся под закатом белых виллах и дворцах! А под ротондой, с обнаженными ребрами стропил, гниет дохлая собака, и тянется по улицам кислая вонь от выгребных ям, и пыль в воздухе, и облупившиеся стены домов. Там ли была она права, судя о городе, или здесь, на высоте?

Быстрые мысли бежали через голову, и образы пронеслись,— жуткие, темные. Генерал с синим лицом, и сумасшедше насккивающий матрос с тесаком, и бритый человек с темно-сладострастным взглядом из-под придавленного лба. И мужики еще вспомнились, расхищавшие помещичьи усадьбы. Она видела в России эти отвратительные разгромы. Не люди, а жадное зверье, с одной меркою для себя и с иною меркою — для других. А с высоты,— с высоты, может быть, не так! Может быть, еще что-то, более широкое и важное? И может быть, даже,— великая, благословенная правда и полное оправдание?

* * *

Из верхнего этажа дома Мириманова,— там было две барских квартиры,— вдруг выселили жильцов: доктора по венерическим болезням Вайнштейна и бывшего городского голову Гавриленко. Велели в полчаса очистить квартиры и ничего не позволили взять с собою, ни мебели, ни посуды,— только по три смены белья и из верхней одежды, что на себе.

— Куда ж нам выселяться?

— Нам какое дело? Куда хотите.

Бледный Вайнштейн, вдруг вдвое потолстевший,— он надел на себя белья и одежды, сколько налезло,— ушел с многочисленную семью к родственникам своим в пригород. Старик Гавриленко растерянно сидел с женою у Мириманова.

— Но скажите, пожалуйста, ведь все-таки,— какая же нибудь нужна законность. Ну, выселили,— предоставьте хоть чуланчик какой!

Мириманов процедил сквозь зубы:

— «Революционное правосознание»!

— Я одного не понимаю: зачем такое изысканное бесчеловечие? Как будто нарочно всех хотят восстановить против себя.

Жена Гавриленко рыдала.

— Где жить и чем жить? Все там осталось, продавать даже будет нечего. Была бы помоложе, хоть бы в хор пошла к Белозерову. А теперь и голоса никакого не осталось.

Она кончила консерваторию и до замужества с большим когда-то успехом выступала в московской опере.

К вечеру в квартиры наверху вселилось шесть рабочих семей. И по всему городу стояли стоны и слезы. Очищено было около ста буржуазных квартир.

* * *

Длинные очереди Гавриленко простаивал в Жилищном отделе, наконец, добирался. Ему грубо отвечали:

— Записали вас,— чего же еще! Дойдет до вас очередь, получите комнату.

Гавриленко, корректный и вежливый, возражал:

— Но ведь меня из моей квартиры выселили, я остался на улице. В буквальном смысле. Куда же мне деться?

— У нас коммунисты, ответственные работники, ночуют в коридорах гостиниц и ждут угла по неделям.

Выселили и фельдшерницу Сорокину, жившую у Гавриленки. Катя предложила ей поселиться с нею в комнате. Но в домовом комитете потребовали ордера из Жилотдела. А в Жилищном отделе Сорокиной сказали, что Катя сама должна прийти в отдел и лично заявить о своем согласии.

— Господи, какая формалистика! Целый день терять! Ну, дешево у них время!

Однако, пошла. Простояли с Сорокиной длиннейшую очередь, добрались. Черноволосая барышня с матовым лицом и противно красными, карминовыми губами нетерпеливо слушала, глядя в сторону.

— Ничего нельзя сделать. К вам вселят по ордеру жилищного отдела.

Катя остолбенела.

— Позвольте! В праве же я выбрать сожительницу себе по вкусу! И ведь тут же вчера нам сказали, что я должна только заявить о своем согласии.

— Не знаю, кто вам сказал.

Сорокина поспешно объяснила:

— Сказал товарищ Зайдберг, заведующий Жилотделом.

— Ну и идите к нему.

— Куда?

Барышня перелистывала бумаги.

— Товарищ, куда к нему пройти?

— Что?

— Куда пройти к товарищу Зайдбергу?

— Ах, господи! Комната № 8.

В коридоре они встретили доктора Вайнштейна. Он с довольным лицом шел к выходу. Катя спросила:

— Получили ордер?

— Да.

— Как?

Вайнштейн втянул голову в плечи, поднял ладони, улыбнулся лукаво и прошел к выходу. Катя с Сорокиной вошли в комнату № 8.

Щеголевато одетый молодой человек, горбоносый и бритый, с большим, самодовольно извивающимся ртом, весело болтал с двумя хорошенькими барышнями.

— Надежда Васильевна, Роза Моисеевна определенно говорит, что видела вас вчера вечером на бульваре с очень интересным молодым человеком...

Они болтали и как будто не замечали вошедших. Катя и Сорокина ждали. Катя, наконец, сказала раздраженно:

— Послушайте, будьте добры нас отпустить. Мне на службу надо. Лицо молодого человека стало строгим, нижняя губа пренебрежительно отвисла.

— В чем дело?

Катя объяснила.

— Ничего не могу сделать. Вы подлежите ответственности, что сами занимаете комнату, в которой могут жить двое, и не заявили об этом в отдел. Поселят к вам того, кому я дам ордер.

Сорокина упавшим голосом сказала:

— Но, товарищ Зайдберг, ведь вы же вчера сами сказали, что требуется только личное согласие того, к кому вселяются.

— Ничего подобного я не говорил. Не могу вас вселить. Я обязан действовать по закону.

— В чем же закон?

— В чем я скажу... Я извиняюсь, мне некогда. Ничего для вас не могу сделать.

Катя в бешенстве смотрела на него. Бестолочь и унижения сегодняшнего дня огненным спиртом ударили ей в голову. Она пошла к двери и громко сказала:

— Когда же кончится это хамское царство!

Молодой человек вскочил.

— Что вы сказали?! Товарищи, вы слышали, что она сказала?

Катя, пьяная от бешенства, остановилась.

— Не слышали? Так я повторю. Когда же кончится у нас это царство хамов!

— Надежда Васильевна! Кликните из коридора милиционера... Прошу вас, гражданка, не уходить. Я обязан вас задержать.

Вошел милиционер с винтовкой. Молодой человек говорил по телефону:

— Особый отдел?.. Пожалуйста, начальника. Просит заведующий Жилотделом... Товарищ Королицкий? Я сейчас отправлю к вам белогвардейку, занимается контрреволюционной пропагандой... Что? Хорошо. И свидетелей? Хорошо.

Он стал писать.

— Вы не отпираетесь, что сказали: «когда же кончится это хамское царство?»

— Не отпираюсь и еще раз повторяю.

— Товарищ милиционер, подпишитесь и вы свидетелем, вы слышали. С этой бумагой отведете ее в Особотдел.

Милиционер с винтовкою повел Катю по улицам.

В комнате сидел человек в защитной куртке, с револьвером. Недобро поджав губы, он мельком равнодушно оглядел Катю, как хозяин скотобойного двора — приведенную телушку.

— Вы занимались контрреволюционной агитацией?

Катя усмехнулась.

— Странно было бы заниматься такой агитацией пред большевиками.

Особник неожиданно ударил кулаком по столу.

— Чего смеешься, белогвардейка паршивая! Пропаганду разводишь в городе! Я тебе покажу!

Катя побледнела и выпрямилась.

— Если вы со мною будете так разговаривать, я вам слова не отвечу на ваши вопросы.

Он внимательно оглядел ее.

— Ого! Видна птичка по полету. В камеру Б! — распорядился он.

* * *

Это был подвал с двумя узкими отдушинами, забранными решеткою. Мебели не было. Стоял только небольшой некрашенный стол. Когда глаза привыкли к темноте, Катя увидела сидящих на полу возле стен несколько женщин. Она спросила с удивлением:

— Скажите, а коек здесь не полагается?

Седая женщина с одутловатым лицом ответила:

— Нет.

— Так как же?

— На полу. Что тут есть,— у каждого свое, доставлено из дому.

Садитесь ко мне.

Катя подошла к двери и стала стучать. Грубый голос спросил:

— Что надо?

— Откройте, мне нужно вам сказать.

Дверь открыл солдат с винтовкой.

— Ну? что такое?

— Скажите, где же мне тут спать? Где присесть?

Солдат изумился.

— Где хочешь.

— Как же мне? На голом каменному полу? Дома даже не знают о моем аресте, у меня ничего нету. Дайте мне хоть голую койку.

— Не полагается.

— Как это может быть? Тогда позовите ко мне начальника.

— Пошел он к тебе!

— Потрудитесь не говорить мне «ты»! — вскипела Катя.

Солдат долго поглядел на Катю и надвинулся на нее.

— Будешь тут бунтоваться, я тебя скоро сокращу... Пошла!

Он толкнул ее в плечо и запер дверь.

Катя в беспомощном бешенстве оглядывалась.

Есть за весь день ничего не дали. Хлеб выписывали с утра, и она могла получить только завтра. Приютила Катю на своем одеяле та седая женщина, с которой она говорила.

Голодная и разбитая впечатлениями, Катя всю ночь не спала. В душе всплескивалась злоба. Через одеяло от цементного пола шел тяжелый холод, тело горело от напозавших вшей. И мелькало перед глазами бритое, горбоносое лицо с надменно отвисшею нижнею губою. Рядом слабо стонала сквозь сон старуха.

Два дня прошло. Любовь Алексеевна узнала от Сорокиной об аресте и принесла для Кати подушку, одеяло и тюфячок.

В камере сидело пять женщин. Жена и дочь бежавшего начальника уездной милиции при белых. Две дамы, на которых донесла их прислуга, что они ругали большевиков. И седая женщина с одутловатым лицом, приютившая Катю в первую ночь,— жена директора одного из частных банков. С нею случилась странная история. Однажды, в отсутствие мужа, к ней пришли два молодых человека, отозвали ее в отдельную комнату и сообщили, что они — офицеры, что большевики их разыскивают для расстрела, и умоляли дать им приют на сутки.

— А лица такие неприятные, глаза бегают... Но что было делать? Откажешь, а их расстреляют! Всю жизнь потом никуда не денешься от совести... Провела я их в комнату,— вдруг в дом комендант, матрос этот, Сычев, с ним еще матросы. «Офицеров прятать?» Обругал, избил по щекам, арестовали. Вторую неделю сижу. И недавно, когда на допрос водили, заметила я на дворе одного из тех двух. Ходит на свободе, как будто свой здесь человек.

День тянулся в полумраке, ночь — в темноте. Света не давали. Кате вспомнились древние,— раньше казалось, навсегда минувшие,— времена, когда людей бросали в каменные ямы, и странно представлялась какая-нибудь забота о них. Вспомнился когда-то читанный рассказ Лескова «Аскалонский злодей» и Иродова темница в рассказе. Все совсем так.

Жена директора банка тяжело стонала по ночам от ревматизма. Лица у всех были бело-серые, платья грязные, живые от вшей. Голод, бессветие, дурной воздух. В душах неизбежно жили ужас и отчаяние.

Катя узнала от товарок по заключению, что их камера, Б,— «сомнительная». Из нее переводят либо в камеру А — к выпуску, либо в камеру В — для расстрела. На днях расстреляли двух девушек-учительниц за саботаж и контрреволюционную пропаганду. Катя жадно расспрашивала про них днем, а ночью бледные их тени реяли пред нею в темноте.

Позвали к допросу. Когда Катя входила в просторную комнату особняка, где ждал допрос, ее вдруг стала трепать такая дрожь, и так забилось сердце, что Катя пришла в отчаяние.

Сидело за столом трое, один из них — тот, который на нее тогда стучал кулаком. Сидевший в середине, бритый, спросил:

— Ваше имя, фамилия?

Катя сказала.

— Вы родственница товарища Сартанова-Седого?

— Это к делу не относится! — резко оборвала Катя.

Бритый внимательно поглядел. Тот, прежний, неподвижным взглядом уставился на Катю, и в тяжелых глазах его был уже пред-решенный приговор. Третий, широкоскулый, в матросской фуражке, с смеющимся про себя любопытством приглядывался к взволнован-ному лицу Кати, так странно не соответствовавшему ее резкому тону.

— Бывшее звание ваше?

— Дворянка,— с вызовом ответила Катя. И задышалась, и при-жимала руку к сердцу.

Бритый успокаивающе сказал:

— Да вы не волнуйтесь, дело пустяковое.

Катя с презрением возразила:

— Я вовсе не от допроса вашего волнуясь.

Бритый предложил рассказать, как было дело. Допрашивал мягко и не враждебно. Катя все рассказала и прибавила, что в «хам-ском царстве» вовсе не раскаивается, что этот Зайдберг, правда, держался, как хам.

— И я думаю, вы на моем месте, если бы испытали все эти изде-вательства, тоже сказали бы так.

Бритый улыбнулся тонкими своими губами.

— Ну, я бы выразился осторожнее: назвал бы хамом его, если бы стоил, а не говорил бы вообще о хамском царстве... Можно уве-сти,— обратился он к страже.

Катя еще больше заволновалась.

— Я имею сделать заявление.

— Пожалуйста.

— Вот какое заявление...

И вдруг она перестала дрожать, в душе стало радостно и твердо.

— Я сидела в царских тюрьмах, меня допрашивали царские жандармы. И никогда я не видела такого зверского отношения к заключенным, такого топтания человеческой личности, как у вас... Я сижу в камере подследственных, дела их еще не рассмотрены, может быть, они еще даже с вашей точки зрения окажутся невинны-ми. А находятся они в условиях, в которых при царском режиме не жили и каторжники. У тех хоть нары были, им хоть солому давали, им хоть позволяли дышать иногда чистым воздухом. А вы бросаете ваших пленников в темные подвалы, люди лежат на холодном ка-менному полу, вы их морите голодом. Тюремщики обращаются с ними, как с рабами, кричат на них, говорят им «ты». Неужели же вас ни разу не поинтересовало зайти и посмотреть, как вот здесь, под полом, под вами, живут люди, которых вы лишили свободы?.. И по-том. Вы вот выясняете мою вину,— а почему вы не стараетесь выяс-нить, что ее вызвало? Почему не арестовываете людей вроде этого Зайдберга или вашего Искандера? Они своими действиями гораздо больше подрывают авторитет вашей власти, чем всякие контрре-волюционные пропаганды.

Катя все высказала, что у нее накопилось. И когда ее вели назад в тюрьму, в душе было удовлетворение и блаженная тишина.

* * *

Рассказала о допросе, и что она им сказала. И вдруг все кругом замерли в тяжелом молчании. Смотрели на нее и ничего не говорили. И в молчании этом Катя почувствовала холодное дыхание пришедшей за нею смерти. Но в душе все-таки было прежнее радостное успокоение и задорный вызов. Открылась дверь, солдат с револьвером крикнул:

— Сартанова! Собирай вещи. Через час к выпуску.

Так говорили, и когда на волю выпускали, и когда уводили на казнь. Вчера выпустили одну из дам, сидевших по доносу прислуги: все писали письма, чтобы передать с нею на волю. Теперь никто. И украдкою все с соболезнованием и ужасом поглядывали на Катю. Ясно было,— все они понимают, что ее переводят в страшную камеру В.

Кате стало весело, и смех неудержимо забился в груди: да неужели это правда смерть? И неужели бывает так смешно умирать? Она хохотала, острела, рассказывала смешные вещи. И что-то легкое было во всем теле, поднимавшее от земли, и с смеющимся интересом она ждала: десяток сильных мужчин окружит ее; поведут куда-то, наставят ружья на нее. И им не будет стыдно...

* * *

Но оказалось, выпустили на волю. Дома Катя узнала, что за нее сильно хлопотал профессор Дмитревский. Особенный эффект на них произвело, что она — двоюродная сестра Седого. Сообщили ей также, что приходил жилищный контролер и взял ее комнату на учет.

* * *

Домовым комитетам было объявлено: кто первого мая не украсит своего дома красными флагами, будет предан суду ревтрибунала. Гражданам предписывалось, под страхом строжайшей революционной ответственности, представить в ревком всю имеющуюся красную материю. Бухгалтер отдела с скрытою улыбкою сообщил Кате, что на табачной фабрике вывешено объявление завкома о поголовном участии в манифестации. Кто не пойдет, будет объявлен врагом пролетариата.

В отделе был получен церемониал манифестации. Дмитревский суетился и напоминал сотрудникам, чтоб ровно к десяти часам все собрались в отдел, а оттуда все вместе двинутся к сборному пункту у фонтана Орам-Тимура (теперь — фонтан Карла Либкнехта). Он рассматривал с художниками знамена и плакаты.

Катя спросила:

— Нужно обязательно участвовать на демонстрации?

— Обязательно!

— А я не пойду. Противно. По принуждению.

Дмитревский растерянно взглянул на нее.

— Конечно, насильно вас никто не станет заставлять. Но желательно, чтоб отдел был представлен полностью.

Белозеров кипуче работал. В театре готовились к постановке «Ткачи»³¹, оркестры разучивали революционные марши, инструкторы по пению обучали по фабрикам хоры рабочих.

* * *

Катя пошла часам к одиннадцати посмотреть. На панелях в ожидании густо стояли зрители. Катя была уверена, что народу на демонстрации будет позорно мало, и в душе ей хотелось этого.

Был чудесный солнечный день, за деревьями сквера сверкало море. Вдали могуче загредел оркестр. Интернационал. Промчался на автомобиле Белозеров с огромным красным бантом на груди.

Музыка приближалась. Заалели под солнцем развевающиеся знамена, плескались красные флаги на домах.

Старый учитель гимназии,— Катя его однажды видела у Миримановых,— вполголоса говорил соседу:

— Людям одеться не во что, а тысячи аршин материи тратят на флаги и знамена!

За музыкой слышен был хор человеческих голосов. Медленно колыхаясь, надвигались темные массы людей, над ними качались плакаты и знамена.

Маленький мальчик с одушевлением говорил:

— Мама! Мама! Гляди! Вон они идут! С флагами.

— Значит, крестный ход ихний.

— Осади назад!

Милиционеры грубо оттесняли зрителей винтовками на тротуары. Катя вспомнила прежние первомайские демонстрации и жертвенный огонь мученичества в глазах участников. Никто тогда не расчищал перед ними дороги, и Белозеров бы тогда не обучал рабочих хоров.

Шли мимо ряды красноармейцев с винтовками на плечах, с красными перевязями на руках. Катя увидела в рядах знакомых немцев в касках. Могучие мужские голоса пели, сливаясь с оркестром:

Весь мир насилья мы разроем
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим!
Кто был ничем, тот будет всем.

И шли ряды. Рабочие в пиджаках, работницы в светлых платьях, советские служащие, кокетливые барышни на высоких каблучках, с колеблющеюся походкою. Проплывали плакаты на длинных палках:

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КНИГА В РУКАХ ПРОЛЕТАРИАТА!

— В первый раз слышу, чтоб кто-нибудь желал здоровья книге!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ БРАТСТВО ТРУДЯЩИХСЯ!
НЕТ НИ РУССКИХ, НИ ЕВРЕЕВ, НИ ТАТАР, НИ НЕМЦЕВ!
ЕСТЬ БРАТЬЯ-РАБОЧИЕ И ВРАГИ-КАПИТАЛИСТЫ!

У Кати начинала колыхаться и подъемно звенеть душа от торжественно-боевого темпа музыки, от алого плеска знамен, блеска солнца, от токов, шедших от этой массы людей. Всё шли, шли мимо; обрывки песен выплескивались из живого потока:

Мы потеряем лишь оковы,
Но завоюем целый мир!

Людские волны укатывались к площади, и новые надвигались.

Вперед, друзья! Идем все вместе,
Рука с рукой, и мысль одна!
Кто скажет буре: «Стой на месте!»
Чья власть на свете так сильна?³²

Задержка какая-то впереди, процессия остановилась. Худоша-вый рабочий средних лет, державший палку от плаката, отер пот с лысеющей головы, довольно улыбнулся, поглядел вперед, назад.

— Бог даст, одолеет рабочий класс капитал, тогда будет хорошо!

У Кати больно защемило в душе. Вспомнились гнусные подвалы и безвинные люди в них с опухлыми лицами, раскосые глаза Искандера, тлеющие темно-кровавым огнем... Не может же этот не знать обо всем! А если знает,— как может смотреть так благодушно и радостно?

Опять двинулись. Плакат:

ЖЕНЩИНЫ ВОСТОКА!
ВЫ БЫЛИ РАБЫНЯМИ МУЖЧИН, ТЕПЕРЬ ВЫ СТАЛИ
СВОБОДНЫМИ ЛЮДЬМИ!
ДРУЖНО НА ОБЩУЮ РАБОТУ ДЛЯ СЧАСТЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ!

Шли рядом татарки, всё молодые, в низких фиолетовых бархатных шапочках, сверкавших позументами и золотом. Ярче позументов сверкали прелестные глаза на овальных лицах. Как будто из мрачных задних комнат только что выпустили этих черноглазых девушек и женщин на вольный воздух, и они упоенно оглядывали залитый солнцем, прекрасный мир.

Море голов и лес знамен на Генуэзской площади (теперь — площадь Урицкого). Трибуна, обтянутая красным сукном, с зелеными ветвями мимоз. Один за другим всходили ораторы. Воздух был насыщен радостным электричеством победного торжествования. Катя видела вокруг жадно прислушивающиеся лица, празднично

светящиеся глаза. И как будто не отдельные души были в людях: одна общая душа, большая, как море, торжествовала какое-то великое достижение. Иногда Катю втягивало и уносило с собою это общее настроение — и потом вдруг отшатывало: сколько злобы и ненависти было в несшихся призывах. Зачем? Зачем теперь? Неужели и так не слишком много этой ненужной злобы? Почему ни одного призыва к благородству и великодушию победителей.

Выступил Леонид. Его речь понравилась Кате. Ругнул буржуев, империалистов, и стал говорить о новом строе, где будет счастье, и свобода, и красота, и прекрасные люди будут жить на прекрасной земле. И опять Катю поразило: волновали душу не слова его, а странно звучащая в них музыка настроения и крепкой веры.

А потом над трибуной появилась огромная седая голова профессора Дмитревского. В последнее время Катя морщилась от некоторых его поступков, ей казалось, — слишком он приспособляется, слишком непрямо ходит. Но тут он ее умилил. Ни одного злобного призыва. Он говорил о науке и ее великой, творческой роли в жизни. Чувствовалось, что наука для него — светлая, благостная богиня, что она все может сделать, и что для нее он пожертвует всем.

Дрогнувшим от волнения голосом профессор закончил так:

— Товарищи! Бывают моменты в истории, когда насилие, может быть, необходимо. Но истинный социализм может быть насажден в мире не винтовкой, не штыком, а только наукою и широким просвещением трудящихся масс!

* * *

Катя шла на службу и встретила на улице с профессором Дмитревским. Он взволнованно держал в руке газету.

— Вот. Читали? О Первомайском празднике?

— Нет.

— Прочтите.

В отчете, подписанном «Спартак», заключительные слова речи профессора были изложены вот как:

«Товарищи! Помните: в условиях переживаемого момента социализм сумеет насадиться не прекраснородушной болтовней мягкотелых соглашателей, а только беспощадной винтовкой и штыком в мозолистой руке рабочего!»

Профессор в бешенстве воскликнул:

— Что же это? Я иду в редакцию. Пойдемте вместе.

В грязной комнатке, заваленной стопами бумаги, пахло керосином от типографского мотора и скипидаром. Суровый господин в золотых очках, услышав имя профессора, расцвел, почтительно усадил его и сочувственно выслушал.

— Это Спартак отчет давал... Спартак! Поди-ка сюда!

Медленною походкою из соседней комнаты вошел болезненный молодой человек с ленивою, добродушною усмешкою, пережевывая кусок хлеба с сыром... Катя изумилась: так вот какой этот Спартак!

Он слушал профессора, улыбаясь сконфуженною улыбкою.

— Я очень извиняюсь... Значит, я не расслышал. Но теперь что же можно сделать? Что написано пером, того не вырубишь и топором.

— Ну, уж нет, товарищ, извините! Вырубайте хоть топором, а я так оставить этого не могу.

С доброю своею улыбкою Спартак убеждающе возразил:

— А не все вам равно, профессор?

Катю дрожь омерзения охватила. О, да! Ему, этому писাকে,— ему все равно! И с этою доброю улыбкою...

— Я категорически требую, чтобы напечатано было мое письмо в редакцию. Вот оно. Здесь только восстановлено то, что я, действительно, сказал.

Они в замешательстве прочли. Редактор в золотых очках помолчал и сказал:

— Да, конечно, это полное ваше право. Но завтрашний номер, воскресный, уже сверстан, в понедельник газета не выходит. Так что, к сожалению, сможем поместить только во вторник... А кстати, профессор: не можете ли вы нам давать время от времени популярно-научные статьи, доступные пониманию рабочей массы? Мы собираемся расширить нашу газету.

— Об этом может быть речь, когда появится опровержение. Профессор с Катюю вышли. Катя воскликнула:

— Не напечатают! Вот увидите!

— Нет, это не может быть.

— Да как же им напечатать? «Не штыком, а просвещением». Когда они именно проповедают, что штыком.— Катя засмеялась.— И очутились вы, Николай Елпидифорович, в их компании!

Во вторник письмо не появилось, и редактор по телефону очень извинялся. Потом оказалось, метранпаж затерял заметку, редактор просил непременно прислать новую и опять очень извинялся. Наконец оказалось,— времени прошло уже столько, что решительно не имело смысла печатать: все давно уже забыли и о самом-то празднике.

* * *

У подъезда «Астории» стояла телега, нагруженная печеным хлебом, а на горячих хлебах лежал врасстяжку ломовой извозчик. Мимо равнодушно проходили люди. Катя, пораженная, остановилась.

— Товарищ! Да что же вы такое делаете? Ведь вы весь хлеб примяли, посмотрите, что с ним стало!

Ломовик лениво оглядел ее.

— А тебе что?

— Как что? Ведь этот хлеб люди будут есть. Вы подумайте,— выдают сейчас по полфунта в день. И вот, вместо хорошего хлеба,

получат они слежавшуюся замазку, да еще испачканную вашими сапогами.

Ломовой зевнул и стал крутить папиросу.

— Съедят и так.

Катя стала говорить об общественной солидарности, что теперь больше, чем когда-нибудь, нужно думать и заботиться друг о друге, что теперь, когда нет хозяев, каждый сам обязан следить, чтобы все делалось хорошо и добросовестно.

Ломовик усмехнулся.

— Э! — Повернулся на другой бок и стал чиркать зажигалкой, гаснувшей под ветром.

У крыльца стоял в каске тот немец, с которым Катя недавно обедала. Они переглянулись. Немец покрутил головою, улыбнулся и, как бы отвечая на что-то Кате, сказал:

— Nein's wird bei Ihnen nicht gehen (Нет, дело у вас не пойдет)!

* * *

А у Миримановых происходило что-то странное. Вечером, когда темно, приходили поодиночке то гимназист, то настороженно глядящая барышня, то просто одетый человек с интеллигентным лицом. Мириманов удалялся с пришедшим в глубину сада, они долго беседовали в темноте, и потом посетитель, крадучись, уходил.

* * *

Катя иногда встречалась с Леонидом. Она рассказывала ему о своих впечатлениях, хотела докопаться, как он относится ко всему происходящему. Леонид либо отвечал шуточками, либо с пренебрежительно-задирающею усмешкою, одобрял все, о чем рассказывала Катя.

— И это, по-твоему, допустимо? Это хорошо?

— Великолепно! Так и надо! Революция, матушка! Ее в лайковых перчатках делать нельзя. Наденешь,— все равно, сейчас же раздерутся.

А когда Катя попадала в слишком чувствительное место, Леонид становился резок и начинал говорить каким-то особенным тоном,— как будто говорил на митинге,— не для Кати, а для невидимой, сочувствующей толпы, которая должна облить Катю презрением и негодованием. И они враждебно расходились.

* * *

Катя, как всегда, старалась дорыться до самого дна души,— что там у человека, под внешними словами? Было это под вечер. Они сидели в виноградской беседке, в конце миримановского сада. И Катя спрашивала:

— Ну, как же,— неужели у вас на душе совершенно спокойно? Вот, жили здесь люди, их выбросили на улицу, даже вещей своих не позволили взять,— и вселили вас. И вы живете в чужих квартирах, пользуетесь чужими вещами, гуляете вот по чужому саду, как по своему, и даже не спросите себя: куда же тем было деться?

Он, покашливая, отвечал равнодушно:

— Девайся, куда хочешь,— нам какое дело? Они о нас думали когда?.. В летошнем году жил я на Джигитской улице. Хорошая комната была, сухая, окна на солнце. Четыре семейства нас жило в квартире. Вдруг хозяин: «Очистить квартиру!» Спекулянту одному приглянулась квартирка. Куда деваться? Сами знаете, как сейчас с квартирами. Уж как молили хозяина. И прибавку давали. Да разве против спекулера вытянешь? У него деньга горячая. Еле нашел себе в пригороде комнату,— сырая, в подвале, до того уж вредная! А у меня грудь уж тогда больная была. В один год здоровье свое сгубил на отделку.

Глаза его на худом лице загорелись.

— Пройдешься мимо,— отделал себе спекулянт квартиру нашу, живет в ней один с женой да с дочкой. Шторы, арматура блестит, пальмы у окон. И не признаешь квартирку. Вот какие права были! Богат человек,— и пожалуйста, живите трое в пяти комнатах. Значит,— спальня там, детская, столовая,— на все своя комната. А рабочий человек и в подвале проживет, в одной закутке с женой да с пятью ребятишками,— ему что? Ну, а теперь власть наша, и права другие пошли. На то не смотрят, что богатый человек.

— Так неужели можно брать пример со спекулянтов? Они жестоки, бесчувственны,— и вы тоже хотите быть такими же?

— Вселил бы я его в свой подвал, поглядел бы, как бы он там жил с дочкою своею, в кудряшках да с голенькими коленками! Идешь с завода в подвал свой проклятый, поглядишь на такие вот окна зеркальные. Ишь, роскошничают! «Погоди,— думаешь,— сломаем вам рога!» Вот и дождались — сломали! А что вещи, говорите, чужие, да квартира чужая,— так мы этого не считаем.

— Не в этом суть. Изменяйте прежние отношения, стройте новые. Но мне всегда думалось: рабочий класс строит новый мир, в котором всем было бы хорошо. А вы так: чтоб тем, кому было плохо, было хорошо, а тем, кому хорошо было, было бы плохо. Для чего это? Будьте благородны и великодушны, не унижайте себя мщением. Помните, что это тоже люди.

— Люди! Волки, а не люди. А волки, их и нужно понимать как волков. Вон, в первый большевизм было: арестовали большевики тридцать фабрикантов и банкиров, посадили в подвал. Наш союз металлистов поручился за них, заставил выпустить. А при немцах устроили мы концерт в пользу безработных металлистов, пришли в союз фабрикантов, а они нам — двадцать пять рублей пожертвовали. Вот какие милостивые! А мы-то, дураки, их жалели! Таких, как вы, слушались. Поумнели теперь. Тех слушаем, что вправду за

нас... Нет, овцам с волками в мире не жить никогда: нужно волчьи зубы себе растить.

И Катя не могла достучаться до того, что ей было нужно. Не злота тут была, как у того матроса, а глубоко сидящее отношение именно как к волкам. Чего злится на волков? Но призывы Кати к благородству и великодушию звучали для ее собеседника так же, как если бы Катя говорила ему, что волкам в лесу холодно, что у них есть маленькие волчята, которых нужно пожалеть. И все рассказы Кати о зверствах и несправедливостях в отношении к буржуазии он слушал с глубочайшим равнодушием: так вот слушали бы век назад русские, если бы им рассказывали о страданиях, которые испытывали французы при отступлении от Москвы.

Катя устало спросила:

— Вы сами, значит, коммунист?

— Ну, конечно.

— А много у вас на заводе коммунистов?

— Коммунистов не так, чтоб много. А много сочувствующих и склоняющихся. Склонить всякого легко, только поговорить с ним. Ты что, имеешь какую на заводе собственность? А у себя дома имеешь? Койку да пару табуреток? А дом у тебя есть свой? Будет когда? — Никогда.— Ну, вот, значит, ты и коммунист.

* * *

Катя шла по набережной и вдруг встретила — с Зайдбергом, — с начальником Жилотдела, который ее отправил в тюрьму. Такой же щеголеватый, с тем же самодовольно извивающимся, большим ртом и с видом победителя. Катя покраснела от ненависти. Он тоже узнал ее, губа его высокомерно отвисла, и он прошел мимо.

— Эй, ты! — раздался с улицы повелительный окрик. Ехало три всадника на великолепных лошадях; на левой стороне груди были большие черно-красные банты.

— Что скажете, товарищи? — отозвался Зайдберг.

— Где тут у вас продовольственный комиссариат?

— Вот сейчас поедете по переулку наверх, потом повернете вправо...

— Веди, покажи.

Зайдберг холодно ответил:

— Я извиняюсь, товарищи. Я ответственный советский работник, и мне некогда.

Панель зазвенела под подковами, усатый всадник наскочил на Зайдберга и замахнулся нагайкой.

— Веди, сукин сын! Разговаривать еще будешь? Живо!

— Но позвольте, товарищи, я вам...

— Ну!!

Нагайка взвилась над его головой. Лицо Зайдберга пожелтело,

губа уныло отвисла. Он слабо пожал плечом и повернул со всадниками в переулок.

И везде на улицах Кате стали попадаться такие всадники. У всех были чудесные лошади, и на груди — пышные черно-красные банты.

Это вступил в город отряд махновцев. Советская власть радушно встретила пришедших союзников, отвела им лучшие казармы. Они слушали приветственные речи, но глаза смотрели загадочно. Однажды, когда с балкона ревкома тов. Маргулиес говорил горячую речь выстроившимся в два ряда всадникам, один из них, пьяный, выхватил ручную гранату и хотел бросить на балкон. Товарищи его удержали.

В городе участились грабежи. Махновцы вламывались в квартиры и забирали все, что попадалось на глаза.

* * *

Под вечер Катя стирала в конце сада. На жаровне в тазу кипело белье. Любовь Алексеевна крикнула с террасы:

— Екатерина Ивановна! Вас спрашивают.

По аллее из пирамидальных акаций шла, щурясь от заходящего солнца, высокая бледная девушка. Катя остолбенела, не веря глазам. Девушка шла с улыбающимся лицом и с взволнованным ожиданием глядела на Катю.

— Вера!!

Все забыв, с мокрыми, мыльными руками, Катя бурно бросилась ее целовать.

Они смеялись, плакали. Сели на скамейку, задавали друг другу вопросы и опять начинали целоваться.

— Как ты сюда попала?

— Из центра послали нас в Крым, целую партию ответственных работников... А ты работаешь с нами?

— Да, в Наробразе.

— Как я рада!

Вера жадно расспрашивала про отца, про мать. И, поколебавшись, спросила:

— Захотят они меня видеть?

— Мама — конечно. А папа...— Катя печально опустила голову.— Он о тебе никогда не говорит и уходит, когда мы говорим. Он не захочет.

Вера страдающе прикусила губу.

— А маму мы, лучше всего, устроим, чтобы сюда приехала. Ты где будешь жить?

— Еще не знаю. Пока остановилась в «Астории».

— Ой, в «Астории»!.. Перебейся ко мне.

Вера ужасно обрадовалась.

— Вот хорошо, Катюшка!

— Только вот что: в Жилищном отделе сказали, что мне не позволяют выбрать сожительницу, а пришлют сами. На днях был жилищный контролер...

Вера спокойно усмехнулась.

— Не беспокойся, пропишут без всяких разговоров. Я скажу по телефону.

— А ты знаешь, что со мною там было? — Катя, волнуясь, рассказала о своем столкновении с начальником Жилотдела, и о том, как прорвалась «хамским царством», и как сидела в подвале.

Лицо Веры стало холодным.

— Какой у тебя, Катя, жаргон вырабатывается! Совсем как у «объединенных дворян». Из-за того, что с тобою так поступили в Жилотделе, неужели вообще можно говорить о хамском царстве?

Катя замолчала и изумленно глядела на Веру.

— Из всего, что я тебе рассказала, тебя только это возмутило!.. Ну, а как он поступил? Как этих несчастных женщин гноят в темном подвале? Да и только ли это!

Катя рассказала о резолюции Искандера на прошении Миримановой, о генерале, задушенном в больнице санитаром. Глаза Веры как будто задернулись непроницаемою внутреннею пленкою.

— Да ведь с этим генералом, может быть, вовсе и не так. Кто видел, что его задушил санитар? Показалось со страху этой твоей фельдшерице. Столько сейчас везде сплетен про нас!

Катя враждебно возразила:

— Но почему же ты заранее, ничего не зная, утверждаешь, что ничего такого не было? Ну, а эта гнусная резолюция Искандера? Ее-то я уж сама видела, сама читала. Это уж факт!

— Ну, а по существу-то,— ведь он оказался прав в конце концов, деньги они внесли. А потом: отдельные эксцессы, конечно, всегда возможны...

— Отдельные? Эх, Вера! А что ваши пленники валяются в подвалах на каменном полу, в темноте, без прогулок,— это тоже отдельный эксцесс?

— Нет, это, конечно, нехорошо... Но ведь власть только что утвердилась. Конечно, всё сразу не успевают организовать, недочетов много. Первые недели всегда самые ужасные и совершенно анархичные. Вот теперь с нами приехал новый предревком, он понемножку все наладит.

Катя пристально поглядела Вере в глаза и круто замолчала. Вера, такая прямая и честная,— и это виляние, это казенное стремление оправдать, во что бы то ни стало!..

Она сняла с жаровни таз и стала готовить ужин.

Ужинали, пили чай. Перестали говорить о том, что их разъединяло, и опять явилась сестринская близость. Легли спать в одну постель,— Катю поразило, какое у Веры рваное белье,— и долго еще тихо разговаривали в темноте.

* * *

Назавтра Вера с убогим узелком своего имущества перебралась к Кате. Ордер в Жилотделе она без всякого труда получила вне очереди.

Вечером Вера, между прочим, сказала Кате:

— Да, знаешь, сегодня Корсаков, предреврок новый, осмотрел помещения арестованных. Верно, — даже топчанов нет, прогулок не дают. Вообще, настоящая, как ты говоришь, Иродова тюрьма. Такое безобразие! Сместил начальника тюрьмы и отдал его под суд.

— Ты ему все рассказала?

— Ну да.

— О, Верка, значит, с тобою еще можно жить! А я вчера вынесла впечатление, что тебе до всего этого и дела нет.

* * *

На одном из запасных путей узловой станции стоял вагон штаба красной бригады. Был поздний вечер воскресенья. Из станционного поселка доносились пьяные песни. В вагоне было темно, только в одном из купе, за свечкой, сидел у стола начальник штаба и писал служебные телеграммы.

Смеющийся женский голос спросил у входа:

— Товарищ Храбров, вы здесь?

Начальник штаба нахмурился.

— Здесь.

Вошла дама с подведенными слегка глазами, с полным бюстом. Храбров неохотно поздоровался. Она значительно пожала ему руку и с веселым упреком воскликнула:

— И не поцелует руки! А еще бывший офицер!

— Я и офицером не целовал дамам рук, а теперь и подавно.— И сухо спросил: — Отчего вы до сих пор не уехали? Ведь литерату я вам выдал.

— Опоздала. Пошла на вокзал выпить, — ужасно хотелось лимонаду! Ничего нет на станции, даже стакана воды не могла раздобыть. Вы ведь знаете, какая у вас везде бестолочь. Воротилась, — поезд ушел. Как саранча, идем мы, и все кругом разрушаем, портим, загаживаем, и ничего не создаем.

— Вы говорите, вы — жена коммуниста, ответственного работника. Могли бы шире смотреть, поверх этих мелочей.

Она вздохнула.

— Да, когда от этих мелочей жить невозможно!.. Ну, вы меня не приглашаете сесть, а я все-таки сяду.

Дама села и закурила папиросу. Ногу она положила на ногу, и из-под короткой юбки видна была до половины голени красивая нога в телесно-розовом чулке и туфельке с высоким каблучком. От дамы пахло духами, в разрезе белого платья виднелись смуглые

выпуклости груди, и в Храброва шло от нее раздражающее электричество женщины, тянущейся к любви и ждущей ее.

— А вы все сидите, все работаете. Вчера поздно-поздно ночью я видела огонек в вашем вагоне... — И с нежным, ласковым упреком она сказала, понизив голос: — Зачем вы так выматываете себя на работе?

— Вы больше, чем кто другой, можете это понимать. Время такое, когда приходится работать по двадцать часов в сутки.

— Ну, да... — Она молча смотрела на него большими черными глазами и вдруг тихонько сказала: — Никогда, никогда я не поверю, чтобы вы, правда, по внутреннему убеждению, так работали для них.

— Для них? Марья Александровна, я не ослышался? Для них, а не для — «нас»?

Дама загадочно засмеялась, посмотрела горячим взглядом и медленно ответила:

— Ну, если вам так хочется... «для нас»...

Храбров вдруг решительно встал, засунул руки в карманы и сказал:

— Люся! Довольно!

Дама отшатнулась.

— Какая... Люся? Я — Мария Александровна.

— Вы — Люся Гренерт. Не узнаете меня? Коля Мириманов. В одно время учились в Екатеринославе. Вы были такою славною гимназисточкою, с такими чудесными, ясными глазами... И вот — стали шпионкой.

— Коля? — Она в испуге смотрела на него.

— Стыдно, барыня!

Дама медленно опустила голову и закрыла лицо руками. Плечи ее стали вздрагивать. Она заплакала.

— Как же я вас не узнала?.. Да, верно: я ихняя шпионка. Послушайте меня.

Она робко огляделась.

— Да, они меня заставили сделаться шпионкой. В Харькове мой муж, подполковник, был арестован, сидел у них в чека полгода, меня не допускали. Сказали, что его расстреляют, и предложили пойти к ним на службу. Трое детей, есть нечего было, все реквизировали, из квартиры выгнали... Боже мой, скажите, что мне было делать!

— Что угодно! Умереть, предоставить мужа его судьбе, а на это не идти.

— Да, правда! И вот мне за это казнь. Вы знаете... Мне все-таки с тех пор ни разу не дали свидания с ним, и все время высылают с разными поручениями из Харькова. И я боюсь даже подумать... Душу мою они сделали грязной тряпкой, а его — все-таки расстреляли!.. О, если это верно, я им тогда покажу!

И, как в бреду, она быстро зашептала, испуганно оглядываясь:

— Я завтра утром уеду. Я, конечно, нарочно не уезжала до сих пор... И я вам все скажу. За вами очень следят, ни одному слову не

верьте, что вам говорят. Главный политком, Седой, он вам верит, а другой, латыш этот, Крогер,— он и в Особом Отделе,— он все время настаивает, что вас нужно расстрелять. Он-то меня к вам и подо-слал... И я боюсь его,— в ужасе шептала она,— он ни перед чем не остановится...

Снаружи вагона послышались мужские голоса, отдались шаги по приступочкам, в коридоре заговорили.

Дама побледнела и поспешно поднялась. Вошли политкомы Седой и Крогер, и с ними — командир бригады, бывший прапорщик, с туповатым лицом.

Когда дама проходила мимо них к выходу, Крогер значительно переглянулся с нею, Седой оглядел ее с тайною брезгливостью.

Поздоровались. Седой сказал, посмеиваясь:

— Вот вы в какой приятной компании проводите вечера!

Храбров раздраженно обратился к Крогеру:

— Товарищ Крогер, уберите вы, пожалуйста, отсюда эту дамочку. Говорит, нечаянно тут застряла, я ей выдал литературу, а она все тут вертится. Я ей сказал, что больше не буду ее принимать и велел гнать ее от вагона.

Крогер молча сел.

— И потом, вот что я хотел вас просить. У меня решительно не хватает времени на все. Отчего бы вашим помощникам не шифровать служебных телеграмм? Это и для них полезно,— они, таким образом, все время будут в курсе наших самых даже мелких распоряжений...

Крогер поглаживал свои густые, белесые усы и украдкой приглядывался к нему серыми, как сталь, глазами. Он ответил медленно:

— Да, это я вам хотел сам приказывать.

Они просидели часа два.

В автомобиле, по дороге к городу, Леонид с раздражением спросил:

— Да какие же у вас данные? Работает, как лошадь, все на нем держится. Комбриг говорит, что без него окажется как без рук.

— Значит, сам комбриг никуда не годится. Если бы я имел данные, я бы его арестовал без разговоров. А только я вижу: не из наших он. Зачем так много работает? Не по совести он у нас.

— Конечно. Спец как спец. Следить нужно.

Крогер упрямо возразил:

— Арестовать нужно.

Позднюю ночью Храбров, усталый, вышел из вагона. Достал блестящую металлическую коробочку, жадно втянул в нос щепоть белого порошку; потом закурил и медленно стал ходить вдоль поезда. По небу бежали черные тучи, дул сухой нордост, дышавший горячим простором среднеазиатских степей; по неметеному песку крутились бумажки; жестянки из-под консервов со звоном стучались в темноте о рельсы.

Недалеко от стрелки темнела фигура с винтовкою за спиною.

Храбров взгляделся и узнал своего ординарца, оренбургского казака Пищальникова.

— Товарищ Пищальников, это вы?

— Я, товарищ начальник.

— Чего это вы не спите?

— Не спится что-то. Все о доме думаю.

— Вы разве не добровольно пошли?

— Нет, по мобилизации взяли... Как скажете, товарищ начальник, скоро всему этому будет окончание?

— Не знаю, товарищ. Должно быть, долго еще нам с вами придется манежиться. Больно уж напористы белые.

Казак помолчал и вдруг сказал:

— Ваше благородие!

Храбров вздрогнул.

— Что вы, товарищ, с ума сошли?

— Никак нет... Дозвольте вас спросить, ваше благородие: неужто вы по совести пошли служить этой сволочи?

— Да я тебя арестовать велю! Ты с ума сошел!

— Никак нет... А только вот вам крест,— казак снял фуражку и широко, медленно перекрестился,— вы не от души им служите, нехристям этим.

Все время начеку, все время внутренне поджавшийся, Храбров хотел на него грозно закричать и затопать ногами. Но так из души вырвались слова казака, так он перекрестился, что Храбров шагнул к нему вплотную, заглянул пристально в бородатое его лицо и хриплым шепотом спросил:

— Крест у тебя на шее есть?

— Есть.

— Покажи.

Казак молча расстегнул ворот и вытянул за шнурок небольшой медный крестик. Храбров ощупал его, оглядел.

— Ну, я тебе верю, Пищальников. Чувствую, что тебе можно верить.

Казак радостно ответил:

— Так точно, ваше благородие!

— Хочешь России послужить?

— Что прикажете, все сделаю. Рад стараться.

— Хорошо. Скоро ты мне понадобишься. А сейчас разойдемся. Не нужно, чтобы нас видели вместе.

* * *

В субботу Леонид по делам ехал на автомобиле в Эски-Керым. Катя попросила захватить ее до Арматлука: ей хотелось сообщить отцу с матерью о приезде Веры и выяснить возможность их свидания. Дмитревский поручил ей, кстати, ознакомиться с работой местного Наробраза.

После обеда выкатили они из города еще с одним товарищем. Длинный, с изможденным, бритым лицом, он сидел в уголке сидения, кутаясь в пальто, хоть было жарко.

Мчалась машина, жаркий ветер дул навстречу и шевелил волосы, в прорывах гор мелькало лазурное море. И смывалась с души чудная муть, осыпая от впечатлений последнего месяца, и заполнялась она золотым звоном солнца, каким дрожал кругом сверкающий воздух.

В степи шел сенокос, трещали косилки, по дорогам скрипели мажары с сеном. От канонады на фронте по всему Крыму лили в апреле дожди, урожай пришел небывалый.

Спутники Кати вполголоса разговаривали между собой, обрывая фразы, чтоб она не поняла, о чем они говорят. Фамилия товарища была Израэльсон, а псевдоним — Горелов. Его горбоносый профиль в пенсне качался с колыханием машины. Иногда он улыбался милою, застенчивою улыбкою, короткая верхняя губа открывала длинные четырехугольные зубы цвета старой слоновой кости. Катя чувствовала, что он обречен смерти, и ясно видела весь его череп под кожей, такой же гладкий, желтовато-блестящий, как зубы.

По обрывкам фраз Катя понимала, о чем они говорят, и ей было смешно; они скрывали то, что все в городе прекрасно знали,— что в центральный совет рабочих профсоюзов прошли меньшевики и беспартийные. Когда разговор кончился, она как всегда, срыву, сказала:

— На днях у нас на пленуме в Наробразе выступил представитель совета профсоюзов. Вот была речь! Как будто свежим ветром пахнуло в накуренную комнату.

Леонид пренебрежительно спросил:

— Что ж он у вас такое говорил?

— Говорил о диктатуре пролетариата, что они выгоняют жителей из квартир, снимают с них ботинки, и что в этом вся их диктатура. А что прежде всего нужно стать диктатором над самим собой, что рабочие должны заставить всех преклониться пред своей нравственной высотой, пред своим уважением к творческому труду.

Леонид переглянулся с Гореловым и засмеялся.

— Вот интеллигентщина!

Лицо его стало неприятным и колючим.

— И говорил еще, что рабочий класс в самый ответственный момент своей истории лишен права свободно думать, читать, искать.

Леонид прервал ее:

— Интересно,— какого он цеха?

— Иглы.

— Ну, так! Значит, портной. Не мастерок ли? Они сейчас великолепно зарабатывают на общей разрухе, спекулируют мануфактурой, под видом родственничков набирают подмастерьев и эксплуатируют их совсем как раньше.

— Само собою! Раз не ваш, значит — спекулянт и буржуй!

— Скажите, пожалуйста, чем всего больше озабочен! Что бур-

жуазию выселяют из ее роскошных особняков и отводят их под народные дома, под пролетарские школы и приюты! Какая трогательная заботливость!.. Вообще необходимо обревизовать все эти выборы. Дело очень темное.

— Темное, несомненно,— отозвался Горелов и мягко обратился к Кате.— В провинции сейчас это то и дело наблюдается: более достаточные рабочие мелкобуржуазного склада пользуются темной истинно пролетарской массой и ловят ее на свои удочки.

— Ничего! Скоро просветим! — сказал Леонид.— Кто сам собой, тот не будет плакать над ботинками, снятыми с богача.

— А наденет их и будет измываться над разутым.

Леонид задирающе усмехнулся.

— Конечно!

— А у тебя у самого очень хорошие сапоги.

Леонид оглядел свою ногу, подтянул лакированное голенище и, дразня, спросил:

— Правда, недурные сапожки?

Под колесами выстрелило, машина остановилась. Шофер слез и стал переменять камеру.

Качаясь в седлах, мимо проскакали два всадника с винтовками за плечами. Через несколько минут, догоняя их, еще один промчался карьером, пригнувшись к луке и с пьяною беспощадностью сеча лошадей нагайкою.

Леонид глядел им вслед.

— Махновцы. Рассыпались по окрестностям и грабят, сволочь этакая. Когда мы от этих бандитов избавимся!

Поехали дальше. Через несколько верст лопнула другая шина. Шофер осмотрел и сердито сказал:

— Нельзя ехать, камер больше нету. Чиненые-перечиненые дают, так лохмотьями и расползаются.

Дошли пешком до ближайшей деревни. Леонид предъявил в ревкоме свои бумаги и потребовал лошадей. Дежурный член ревкома, солдат с рыжими усами, долго разбирал бумаги, скреб в затылке, потом заявил, что лошадей нету: крестьяне заняты уборкою сена. Леонид грозно сказал, чтоб сейчас же была подана линейка. Солдат вздохнул и обратился к милиционеру, расхлябанно сидевшему с винтовкою на стуле.

— Гриша, сейчас Софронов проехал из степи с сеном. Скажи, чтоб дал лошадей. Станет упираться, арестуй.

Милиционер ушел, за ним ушел и солдат. В комнате было тихо, мухи бились о пыльные стекла запертых окон. На великолепном письменном столе с залитым чернилами бордовым сукном стояла чернильная склянка с затычкой из газетной бумаги. По стенам висели портреты и воззвания.

Горелов, уткнув бритый подбородок в поднятый воротник пальто, дремал в углу под портретом Урицкого. Желтели в полуоткрытом рту длинные зубы.

Катя вышла на крыльцо. По горячей пыли дороги бродили куры, с сверкавшей солнцем степи несло сосредоточенное жужжание косилок. Леонид тоже вышел, закурил о зажигалку и умиленно сказал:

— Вот человек — Горелов этот! В чем душа держится, зимою перенес жесточайшую цынгу; язва желудка у него, катар. Нужно было молоко пить, а он питался похлебкою из мерзлой картошки. Отправили его в Крым на поправку, он и тут сейчас же запрягся в работу. Если бы ты знала,— какой работник чудесный, какой организатор!..

Через полчаса подъехала линейка. На козлах сидел мужик с войлочной-лохматой бородой, с озлобленным лицом.

Поехали дальше. Запыленное красное солнце спускалось к степи. Опять скрипели мажары с сеном, у края шоссе, по откосам, остро жвыкали косы запотелых мужиков, в степи стрекотали косилки. Группами или в одиночку скакали к городу махновцы, упитанные и пьяные.

Леонид спросил возницу:

— Здорово вашего брата обижают махновцы?

Мужик краем глаза поглядел на него и неохотно ответил:

— Мужика всякий обижает..

И отвернулся к лошадям. Помолчал, потом опять поглядел на Леонида.

— Войдут в хату,— сейчас, значит, бац из винтовки в потолок! Жарь ему баба куренка, готовь яичницу. Вина ему поставь, ячменю отсыпь для коня. Все берет, что только увидит. Особенно до вина ярые.

Проехала подвода, тяжело нагруженная бочонками вина, узлами. Вокруг нее гарцевали два махновца. Третий, пьяный, спал на узлах, с свесившеюся через грядку ногою, а лошадь его была привязана к задку. Возница татарин, с угрюмым лицом, бережно, для виду, подхлестывал перегруженных кляч.

Леонид засмеялся.

— Какие вы близорукие, обыватели российские! — обратился он к Кате.— Не умеете вы нас ценить. Кабы не мы, по всей матушке-Руси шныряли бы вот этикие шайки махновцев, петлюровцев, григорьевцев, как в смутное время или в тридцатилетнюю войну. И конца бы их царству не было.

— Вот, и при вас шныряют, а вы смирененько смотрите.

— Погляди, шныряют ли у нас в России. Дай нашим сюда подтянуться, увидишь, долго ли будут шнырять.

Катя кивнула на мужика.

— Он не только про махновцев говорил. Сказал,— всякий мужика обижает.

Леонид потянулся и зевнул.

Они ехали по мягкой дороге рядом с шоссе. Шоссе внизу делало крутой изгиб вокруг оврага. За кучею щебня, как раз на изгибе шос-

се, вздымался странный темный шар. Мужик завистливо поглядел и пощелкал языком:

— Ка-кого коня загнали!

Лежала великолепная кавалерийская лошадь с вздутым животом, с далеко закинутою головою; меж оскаленных зубов длинно высунулся прикушенный фиолетовый язык, остеклевшие глаза вылезли из орбит.

— Загнал с пьяных глаз, мерзавец! — с отвращением сказал Леонид.

Проехали. Катя еще раз оглянулась на лошадь. По ту сторону оврага, над откосом шоссе, солдат с винтовкою махал им рукою и что-то кричал, чего за стуком колес не было слышно. Вдруг он присел на колени и стал целиться в линейку. Катя закричала:

— Смотрите, что он делает!

— Тпруэ!

Мужик испуганно натянул вожжи. Линейка стала.

Солдат ленивою походкою, не спеша, шел к ним, с винтовкою в левой руке, с нагайкою в правой. Был он лохматый, здоровенный, с картузом на затылке, с красным лицом. Подошел и с пьяною серьезностью коротко сказал:

— Ваши документы!

На груди его был большой черно-красный бант.

Леонид с уверенностью человека, имеющего хорошие документы, небрежно протянул ему бумажку. Махновец стал разбирать.

— По-ли-ти-чес-кий комис-сар...— Он уставился на Леонида.— Советчик? Не годится документ.

Леонид насмешливо спросил:

— Почему?

— Мы на вашу советскую власть плюем. Нам эти документы ни к чему.

— А для чего вам, товарищ, документы? По какому праву вы их требуете?

— Плюем на вашу власть. Мы только батьку Махно одного знаем. Он нам приказал: «Бей жидов, спасай Россию!» Приехали к вам сюда порядок сделать. Обучить всех правильным понятиям...— Он озорным взглядом оглядел Леонида и, как заученно-привычный лозунг, сказал: — Бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не почернеют... Ты кто?

Леонид резко ответил:

— Я тебе показал документ, знаешь, кто я,— чего еще спрашиваешь!

— Молчи!..— Он замахнулся на Леонида нагайкой.— Кто ты?

Леонид пожал плечами.

— Кто! Ну, коммунист.

— Нет, кто ты?

Катя рассмеялась.

— Да неужто ж сами не видите? Русский, русский! Не еврей!

Широкая рожа солдата расплылась в улыбку.

— Хе-хе!.. Верно!.. А ты,— он уставил на нее палец,— ты жидовка!

— Вот так так! Я двоюродная сестра его!

— Сестра!.. Знаем, что за сестры! Повидали их на войне.— И извивающимися гадюками поползли в воздухе циничные, грязно оскорбительные догадки.

Потом он сказал:

— Слезайте все долой!.. Слышь, земляк! Конь у меня занедужил, вон лежит. Повезешь в город.

Мужик сердито ответил:

— Дохлый твой конь, ай не видишь? Куда его везть!

— Отойдет. Поворачивай!

— Да что ты, товарищ!.. Разве линейка подымет лошадь? Вон мажара, чего ж вам лучше!

Навстречу ехала пустая мажара, в ней сидели два грека. Они согнулись и глядели в сторону. Махновец властно сказал:

— Стой!

Греки притворились, что не слышат, и продолжали ехать. Махновец деловито упер приклад в бедро и выстрелил в небо. Греки моментально остановились. Он, не спеша, отдернул затвор и опустил винтовку.

— Слезай!

Греки слезли.

— Кто такие?

— Крестьяне, товарищ. За сеном едем.

— Вина не везете?

— Поглядите сами, пустая арба... Можно ехать?

Махновец отрицательно мотнул головой и повернулся к вознице линейки.

— Ты мне ручаешься за них?

Мужик усмехнулся в войлочную свою бороду.

— За кого такое?

— Вот за этих.— Он указал на пассажиров.

— Я-то что тут? По наряду взяли меня. Кто такие,— почему я знаю.

— Ты мне за них отвечаешь. Ежели что,— на мушку тебя.

Странно было Кате. Пять мужчин окружало его, а он, один против всех, командовал над ними и измывался, и винтовка беззаботно висела за плечами.

Махновец опять повернулся к грекам.

— Вон конь мой лежит. Подъезжайте, подберем его... В город свезете.

Старший из греков поспешно ответил:

— У нас лошади слабые, не вытянут.

Катя быстро наклонилась к Леониду и шепотом спросила:

— Неужели у тебя нет револьвера?

— Ч-черт! Такая глупость! Забыл.

Глаза Кати потаенно блеснули, и в ответ им сверкнуло в душе Леонида. Он слегка побледнел и слез с линейки, разминая ноги.

Махновец в колебании оглядывал линейку. Ему хотелось еще позорничать, но он не знал, как.

Горелов, сгорбившись и уткнувшись подбородком в воротник, все время неподвижно сидел на той стороне линейки, спиной к махновцу. Вдруг взгляд махновца остановился на его горбоносом, изжелта бледном профиле.

— Ты... — зловеще протянул махновец. — Поди-ка сюда, жидовская харя! — И спокойной рукою он взялся за револьвер у пояса.

Катя быстро переглянулась с Леонидом. И дальше все замелькало, сливаясь, как спицы в закрутившемся колесе. Леонид охватил сзади махновца, властно крикнул: «Товарищи, вяжите его!» и бросил на землю. Катя соскочила с линейки, а мужик, втянув голову в плечи, изо всей силы хлестнул кнутом по лошадям. Горелов на ходу спрыгнул, неловко взмахнул руками и кувыркнулся в канаву. Греки вскочили в мажару и погнались по дороге в другую сторону.

Махновец бился под Леонидом, но Катя сразу почувствовала, что он гораздо сильнее, — ее поразили его крепкие, круглые плечи. Рука с револьвером моталась в воздухе над Леонидом и старалась повернуть револьвер на него. Не умом соображая, а какою-то властной, взмывшею из души находчивостью, Катя схватила руку с револьвером, — на длинных ногах неуклюже подбегал Горелов, — и всю грудь навалилась на руку. Рука бешено дернулась, проехала выступающими частями револьвера по Катиной щеке и опять взвилась в воздухе. Махновец изогнулся, сбросил с себя Леонида, в упор выстрелил в набегавшего Горелова и подмял под себя Леонида. Рука с револьвером упиралась в землю. Катя схватила валяющуюся на земле винтовку с оборванной перевязью, изо всей силы ударила прикладом по руке. Револьвер вывалился. Она подняла, беспомощно оглядела его. Попробовала поднять курок, — не поддается.

— Товарищ Горелов! Револьвер, стреляйте! Я не знаю, как выстрелить!

Горелов, в окровавленном пальто, лежал на дороге, закинув голову, и хрипел. Мелькнула в глаза далекая линейка на шоссе, — она мчалась в гору, мужик испуганно оглядывался и сек кнутом лошадей. Махновец душил Леонида.

Катя завизжала, с бурным разбегом налетела, охватила руками голову махновца и вместе с ним упала наземь. Локоть его больно ударил ее с размаху в нижнюю часть живота, но ее руки судорожной, мертвой хваткой продолжали сжимать потную, лохматую, крутящуюся голову. Выстрел раздался где-то за спиной, голова в руках глухо застонала, еще выстрел.

— Бросай! — задыхаясь, крикнул Леонид.

Катя вскочила. Махновец, с раздробленным коленом, с простреленным животом, пытался подняться, ерзал по земле руками и

ругался матерными словами. Леонид выстрелил ему прямо в широкое, скуластое лицо. Он дернулся, как будто ожегся выстрелом, и, сникнув, повалился боком на землю.

— А Горелов где?

Горелов неподвижно лежал с открытыми, без блеска, глазами, с тем неожиданным, чуждым выражением, которое накладывается на лицо смертью. И ярко желтели оскаленные, длинные зубы.

Вдруг Катя испуганно крикнула:

— Смотри!

Солнце уже село, и вдали, из-за горба шоссе, на красном фоне зари вырастали, подпрыгивая, два черных силуэта всадников с винтовками.

— Махновцы! Удирать! — хрипло сказал Леонид. — погоди! Придется отстреливаться.

Он снял с убитого подсумок с патронами, взял винтовку, револьвер.

— Айда!.. Только бы до гор добраться... Пока еще подъедут, разберут, в чем дело. Не беги, пока на виду.

Не спеша, они сошли к мосту, спустились в овраг и побежали по бело-каменистому руслу вверх. Овраг мелел и круто сворачивал в сторону. Они выбрались из него и по отлогому скату быстро пошли вверх, к горам, среди кустов цветущего шиповника и корявых диких слив. Из-за куста они оглянулись и замерли: на шоссе возле трупов была уже целая куча всадников, они размахивали руками, указывали в их сторону. Вдоль оврага скакало несколько человек.

— Бежим! — коротко бросил Леонид.

Пригнувшись, они побежали меж кустов к горам. Тонко, по-осиному, жужжа, над головами пронеслась пуля, и долетел звук выстрела. Путь пересекал овраг, они перебрались через него. Вскоре другой.

Катя крикнула, смеясь:

— Смотри, как хорошо! Ведь это им загораживает дорогу. Либо придется слезать с лошадей, либо в обход ехать!

Скакало по откосу уже человек пятнадцать, и на скаку стреляли. Слышались выстрелы, но свиста пуль не было. Поднималась гора, с поперечными, параллельными друг другу овечьими тропками.

— Ну, только бы по ней взобраться,— тут цель для них хорошая, а там лучше будет... Не трусь, Катька!

— Дурак ты, Леонидка! — отозвалась Катя,— так чуждо совался его призыв в тот радостно-огненный вихрь, в котором крутилась ее душа.

Они карабкались в гору, цепляясь за колючие плети цветущих каперсов. И теперь вдруг кругом защелкало по камням, запылилось по сухой земле. Катя с жадным любопытством оглянулась. Всадники, спешившись, спускались в поперечный овраг, другие стреляли с колена.

Гребень горы с алыми маками. Большие камни. По эту сторону оврага два махновца садились на коней. Леонид бросился за камень

и прицелился. Катя, с отколовшейся, растрепанной косой, с исцарапанной револьвером щекою, стояла, забывшись, во весь рост и упоенно смотрела. Струистый огонь, уверенный, резкий треск. Один из махновцев схватился за ногу и опустился наземь.

Леонид сердито крикнул:

— Дура, ложись же! Чего стоишь!

Еще раз он выстрелил, еще, и они побежали. За гребнем горы тянулось широкое ущелье, густо заросшее лесом...

Темнело. Катя с Леонидом сидели под нависшим камнем, за струисто-ветвистыми кустами непроглядной березы. По лесу трещали шальные выстрелы махновцев, иногда совсем близко слышался их говор и ругательства.

Леонид спросил шепотом:

— Что это у тебя?

Рукав Катиной кофточки был густо смочен кровью, капли крови чернели на ее серой юбке. В сумерках глаза Леонида засветились теплой лаской.

— Ну, с боевым крещением! Ранена... Снимай кофточку.

— Ерунда какая! Что это? Я ничего и не чувствовала.

— Снимай.

Стаскивая рукав, Катя почувствовала в руке боль. Стыдясь своих нагих рук и плеч, она взглянула на руку. Выше локтевого сгиба, в измазанной кровью коже, чернела маленькая дырка, такая же была на противоположной стороне руки. Катя засмеялась, а сама побледнела, глаза стали бледно-серыми, и она, склонившись головою, в бесчувствии упала на траву.

* * *

Туман редел в голове. Непонятно было, откуда слабость в теле, откуда хлопанье пастушьего кнута по лесу. И вдруг все вспомнилось. Вспомнился взблеск выстрела перед усатым, широким лицом, животом оскаленные желтые зубы — Горелова? или лошади с прикушенным языком? Но сразу же потом — радостный свист пуль, упоение бега меж кустов, гребень горы и скачущие всадники... И такой позорный конец всего!

Рука была перевязана носовым платком, и френч Леонида накинут на грудь. По лесу гулко раздавались еще мужские голоса, трещали кусты под ногами лошадей. Но уже много дальше. Иногда, словно удар пастушьего кнута, перекатывался по лесу выстрел.

Катя сконфуженно поднялась и медленно начала надевать кофточку.

— Какая нелепость! С чего это я?

Леонид сидел в одной рубашке, заправленной в брюки, и курил, пряча огонек в ладонь. Он заботливо оглядел Катю и мягко улыбнулся.

— Ничего, это бывает. Важно не распускаться, когда нужно. По закону, девице полагается хлопаться в обморок в минуту самой

опасности, а мужчине, отбивая удары, взваливать драгоценную ношу на луку седла... А с тобою можно дела делать. Молодец девка!

Красный свет восходящего месяца бросал на камни сквозь листья ясеня неподвижно-черные узоры. Тихо было.

Леонид спросил:

— Ты через горы знаешь дорогу в Арматлук? На шоссе разумнее не выходить.

— Приблизительно знаю. Это — ущелье Гяур-Бах, тут перевал должен быть около Кара-Агача... Пойдем.

Катя быстро встала.

— Погоди, дурочка, не спеши. Дай махновцам уйти.

Она опять села. В логове их под скалою было уютно, темно и необычно. Гибкие ветви цветущей дерезы светлели перед глазами, как ниспадающие струи фонтана. И все вокруг было необычно и по-особенному прекрасно. Белели большие камни странной формы, не всегда мутен и тепел был красный свет месяца, и никогда еще не было в мире такой тишины.

Леонид положил руку на Катину руку и крепко пожал ее сверху.

— Спасибо тебе, Катюшка! Кабы не ты сегодня, кормить бы мне собою крымских ваших червей... Жалко, что ты не наша. Нам такие нужны.

Катя редко теперь видела его таким,— когда он бросал свой развязный, задирающе-пренебрежительный тон и становился простым, искренним. Горячо задрожало в душе родное, тянущееся к нему чувство, как в те времена, когда он неожиданно являлся к ним из подполья,— исхудалый, нервный,— и гимназисточка-подросток жадно слушала его рассказы и толкование жизни.

— Если бы вы были другие! — вырвалось у нее.

Леонид помолчал и тихо сказал:

— Не можем мы быть другими.

— Но отчего же, отчего? Пойми, Леня, для меня это смертельный вопрос... Зачем вы эту грязь разводите вокруг себя, эту кровь? Это хамство, это измывательство над людьми? Ведь такого циничного надругательства над жизнью никогда еще, нигде не было! Вы так все обставили, что только хамы и карьеристы могут к вам идти, и те, кому власть, как вино. И все человеческие слова отскакивают от вас, как вот если камушки бросать в эту скалу.

Он слабо усмехался и бил веточкой по голенищу сапога.

— Удивительные вы люди! Разве мы можем такие слова впускать себе в душу? Как ты не понимаешь? Все кругом до самого основания изменилось, прежние отношения сломались, душа должна перестроиться на какой-то совсем новой морали... Или уже нельзя будет жить.

— Говори так, Леня! Говори так! Не переходи на всегдашний тон. Господи, какой он тяжелый! Как будто все время в маске человек!

— Вы как смотрите? Была хорошая, чистая, светлая жизнь,

и ей только не давали развиваться давившие ее мерзавцы. Мерзавцев убрали,— и вот все пошло бы хорошо и гладко, да вмешались на беду эти подлые большевики и все вам напортили. Милая моя, ведь это же взрыв был,— взрыв огромных подземных сил, где вся грязь полетела вверх, пепел перегорелый, вонь, смрад,— но и огонь очищающий, и лава полилась расплавленная. Подумай, какие человеческие силы могли бы это удержать?

— А вы не удерживали, а, напротив, разжигали.

— Конечно. И нужно было, чтоб огонь ударил в небо, и чтоб лава полилась по миру. А что грязь и смрад,— так что же делать! Неужели ты думаешь, что, если бы все от нас зависело, мы не действовали бы иначе? Дисциплинированные, железные рабочие батальоны, пылающие самоотверженной любовью к будущему миру, обдуманная, планомерная реорганизация строя на новых началах... Эх, да смешно говорить! Ей-богу, как будто институтки в белых пелериночках,— и разговаривай с ними серьезно!

— Нет, вы эту грязь именно разводите, вы нарочно играете на самых подлых, эгоистических инстинктах, стараетесь разжечь их, а не боретесь с ними. Вы вперед забегаете, вы хуже тех, к кому приравниваетесь.

— Погоди. Пойдем. Не ночь же всю сидеть.

— Ну! Только что разговорились... Ну, что ж, ну, и ночь просидим!

Леонид надел куртку, поднял с земли винтовку и вышел из кустов.

— Тихо. Уехали... Ночь-то какая!

Месяц поднялся меж гор над ущельем и стал серебряным. Внизу чернел лес. Впереди крутыми своими утесами уходил в небо могучий Кара-Агач. Катя оглядывала местность.

— Тут где-то сейчас горная дорога должна быть через перевал...

Они осторожно шли, оглядываясь и прислушиваясь. Но тишина в лесу стояла забытая, и бояться было нечего. Выбрались на горную, слабо наезженную дорогу. Кудрявые кусты орешника бросали на траву черные тени. Как очень давнишнее, Катя вспомнила вздохмаченно-потную, крутящуюся голову в своих руках, огонь выстрела перед полбденевшим лицом. Лет пять-шесть назад смиренный мужик ходил за плугом по своему полю, косил пшеницу. Думал ли он тогда, что кровавым хозяином пройдет по городам и селам и, пьяный, сложит под пулей голову на большой дороге?

Леонид заговорил:

— Ты одного не понимаешь. Подготовительная, начальная стадия революции и сама революция — две совсем разные вещи. Там самоотвержение, высокий идеализм, чистый, молодой порыв. Таковы были девятисотые годы с первой революцией нашей. Но тогда шли десятки,— ну, сотни тысяч. А теперь поперли миллионы. Некультурные, дикие, озлобленные. Не за человечество они идут, не за лучшее будущее, а за себя,— просто за самих себя,— полные злобы,

мести, жадности. Но ведь ты марксистка, как же ты этого не учиываешь? В этом-то и сила всякой настоящей революции. Пойми ты, что старая психология идейного нашего революционера-интеллигента здесь не только не нужна, а вредна, опасна... Ну, вот ты, например. Ты работала для революции, в тюрьмах сидела, в ссылке была. Потому, что ты видела, что рабочие, крестьяне угнетены, страдают,— и ты возмущалась. Очень все хорошо, и честь тебе. Но теперь угнетены буржуазия, интеллигенция, ты возмущаешься за них. Конечно, по-человечеству сказать, все — люди, и не виноваты буржуи, что родились буржуями. И вот, ты двоишься. Источник, из которого шло твое революционное настроение, потек по другому направлению. А мы идем за рабочих не потому, что они какие-то лучшие люди. Такие же! А потому, что классовый эгоизм толкает их на разрушение всяких классов и на создание нового мира. И со старую мерку подходить тут нельзя. Вот почему наша милая, отзывчивая интеллигенция со своею чистенькою моралью оказалась не у дел.

— Да, спасибо вам за вашу новую мораль! Ведь самодержавие,— само самодержавие, с вами сравнить, было гуманно и благородно. Как жандармы были вежливы, какими гарантиями тогда обставлялись даже административные расправы, как стыдились они сами смертных казней! Какой простор давали мысли, критике... Разве бы могло им даже в голову прийти за убийство Александра Второго или Столыпина расстрелять по тюрьмам сотни революционеров, совершенно непричастных к убийству?.. Гадины вы! Руку вам подашь,— хочется вымыть ее!

Она вздрогнула и повела плечами.

Леонид сдвинул брови и резко сказал:

— Вот тут-то мы и начинаем говорить на разных языках. Для нас вопрос только один, первый и последний: нужно это для революции? Нужно. И нечего тогда разговаривать. И какие страшные слова вы не употребляйте, вы нас не смутите. Казнь, так казнь, шпион, так шпион, удушение свободы, так удушение. Провокация нужна? И пред провокацией не остановимся. А эксцессы... Эксцессы мы очень бы рады и сами искоренить. Понятно, что у чекиста, в его страшной работе, голова легко пьянеет от власти и крови. Вы только не знаете, сколько из них самих попадает у нас под расстрел. Но чтобы на этом основании устыдиться и уничтожить чрезвычайки и с закрытыми глазами ходить среди заговоров и покушений на революционную власть, ну, нет-с! Плохо рассчитали! Мы не такие дурачки, и на удочку вашу не попадемся!

Опять, как обычно, в голосе его зазвучали митинговые ноты, когда он как будто говорил не для собеседника, а для невидимой, сочувственной ему толпы. И, как обычно, между ними запрыгали враждебные, колющие искорки.

Катя замолчала. Ей хотелось продолжать разговор в прежнем созвучном тоне, но настроенность у обоих исчезла. Она огорченно

опустила голову. И оттого, что она не возражала, что на девической щеке чернели запекшиеся царапины от револьвера, Леониду сделалось стыдно, и опять она стала ему близка и мила. Он поднял брови, почесал в затылке, дружественно просунул руку под ее локоть и смущенно сказал:

— Ну, ничего!.. Ночь-то какая, посмотри.

Катя все время бессознательно чувствовала эту ночь. Справа тянулись крутые обрывы Кара-Агача, в лунном тумане они казались совсем близкими. И казалось под лунным светом,— какие-то там на горе огромные порталы, стройные колонны, величественные входы невиданно большого храма. Опять стало просто.

Леонид держал ее под локоть, и они шли рядом. Он заговорил по-прежнему хорошо:

— Помнишь, утром, на площади у вас в Арматлуке, когда мы судили за грабеж ваших парней, записавшихся в Красную армию? Неужели же, ты думаешь, не хотелось бы мне, чтобы все у нас были такие, как тогдашний мой отрядец из рабочих,— горящие, серьезные, дисциплинированные?.. И вот,— что кругом делается! Грабежи, пьянство, притесняют всех одинаково; мужики с каким нас встречали восторгом, а теперь начинают ненавидеть. Даже махновскую эту сволочь мы вынуждены до времени терпеть. Ведь большинство у нас — люди деклассированные, развращенные империалистической войной, отвыкшие от труда, привыкшие к грабежу и крови, притом раздетые и голодные. Сразу их не перевоспитаешь. Только медленно, идя вместе с ними, мы постепенно сможем их сорганизовать. И, конечно, приходится совершенно перестроить свою душу. Я помню октябрьские дни в Москве. Теперь смешно вспомнить: как мы, интеллигенты, были тогда мягкосердечны, как боялись пролить лишнюю каплю крови, как стыдились всякого лишнего орудийного выстрела, чтобы, упаси боже, не задеть Василия Блаженного или Ивана Великого. А солдатам нашим это было совершенно непонятно, и они, конечно, были правы... Что с тех пор каждому из нас пришлось видеть, переиспытать!

Кате стало неприятно, что рука Леонида касается ее локтя.

— Погоди! На минутку!

Она высвободила руку, наклонилась к кусту, сорвала под ним две веточки цветущего шпорника. И усердно стала их нюхать.

— Ну! Ну! — жадно сказала она.— Дальше!

— Ну, вот... — Леонид шел, качая в руке винтовку.— В банкирском особняке, где я сейчас живу, попало мне недавно «Преступление и наказание» Достоевского. Полкниги солдаты повыдрали на цыгарки... Стал я читать. Смешно было. «Посмею? Не посмею?» Сидит интеллигентик и копается в душе. С какой-то совсем другой планеты человек. Ну, вот сегодня, с махновцем этим... Ты первого человека в жизни убила?

Катя дрогнула от неожиданно так заданного вопроса.

— Ну! Как ты говоришь...

— Как говорю... Да, мы с тобой убили.— Он лукаво глядел на нее и улыбался.

Катя тоскливо повела плечами.

— Ну, да.

— А, может быть, его не стоило убивать.

— Мне тоже думается.

— Что он за револьвер взялся на Горелова,— так можно было разговорить. С пьяным русским человеком это легко, только шуточка вовремя. Не то что с латышом, например,— эти звереют в хмелю. А мы убили. И вот ты долгие годы будешь задавать себе вопрос: «Права ты была? Не права?»... А я... Есть мне время об этом думать! Какая-то огромная, совершенно бессознательная жизнь в коллективе. Сегодня он, завтра я. Так все это неважно! Важно, что земля трясется, что гниль рушится, что все, о чем вы говорите: «Поосторожнее, да не сразу!» — все летит к черту. Ведь по всей Европе от нас идут подземные удары, бьют снизу в просторы летаргической Азии. Все ворошится, просыпается. Придавленные чувствуют, что все они — одна огромная, братская стихия, что нет никаких разъединяющих Христовов, Будд, Аллахов, нет каких-то священных Франций, Германий, Индий, Китаев, что все это обман. Один только вечный, священный, неразрывный объединитель — Труд... И думать о каком-то махновце убитом, о том, что нас убьют, о ботинках, снятых с барина, о том, что мы рот зажимаем трусам и предателям, которые все это хотят остановить: «Поосторожнее, да помирнее, да чтобы не обидеть кого, да слишком рано еще»... И это тогда, когда все силы мировые нужно напрячь, когда всё в том, чтобы дружно вскочили все сразу.

Катя усердно нюхала цветы. Справа в лунной дымке все тянулись обрывистые утесы, как порталы и колонны. В своем волнении и своей тоске Катя не могла отвлечься, сделать усилия сбросить обман зрения. И было у ней живое ощущение не диких скал, а бесконечно огромного храма нечеловеческих размеров.

С вершины перевала открылась туманная, голубая под луной арматлукская бухта меж выбегающих мысов, в поселке краснели огоньки.

— Вот это поселок ваш?

— Да.

— Выбрались.— Леонид опять взял Катю под руку.— Катя, мы больше никогда так не будем говорить. Мы чужие. Ты считаешь меня жестоким, а моя трагедия,— что во мне слишком мало стали. Ты хорошая девчурка, и мне не хочется, чтоб мы были врагами. Знай, что мне часто бывает очень тяжело, иногда кажется,— не хватит сил все это выдерживать. Не случайность, что среди нас так много морфинистов и кокаинистов. И очень много в условиях работы, что калечит душу. Не стоим мы на высоте. Но выбора нет. Вспомни иногда об этом, когда слишком захлестнет тебя ненависть.

Катя опять высвободила руку и бросила цветы наземь. И задышалась, и слезы звенели в голосе, когда она сказала:

— Да, мы чужие... Мне припоминается, я читала у Лиссагарэ³³, один версальский офицер, во время расстрела коммунаров, воскликнул: «Нужно иметь очень твердые политические убеждения, чтоб выдерживать душою то, что мы делаем!» Но вот что обидно, о чем плакать хочется... Когда вас свергнут, когда вы даже сами сгниете на месте от своей бездарности и бессмысленной жестокости,— и тогда сиянием вас окружит история, и вы яркою, призывною звездой будете светить над всем миром, и всё вам простят! Что хотите, делайте, омохнайтесь, до полной потери человеческого подобия,— всё простят! И даже ничему не захотят верить... Где же, где же справедливость!

Леонид тихонько посмеивался. Они молча стали спускаться с перевала.

* * *

Фитилек в стакане с маслом тускло освещал милую, знакомую закоптелую кухню. Катя, с голыми руками и плечами, сидела на табуретке и одушевленно рассказывала о схватке с махновцами, а Иван Ильич перевязывал ей простреленную руку. Анна Ивановна ахала и любовно смотрела на Катю в круглые свои очки,— в глазах Ивана Ильича были холод и отчуждение.

Катя оделась.

— Да, еще вот что. Вера приехала из России, работает у нас в городе.

Анна Ивановна радостно всплеснула руками.

— Да что ты?

Иван Ильич потемнел, в глазах его мелькнул обычный беспощадный огонек. Он прошелся по кухоньке и с сдержанною, недоброю усмешкою спросил:

— Что же, в чрезвычайке служит?

— Ах, оставь ты, папа! — раздраженно отозвалась Катя.

Он молча заходил по кухне. Анна Ивановна жадно расспрашивала про Веру.

Иван Ильич сказал:

— Когда она была учительницей на донецком руднике, она публично не подала руки врачу, присутствовавшему при смертной казни; ее тогда уволили за это и выслали из донецкого края. Что же, и теперь она не подает руки людям, причастным к казням?

— Ну, папа, я не хочу с тобой об этом говорить... Видеть ее ты, конечно, не желаешь?

— Откровенно говорю: не желал бы.

— Ну, мама, мы с тобой в понедельник поедem в город, ты с ней там увидишься.

Сели ужинать. Иван Ильич, сурово нахмурившись, ел молча.

Катя с удивлением спросила:

— А вы всё в кухне живете и в маленькой комнатке? Отчего не перебираетесь на летнюю половину?

Анна Ивановна измученно вздохнула.

— Там солдаты-пограничники живут. С мезонина глядят в подзорную трубу на море. Уж такое мне горе с ними! Воруют кур, колют на щепки балясины от террасы, рубят столбы проволочной ограды. Что стоит сходить в горы, набрать хворосту? Ведь круглые сутки ничего не делают. Ходит же Иван Ильич. Нет, лень. Вчера две табуретки сожгли.

Катя вскипела.

— Так нужно начальнику их заявить!

— Он говорит: представьте с полицным, я такого расстреляю. И ведь, правда, расстреляет. За табуретку!

Скудный был ужин. Очень скудный,— маисовая каша без масла. Хлеба не было.

Анна Ивановна сообщала местные новости.

Ревком состоял из Афанасия Ханова и еще трех мужиков болгар. Агапов,— представь себе, Агапов! — стал заявлять, что это не настоящий ревком, что в нем не представлена местная беднота. Приехала из города чрезвычайная тройка, сменила ревком. Ханова, как коммуниста, оставили, но намылили ему голову за мягкость. Назначили в ревком Гребенкина и Тимофея Глухаря. Теперь главная там сила — Гребенкин. Свиристует вовсю. И первым делом дачу Агапова занял под ревком, а Агапова выселил. Вот тебе и подслужился Агапов! Гребенкин на даче Яновича, где был сторожем, занял три лучших комнаты, завладел всей одеждой, хранившейся в сундуках. У деревенских богачей, Албантовых и Стамовых, отобрал коров, лошадей, и роздал бедным мужикам. Дает мужикам ордера на мебель и посуду дачников, на белье.

Ивана Ильича новый ревком, в порядке трудовой повинности, обязал лечить безвозмездно все местное население. За это ему выдается из ревкома по два фунта муки в неделю.

— И какие мужики требовательные стали, настойчивые! Та-скают то и дело, по самым пустяковым поводам, и непременно, чтоб сейчас пришел! Нарыв на пальце у него, и Иван Ильич, старик, должен тащиться к нему,— сам ни за что не придет. Сытые, отъевшиеся,— и даже не спросят себя: чем же мы-то живем? А у самих всегда — и сало на столе, и катык, и барашек жареный.

Иван Ильич примирительно сказал:

— Ну, все-таки... Вот вчера Цырулиева дала бутылку молока.

— Первый, кажется, случай. Да! Раз еще как-то фунт брынзы дали... На днях пьяный вломился к нам Тимофей Глухарь, орал: «Эксплоататоры! Я вам покажу! Если хоть одна жалоба на тебя будет от мужиков, засажу в подвал на две недели!» И вдруг потребовал, чтоб Иван Ильич записался в коммунисты.— «Отчего,— говорит,— не желаете? Значит, вы сочувствуете белогвардейцам...» Сам

в новеньком пиджаке и брюках,— реквизирует у Галицкого, помнишь, у шоссе его дачка? Акцизный контролер из Курска.

Пришел инженер Заброта, бухгалтер деревенского кооператива,— длинный, с большим кадыком на чохоточной шее. Увидел Катю, нахмурился. Поколебавшись, неохотно подал ей руку и сейчас же отвернулся: он не прощал ей, что она пошла служить к большевикам.

Медленно курил он толстую крученку из плохого табаку и сиплым голосом своим рассказывал: кооператив закрыт, весь товар взят на учет и вот уже месяц лежит без движения. Деревня без мануфактуры, без обуви, без керосина и спичек. И никакие представления не помогают. Один ответ: ждать распоряжений! Им хорошо, у самих всего в избытке. Спешить некуда!

Водянисто-голубые глаза его светились суровой ненавистью.

— Я не могу понять,— что это? Уверенность ли в безграничном терпении русского народа, или выражение полного отчаяния от сознания своего банкротства?

Катя возразила:

— Не знаю. Что-то неуловимое, мне непонятное,— но другое что-то, что дает им силу. Страшную, неодолимую силу. А помимо их — либо махновщина, в основе еще более ужасная, либо денкинщина, возвращение к старому.

— А теперь уже не воротились к старому? Всё — как прежде, только в еще более российских формах. Для народа разницы нет, измываются ли над ним станковые с урядниками, или комиссары с Гребенкиными... То же рабство, та же тупая реакция.

— Нет! Все-таки тут революция, самая настоящая. А не реакция. Заброта пренебрежительно оглядел ее.

— Смертные казни, подавление самодеятельности, удушение печати... Вот так революция!

И отвернулся.

* * *

Жарким золотым светом смеется воздух, соленым простором дышит темно-синее море, зовущий аромат льется от белых акаций.

Дачка на шоссе. Муж и жена. И по-прежнему очумелые глаза, полные отчаяния. И по-прежнему бешеная, неумелая работа по хозяйству с зари до поздней ночи. У них отобрали лучшую одежду, наложили контрибуцию в три тысячи рублей. Уплатить было нечем, и пришлось продать корову. И, хотя уже не было коровы, с них требовали семь фунтов масленого продналога.

Он — с ввалившимися, неподвижными глазами. У нее вместо золотистого ореола волос — слежавшаяся собачья шерсть. И ненавидящие, злобные друг к другу лица.

— Екатерина Ивановна! Объясните вы ей, пожалуйста: ведь можно кормить маленьких цыплят пшенной крупой, не варя ее.

- По-моему, можно. Я просто крупую кормила.
— Вот видишь. И так погибаем от работы, а она: нет, это вредно для цыплят, нужно им варить кашу!

* * *

Катя пошла на деревню отыскать Капралова и еще — купить чего-нибудь съестного для своих. Ее удивило: повсюду на крестьянских дворах клубился черный дым, слышался визг свиней, алены кровавые туши. Встретилась ей Уляша. Чудесные, светлые глаза и застенчивая улыбка на хищных губах. Катя спросила:

— Что это, праздник какой скоро, что ли? Почему везде свиней колют?

— Нет, праздника нету. А только... Слышно, по одной свинье позволят держать каждому, остальных будут отбирать.

— Так вы всех лишних спешите зарезать!

— Ну да!

— Это к лету-то! Кто же летом свиней колет? — Катя засмеялась. — Ну, что, Уляша, нравится вам большевизм?

Уляша застенчиво улыбнулась и взглянула в сторону.

— Нет. Что же это делают! Кому охота работать, если все отбирают. Цену объявляют пустяковую, «по твердой цене», и все зерно лишнее отдай им. Вино забрали. Уж не знаем, работать ли виноградники, или бросить. Лошади все время в разгоне по нарядам, а нужно сено возить.

— Зато земля теперь ваша. И вещи у дачников для вас отбирают.

— Вещи — что! Их и купить можно. А за землю мы Бреверну не так уж много платили. И в городе хорошо торговали. А теперь торговлю прекратили... Только и ждем, что авось прогонят их.

Катя хохотала.

* * *

— Нет, продажного ничего нету.

— Ну, брынзы, может быть, муки? Хоть сала,— ведь вот, вы свинью колете.

— А на что нам деньги? Ничего на них не купишь. Да и не надобно нам. Все теперь есть. Это раньше было: вы ели, а мы смотрели. А теперь мы будем есть, а вы — посмотрите. Хе-хе-хе!

* * *

«— Вот так — шоссе идет, а так, на горке хата стоит, в отдельности от хуторков. И все люди, что в хате жили, от тихва перемерли. Не знаю, дезинфекцию сделали ли, нет ли. Хату на замок заперли, запечатали. Шел ночью прохожий один, видит,— огонек. Подошел к хате. В окошке лампа горит. Постучался, не отвечают. На двери

замок висит, печать. Подивился он. Дело летнее, переночевал на воле. Утром зашел в хуторки. Его там угостили, а, может, по нынешнему времени, и за деньги купил,— уж не могу сказать. Поел. Спрашивает:

- Кто это там на горке живет?
- Никого нету, пустая хата.
- Как так пустая? Там огонь горел.

Стали мужики вспоминать,— верно, по ночам огонь горит. Оказался тут камманист один. Винтовку взял, наган, влез в окошко и в печку спрятался. Думали,— не зеленые ли по ночам собираются?

Только полночь пробило, вдруг лампа на столе сама собою зажглась. Сидят два старичка и разговаривают. Один,— борода длинная, как полагается: саваофская; у другого кучерявенькая. Сидят и разговаривают,— вообще, значит, разговаривают о жизни, об ее продолжении. Один говорит:

— Нет, Никола, не хватает терпения моего. Всех хочу уничтожить.

А другой ему:

— Подожди, потерпи еще немножко. Может переменится все, одумаются люди, получше станут. Тихомирье придет.

Ну, на этом и сговорились. Первый и говорит, головы не поворачивая:

— Михаил, вылезай!

А камманиста Михаилом звали. Притулился он в печке, думает,— не к нему. А старичок опять:

— Вылезай, Михаил, мы ведь знаем, что ты в печке.

Нечего делать, вылез.

— Вот. Будешь ты тут стоять, пока не придет изменение.

И врос он в землю по пояс.

Утром другие камманисты пришли, стали откапывать. Никакая кирка не берет. Так до сих пор и стоит середь хаты, в земле по пояс. Комиссия приезжала из Симферополя, опять откапывали, думали,— не белогвардейская ли пропаганда. Ничего подобного. Все записали, как было, Ленину послали телеграмму».

* * *

Под ярким солнцем над бывшей кофейнею Аврамиди развевался новенький красный флаг и желтела вывеска: «Рабоче-крестьянский клуб». В раскрытые окна несся громкий голос оратора.

Катя зашла. За стойкою с огромным обзеленевшим самоваром грустно стоял бывший владелец кофейни, толстый грек Аврамиди. Было много болгар. Они сидели на скамейках у стен и за столиками, молча слушали. Перед стойкою к ним держал речь приземистый человек с кривыми ногами, в защитной куртке. Глаза у него были выпученные, зубы темные и кривые. Питомец темных подвалов, не знавший в детстве ни солнца, ни чистого воздуха.

— Товарищи! Вы должны понимать, что теперь у нас социализм, все должны помогать друг другу. Вы вот говорите: мануфактуры нету, струменту нету. Как же рабочий может работать, как он может заготавливать вам товар, ежели у него нет хлеба? Вы должны доставлять им хлеб, чтоб учредилось братство трудящихся. Вы — им, они — вам. Вам добыли землю, мы прогнали помещиков и отдали вам...

Он говорил громким, привычным к речам голосом, все время делал по два шага то в одну сторону, то в другую и махал кулаком, как будто вколачивал гвозди.

— Товарищи! У нас теперь есть всякие отделы: Отдел народного хозяйства, Отдел социального обеспечения,— просто сказать: Собес, Отдел народного просвещения. Неужели это не ясно? Все устроено по-социалистически, для трудового народа. Раньше, при царе Николке, попы вас учили: а да бе, а как буквы в склады сложить, тому не учили. Учили, как нужно на пузо эпитрахиль³⁴ спускать, как нарукавники надевать, а настоящему понятию не учили. А теперь вам дается образование настоящее, социалистическое. Все это нужно понимать. И нужно работать сообща, все, как один человек. Товарищи! Социал-предатели, меньшевики и эсеры, подкупленные буржуазией, наущают вас не давать хлеба советской республике, запрягивать его в ямы, чтобы голодом взять советскую власть и все поворотить на старое. Ну, только это напрасно! Если меж вас есть такие кулацкие элементы, которые за контрреволюцию, то железная рука пролетариата заставит их переменить свои понятия. Мы люди дошлые, глаза у нас острые. Под какие ометы ни закапывайте зерно, мы везде сыщем. И тогда такому кулаку будет плохо!

Болгары слушали с непроницаемыми лицами, медленно мигали и молчали.

* * *

Ревком помещался в агаповской даче. На бельведере развевался большой красный флаг. Крестьянские телеги стояли в саду. Привязанные к деревьям лошади объедали и обламывали кусты. Клумбы цветника были затоптаны. В зале на заплыванном паркете толпились мужики, красноармейцы. Рояля не было,— его перевезли в клуб. Агапов с семьей ютился в гостинице Бубликова.

В бывшей Асиной спальне сидел за письменным столом Афанасий Ханов. Он радостно поздоровался с Катей.

— Проведать приехали? Ну, как у вас в городе работа идет?

Катя спросила, не будет ли сегодня или завтра утром подводы в город, чтобы ей поехать с матерью.

— Я сам на заре еду, и со мной еще товарищ один. Приходите в ревком, прихватчу вас.

Каждую минуту его отрывали. Вошли два солдата с винтовками, протянули измятый клочок бумаги.

— Вина? Не могу, товарищи, отпустить. Только по записке коменданта.

— Что нам комендант! Нам указ только командир полка. Вот записка его.

— Что за записка! Даже без печати... Поймите, товарищи, ведь это народное достояние, вино у нас на учете, не могу я его раздавать.

— Да много ли мы просим? Дайте ведра два и ладно!

— Не могу,— понимаете?

Солдат в фуражке артиллериста сказал:

— Всего двое нас, потому и разговариваем. Дай, вдесятером придем, тогда разговор будет другой.

Они услыли, угрожающе ворча. Ханов измученно потирал лоб ладонью.

— Понимаете, вот каждый день так. В четверг пришли к складу, милиционеров наших на мушку, вышибли дверь погреба и увезли, понимаете, целую бочку. Ведь вот какой народ!

Пришел столяр Капралов. Катя обрадовалась.

— А я как раз вас ищу.

Капралов не был пьян, умное лицо его было серьезно, без пьяно-юмористических огоньков.

— Меня прислал Отдел узнать, как у вас тут идет работа.

— Вот хорошо, что приехали. О многом нужно потолковать. Вошел Гребенкин и сел за стол. Капралов сказал ему:

— Сашка, на завтра нужно двух барышень пригласить, сделать перепись безграмотным.

Гребенкин усмехнулся.

— «Пригласи-ить»? Ишь, какие нежности! Мобилизуем. Вот, две девицы агаповские без дела шляются. Их пошлем.

Катя удивилась.

— Зачем же насильно заставлять? Наверное, много найдется желающих и по доброй воле. Все ведь голодные.

— Спрашивать их еще,— «желаете ли?» Го-го!

— Двух мало,— заметил Капралов.— Запасную еще наметь,— может, какая больна окажется.

— «Больна-а»? — Гребенкин грозно нахмурил брови.— Нам тогда скажи. Мигом вылечим.

Капралов с одушевлением и волнением рассказывал Кате, что сегодня в зале Бубликовской гостиницы у него идет первый концерт-митинг. Будет декламировать кой-кто из дачников, княгиня Андожская будет петь и агаповская барышня. Просил он Гуриенко-Домашевскую, она тоже согласилась.

— Да будет тебе! Вот человек! — возмутился Гребенкин.— «Просил», «согласилась»... Обязана идти без разговоров! Не те времена.

Катя вскипела.

— Какое хамство! Зачем вам, Гребенкин, нужны эти измывательства над людьми? Непременно власть свою показать! Как уряд-

ники в старые времена. Какая гадость! Гуриенко-Домашевская знаменита на всю Россию.

В колючих исподлобья глазах Гребенкина мелькнула мягкая, слегка сконфуженная усмешка. Ханов лениво сказал:

— Он озорничает. Что вы его слушаете.

— Ничего не озорничая. «На всю Россию»... Сколько лет тут живет,— почему же ни разу не собралась мужикам поиграть? Заплати ей пять целковых с рыла, тогда пожалуйста! Вон какую себе дачу выстроила... Всех теперь заставим работать на народ, на простых людей!

И чувствовалось, как от своих слов он сам разжигался злобою.

Тихонько вошел Агапов — осунувшийся, но по-всегдашнему ласково улыбаясь. При входе он снял свой картузик. Гребенкин грубо сказал:

— У нас тут богов никаких нет, наденьте шапку.

— Нет, я к тому... Жарко-с! — Агапов обратился к Ханову.— Получил я повестку от ревкома,— завтра идти в лес дрова рубить.

Глаза Гребенкина злорадно загорелись. Он удивленно сказал:

— Ну, да. Отчего же вам дровец не порубить?

— Помилуйте, мои годы не те!

— Как не те? Те самые. Вам сорок девять лет,— до пятидесяти мы всех мобилизуем на общественные работы. Мужиков гоним,— отчего же вас нельзя?

— Я понимаю, я не о том... Конечно, трудовая повинность, общественные обязанности... Да сердце-то у меня, извольте видеть, больное.

— Сердце у вас от жиру больное. Моцион вам очень даже будет полезен.

— Я вам представлю свидетельство врача.

Ханов сказал:

— Ну, что ж, назначим комиссию, пусть доктор освидетельствует.

— Ерунда! — отрезал Гребенкин.— Знаем мы эти свидетельства! Всякую чухотку пропишут, если попросить. Нечего, гражданин, разговаривать. Не явитесь завтра,— в подвал вас отправлю.

Катя вспомнила, как два месяца назад Гребенкин вставлял здесь стекла. Висели на стенах чудесные снимки Бёклина, в полированных рамах из красного дерева; на бледно-зеленой шелковой кушетке сидел грузный болгарин, заведывавший нарядом подвод. Агапов помялся и вышел.

Оратор пришел, которого Катя слушала в клубе. Он бросил на стол фуражку и отер потную голову.

— Ну, народец у вас! Добром дела с ним не сделаешь. Чую, что без молодцов моих не обойдется.

— Не обойдется,— подтвердил Гребенкин.— Хлеба у всех сколько угодно. Позакопали в землю и прибедняются.

Ханов примирительно возразил:

— Ну, оставь! Кто закопал, а кто и вправду бедный.

— Ты молчи! Кулак! Все родственники тебе, сватья да кумовья. Вот ты их и покрываешь.

— Ах, оставь ты, Сашка!

Катя обратилась к Капралову:

— Пойдемте?

Они вышли. Совсем другой был Капралов,— никогда его Катя таким не видела: светлый, сосредоточенный.

— Я вас не узнаю, Капралов. Какой-то вы совсем новый. Пить вы бросили, что ли?

— Бросил. Не до того.

Пошли в библиотеку,— в ней помещался Отдел народного образования. За столом сидела секретарша Отдела и библиотекарша Конкордия Дмитриевна, дочь священника Воздвиженского. Катя подробно стала знакомиться с делами. Был уже открыт клуб, дом ребенка, школа грамоты. Капралов просил устроить присылку из города лекторов по общеобразовательным предметам и режиссера для организации любительских спектаклей.

— Сцену мы уже устроили. Неделю целую я работал, даже будку суфлерскую приделал,— хороша вышла будочка!

И еще сильнее Катю поразили умные, интеллигентные глаза Капралова, при которых странно звучали его простонародные выражения.

Он спросил:

— Как у вас в городе с книгами? Отбирают их у буржуазии?

— Забирают из квартир бежавших. У остальных только регистрируют.

— А как вы скажете? Хочу у дачников отобрать книги, не стану на вас смотреть.

— Вот уж вы какой большевик стали, Капралов. А не противно вам это?

— Чего противно? У дачников вон сколько книг в шкапах, да на этажерках. Лежат без пользы, пылятся. А у нас в библиотеке одна «Нива» да «Вокруг света».

— Вы подумайте, Капралов, кто же тогда станет покупать себе книгу, если ее у него каждую минуту могут отобрать?

— Ну, когда другие времена будут... А сейчас нужно отобрать. Что ж народу читать?

* * *

В обеденном зале Бубликовской гостиницы рядами стояли скамейки, в глубине была сооружена сцена с занавесом; и надпись на нем: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Густо валила публика,— деревенские, больше молодежь, пограничники-солдаты. Капралов, взволнованный и радостный, распорядился, Катю он провел в первый ряд, где уже сидело начальство — Ханов, Гре-

бенкин, Глухарь, все с женами своими. Но Катя отказалась и села в глубине залы, вместе с Конкордией Дмитриевной. Ей было интересно быть в гуще зрителей.

Не хватало мест. Толпа заполнила проходы. Лушили семечки и ждали с нетерпеливым любопытством. И странно было видеть новую эту публику здесь, где раньше обедали за столиками чопорные и разодетые курортные гости.

Третий звонок. Сопротивляясь и цепляясь за непослушную проволоку, стал раздвигаться занавес. И застрял на половине. В зале засмеялись. Выскочил Капралов и отдернул до конца. Внизу, скрытая суфлерской будкою, горела яркая лампа-молния. На эстраду вышел давешний оратор.

— Товарищи! Рабоче-крестьянская армия выгнала из Крыма белогвардейскую нечисть. Теперь у нас везде власть трудящихся... Товарищи! Революция начинается везде! В Венгрии утвердилось советское правительство, тоже и в Персии. В Германии революция. Мировой пролетариат поднял голову и ринулся на борьбу со своими угнетателями-капиталистами...

Он опять делал в стоптанных своих сапогах два шага то в одну, то в другую сторону, и все время как будто вколачивал кулаком гвозди. Лицо его, с ярко освещенным подбородком и затененным лбом, выглядело необычно, по-концертному.

Говорил он о жестокой борьбе, какую приходится вести советской власти на всех фронтах, о необходимости поддержать ее, ругал меньшевиков и эсеров, предавших революцию.

Местная молодежь слушала жадно, вытянув головы. Привычные красноармейцы равнодушно глазели по сторонам и ждали того интересного, что будет дальше.

Оратор кончил возгласами в честь всемирной пролетарской революции, советской власти и ее вождей. Красноармейцы затаились:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!..

Зрители нестройно подхватили. Оратор оглядел зал грозными глазами и зычно крикнул:

— Встать!! Шапки долой!!

Катя возмущенно проговорила:

— Господи, что это! Совсем как в прежние времена с «Боже, царя храни!»

— Вы что же, Манечка, не встаете? Слышите: «Вставай, проклятьем заклейменный».

— Мы не клейменные.

— Как это так, не клейменные? В песнях всегда правильно говорится. Вы — проклятьем заклейменная.

— Ничего подобного!

Потом Ханов говорил, сбиваясь, трудно находя слова, но с

горячим одушевлением. А потом выступил Капралов и спокойно, не волнуясь, стал говорить простым, беседующим тоном:

— ...Вы подумайте, товарищи. Без умственности мы далеко не уйдем. Вот ты на косилке выехал ячмень косить, говоришь: «Мы работаем, а они что делают? Только книжки читают!» Ну-ка, а погляди на косилку свою: ты, что ли, ее выдумал? Хватит у тебя на это мозгов твоих? В нее, брат, мозгу-то этого самого вон сколько положено! Не нашего с тобою мозгу. Вот ты это и помни. И спасибо тому скажи, кто такую умственную штуку выдумал. А не то, чтобы над книжками смеяться. Сам за книжку возьми, не гляди, что борода у тебя снегом запорошена. Иди к нам в школу грамоты, учись, иди в библиотеку к нам, книжки читай. Только тогда мы силу возьмем, когда станем умные. Правильно сказали великие писатели Шекспир и Михайлов-Шеллер³⁵, что сила народа — в его просвещении...

Для чего-то задернули занавес и опять отдернули.

На эстраду вышла княгиня Андожская со свертком нот, за нею — Майя. Майя села за рояль, а княгиня выступила на авансцену. И у нее тоже лицо от освещения снизу было особенное, концертное.

Конкордия Дмитриевна шепнула Кате:

— Славный этот Капралов наш. Выхлопотал у ревкома для всех исполнителей по десять фунтов муки и по фунту сахару. Гребенкин противился, хотел даром заставить, но Капралов с Хановым настояли. И вы знаете, Бубликов недавно хотел выгнать княгиню из своей гостиницы за то, что денег не платит за номер. Дурень какой,— в нынешнее-то время! Ханов посадил его за это на два дня в подвал. Успокоился.

Княгиня, бледная от волнения и,— Кате показалось,— от унижения, суровыми глазами смотрела поверх толпы. Тихо, понемногу нарастая, зарокотали аккорды. Княгиня запела:

Бурный поток, чаща лесов,
Голые скалы — мой приют...

Она спела. Господи, что началось! Как будто с грохотом посыпалась с потолка штукатурка,— такие крепкие затрещали рукоплескания. Бешено кричали: «Браво! Браво! Бис!» И когда она вышла раскланяться,— опять: «Браво! Андожская!» И красноармеец какой-то упоенно крикнул: «Ур-ра!!!»

Княгиня сдержанно кланялась, и слабая улыбка появилась на губах, и в прекрасных глазах блеснула удивленная радость.

Она опять запела. И еще несколько песен спела. Буйный восторг, несшийся от толпы, как на волне, поднял ее высоко вверх. Глаза вдохновенно горели, голос окреп. Он заполнил всю залу, и бился о стены, и — могучий, радостный,— как будто пытался их растолкнуть.

Зал ревел и гремел. Катя бросилась за кулисы. Княгиня,

с новым лицом, сидела в плетеном кресле. Восхищенный Капралов топтался вокруг. Гуриенко-Домашевская говорила:

— Прелестно, княгиня, восхитительно! Никогда вы так не пели!

Катя, задыхаясь от радости и душивших ее слез, горячо жала обеими руками руку княгини.

— Скажите! Ну, скажите мне! Разве такое что-нибудь вы испытывали прежде, когда пели в ваших салонах, когда это у вас было от безделья? Какую вы целину затронули! Разве вы не чувствуете, что вы сейчас делали огромное дело, что никогда они вам этого не забудут?

Зал шумел. Княгиня остановившимися, прислушивающимися к себе глазами глядела на Катю.

— Никогда, никогда вы этого и сами не забудете! Правда?

Княгиня повела головою и коротко, с не улыбающимися глазами, вдруг сказала:

— Позвольте вас поцеловать.

И крепко поцеловала Катю.

Вечер прошел великолепно. Капралов торжествовал и ходил именинником. Декламировали из Некрасова, Бальмонта; пела Ася, княгиня спела с нею дуэт из «Пиковой Дамы». И еще даже больше, чем Андожская, зал захватила Гуриенко-Домашевская за роялем.

— Друзья мои! — обращалась она к зрителям, чтоб не говорить слова «товарищи». С тепло светящимися, восторженными глазами, подробно объясняла содержание каждой пьесы, которую собиралась играть, и потом играла.

Труднее всего увлечь простую публику игрою на рояле. Но огромный талант Домашевской одолел трудность.

В заключение она, вместе с Майей, сыграла в четыре руки пятую симфонию Бетховена. Душу зрителей, незаметно для них, стали изнутри окатывать светлые воздушно-легкие волны, и скоро огромный, сверкающий океан бурно заплескался по залу, взметываясь вверх, спадая и опять вздымаясь, и качая на себе зачарованные души. Катя видела полуоткрытые рты, слышала тишину без сморканий и кашля. И казалось ей, — это плещется древний, древний, первобытный океан, когда души не были еще так отгорожены друг от друга, а легко сливались в одну общую, радостно подвижную душу.

* * *

Выехали из Арматлука рано утром, когда алое солнце только-только выглянуло из-за моря, и уставший за ночь месяц, побледнев, уходил за горы в лиловую мглу. В тихом воздухе стояла сухая, безросная прохлада, и пахло сеном.

Ехали на линейке Афанасий Ханов, вчерашний оратор Желтов и Катя с матерью. Вез их болгарин Петр Гаштов.

Желтов, добродушно улыбаясь, говорил:

— Да, кряжистые мужички у вас! Никакой их пропагандой не прошибешь. Придется нам тут поработать. Вот Гребенкин у вас в ревкоме парень, видно, дельный. Его возьмем в помощь.

Катя сказала:

— Я не совсем понимаю. Вы весь хлеб отбираете у мужиков?

— Ну да. Не весь, а называется — хлебные излишки.

— Платите вы им?

— Конечно, платим. По твердым ценам.

— По твердым! Да что ж там, пустяки! Семьдесят рублей за пуд пшеницы, а она сейчас две с половиной, три тысячи стоит.

Желтов настороженно оглядел Катю и резко спросил:

— А вы хотите, чтобы мы по спекулянтским ценам платили? Чтобы кулаки наживались на рабочем голоде?

Катя кротко возразила:

— Совсе я ничего не хочу, я вас только спрашиваю. И мне интересно вот что: получит он от вас семьдесят рублей за пуд,— что же он за эти деньги купит? Катушка ниток стоит сорок рублей. Не хватит и на две катушки.

Гаштов с козел отозвался:

— Теперь за катушку уж пятьдесят пять просят.

— Ну, да, это конечно... Правильнее было бы товарообмен. А только что ж делать, если нет товару! Рабочие в городах без хлеба сидят,— какая же может быть работа? И сейчас нам не до катушек, приходится для фронта работать, империалисты напирают со всех сторон. Неужели не ясно? Такое время, всем нужно терпеть. Не до наживы. Приходится силком отбирать, если не хотят отдавать добром.

— Да, видела я год назад, как сюда ехала! Мужик из Новгородской губернии. Продал последнюю коровенку, купил в Сызрани два мешка муки, а в Туле продовольственный отряд все у него отобрал. «С чем,— говорит,— я теперь домой поеду?» И тут же, у всех на глазах, бросился под поезд. Худой, изголодавшийся... Господи, что было! — взволнованно воскликнула Катя.

Гаштов, повернув лицо от козел, жадно слушал. У Ханова глаза стали растерянные. Анна Ивановна испуганно дергала Катю за рукав.

— Таких мы жалеем. А монополии хлебной никак нельзя отменить. Сейчас спекулянтство пойдет. Вы поймите: революция! Неужели не ясно? Как в осажденной крепости! — Желтов начинал сердиться.— Вы тех вините, кто Антанту призвал, Деникиных и Колчаков вините, да! Рябушинских. Они хотят костлявой рукой голода задушить революцию, а социал-предатели им подпевают, и мужиков против нас восстанавливают... А кто им землю отдал? Ну-ка, товарищ, скажи,— землю вам Деникин отдал или нет?

— Землю-то, это, действительно...

— Вот видишь! Землю вы себе сохранить желаете, а кто вам

ее отдал? Рабочий! А как о том, чтоб его поддержать,— наше дело сторона! Вот почему название вам — кулаки!

Ханов оживился и сказал:

— Понимаешь ты теперь, Петро? Я же вам всегда то самое говорю. Что нужно на общую пользу думать, а не только что для себя. Гаштов молчал и бережно подхлестывал лошадей.

Желтов продолжал:

— Мужиков мы жалеем. Временем приходится их прижать, да душою мы за них. А вот социал-предатели эти, наймиты буржуазии, что везде агитацию ведут,— эту всю сволочь надобно уничтожать без разговору. Таким — колено на грудь и нож в живот!

— Вот в том-то и слабость ваша...

— Чтоб не смущали народ! Без всяких разговоров,— в город! Пожалуйте в Особый Отдел!

Было ясно, что он это о ней. У Кати на душе стало дерзко-весело и спокойно-спокойно.

— В этом и слабость ваша. Вместо того, чтобы убеждать,— колено на грудь и нож в живот. Двое вас тут мужчин против меня одной,— а какие у вас доводы? Нож в живот, пожалуйста в Особый Отдел!

Желтов поспешно сказал:

— Я не о вас.

— Как же не обо мне? Конечно, обо мне. Да и все равно, про кого бы ни было. Вот я вчера слушала вас в клубе. Вы думаете, вы убедили мужиков? Конечно нет. А почему? Они слушали и молчали. Попробуй вам кто возразить, вы бы сейчас: «Кулацкий элемент! Контрреволюционер! Колено на грудь! В Особый Отдел!» они и молчат, и все ваши слова сыпятся мимо.

— Детские слова говорите! Миролюбие какое-то! Толкуют же вам,— революция! Неужели не ясно? Никакого миролюбия!

— Я и не говорю про миролюбие. Боритесь. Пусть враги боятся вас, пусть ненавидят. Но чтоб уважали вас, чтоб чувствовали, насколько вы выше их.

— А разве это не уважительная картина? Вот, приехал я к ним позавчера: на берегу моря дом, на доме красный флаг, а в доме всю ночь при огоньке работают два коммуниста — он вот, и Гребенкин. А кругом все злобятся, ненавистничают, камень щупают за пазухой. Или как Красная армия наша кровь проливает на фронте...

— Неужели же это теперь кого-нибудь убедит? Будет вам, товарищ! Кровь свою и белые проливают. И средневековые рыцари-разбойники были очень храбры, и всякий бандит храбр.

Анна Ивановна в отчаянии наставила на Катю круглые свои очки и еще раз дернула ее за рукав. Желтов спросил:

— Чего же вам надо?

— Вот чего. Когда ввели в Петербурге классовый паек, то

рабочие Балтийского судостроительного завода отказались получать увеличенный паек, они вынесли резолюцию: когда все кругом одинаково гибнут от голода, стыдно одним получать больше, чем другие. Вот это истинный героизм, истинное благородство! Таким людям я поверю, что они борются за правду и справедливость. Но это один-единственный раз было, только один! А вообще,— что кругом делается! Раньше одна была белая кость — дворянин, теперь другая стала — рабочий.

Вдруг Ханов взволнованно соскочил с линейки и пошел рядом с нею.

— Не хочу с вами ехать, не хочу вас слушать! Вы, может быть, не контрреволюционерка, но вы опаснее самых вредных агитаторов! Я во всем согласен с товарищем. Таким нужно колено на груди!

— И нож в живот, Ханов?

— Оставьте меня, я не хочу с вами разговаривать!

Он быстро пошел в гору, обгоняя медленно тащившуюся линейку.

Когда он на перевале сел обратно в линейку, Желтов и Катя беседовали дружелюбно и мирно. Желтов раздумчиво говорил:

— А все-таки таких, как вы, нужно бы... Уж не знаю, что бы... Расстрелять не за что, а вред большой... У вас образование, нам трудно с вами. Дай, вот, образование отнимем у вас, себе возьмем,— тогда вы против меня ничего не сможете сказать, как теперь я против вас.

* * *

Вера прибежала со службы повидаться с матерью. Без слов обе бросились друг другу в объятия, целовались, глядели друг на друга и опять целовались. Вера сказала:

— Мамочка! Постарела ты как!

Обнялись, и вдруг горько заплакали. Сидели и плакали.

— Ну, а ты как? — Анна Ивановна утирала глаза и жадно разглядывала Веру.— Бледная, худая... Ведь вам теперь хорошо живется, коммунистам. А ты еще хуже стала.

Вера осторожно расспрашивала про отца. Анна Ивановна опасно покосилась на открытое окно.

— Ты ведь знаешь,— он бежал из России от чрезвычайки. Как ты скажешь,— не арестуют его ваши за побег?

— Тут же никто про это не знает.

— Но объясни ты мне, Верочка,— за что? Неужели человек не имеет права действовать по совести, говорить то, что думает? Ведь вы говорите, теперь социализм...

У Веры глаза стали непроглядными, она прикусила губу.

— Мамочка, время такое. Потом, конечно, все это отменят. Она убежала к себе на службу,— шла какая-то конференция.

Вечером все вместе сидели за самоваром, ужинали. Разговаривали особенными, домашними словами, вспоминали милые мелочи прошлого, смеялись.

Анна Ивановна сказала:

— А ты все такая же. И не подумает никто, что большевичка.

Родной разговор, и поющий самовар, и мама в круглых очках, покрывающая чайник полотенцем. И теплый ветерок в окна. И странно было Кате: все такое милое, всегдашнее, а они — такие разные, разделенные; папа далеко, с непрощающими глазами, и непроглядные глаза у Веры, смотрящие в сторону.

Анна Ивановна пересмотрела белье Веры и ахнула: пара заплатанных рубашек, дырявые полотенца.

— А говорят, у вас, большевиков, ни в чем нет недостатка! Села чинить.

Ночью у Кати сильно заболела голова, и грустный трепет побежал по телу. К утру она лежала в жару, в простреленной руке была саднящая боль, а вокруг ранки — ощущение странного напряжения.

Вера устроила Анне Ивановне обратный проезд. Катя хотела встать, чтобы проводить ее, но Вера не позволила, и Катя осталась в постели.

К вечеру температура была сорок. В полусознании Катя слышала голос Веры и еще чей-то другой женский голос, незнакомый. Видела незнакомое лицо с чудесными глазами, лучившимися, как два прожектора. И ласково-твердый голос говорил:

— Повернитесь, Катерина Ивановна... Вот так, довольно.

И мягкие белые руки мазали больную ее руку коричневую мазью и ловко бинтовали ее.

Утром Катя с удивлением спросила Веру:

— Что это, сон был? Мне казалось вчера,— кто-то нежный и ласковый ухаживал за мною, и глаза, как вечерние звезды.

— Нет, правда. Это Надежда Александровна Корсакова, врач.

— Что за Корсакова?

— Жена нового председателя ревкома... Катюшка, а только как же ты мне не сказала, что ты ранена! Только сегодня Леонид приехал из Эски-Керыма и рассказал про твои подвиги. Милая моя девочка! Какая же ты молодец!

Катя покраснела и засмеялась.

— А что у меня такое?

— Рожа вокруг раны.

* * *

Катя прохворала дней шесть. Заходил проводить профессор Дмитревский с женой, однажды заехал Леонид. Каждый день приходила Корсакова. И приход ее вносил в душу свет и тишину. Она была высокая, плотная и некрасивая. Но глаза, когда загора-

лись чудесным своим светом, вдруг освещали все лицо и делали его прекрасным. И мил был ее неожиданный, вдруг вырывающийся из глубины груди смех. Катя, видимо, очень ей понравилась. Надежда Александровна несколько раз вспоминала про ее схватку с махновцем и шутила, что следовало бы ей дать орден Красного Знамени.

— А случай этот, с махновцем,— сообщила Надежда Александровна,— внес большую смуту в отношения, и без того напряженные. Махновцы рассказывают, что советские жида-комиссары поймали на дороге их товарища и зверски замучили: разбили прикладом кисть руки, прострелили живот, колено, и, в конце концов, убили выстрелом в рот; улика налицо; на дороге остался труп одного жида-комиссара, которого, защищаясь, убил махновец. Теперь они держатся еще более вызывающе, открыто ведут агитацию против евреев и советской власти, а войск в городе мало, и они это знают.

Катя сказала:

— Вот самые страшные для вас враги! Какие против них лозунги могут выдвинуть большевики? Грабь все, что увидишь, измывайся над буржуями,— это и их лозунги. А они еще говорят, что не нужно у мужиков отбирать хлеб и что следует избивать жидов. С этим согласится и всякий ваш красноармеец.

Надежда Александровна переглянулась с Верой и засмеялась изнутри вырвавшимся смехом.

— Екатерина Ивановна, какой вздор! Ну, где вы видели таких красноармейцев? Вы повторяете эти скверные интеллигентские сплетни... Как не надоест! Видели бы вы их в деле! Я много работала на фронте, в госпиталях, на перевязочных пунктах. Какое горение души, какой настоящий революционный пыл!

Ее глаза засветились умилением и восторгом.

— Ведь это все больше рабочие, добровольно пошедшие на лишения, на увечье и смерть. Голодные, разутые, раздетые,— как львы, дерутся целыми неделями. А у вас представление,— шайки разбойников, идущих набивать себе карманы. Эх, Екатерина Ивановна!..

* * *

В сумерках в город вступили два пехотных полка с тайным назначением.

Поздно ночью в саду у себя, в виноградной беседке, сидел, покашливая, старик Мириманов и с ним — военный с офицерской выправкой, с пятиконечной звездой на околыше фуражки. Шептались, оглядываясь. Старик Мириманов рассказывал о своих злоключениях, а военный слушал, мрачно горя глазами.

Старик сказал:

— Ну, я рад, что ты жив-здоров. Тому, что ты на их сторону перешел, я никогда не верил... Дай тебе бог!

Он с умилением перекрестил сына, всхлипнул и крепко его поцеловал. Украдкой подошла Любовь Алексеевна, села рядом на скамейку. Военный спросил:

— А Боря где?

— На службе у них. В военном комиссариате, что-то делает в регистрационном отделе.

— Почему не ушел с нашими?

Старик презрительно махнул рукой. Любовь Алексеевна оправдывающе стала объяснять:

— Ведь ему по болезни дана была отсрочка на год. Он надеялся, что и красные его не возьмут.

Военный сурово слушал, ударяя стэком по голенищу сапога.

— «Трусоват был Ваня бедный...»³⁶

— Впрочем, кой-какие сведения иногда нам дает. Только очень боится.

* * *

Товарищ Седой с нетерпением говорил:

— Это, наконец, скучно! Командир бригады — форменный остолоп; единственное достоинство, — что коммунист; а при отсутствии других достоинств это — недостаток. Обезоружить и сплавить махновцев удалось только благодаря тактичности и находчивости Храброва. С огромной инициативой, бешено храбр. Недаром солдаты прозвали его «Храбров». И командующий фронтом тоже настаивает, чтоб отдать бригаду Храброву.

Крогер упрямо повторил:

— Он нас предаст.

— Данные?

— Если бы были данные, я бы его прямо расстрелял.

Леонид смеялся.

— У нас с вами — сказка про белого бычка!.. На то вы и политком, — наблюдайте за ним.

— Я наблюдаю.

* * *

В воскресенье вечером Катя пошла с Верой к Корсаковым³⁷. Надежда Александровна встретила ее с ярко засветившимися проекторами глаз и крепко расцеловала. Мужу своему она сказала:

— Вот, Михаил! Девица, про которую я тебе рассказывала: голыми руками одолела вооруженного до зубов махновца. Достойна ордена Красного Знамени.

— Слышал, слышал... Мы ее назначим начальницей партизанского отряда. В тыл Деникину отправим, на Кубань... Юрка, хочешь к этой девице в партизанский отряд поступить?

Мальчик, лениво жевавший ветчину, оглядел Катю и скептически протянул:

— Ну-у...

— Не годится?

Надежда Александровна засмеялась.

— Партизаны на машинах не ездят. А ему бы только на автомобиле кататься,— один интерес.

— Как это? Ты ведь коммунист, Юрка?

— Ну, да.

— Так в порядке партийной дисциплины. Без разговоров.

— Ну-у!..

Звонок. Вкатился толстый человек.

— Товарищ Корсаков, на десять минут разговорцу!

Надежда Александровна возмутилась.

— Да что это, товарищ Климушкин! Ведь каждый день видите в ревкоме. Дайте человеку хоть в воскресенье поужинать спокойно.

— Ну, ну... Ваше превосходительство, не сердчайте. Пять минут всего.

Был он с живыми, умно-смеющимися глазами, с равномерной, пухлою полнотою, какую полнеют люди, сразу прекратившие привычную физическую работу. Бритый, и только под носом рыжел маленький, смешной треугольничек волос. Катю покорило, что вошел он, не сняв фуражки.

Протянул руку Корсакову. Корсаков пожал,— оглядел его и покачал головою.

— До чего его разносит! И чего ты такой толстый? Компрометируешь советскую власть. Как тебя на митинги выпускать?

— Чтой-то, брат, сам не пойму. Толстею не судом.

— Идите скорей, кончайте ваши дела.

— Ну, ну... В одну минуту!

Они ушли в кабинет. Поговорили. Климушкин ушел, не оставшись ужинать.

Надежда Александровна, смеясь, стала про него рассказывать. Бывший молотобоец, теперь комиссар юстиции. Работник удивительный.

— Вот, действительно, толст неприлично, но даже и это у него как-то мило. Поразительная способность сразу схватить дело, сразу ориентироваться в нем и выдвинуть самое важное. Это, я заметила, специально пролетарская черта. Интеллигент возьмется: что? как? да почему? А он по намеку ловит. И инстинктом берет правильную пролетарскую линию. Спецы-юристы из сил выбиваются, чтоб оплести его буржуазною своею «законностью», а он ее рвет, как паутину, ни в чем не отклоняется от своего пути.

Корсаков лениво сказал:

— Сановничества много стало. Удивительно, как портит людей

положение. С Джигитской улицы пять минут ему ходьбы до ревкома,— ни за что не пойдет пешком, обязательно вызывает машину. Уж ниже его достоинства. Нет каких-то устоев.

Надежда Александровна враждебно взглянула и спросила с насмешкою:

— Как у вас, интеллигентов?

— А ты не интеллигентка?.. Да, у идейных интеллигентов. Эти как-то прочнее, не так легко голова кружится. Отдельные люди там, пожалуй, крепче и цельнее. Но средний тип, в массах,— менее устойчивы, легче злоупотребляют властью. С просителями грубы и презрительны, с ревизуемым сядут ужинать, от самогончику не откажутся... Ну, да пройдет со временем. Закваска, все-таки, прочная.

— Вот буржуазная психология! А я как раз заметила наоборот: именно интеллигенты при первой же возможности возвращаются к своим прежним барским привычкам... Да вот, ты же первый. Постоянно — то тебе не вкусно за столом, того не хочется...

Корсаков зевнул и лег на короткий сундук около буфета, лицом кверху, ногами упираясь в пол.

— У старых работников это еще ничего,— школа есть,— сказал он.— А вот у новых, недавних,— черт их знает, на чем душу свою будут строить. Мы воспитание получали в тюрьмах, на каторге, под нагайками казаков. А теперешние? В реквизированных особняках, в автомобилях, в бесконтрольной власти над людьми...

Надежда Александровна вставила:

— В кровавых боях на фронтах...

— Да, в боях... Но нам не только защищаться,— ах, черт возьми,— нам нужно и созидать. Бои, это — пустяки. И быки испанские в боях великолепны, а социализма с ними не создашь.

Кате нравилось, что Корсаков говорит прямо, что думает,— не то, что Надежда Александровна или Вера. И когда говорилось так, без казенного самохвальства, с сознанием чудовищной огромности и трудности встающих задач, ей приемлемее становились их стремления.

Надежда Александровна раздраженно возражала Корсакову — долго и убедительно. Он молча слушал, закрыв глаза, вытянув туловище на сундуке, запрокинув лицо к потолку. Катю поразило, какое его лицо усталое и бледное. Бородка торчала кверху, рот был полуоткрыт, как у мертвеца. Легкий храп забороздил воздух.

Надежда Александровна тихонько засмеялась.

— Смотрите, спит!

Вера шепнула:

— Как низко голова лежит. Подушку бы подложить.

— Нет, разбудим тогда.

Замолчали. От тишины Корсаков проснулся, быстро поднялся на сундуке и тряхнул головою. Взглянул на часы.

— Пора ехать.

— Куда еще?

— Военком просил на заседание. Вздремнул, теперь освежился.

И уехал. Надежда Александровна сказала:

— Теперь до поздней ночи. И потом до света будет сидеть в кабинете за бумагами. И так изо дня в день. Спит часа три-четыре. А сердце больное... Ну, а ты, партизан, иди-ка спать! — обратилась она к сыну.

Вера спросила:

— На скрипке он теперь продолжает играть?

— Где там! Со времени революции и в руки не брал.

— А помнишь в ссылке, в Верхоленске? На именинах Хуторева. Белая ночь в раскрытые окна. И вы три составили,— Engellied³⁸. Хуторев на гитаре вместо пианино, Михаил Тихонович на скрипке, а ты пела.

Покойной ночи, мама!

Меня тот звук манит с собой...

Правда, ангельская песня! Как будто с неба звуки неслись. Петров сидел в уголке и вдруг захлопал. И я,— так глупо: реву, захлебываюсь; вышла из избы, чтобы вам не мешать. Бледные звезды на зеленоватом небе, черные сосны...

Ясные лучи ударили из зрачков Надежды Александровны.

— Да, бывают такие минуты. Вдруг все заполнится такою красотой, все вдруг станут такие близкие.

— А Хуторев сам. Помнишь, он тогда читал стихи. Мы собрались проститься с ним, пред его бегством. Я тогда в первый раз услышала эти стихи. Как к осужденному на смерть приходит священник и уговаривает его покаяться. Тот отвечает, что каяться ему не в чем. Священник настаивает. И вот осужденный в его присутствии начинает свое покаяние:

Прости, господь, что бедных и голодных

Я горячо, как братьев, полюбил!

Прости, господь, что вечное добро

Я не считал бессмысленною сказкой!..

Все молчали. Вера из глубины души вдруг сказала:

— Как тогда было хорошо!

Надежда Александровна отозвалась:

— Хорошо!

Катя взволнованно заглянула Вере в глаза.

— Да, Вера? Да? Правда? Правда, тогда лучше было? Лучше было в жалкой избенке, на опушке тайги, чем в этом дворце на берегу Крыма?

Вера виновато улыбнулась.

— Лучше.

Надежда Александровна засмеялась своим изнутри вырывающимся смехом.

— Дай бог, значит, чтобы Колчак с Деникиным победили и опять нас отправили туда! Только не отправят,— просто повесят.

Катя спросила:

— А удалось Хутореву этому бежать?

Надежда Александровна неохотно ответила:

— Да...

И тяжелое легло молчание. Катя пытливо заглядывала в несмотрящие на нее глаза.

— Ну? Ну? А дальше? Что с ним было дальше?

— В прошлом году расстрелян. За участие в мятеже левых эсеров.

* * *

Мириманов смотрел своими умными, смеющимися глазами и, покашливая, спрашивал Катю:

— Вот, вы видите с ними, имеете возможность их наблюдать. Замечают они хоть что-нибудь, что творится кругом, отдают себе в этом отчет? Магазины и базары закрыли, торговлю запретили, а сами выдают по полфунта невыпеченного хлеба. Как же, по их представлению, могут питаться люди, которые не получают комиссарских пайков?.. Сейчас в море пошла комса. Улов небывалый,— а рыбакам запрещено продавать рыбу в частные руки,— все полностью должны представлять в продовольственный комиссариат. Везде рыбные инспектора, контролеры с воинскими отрядами. Привезли из уезда в продком полторы тысячи пудов рыбы, а соли не припасли. Вся рыба сгнила, теперь ее потихоньку закапывают в землю, чтобы не видел народ. А подходят все новые обозы. Что с ними делать — не знают. Какая, подумаешь, мудреная загадка! Пятилетний ребенок ответит: продавать! Нет, нарушится принцип!.. Вы только подумайте: голод, разруха, каждый фунт пищи важен,— а они гноят тысячи пудов! И думают, что народ ничего не видит, что можно его накормить митинговой болтовней! Послушай-ка, что народ говорит о них на базаре. Все поголовно против них, большевистский дурман рассеялся окончательно. Спасибо им! Сами поработали над этим успешнее самых ярых своих врагов.

Он улыбнулся и достал из жилетного кармана клочок бу-мажки.

— На днях у ихнего Маркса я прочел чудесную заметку,— как раз к современному положению. Послушайте: «Корабль, нагруженный глупцами, быть может, и продержится некоторое время, предоставленный воле ветра, но будет неизбежно достигнуть свою судьбою, именно потому, что глупцы об этом не думают»³⁹. Только,— глупцы ли? Екатерина Ивановна, поверьте мне: это не глупость и не безумие. Это — сознательная дезорганизаторская работа по чьей-то сторонней указке.

Шмыгающей походкою шла по набережной женщина с воровато глядящими исподлобья глазами, с жидкою шишечкою волос на макушке. Наклонилась, подняла на панели дно разбитой бутылки с острыми зубцами, оглянулась настороженно и бросила через каменные перила в море.

Катя смотрела.

— Зачем вы это?

Женщина улыбнулась, и вдруг все ее лицо осветилось удивительно милою улыбкою.

— Наступит кто,— еще ногу себе напорет.

Так это по-нынешнему времени показалось Кате необычным,— чтоб кто-нибудь подумал о других. Вечером она рассказала Вере, Вера рассмеялась.

— Как она выглядит? С крошечной пуговкой на макушке, ходит, как летучая мышь летит?

— Да, да!

— Это Настасья Петровна наша.

Вера рассказала: работница табачной фабрики, двое детей, муж пьяница, дрягиль, здоровенный мужик, жестоко бил ее и детей, пропивал не только свой, но и ее заработок. Сообщили им об этом в Женотдел. Вера пошла к ней, убедила подать прошение о разводе. Народный суд развел их, детей оставил ей, а его выселил из квартиры вон, к его безмерному изумлению и ее столь же безмерной радости. Теперь она стала восторженной коммунисткой,— кто бы,— говорит,— стал раньше думать о моем горе, кто бы такие законы поставил? Вера взяла ее к себе в Женотдел.

— Ты, Катя, все вертишься в среде шипящих, и у тебя соответственный взгляд на все. Рабочей среды ты совсем не знаешь. Если бы ты подошла ближе, пригляделась бы,— сколько бы увидела прекрасного! Есть еще у нас в отделе одна татарка молодая, Мурз. Как будто божественное откровение ее осенило и перевернуло всю жизнь. Великолепная вырабатывается агитаторша, татары в злобе, а татарки слушают, как посланницу с неба... Вот что. Завтра Настасья Петровна в первый раз делает работницам своей фабрики доклад о делегатском собрании, на которое она была ими делегирована. Хочешь, пойдем?

— Хочу, конечно.

— Говорить она, вероятно, совсем не умеет, не знаю, как у нее выйдет. Но все-таки посмотришь всех.

Назавтра пошли. В конторе фабрики собралось работниц пятьдесят. Настасья Петровна испуганно смотрела исподлобья бегающими глазами, краснела, вдруг освещалась милою своею улыбкою.

Председательствовавшая Вера сказала:

— Ну, товарищ Синюшина, расскажите нам, что вы слышали на делегатском собрании.

— Ой, товарищ Сартанова, боюсь я! Как же это я? Я никогда доклада не делала.

— Вы и не делайте доклада. Просто расскажите товарищам, что там было. Вы мне сказали, вам очень понравилась речь товарища Маргулиеса. Что он говорил?

— Уж не знаю, право как...

Одна старая работница увещевающе сказала:

— Что ты, Настя, право? Чай, тут все свои. Чего бояться? Настасья Петровна покраснела, набралась духу.

— Ну, вот так. Говорил, что революция,— это все равно, как ребеночек. Сперва-наперво — так, бог весть, что; не разберешь даже, то ли человек, то ли зверюшка какая. Вот, как выкидыши бывают. Все даже пугаются. А потом понемножку образуется. На свет родится, так уж видно всякому, что вправду маленький человек. Потом глазками начинает смотреть, сознательность приходит. Потом головку станет подымать, а там уж и ходить начнет. Вот все говорят: непорядки всякие, бестолочь, голод, ничего большевики не умеют наладить... Это все равно, что ребеночку новорожденному говорить: почему не ходишь?

— Ишь, хорошо как!

— Ведь верно, девушки!

Настасья Петровна воодушевилась.

— Все, говорит, помаленечку придет, нужно только всем стараться сообща. Все ведь нужно совсем по-новому устраивать, никогда еще ни в каких странах этого не бывало, чтоб рабочие сами собой управлялись, разве легко с непривычки?

Вошел рабочий, поглядел с усмешечкой.

— Бабе собрание?

Вера сказала:

— Товарищ, уходите, пожалуйста, не мешайте.

— Я что ж? Я только послушать.

— Нет, нет, ступайте.

— Уходи, Шабров, чего тебе тут?

Он усмехнулся, ушел. Настасья Петровна поискала растерянные мысли, нашла и продолжала:

— Потом, значит, объяснил, что такое будут большевики, что такое разные другие. Большевики говорят: нужно нахрапом брать, иначе нельзя. Ну, правда, убивства, обиды всякие, а нужно сразу утвердить, чтоб никакого не было разговору. А другие,— уж как им прозвание, позабыла,— «предатели», что ли? — они, значит, всего опасаются: чтобы понемножку все, да чтобы кому не было обиды, да чтоб поладить со всеми, да чтоб буржуи не озлобились. А буржуазия пользуется, только и глядит, чтоб все назад отобрать, и о том не думает, чтоб нас не обидеть.

Работницы шумно и одушевленно обменивались впечатлениями.

— Уж вот хорошо ты, Настя, объяснила! Как на ладошке. Вера, улыбаясь, сказала:

— Ну, видите, и доклад сделали, и ничего в этом нет страшного.

Настасья Петровна сияла улыбкою, оправляла растрепавшуюся на макушке шишечку и с гордостью повторяла:

— Я сейчас доклад делала.

* * *

Как кузнечики, стучали наперебой пищащие машинки. Тк-тк! Тк-тк-тк-тк! Дзинь! Трррр... Тк-тк-тк!

— Мой муж пропал без вести. Я вышла за другого.

— Да что вы? И давно пропал?

— Два месяца.

— Почему же вы думаете, что пропал?

— А писем не пишет.

Тк-тк! Тк-тк-тк!..

— Ну, а если вдруг воротится?

— Что ж мне было делать? Я молодая. Мне без мужчины скучно.

* * *

Крутился вихрь,— какая-то сумасшедшая смесь гордо провозглашаемых прав и небывалого унижения личности... Мелькали ключья растерзанных понятий о собственности, тени обесцененных человеческих жизней, осмеянные образы обезбоженных христов и богородиц, призывы к братству и ненависти, обрывки разорванных брачных цепей, выброшенные яти и еры, спутавшиеся числа календарных стилей.

* * *

Иван Ильич стоял среди закоптелой своей кухонки,— скрестив на груди руки, с презрительным лицом. Чадила коптилка. Люди во френчах и матросских бушлатах перетряхивали тюфяки, поднимали половицы, складывали в портфель бумаги и письма. Прислонившись к плите, бледный Афанасий Ханов смотрел, не принимая участия в обыске.

Бритый человек с револьвером сказал:

— По предписанию чрезвычайной комиссии из Москвы вы арестованы, гражданин.

Иван Ильич ответил устало:

— И слава богу. Мне надоела ваша большая тюрьма. Ведите в малую.

В черной толпе вооруженных людей его повели через темный

сад, среди благоухания белых акаций. Загромыхал по шоссе грузовик. Меж винтовок и солдатских фуражек затряслась на звездном небе широкополая шляпа Ивана Ильича. Анна Ивановна неподвижно стояла у раскрытой калитки и смотрела вслед.

* * *

Надежда Александровна, взволнованная, прибежала к Вере и сообщила об аресте Ивана Ильича. Глаза ее светились нежною ласкою и участием.

— По предписанию из Москвы. Михаил мне сейчас сказал по телефону. Сам только что узнал.

Вера, страшно бледная, молчала с неподвижным лицом. Катя рванулась: нужно было действовать. Надежда Александровна сказала:

— Приходите вечером. Михаил все узнает, расскажет.

Вечером они пошли. Корсаков развел руками.

— Ну, что тут можно сделать! «Вы агитировали против смертной казни?» — «Агитировал, и всегда буду агитировать».

Надежда Александровна нетерпеливо повела плечами.

— Какая окостенелость взглядов! Как он, право, не может понять!

Корсаков сказал Кате:

— Единственно, что могу сделать, это поместить его в возможно сносные условия. Велю дать вам свидание. Уговорите его, чтоб он, по крайней мере, держался не так вызывающе и презрительно. Сам себе подписывает приговор. Время сейчас грозное.

* * *

В том же особняке, куда Катю водили на допрос, где она сидела в подвале, ей дали свидание с отцом. Ввели Ивана Ильича в комнату и оставили их одних. В раскрытые окна несло просторным запахом моря и водорослей, лиловые грозды глициний, свешиваясь с мрамора оконных притолок, четко вылеплялись на горячей сини неба.

Иван Ильич с суровыми глазами говорил:

— Вы все, нынешние, даже самые хорошие, так привыкли к постоянным компромиссам с совестью, что у нас уже почти нет общего языка.

— Да нет, папа, погоди! При чем компромисс? Не задирай их только.

— Катя! Меня спрашивают: «Вы против смертных казней, производимых советскою властью?» А я буду вилать, уклоняться от ответа? Это ты называешь — не задирать!.. Я тут всего третий день. И столько насмотрелся, что стыдно становится жить. Да,

Катя, стыдно жить становится!.. Каждый день по несколько человек уводят на расстрел, большинство совершенно даже не знает, в чем их вина. А Вера с ними, а ты водишь с ними компанию...

Когда свидание кончилось, Иван Ильич обнял Катю, поцеловал и сказал:

— Катя, я тебя прошу: не ходи ко мне больше на свидания. Мне с тобою тяжело.

* * *

— Спички шведские, головки советские! Пять минут вонь, потом огонь!

— Друзья, друзья! А что же хлеба не покупаете? Не забывайте! Вот хлеб свежий!

— Сколько-о? С ума сошел!..

Налетала милиция, торговцы, оглядываясь, бежали с лотками, рысью катили тележки, вскачь уносились на грохочущих телегах. Продавцов и покупателей вели под конвоем в милицию, конфисковали товар.

Все равно что гроза налетевшая. Или наводнение. Непонятное, но неотвратимое. А через полчаса опять:

— Спички шведские...

— Креста нету на тебе! Сто рублей картошка!

— Бери, гражданин, не ходи дальше! Дешевле нигде не найдешь. Воротишься,— за эту цену не отдам.

Средь пыли и солнца, средь базарных выкриков и поросячьего визга — странная, долгая трель:

— А-а-а-а...

— Вот любительский табачок! Покуривай, мужичок!

— А-а-ah!.. E strano poter il viso suo veder!

Ah!.. Mi posso guardar, mi posso rimirar...

Di, sei tu? Marguerita! Di, sei tu? ⁴⁰

Старая женщина в отрепанном пальто, в деревянных сандалиях, пела, высоко подняв голову, мучительно стыдящимися глазами глядя поверх толпы. Видно, была красавица, чувствовался хороший когда-то голос и хорошая школа. И вдруг Катя узнала: жена бывшего городского головы Гавриленки, которых тогда выселили от Миримановых.

Катя съежилась,— не глядя, сунула ей в руку все деньги, какие были, и побежала прочь.

* * *

В горах, в недоступных лесных чащах, скрывались зеленые. Они перехватывали продовольственные обозы, обстреливали из засады проезжающие автомобили. По вечерам делали налеты на

поселки и деревни, забирали припасы, бросали на дорогах изрешеченные пулями трупы захваченных комиссаров. Между тем войск на фронте было мало, снимать их на борьбу с партизанами было невозможно.

Везде чувствовалась организованная предательская работа. Два раза загадочно загоралось близ артиллерийских складов. На баштанах около железнодорожного пути арестовали поденщика; руки у него были в мозолях, но забредший железнодорожный ремонтный рабочий заметил, что он перед едою моет руки, и это выдало его. Оказался офицер. Расстреляли. Однако через пять дней, на утренней заре, был взорван железнодорожный мост на семнадцатой версте.

Надежда Александровна зашла к Вере переговорить об устройстве дня работниц. (Она заведывала отделом агитпропаганды.) Потом пили чай. Надежда Александровна взволнованно говорила:

— Весь наш Особый Отдел нужно бы расстрелять. Вялый, никакой инициативы. Арестовывает случайно попавшихся, но совершенно не умеет поставить широкой разведывательной работы. Теперь, впрочем, все переменится. Скоро приезжает Воронько ⁴¹.

Катя ахнула.

— Воронько?! Тот, знаменитый?

— Да...

— Г-господи, какой ужас!

Надежда Александровна удивленно взглянула на Катю. Вера была бледна.

— Почему ужас?

— Этот зверь?.. И тут польется кровь реками, как на Подолии, на Киевщине!

Надежда Александровна веско и раздельно сказала:

— Это один из самых прекрасных и самых замечательных людей, каких я когда-нибудь встречала... Вот белогвардейская оценка! — Она засмеялась и обратилась к Вере: — ты знаешь, недавно в заграничных газетах был помещен его портрет с подписью: «Начальник Ч.К., Воронько, палач Украины». Если бы увидели его, — хорош палач!

Катя враждебно возразила:

— Для вас он, конечно, не палач. Вот если бы он ваших отцов и детей отправлял на расстрел, вы бы другими глазами смотрели... <Но я никак вот чего не могу понять. Ну, вы смотрите, — террор необходим, им можно чего-то достигнуть. Но ведь не можете же вы не чувствовать, что палач, шпион, охранник гадки сами по себе. Пусть без них нельзя обойтись, но ведь нельзя же к ним не чувствовать омерзения. Даже в царские времена самые верно-подданные офицеры брезгливо сторонились жандармских офицеров.

Глаза Надежды Александровны стали очень маленькими, темными и колючими.

— Хорошее сравнение!.. И так могут рассуждать девицы, мнящие себя революционерками! Охрана самодержавия — и охрана революции!

— Что ни охранять. А дело человека не может не накладываться на него своего отпечатка. Если человек подслушивает под дверями, читает, не сморгнув, чужие письма, убивает своих безоружных пленников, равнодушно смотрит на слезы жен и матерей,— то, конечно, у него душа станет другая.)⁴² Ну, скажите мне: сама вы,— такая, какая вы есть,— пошли бы вы в чрезвычайку?

Надежда Александровна в изумлении глядела на Катю.

— Конечно! Какой тут может быть разговор!.. Нет, положительно, нужно бы всем коммунистам по очереди работать в чрезвычайных комиссиях, чтобы все видели, как мы относимся к этой работе.

— И вы не знаете,— скажите, что, правда, не знаете,— какие сладострастные убийцы-садисты вырабатываются в ваших чрезвычайках. Вон, рассказывают про здешнего особника, Белянкина... (никому не позволяет расстреливать, обязательно сам, и хвалится, что одним выстрелом кладет наверняка. И кто раз попал ему в руки, уж не выходит обратно.)⁴³ А был, наверно, хорошим рабочим.

Глаза Надежды Александровны стали очень маленькими, темными и колючими.

— Да, бывает, я это хорошо знаю. Но только,— уж извините, не из рабочих. В Курске, пред нашим отъездом сюда, Михаил хотел освободить одного арестованного,— никаких данных против него. А чекист, потрясая руками: «Они всю жизнь нас давили, расстреливали нашего брата рабочего. И его расстрелять!» Михаилу он показался подозрительным. Велел навести справки. Оказалось,— бывший жандармский офицер. Расстреляли.

Когда Надежда Александровна ушла, Катя сказала, мрачно глядя в окно:

— Если я случайно где-нибудь с этим Воронько встречусь, я ему не подам руки!

На скамейке под окном, облокотившись о спинку, неподвижно сидел Мириманов и как будто дремал.

* * *

С Надеждой Александровной при каждой новой встрече отношения Кати портились все больше. Надежда Александровна не могла с нею говорить без раздражения. Вопросы, которые Катя ставила с обычною своею прямою, были для Надежды Александровны, как докучливо-нудное жужжание мухи, бьющейся в пыльной паутине.

Катя заметила: все человечество резко делилось для нее на три расы. Первая — пролетариат; это была божественно лучезарная и божественно безупречная порода людей, полная мощи,

благородства и вещего понимания жизни. Вторая — люди ее партии: тесная семья дорогих товарищей, занятых важным, единственно нужным для жизни делом. И третья — все остальное: злобно хлюпающая слякоть, только и думающая, чтобы залить свою зловонную жижею светлое пламя революции. Насколько было возможно, она сторонилась их с брезгливым чувством. Все их слова и дела были для нее сознательно ложью, саботажем и подкопом под революцию.

В революцию она была влюблена, как иная жена бывает влюблена в своего мужа: в нем все хорошо, у него не может быть ошибок и недостатков, малейший отрицательный отзыв о нем воспринимается ею, как обжигающее душу оскорбление.

Катя говорила ей:

— Смотрите, все кругом рассказывают: ваш Жилищный отдел, — это сплошное гнездо взяточников, за деньги можно получить какую угодно квартиру, без взятки никогда не получишь ничего.

Острые гвозди маленьких глазок злобно устремлялись на Катю.

— Докажите!

И странно было: черные эти гвоздики, — неужели это те же огромные окна, из которых, как из прожекторов, лились снопы такого чудесного света?

— Надежда Александровна, как же это может доказать частный человек? А для власти, если только она захочет исследовать, это не составит никакого труда.

— Извините, Катерина Ивановна. Власти некогда заниматься обывательскими сплетнями.

А Корсаков, ее муж, Кате нравился все больше. Он ясно видел всю творившуюся бестолочь, жестокость, невозможность справиться с чудовищными злоупотреблениями и некультурностью носителей власти. В официальных выступлениях держался, как будто ничего этого нет, но в частных разговорах откровенно признавал все. Он крепко верил в конечную цель, в общую правильность намеченного пути, но это не мешало ему признавать, что путь идет через густейшую чащу стихийных нелепостей и самых ребяческих ошибок.

Когда Катя говорила с Надеждой Александровной или когда читала газеты, у нее было впечатление: пришли, похваляясь, самонадеянные, тупые, не видящие живой жизни люди, разжигают в массах самые темные инстинкты и, опираясь на них, пытаются строить жизнь по своим сумасшедшим схемам, а к этим людям со всех сторон спешат примазаться ловкие пройдохи, думающие только о власти и своих выгодах.

Когда Катя разговаривала с Корсаковым, ей представлялась картина: хрупкая ладья несется по течению в бешеном, стихийном потоке, среди шипящей пены и острых порогов, а сидящие в ладье со смертными усилиями только следят, чтобы ладья не

опрокинулась, не дала течи, не налетела на подводную скалу. И верят, что в конце концов выплывут на широкую светлую реку. А толчки, перекатывающиеся волны, треск бортов,— все это было естественно и неизбежно.

С Корсаковым у Надежды Александровны были постоянные столкновения. Корсаков говорил, устало потягиваясь и потирая ладони меж сжатых колен:

— Нелепость очевидная: с нашею неорганизованностью мы совершенно не в силах держать в своих руках все производство и всю торговлю. На дворах заводов образовались кладбища национализированных машин,— ржавеют под дождем, расхищаются. Частная торговля просачивается через все поры.

Надежда Александровна ядовито возражала:

— Значит, опять разрешить частную торговлю, возратить фабрики хозяевам?

— Да, что-то тут нужно сделать... Рано или поздно придется ввести какие-то коррективы.

Надежда Александровна в негодовании вскакивала из-за стола.

— И это говорит коммунист! Положительно, таких людей надо бы выбрасывать из партии и расстреливать!

Корсаков посмеивался.

— И даже расстреливать?

— Да, и расстреливать.

* * *

Два раза Анна Ивановна приезжала на свидание с Иваном Ильичом. А потом произошло вот что.

Восемь солдат проходило через Арматлук. Узнали они, что есть склад вина, дали в зубы охранявшему склад милиционеру — почтальону, прикладами сбили замок, добыли вина и стали на горке пить. Подпили. Остановили проезжавшую по шоссе порожнюю линейку и велели извозчику греку катать их. Все восьмеро взвалились на линейку и в сумерках долго носились вскачь по улицам дачного поселка с гиканьем и песнями. А потом стали стрелять в цель по собакам на дворах. Пьяные, заснули в степи за поселком. Грек уехал.

А утром Люба, дочь соседнего сторожа, увидела на дворе сартановской дачи, перед свиною закуткою, труп Анны Ивановны. Около нее лежала миска с разлившимся хлебовом для поросенка. В левом боку была пулевая рана.

Дали по телефону знать в город, на следующий день приехали Катя с Верой. Смотрели они на спокойное, прекрасное в смерти лицо матери,— странное без круглых очков, такое милое и невозвратное. И горько плакали, и с ужасом думали, что будет с отцом, когда он узнает. Видела Катя арестованных солдат, бледных от похмелья и испуга,— испуга только за себя, а не за

сделанное. Их гнали в город на расстрел. И все это было не нужно, и кому от этого стало бы легче? Во рту как будто был тошнотный вкус крови, а в душе — тупой ужас пред жизнью.

За время, пока дача была без призора, исчез поросенок, раскрали кур. В кухне высадили окно, выломали из печки духовку и бак.

* * *

Гостей собралось много. Было сегодня рождение Корсакова, кстати воскресенье, и все обрадовались случаю передохнуть от чудовищной работы, беззаботно поспраздничать.

Белозеров, в заношенной куртке защитного цвета, положил ладонь на рояль, лицо его стало серьезно и строго. Разговоры затихли. Он дал знак аккомпаниатору.

Перед воеводой молча он стоит.
Голову потупил, сумрачно глядит.
С плеч могучих сняли бархатный кафтан,
Кровь струится тихо из широких ран.
Скован по рукам он, скован по ногам...

Как всегда, когда Катя слушала Белозерова, ее поразила колдовская сила, преображающая художника в минуты творчества. Мрачно-насмешливый взгляд исподлобья, дикая энергия, кроваво-веселая игра и чужими жизнями, и своею. Все муки, все пытки — за один торжествующий удар в душу победителя-врага.

А еще певал я в домике твоём;
Запивал я песни все твоим вином;
Заедал я чарку хозяйскою едой;
Целовался сладко — да с твоей женой!⁴⁴

Где в своей душе берет он все,— этот дрянной человечешко с угодливою, мещански приобретательскою натурою? Как может лупоглазый кролик преображаться в самого подлинного тигра?.. Даже не посмел надеть своего смокинга,— к приходу большевиков нарочно раздобыл эту демократическую куртку.

На цыпочках вошел в залу седоватый человек в золотых очках. Корсаков приветливо кивнул ему головою. Он огляделся и тихонько сел на свободный стул подле Кати.

Белозерову хлопали восторженно, он еще пел. «Нас венчали не в церкви», «Не шуми ты, мать-дубравушка». Кате стало смешно: песни всё были разбойничьи; очевидно,— самый, думает, подходящий репертуар для теперешних его слушателей.

Корсаков лениво сказал:

— Спойте: «В двенадцать часов по ночам встает император из гроба».

Белозеров недоуменно взглянул и ответил с сожалением:

— Я этих нот не захватил.

Вдруг электричество мигнуло и разом во всех лампочках погасло. Из темноты выскочили лунно-голубые четырехугольники окон.

— Пробка перегорела.

— Нет, во всем городе темнота.

— Дежурный у доски заснул на станции. Сейчас опять зажжется.

Но не зажигалось. Электричество вообще работало капризно. Надежда Александровна пошла раздобывать свечей. Гости разговаривали и пересмеивались в темноте.

Искусственно глубоким басом кто-то сказал:

— Товарища Корсакова в круг! Советский анекдотик!

Все засмеялись, подхватили, стали вызывать.

Корсаков помолчал и спросил:

— «Путешествие русского за границу» — не слышали?

— Нет. Вальяйте.

Прежний бас:

— Вонмем!

Корсаков стал рассказывать.

— Гражданин Советской республики, отстояв тридцать семь очередей, получил заграничный паспорт и поехал в Берлин. На пограничной немецкой станции получил билет, — бегом на запасный путь, где формировался поезд, и с чемоданчиком своим на крышу вагона. Подали поезд к перрону. Кондуктор смотрит: — «Господин, вы что там? Слезайте!» — Ничего, товарищ, я так всегда езжу, я привык! — «У нас так нельзя, идите в вагон». — Видите ли, товарищ, у меня нет права на проезд ни в штабном поезде, ни в поезде В. Ч. К. — «Да билет-то есть у вас?» — Вот он, вот он билет. — «Так идите в вагон». Гражданин почесал за ухом, слез, вошел в вагон, — пулею в уборную и заперся. Стучатся. — «Некуда, некуда, товарищи! Тут двадцать человек сидит!» Поезд пошел, пассажиры толкаются в уборную, — заперто. Пришел кондуктор. — «Эй, мейн герр! Вы там долго будете сидеть?» — До Берлина! — «До Берлина? Вот странная болезнь!»

Сидевший рядом с Катюю господин прыснул от смеха.

— Кондуктор отпер дверь своим ключом. «Так, господин, нельзя. Иногда уступайте место и другим».

Рассказал Корсаков, как обыватель приехал в Берлин, как напрасно разыскивал Жилотдел, как приехал в гостиницу. Таинственно отзывает швейцара. — «Дело, товарищ, вот в чем: мне нужно переночевать. Так, где-нибудь! Я не прихотлив. Вот, хоть здесь, под лестницей, куда сор заметают. Я вам за это заплачу двести марок». — Да пожалуйста в номер. У нас самый лучший номер стоит семьдесят марок. — «Суть, видите ли, в том, что я поздно приехал, Жилотдел был уже заперт, а у меня нет ордера...»

После многих приключений в Берлине обывателя в конце концов посадили в железную клетку и над нею написали:

Р.С.Ф.С.Р.

(редкий случай феноменального сумасшествия расы).

Вошла Надежда Александровна с двумя зажженными кухонными лампочками и раздраженно сказала:

— Всё с белогвардейскими своими анекдотами!

Толстый Климушкин закатиисто хохотал. Господин рядом с Катей смеялся детским, неостанавливающимся смехом, каким смеются серьезные люди, у себя не имеющие смешного. Надежда Александровна с упреком взглянула на него.

— И вы тоже!

Господин вытирал под очками слезы.

— Очень, очень остроумно!

Он понравился Кате, она с ним заговорила. Серьезно и хорошо он отвечал на такие вопросы, на которые другие либо раздражались, либо отвечали задирающе насмешливо.

Он говорил, выпуская сквозь усы дым из трубки:

— ...Это с самого начала можно было предвидеть, и логика вещей, естественно, привела к этому. Только подумать,— в свое время у нас в руках находились и Краснов, и Деникин, и Корнилов. Краснов, арестованный, был у нас в Смольном,— и его отпустили на свободу под честное слово, что не пойдет против нас. И сколько потом понапрасну пролилось из-за этого рабочей крови!.. Враги внутри еще страшнее. Принимают лояльный вид, а тайно саботируют всякое наше начинание, дезорганизуют все, что могут, и в критический момент перебрасываются к нашим врагам.

В полумраке Катя видела серьезные глаза под высоким и очень крутым лбом, поблескивала золотая оправка очков, седоватые усы были в середине желто-рыжие от табачного дыма. Обычного вида интеллигент, только держался он странно прямо, совсем не сутулясь.

Катя сказала:

— Ну, хорошо. Это бы все еще можно,— если не принять, то понять. Но ведь арестовывают и уничтожают часто совершенно невинных, по одному подозрению, даже без всякого подозрения, просто так.

— Бесспорно. Но тут лучше погубить десять невинных, чем упустить одного виновного. А главное,— важна эта атмосфера ужаса, грозящая ответственность за самое отдаленное касательство. Это и есть террор... Бесследное исчезновение в подвалах, без эффектных публичных казней и торжественных последних слов. Не бояться этого всего способны только идейные, непреклонные люди, а таких среди наших врагов очень мало. Без массы же они бессильны. А обывательская масса при таких условиях не посмеет даже шевельнуться, будет бояться навлечь на себя даже неосновательное подозрение.

Со смутным ужасом Катя глядела в поблескивавшие в полумраке очки под нависшим лбом. А собеседнику ее она, видимо, нравилась,— нравились ее жадные к правде глаза, безоглядная страстность искания в голосе. Он говорил — хорошим, серьезным тоном старшего товарища:

— В тех невиданно трудных условиях, в которых революция борется за свое существование, это единственный путь. Путь страшный, работа тяжелая. Нужен совсем особый склад характера: чтоб спокойно, без насада, идти через все, не сойти с ума,— и чтоб не опьяняться кровью, властью, бесконтрольностью. И обычно, к сожалению, так большинство и кончает: либо сходят с ума, либо рано-поздно сами попадают под расстрел.

Катя тряхнула головою, чтобы сбросить наваливавшуюся тяжесть.

— Ах, нет!.. Господи! Вот я чего не понимаю. Я слышу по голосу, я вижу,— вы идейный, убежденный человек. И вот — вы, Надежда Александровна, Седой... Вы все так легко об этом говорите, потому что для вас это теория; делается это где-то там, вне поля вашей деятельности. Ну, скажите,— ну, если бы вам, самому вам, пришлось бы... Как ваша фамилия?

— Воронько.

Катя отшатнулась.

— Во... Воронько?!

— Да.

Как ребенок, Катя в ужаснувшемся изумлении раскрыла рот и неподвижно глядела на Воронько.

Он улыбнулся про себя.

— Вы думали,— у меня не только руки, но даже губы в крови?

Катя молча продолжала смотреть. Обычное лицо русского интеллигента вдруг стало таинственно страшным, единственным в своей небывалости. Она растерянно сказала:

— Я ничего не понимаю...

Подошел Корсаков и заговорил с Воронько.

Шумно ужинали, смеялись. Пили пиво и коньяк. Воронько молчаливо сидел,— прямой, с серьезными, глядящими в себя глазами, с нависшим на очки крутым лбом. Такая обычная, седенькая, слегка растрепанная бородка... Сколько сотен, может быть, тысяч жизней на его совести! А все так просто, по-товарищески, разговаривают с ним, и он смотрит так спокойно... Катя искала в этих глазах за очками скрытой, сладострастной жестокости,— не было. Не было и «великой тайной грусти».

Дома Катя ушла одна в сад. Верхушки кипарисов и пирамидальных акаций острыми языками черного пламени тянулись к ярким звездам, дрожавшим мелкою дрожью.

Это спокойствие и бессмущаемость перед тем, что он делает... И ведь, может быть, у него где-то в России есть дети, он их ласкает. Что это? Что это? Как ни старалась, она не могла соединить своего

впечатления от него с тем, что о нем знала. И теперь она готова была считать вероятным, что про него с обычным своим умилением рассказывала Надежда Александровна,— что он живет бедняком и аскетом, обедает вместе с солдатами своей чеки, личной жизни совсем не знает. Перед революцией он пять лет провел в каторжной тюрьме.

Но как,— как может быть он таким? Катя быстро ходила по дорожкам сада, сжав ладонями щеки и глядя вверх, на дрожавшие меж черных ветвей огромные звезды.

И вдруг Кате пришла мысль: мораль, всякая мораль, в самых глубоких ее устоях,— не есть ли она нечто временное, служебное,— совсем то же, что, например, гипотеза в науке? Перестала служить для жизни, как ее кто понимает,— и вон ее! Вон все, что раньше казалось незыблемым, без чего человек не был человеком?

В сущности, и до сих пор,— разве это всегда не было так? Вот совсем недавно. Заманить тысячи людей в засаду и, не сморгнув, перебить их из дальнобойных орудий. Двинуть на окопы неожиданные, неведомые врагу танки и, как косилкою, начисто выкосить людскую ниву пулеметами. Возмущаться ядовитыми газами, а потом сказать: «Вы так,— ну, и мы так!» И возвращаться в орденах, слышать восторженные приветственные клики, видеть свои портреты в газетах, считать себя героем, исключительно хорошим человеком. Держать на коленях сына, смотреть в его восторженные глаза и рассказывать о своих злодеяниях. К этому привыкли, так делают все. И человеку поэтому не стыдно. Только поэтому?

* * *

Утром, лежа в постели, Катя сказала Вере:

— Папу освободят, я теперь убеждена. Я сегодня пойду к Воронько.

Вера, с неподвижным лицом, повела головою и глухо ответила:

— Он не освободит.

— Освободит, увидишь. Страшно иметь дело с Искандерами, с Белянкиными. А Воронько поймет, что папа за человек. С ним можно говорить человеческим языком.

Пошла. Трудно было добиться свидания. Воронько никаких посетителей лично не принимал. Но Катя сумела проникнуть к нему.

Воронько внимательно выслушал.

— Нет. Он закоренелый контрреволюционер, освободить нельзя. Мы имеем сведения от местных рабочих, что он при белых энергично агитировал против советской власти.

Катя изумилась.

— От местных рабочих? Каких рабочих?

И вдруг вспомнила: наверно, Тимофей Глухарь, который чинил у них крышу.

— Впрочем, если ваш батюшка согласится дать подписку, что не

будет агитировать против смертной казни и советской власти, и если за него поручатся в этом отношении ваша сестра и товарищ Седой,— я его освобожу.

И в спокойных, невраждебных глазах его за золотыми очками Катя увидела, что решений своих этот человек не меняет. Она сказала упавшим голосом:

— Он такой подписки не даст.

— Я знаю. Я ему уж предлагал.

— Товарищ Воронько! — Голос Кати зазвенел.— Вы отлично понимаете, что папа не контрреволюционер, а самый настоящий революционер, что он восстает не против революции, а только против ваших методов.

— Важны не его взгляды на революцию, а его действия.

— Господи! Что ж вы с ним сделаете?

Воронько глядел так же серьезно и бесстрастно, только чаще, чем нужно, совал в рот мундштук трубки и сжатыми губами пропускал дым сквозь закопченные усы.

— Если тут все будет благополучно и сообщение наладится, отправим в Москву... Вот, товарищ Сартанова, все, что могу вам сказать.

И он указал на плакат:

Не задерживайте лишними разговорами. Кончив свое дело, уходите.

Катя открыла было рот,— сжала зубы, пошла к двери. Нечаянно наткнулась плечом на косяк. Вышла.

По коридору навстречу вели под конвоем арестованного. Катя растерянно взглянула, прошла мимо. И вдруг остановилась. До сознания дошло отпечатавшееся в глазах горбоносое лицо с большим извивающимся ртом, с выкатившимися белками глаз, в которых был животный ужас... Зайдберг! Начальник Жилотдела, который тогда Катю отправил в подвал. Она глядела вслед. Его ввели в кабинет Воронько.

* * *

Давно-давно уже не было спокойного сна и светлых снов. Тяжелые кошмары приходили по ночам и давили Кате грудь, и душной подушкой наваливались на лицо.

Матрос с тесаком бросался на толстого буржуя без лица и, присев на корточки, тукал его по голове, и он рассыпался лучинками. Надежда Александровна, сияя лучемерными прожекторами глаз, быстро и однообразно твердила: «Расстрелять! Расстрелять!» Лежал, раскинув руки, задушенный генерал, и это был вовсе не генерал, а мама, со спокойным, странным без очков лицом. И молодая женщина с накрашенными губами тянула в нос: «Мой муж пропал без вести,— уж два месяца от него нет писем».

Катя очнулась и быстро села на постели. Сердце стучало тя-

желыми, медленными толчками. За незавешенными окнами чуть брезжил туманный рассвет.

Глухо, таинственно и грустно в монастыре на горе ударил колокол. Еще удар и еще,— мерно один за другим. Сосредоточенно гудя, звуки медленно плыли сквозь серую муть. И было в них что-то важное, организующее. И умершее. И чувствовалось,— ничего уж они теперь не могут организовать. И серый, мутный хаос вокруг, и нет оформливающей силы.

Вера во сне стонала, потом вдруг заплакала протяжно, всхлипываяще. Вздрыгнула и замолчала, и закутала одеялом голову. Должно быть, проснулась от собственного плача.

Катя тихонько позвала:

— Вера!

Не откликнулась. И грустно, уединенно звучал в тумане далекий колокол.

* * *

Надежда Александровна встретила Катю словами:

— Ну, Екатерина Ивановна, радуйтесь! Вы оказались правы. В Жилотделе раскрылись злоупотребления чудовищные, взятки брали все кому не лень. Сегодня утром, по приказу Воронько, расстреляли весь Жилотдел в полном составе. Ордера аннулированы, назначена общая их проверка.

Катя натопорщилась, как еж.

— Чего ж мне радоваться? Когда власть бесконтрольна, когда некому жаловаться, и никто не знает своих прав,— всякие другие будут такими же.

Звонок. Быстрыми шагами вошел в столовую человек в защитной куртке. Не здороваясь, хлопнул ладонью по скатерти, оглядел стол.

— Самовар? Хорошо. Сыр? Масло? Больше ничего не надо. Коньяк есть?

Надежда Александровна засмеялась.

— Кажется, есть. Посмотрю в буфете.

— Великолепно. На стол! Лорд-мэр дома?

— У себя в кабинете.

— Очень хорошо. Четверть часа разговору. Потом сюда к вам. Через полчаса в уезд... Тук-тук!

Он исчез в дверях кабинета. Надежда Александровна, смеясь, переглядывалась с Верой.

— Так всегда. Как вихрь. Три дня назад приехал из Симферополя,— и все в Продотделе закрутилось и закипело. Вот увидишь, неделя всего пройдет,— и вагоны хлеба вырастут, как из земли.

Катя спросила:

— Кто это?

— Губпродком, комиссар продовольствия. Колесников. Удиви-

тельный человек. Вот энергия! Всегда на ходу. Когда спит,— никто не знает. Весь живет в деле. Понимаете, как будто все время пьян своим делом.

Вера сдержанно заметила:

— Да, энергичный. Я с ним зимою работала в Тамбовской губернии. Только не нравится он мне. Жестокий невероятно. Мужиков десятками расстреливал. И так равнодушно, деловито,— как будто баранов.

Надежда Александровна выставляла из буфета коньяк, холодное мясо, винегрет.

— А за то его уезд по количеству представленного хлеба оказался первым в России. (Говорят, Ленин ему сказал: если бы все продкомиссары были такие, как вы, наша революция проходила бы менее болезненным путем.)⁴⁵

— Да... А все-таки... И себе самому ни в чем не отказывает. И коньяк у него всегда, и всего вдоволь. Совестно было приходиться к нему. И потом: через каждые полгода новая жена.

— Конечно, это всё... Но я не знаю. Сколько гляжу,— все больше убеждаюсь, что общественная нравственность и нравственность личная очень редко совпадают. По-видимому, это — две совершенно различные области. И как бы он мог так работать, если бы ел хлеб с соломой? А потом,— если нужно, то он может и целыми днями ничего не есть, спать под кустом на дожде.

Вошли Колесников и Корсаков, продолжая разговаривать. Колесников быстро сел, взял бутылку с коньяком, посмотрел на этикетку.

— Мартель, три звездочки. Очень хорошо.

Налил большую рюмку, выпил и жадно стал есть. И еще выпил. Корсаков пить отказался. Из желтой склянки он зачерпнул ложечку белых крупинок, проглотил.

— Что это?

— Глицерофосфат.

— Чтoб умным быть?

— Да.

— Помогает. В прошлом году сахару не было, я с глицерофосфатом чай пил. Так все на улицах пугались,— до того было умное лицо!

Надежда Александровна сияющими глазами смотрела и смеялась, радуясь на него. В раскрытых окнах было темно, и поблескивали молнии.

— Поскорее прекратил. А то еще за интеллигента российского примут.

Катя встрепенулась.

— А что же тут было плохого, если бы приняли за интеллигента?

Колесников стал ругать интеллигенцию. Катя сцепилась с ним. Как можно так относиться к интеллигенции! Ее обратили в каких-то париев, она погибает от голода и холода,— погибает вся умственная

сила страны. Недавно профессор Дмитревский получил из Петербурга письмо. Знаменитый историк, академик Зябрев, чтоб не умереть с голоду, продал всю свою библиотеку за два пуда муки. Воротился домой, увидел пустые библиотечные полки — и повесился тут же в кабинете... И моральный уровень нашей революции так низок, так мало в ней благородства именно потому, что она оттолкнула от себя интеллигенцию.

Надежда Александровна скучливо поморщилась.

— Господи! Эти интеллигентские разговоры без конца!

Колесников смеющимися глазами с любопытством оглядел Катю: как, мол, сюда такая залетела? Он налил еще рюмку, выпил.

— Ну, барышня, давайте языками потрепем. Для дивертисменту. Что за моральный уровень такой у интеллигенции вашей? Прогнившая труха, а не уровень. Старые заслуженные слова. В помойку выкинуть эти окурки. Чистота души. На кой она кому нужна? Любовь к страждущим братьям... Чепуха! Долг народу... Ч-чепуха! Сочувствие народное, «глас народный». Наплевать!

— И на сочувствие народное?!

— Наплевать!

— И на сочувствие рабочих?

— Если за нами не идут,— наплевать! И их устраним. Заставим идти за собою. Не доросли, линии не видят, а нам из-за того на месте топтаться? Давать им разводить меньшевистскую слякоть?

Он протянул руку к бутылке. Надежда Александровна придерживала бутылку.

— Смотрите: гроза, дождь так и льет. Вы все-таки хотите ехать?

— Через две минуты.

— Тогда не дам вам больше пить.

Он ладонью отрезал бутылку от Надежды Александровны.

— Никогда не бываю пьян. Когда до грозящей точки,— противно становится вино.

Выпил рюмку.

— Вот барышня хорошая. Усвойте. Интеллигенция ваша нам ни к чему. Только две нужны категории: бывшие кадровые офицеры,— боевики, фронтовики, вот с этим! — Он потряс сжатым кулаком.— Да еще инженеры. Не ваши интеллигенты мяклые, а инженеры американского типа, чтоб умели дело делать, не сантименты разводить. А до профессорских штанов нам нет дела.

— Каких штанов?

— Ну, книг, что ли!

Он встал.

— Еду! — Подошел к буфету, открыл.— Ого! Еще целая бутылка коньяку. Реквизирую.

Лил южный дождь, грохотал гром. В бурную темноту уносился ухающий стон автомобильной сирены.

Часть третья

Медленно извиваясь, по городу расплзались глухие слухи. Замирали на время, принакали к земле — и опять поднимали голову, и ползли быстрее, смелее, будя тревогу в одних, надежду — в других.

Рассказывали: на севере Петроград в руках Юденича, и он уже подходит к Твери; добровольцы взяли Синельниково и Харьков; махновцы перешли на сторону Деникина. Советские газеты сообщали, что Деникин овладел Донецким бассейном. Военный комиссар Ворошилов докладывал на съезде, что разбойничьи банды Григорьева рассеяны по лесам, но «идейное кулацкое ядро» кристаллизуется и представляет серьезную опасность. Передавали, что григорьевцы вовсе не рассеяны,— напротив: Григорьев идет к Перекопу на соединение с Махно, его лозунги: власть свободно избранным советам, отмена хлебной монополии и коммун, истребление евреев. Посланные навстречу красные войска перешли на его сторону. Советская власть в панике, на фронте полный развал, дисциплины никакой, солдаты пьянствуют и дезертируют.

Катя встретила на улице певца Белозерова.

— Владимир Иванович, вы слышали? Говорят, дела большевиков плоховаты.

— И вы верите! Какой вздор! И кто эти слухи распространяет! Сейчас мне это самое говорил и Семенов, член коллегии Земотдела. Буду сегодня в ревкоме, спрошу тамошних моих приятелей.

Возвращаясь со службы, Катя опять встретила Белозерова. Он шел, обняв каждую рукою по десятифунтовой банке,— одну с медом, другую с абрикосовым вареньем; через плечо висел окорок. Катя рассмеялась.

— Что это у вас?

— Сегодня утром на вилле Бенардаки открыли две замурованные комнаты. Полны были золотой и серебряной посудой, мануфактурой, всевозможными припасами. Садовник донес. Вот, снабдили меня в ревкоме.

— А что вам сказали насчет общего положения дел?

— Вздор, конечно. Я так и думал. Работа провокаторов. Дела великопепны. Спросили меня: «Кто эти слухи распространяет?» — Я сказал про Семенова.— «Как фамилия? Семенов? А вот мы его запомним и покорнейше попросим!»

— Да неужели вы назвали фамилию?

Белозеров удивился.

— А что?

— Владимир Иванович, ведь это у порядочных людей называется доносом! Неужели вам не стыдно?

— А зачем они подрывают авторитет советской власти? Так им и надо!

* * *

Ездил Белозеров в Арматлук,— отвезти кой-какие принакопленные запасы и проверить сохранность своей дачи, огражден-

ной всякого рода очень грозными бумажками. Дача охранялась специальным милиционером от ревкома.

В деревне тоже только и было разговору, что об уходе большевиков. Белозеров вывесил на дверях ревкома грозное объявление, что, мол, до сведения моего дошло о провокационных слухах, распространяемых злонамеренными лицами... Рабоче-крестьянская власть установилась в Крыму навсегда... Распространители злостных слухов будут караться революционным трибуналом расстрелом на месте...

Неизвестно, в качестве кого подписал Белозеров это свое объявление. Он был только заведующим отделом театра в Наробразе.

* * *

А слухи в городе становились настойчивее, тревога — ощутительнее. Шли повальные обыски. Произвели обыск у Мириманова. Но, как всегда при повальных обысках, обыск был спешный и поверхностный. По ночам голубой луч прожектора пылливо шарил по морю и по горам над городом. Рассказывали, что в море были замечены миноноски, что им сигнализировали из садов на горах. Из уезда с береговых пунктов тоже доносили о появлении разведочных судов и о сигнализации с гор. Передавали, что на севере Крым вот-вот будет отрезан.

Профессор Дмитриевский волновался и был задумчив. Катя спрашивала Веру, — что слышно? Вера поспешно отвечала, что все идет хорошо. Но чувствовалось, — опять надвигается буря.

Рабочие, поселенные в верхнем этаже дома Мириманова, с угрюмыми лицами спешно укладывались и уносили куда-то свои вещи.

В сумерках к Мириманову приходил бородатый казак с красною звездой на околыше. Катя уж и раньше несколько раз видела его. Через полчаса Мириманов ушел из дому и в эту ночь не ночевал дома.

* * *

На краю города, в стороне от шоссе, стоит грязное двухэтажное здание с маленькими окнами в решетках. Поздним вечером к железным воротам подкатил автомобиль, из него вышли двое военных и прошли в контору. В темной конторе чадила коптилка, вооруженные солдаты пили вино, пели песни.

Один из военных властным голосом спросил:

— Комендант тюрьмы здесь?

Сидевший за столом матрос неохотно отозвался:

— Я комендант.

Военный отвел его в угол и на ухо спросил:

— Приказ, товарищ, получен вами?

— Получен. Сейчас ведем.

— Вот что. У вас тут есть арестант, подлежащий отправке в Москву. Доктор Сартанов. Нам нужно лично быть убежденными,

что он больше... не будет опасен. Распорядитесь, чтобы его привели.

Матрос благодушно улыбнулся.

— Не хотите ли еще кого? Хоть десяточек берите. Хватит на всех.

— Нет, нужно только его.— Он обратился к своему спутнику.— Товарищ Чанг, вы примете арестанта, а я подожду в машине.

Спутник-китаец ответил:

— Халясо.

Первый военный ждал в автомобиле, усевшись на сиденье рядом с шофером, впереди. Китаец вышел из ворот с Иваном Ильичом. Руки Ивана Ильича были связаны позади веревкою. Он сильно оброс и шел почему-то прихрамывая. Китаец сел рядом с ним.

Военный на переднем сиденье коротко шепнул шоферу:

— В штаб Духонина.

Машина заворчала, плавно сорвалась с места и покатила к шоссе. Там свернула влево от города и помчалась в горы.

Иван Ильич удивленно огляделся.

— Куда вы меня везете?

Китаец не ответил. Иван Ильич выпрямил спину, глубоко вздохнул и поглядел на теплый, сухой сумрак, окутывавший придорожные кусты, на яркие звезды над горами. И еще раз он глубоко вздохнул, потом откинулся на спинку сиденья, опустил голову и больше ее уж не поднимал.

Машина мчалась по шоссе, среди тихого аромата лесных трав. Все молчали. Военный, сидевший рядом с шофером, вдруг сказал:

— Стой!

Остановились над лесистым откосом, отгороженным от шоссе рядом столбиков.

— Вы проедете дальше,— там можно будет повернуть машину.

И слез. Китаец тоже вышел и велел выйти Ивану Ильичу. Первый военный побледнел и срывающимся шепотом сказал на ухо китайцу:

— Я сам. Садитесь обратно в машину.

Китаец бесстрастно моргнул узенькими глазными щелками и полез назад.

Автомобиль покатиł дальше. Внизу, где мягкая дорога впадала в шоссе, он повернул и, не спеша, двинулся обратно. Остановился над откосом, дал призывный гудок. Как бы в ответ, внизу, под черными купами ясеней, коротко ударил револьверный выстрел. Из кустов вышел военный, вкладывая в кобуру большой револьвер Кольта, молча сел в автомобиль рядом с китайцем.

Машина помчалась к городу.

* * *

Через полчаса после отъезда автомобиля от тюрьмы железные ворота широко распахнулись, вышла большая толпа людей, окруженная вооруженными солдатами.

Жители татарской слободки, еще не спавшие, слышали за окнами взволнованные мужские голоса, женский плач, пьяную матерную ругань, удалявшиеся по направлению к свалкам. Старик татарин, вышедший к калитке посмотреть, через четверть часа услышал в темноте за свалками далекие вопли, сухие ружейные залпы, перемежающиеся отдельными выстрелами. Прорезал тишину безумный, зерино-предсмертный вопль, оборвавшийся выстрелом, и все стихло.

* * *

Улицы были пустынные. Ходили патрули вооруженных рабочих. В учреждениях висели объявления о вздорных слухах, злостно распространяемых провокаторами, и приказывалось всем служащим быть на местах. Однако почти никто не явился.

Катя нагнала на улице Белозерова. С желтым, спавшимся лицом, он тащил огромный узел с вещами.

Катя смотрела смеющимися глазами.

— Ну, что, Владимир Иванович, — провокационные слухи?

Белозеров покрутил головой.

— Плохо дело.

— Куда это вы?

— В советской квартире оставаться неудобно. Перебираюсь к знакомым на частную.

Кате захотелось его подразнить.

— А ведь, пожалуй, придется вам дать ответ в кой-каких ваших действиях.

Он еще больше пожелтел, в глазах прополз унылый испуг.

— Собственно, что ж я такого делал? — Потом покрутил головой и бледно улыбнулся. — А ведь, чего доброго, — повесят!

— Ну; не повесят. Споете им из «Жизни за царя»: «Чуют правду».

У крыльца военного комиссариата стояла кучка красноармейцев. Один насмешливо спросил Белозерова:

— Что, товарищ, на дачу перебираетесь?

— Да, знаете, — на прежней воздух что-то плох стал.

В толпе засмеялись. Сзади до них донеслось:

— Пулю бы ему в спину!

Белозеров свернул в переулок.

На набережной просто одетая женщина, по виду прислуга, побежала к парню с винтовкой и крикнула:

— Патруль! Останови эту женщину! Она контрреволюционерка! Хорошо одетая дама спешила уйти в боковую улицу.

— Держи, а то уйдет!

Милиционер побежал за дамой и схватил ее за руку.

— Что вам надо?

— Она сейчас пропаганду пушала. Говорила, что слава, мол, богу, большевиков гонют. Грабителями называла большевиков.

— Что вы... Оставьте меня... Чего вы меня хватаете?

— Ты что говорила?

— Ничего я не говорила... Спрашивала только, правда ли, что большевики уходят из города.

— Ишь, какая теперь смиренная стала! Нет, ты говорила: туда им и дорога, сволочи поганой. Придут доброволы, они вам всем покажут, как нас обижать... Веди ее, патруль! Я в свидетелях.

Парень с обеими женщинами пошел к Особому Отделу.

На бульваре, у постамента снятого памятника Александру Второму, Катя встретила Мириманова. Он спросил глухим голосом:

— Вы слышали, что они сегодня ночью сделали?

— Что?

— Расстреляли всех заложников и политических арестованных. Вывели из тюрьмы и расстреляли за свалками.

— Что вы говорите?!

— Там уж целая толпа родственников.

— Господи! Да ведь в тюрьму, наверно, и папу перевели!..

Катя бросилась прочь. Вбежала в Женотдел. В загаженных комнатах был беспорядок, бумаги валялись на полу, служащих не было. В дальней комнате Вера с Настасьей Петровной и татаркою Мурэ жгли в камине бумаги. Вера исхудала за несколько часов, впалые щеки были бескровны.

— Вера! Скорей, пойдй сюда!

Они вышли в пустую комнату.

— Ты знаешь, что сегодня ночью... Говорят, ночью расстреляли всех, кто в тюрьме.

Вера, прикусив губу, ответила:

— Да. Расстреляли. Увезти невозможно, а оставить — значит освободить. Опять пойдут против нас.

— Расстреляли! Всех! Значит, и папу!.. Господи! И это тоже нужно было для революции? Честного, благородного, непреклонного! Ни пятнышка на всем человеке!

Катя прорвалась рыданиями.

— Проклятье вашей революции, которая привлекает к себе только подлецов и хамов и уничтожает всех благородных! И ты, — ты тоже с этими палачами! А ведь раньше ты руку отказалась подать доктору только за то, что он присутствовал при казни!.. Вера, Верочка! Что же это такое случилось?

— Ну, Катя!..

— Что такое случилось? Верочка, да неужели же это возможно?

По бледным щекам Веры произвольно лились слезы, но лицо было неподвижно и строго. Катя сказала:

— Пойдем, посмотрим трупы. Может, отыщем папу.

— Пойдем.

Ивана Ильича среди трупов не оказалось.

Под вечер в комнату к ним поспешно вошла Надежда Александровна.

— Вера, едем. Машина у крыльца, наши ждут... Что это с тобою? Вера безучастно спросила:

— Куда едем?

Надежда Александровна удивилась.

— Как куда? В Джанкой. Приказ — немедленно эвакуироваться всем ответственным работникам, ты же знаешь. Воинским частям тоже приказ,— как можно скорее уходить с позиций.

— Да, да... — Вера повела глазами, словно стараясь что-то припомнить.— Да. Захватите других товарищей.

— Ты с ума сошла, Вера! Обязательно должна и ты ехать. Что же тогда партийная дисциплина?

— Конечно, я еду. За мною обещал заехать Леонид. Я его жду.

— Ну, это другое дело. Только не держитесь. Деникинцы высадились в Трехъякорной бухте и идут наперерез железной дороге. Может быть, уже отрезали нас.

— Да, конечно...

Надежда Александровна пристально вглядывалась в Веру. Ее поразили ясный, радостный свет, сиявший на ее лице, и страдальчески сжатые губы.

— Вера, чего ты, право? Всегда же бывают неудачи. Приходится отдавать Крым. Вообще это была ошибка, не следовало его сейчас занимать, Троцкий определенно это заявил.

— Да, это верно.

— Ну, пока!

Глаза Надежды Александровны вспыхнули светлыми прожекторами, с мягко-материнской нежностью она обняла Веру, заглянула ей близко в глаза и крепко поцеловала. И еще с сомнением заглянула ей в глаза. Потом с усмешкою обратилась к Кате:

— До свиданья! Вы, наверно, рады, что возвращаются белые. Но недолго им тут быть!

Катя с ненавистью взглянула на нее и ничего не ответила.

— Значит, на повороте, у оврага, где разбитое дерево...

— Так точно!

Они стояли близко друг от друга и, глядя в стороны, говорили вполголоса. Пищальников продолжал седлать лошадей, а Храбров вышел из сарая и жадно закурил.

Спешно грузились на дворе фурманки. По улице проезжали орудия. Над крылечком в вечерних сумерках еще трепыхался красный флаг. Из помещения штаба вышел Крогер и холодно сказал:

— Нужно спешить, пока месяц не взошел. Едем.

— Едем. Лошадей седлают... Товарищ Мохов, через час вы выступите по маршруту, не дожидаясь нас. Мы выезжаем на позиции, пойдем вместе с полками.

— Хорошо, товарищ Храбров,— отозвался начальник штаба.

Пищальников вывел из сарая трех оседланных лошадей.

Храбров и Крогер, а сзади них Пищальников, поехали крупной рысью через безлюдную деревню, разрушенную артиллерийским огнем. Выехали в степь. Запад слабо светился зеленоватым светом, и под ним черным казался простор некошенной степи. Впереди, за позициями, изредка бухали далекие пушечные выстрелы белых. Степь опьяненно дышала ароматами цветущих трав, за канавкой комками чернели полевые пионы.

Ехали молча. Лошадь Пищальникова горячилась, прыгала, то на скакивала сзади почти на круп лошади Крогера, то отставала, и Пищальников ругался на нее.

— Застоялся, Ирод!.. У, чума тебя возьми!..

Уродливою массою зачернелась над оврагом разбитая снарядами ветла, с надломившимся, поникшим к земле стволом. Опять лошадь Пищальникова наскочила сзади на лошадь Крогера. Быстрым движением Пищальников выхватил шашку, сжал коленями бока лошади и, наклонившись, с тяжелым размахом ударил Крогера по голове. Крогер охнул, повалился на гриву, и еще раз Пищальников полоснул его наикось по затылку.

Лошадь скакала, изогнув шею, на боку ее висел вниз головою Крогер, запутавшийся в поводьях и стремянах, а рядом, нагнувшись, скакал Пищальников и старался схватить лошадь за узду.

Слезли с коней. Храбров коротко сказал:

— Стащи его в овраг.

В овраге, под кустом тальника, Храбров обшарил карманы латыша, вытащил у него печать и жестяную коробочку с чернильною подушкой. Засветил карманный электрический фонарик и приложил печати к заготовленным заранее бумагам. Пищальников обтирал с шашки кровь о потник крогеровой лошади.

— Ну, вот, Пищальников. Скачи на позиции, отдай по бумаге каждому из командиров и приезжай назад. Буду ждать там дальше, в овраге... Спустишься в овраг, свистни.

— Слушаю, ваше благородие!

Пищальников радостно поскакал, а Храбров с двумя лошадьми пошел в глубь оврага.

Тихо было. Над степью поднялся красный, ущербный месяц. Привязанные к кусту лошади объедали листву, и слышно было их крепкое жевание. В росистой траве светились мирным своим светом светляки. Храбров сидел на откосе и курил.

С дороги донесся осторожный свист. Храбров откликнулся. Продираясь сквозь кусты, подошел Пищальников, ведя на поводу лошадь, и доложил:

— Выступают.

Они сидели и прислушивались. Долго сидели. Месяц поднялся выше.

Глухой, медленный топот ног донесся от дороги и сдержанный говор. Пищальников выполз на край оврага и наблюдал из-под пушистого куста тамариска. Все новые проходили толпы, с тем же темным топотом.

Пищальников сошел вниз.

— Все прошли. Дорога пустая.

Храбров вскочил.

— Ну, Пищальников...

Они поглядели друг на друга,— вдруг обнялись и крепко поцеловались.

— Едем!.. Погоди.

Храбров снял с околыша пятаконечную звезду, бросил ее наземь и растоптал каблуком.

Потом вырезал в орешнике палку и привязал к ней в виде флага свой носовой платок.

Жадно дыша степным воздухом, они скакали к опустевшим окопам, навстречу свободе.

* * *

Солнце еще не было видно за горами, но небо сияло розовато-золотистым светом, и угасший месяц белым облачком стоял над острой вершиной Кара-Агача. Дикие горы были вокруг, туманы тяжелыми темно-лиловыми облаками лежали на далеких отрогах. В ущелье была тишина.

Командир полка, бывший ефрейтор царской службы, спросил:

— Это — ущелье Гяур-Бах? Верно?

Красноармеец, с белыми усиками на бронзовом лице, ответил:

— Верно, верно! Говорю вам, места эти мы хорошо знаем, весною, как в партизанах были, все эти горы исходили вдоль и поперек.

Командир полка и политком со скрытым недоумением перечитывали приказ. Командир озабоченно оглядывал широкое ущелье с каменистым руслом ручейка, крутые обрывы скал по бокам. Впереди, на отроге горы, чернел лес, в двигавшихся клубах розовевшего тумана мелькали шедшие к опушке серые фигуры разведчиков.

Лица солдат были серые от бессонной ночи и пыли. Солдат с белыми усиками радостно говорил:

— Места знакомые. Помнишь, Гриша, весною из того самого леска мы обоз с провиантом отбили у белых.

Другой солдат, с черной бородкой на желтовато-бледном лице, отозвался:

— Как не помнить! С голоду там подыхали в горах.— Он засмеялся.— Как ты тогда на муку-то налетел? Увидал, братцы, муку, затрусился весь. Ну ее горстями в рот совать! Рожа вся белая, как у мельника. Потеха!

Белоусый зевнул продрогшим зевком и потопал ногами.

— Хорошо бы теперь в открытую подраться. Надоело в окопах сидеть.

Теплый ветерок дул от невидимого моря. Далеко где-то бухали пушечные выстрелы.

— Стой, где же это пушки стреляют? Вот так штука! Неужто уж в Крыму белые?

— Не иначе, как в Эски-Керыме стрельба.

— Ишь, св-волочи... Высадку, что ль, сделали?

Смутная тревога пронеслась по рядам. Лица стали серьезны, глаза внимательно оглядывали горы.

Показалось солнце. Зазолотившиеся клубы тумана, как наступившие воры, стремглав катились по скатам вверх, бесшумно перекатывались через кусты, срывались с вершин и уносились в сверкающую синь.

Вдруг в лесу гулко раздались выстрелы. Под гору, пригнувшись, бежали назад разведчики, один, подстреленный, упал и закувыркался с винтовкою. Охнул и со стоном опустился наземь чернобородый. Лес ожил и загудел выстрелами.

Ничего нельзя было понять. Валились вокруг убитые и раненые, люди метались, ища прикрытия. Лес быстро и мерно тикал невидимыми пулеметами, трещал залпами. Командир, задыхаясь, крикнул:

— Товарищи! Засада!.. Рассыпайся! Назад к шашше!

Бежали, пригнувшись. Припадали за камнями, отстреливались и перебежали дальше. Чернобородый, опираясь прикладом в землю, с выпученными глазами прыгал на одной ноге.

Вдруг на противоположной стороне, у входа в ущелье, на выступе горы замелькали цепи. Стройные фигуры юнкеров перебежали, стреляя, от куста к кусту. Двое устанавливали за большим камнем пулемет.

Держась за окровавленную голову, командир крикнул с веселым отчаянием:

— Вперед, товарищи! Пробивайся к шашше!.. Да здравствует трудовая власть!

И, шатаясь, побежал. Белоусый, потрясая винтовкою, обогнал его.— Ура!

— Ур-ра-а!!!

Солдаты бурно побежали в гору на юнкеров. А в спину, из леса, частым грозовым дождем сыпались пули; люди, дергаясь в судорогах, катились с откосов. Из глубины ущелья скакали казаки.

* * *

Город отрезан!

Это на следующий день все повторяли. Большинство ответственных работников успело ночью проскочить на автомобилях (же-

лезнодорожный мост накануне опять был взорван кем-то), но некоторые попали в руки белых. Войска с позиций прошли мимо города и тоже успели выйти из кольца. Только два полка, на основании каких-то странных распоряжений из штаба бригады, ушли куда-то в сторону, в горы. Там они попали в засаду и были истреблены до последнего человека. Небольшой отряд засел в каменоломнях, в шести верстах от города, и собирался защищаться. Рабочая молодежь из города маленькими группками пробиралась тоже в каменоломни, но по дороге туда, рассказывали, уже рыскали разъезды кубанских казаков.

Утром Вера поспешно связала в узелок немногочисленные свои пожитки. Лицо ее было окаменевшее, но глаза светились освобождающей душу радостью. И вся она странно светилась. Катя с изумлением глядела на нее.

— Куда ты?

— Ну, куда! К товарищам, конечно. В каменоломни.

— Вера, да что ты?!

Катя хотела начать ее убеждать, но слова не дошли до губ, когда она почувствовала душою это блаженное свечение Вериного лица: как будто радость пришла, освобождавшая от всех раздумий и мук, и впереди ждало что-то несомненное и бесконечно светлое.

Катя впиалась глазами в лицо Веры и, задыхаясь, спросила:

— Вера... Мы больше не увидимся?

— Отчего же? Не знаю... Все может быть.

Катя зарыдала и охватила руками шею Веры.

— Вера! Прости меня!

— За что? Девочка моя, да что ты? За что простить?

— Ты знаешь, ты знаешь!.. Но я не могла удержаться, слишком больно было за папу... Господи! И ты, — ты тоже уходишь!

Она плакала жалобным детским плачем. Вера гладила ее по голове.

* * *

В шестом часу вечера в город без сопротивления вошли кубанские казаки и стали биваком на базаре.

Утром Катя вышла на улицу. Блестели золотые погоны. Повсюду появились господа в крахмальных воротничках, изящно одетые дамы. И странно было: откуда у них это после всех реквизиций?

На стенах были расклеены большие афиши:

Сегодня, 12 июня 1919 года,
в пользу доблестной Добровольческой армии
в Городском театре
дан будет спектакль
с участием артиста Государственных театров

В. И. БЕЛОЗЕРОВА.

Сообщалось, что пойдет пьеса «В старые годы», с участием лучших сил труппы, и что затем выступит В. И. Белозеров в любимейших номерах своего репертуара.

Из вестибюля театра взволнованно выходили актеры. К Кате подошла премьерша театра, Борина-Струйская, с красивым и нервным лицом.

— Читали вы афишу?

— Да.

— Представьте себе, мы все тоже узнали об этом спектакле только сегодня из афиши. Вчера вечером Белозеров явился к коменданту города и от лица труппы заявил, что мы желаем дать спектакль в пользу добровольцев... Мы не большевики. Но как же это можно? На днях только получили жалованье от большевиков, а сегодня — играть в пользу добровольцев! Сейчас был в театре Белозеров, мы на него. А он: «Хорошо! Не хотите, — ваше дело. Поеду к коменданту, заявлю, что труппа отказывается играть в этом спектакле»... Каков подлец! Ну, что же нам делать? Приходится играть. Каждому своя шкура дорога.

В «Астории» играла музыка. На панели перед рестораном, под парусиновым навесом, за столиками с белоснежными скатертями, сидели офицеры, штатские, дамы. Пальмы стояли умытые. Сновали официанты с ласковыми и радостными лицами. Звякала посуда, горело в стаканчиках вино.

Из ресторана вышел Белозеров с довольным, успокоенным лицом, в свещем летнем костюме. Увидел Катю, дрогнул и вежливо, низко поклонился. Катя с холодным удивлением оглядела его и отвернулась.

* * *

Молодой хорунжий кубанец вежливо разговаривал с Миримановым.

— Уверяю вас, вам же будет удобнее, если полковник поселится у вас. Он и двое нас, адъютантов, и уж никто больше не будет вас тревожить. Знаете, первые дни всякие бывают неприятности. А у нас вы будете себя чувствовать, как у Христа за пазухой.

Через два часа они приехали. Полковник поселился в кабинете, адъютанты в соседней комнате. Обедали они в столовой.

Долго, до поздней ночи, в столовой гудели голоса, приходили и уходили люди, то и дело хлопала дверь. Мириманова это заинтересовало. Он вошел в столовую, как будто, чтобы взять графин.

Полковник пил вино. На столе стояли бутылки. Адъютант пил в большой тетради, а перед ним лежала груда золотых колец, браслетов, часов, серебряных ложек. Входили казаки с красными лицами и клали на стол драгоценности.

— А-а, господин хозяин!

Полковник радушно вытянул руки в его направлении.

— Присаживайтесь. Могу предложить стаканчик винца?
Мириманов сел.

— Что это у вас тут на столе?

— Это? Военная добыча.

Мириманов удивленно смотрел.

— Какая военная добыча?

Полковник переглянулся с адъютантом и засмеялся, как при наивном вопросе ребенка.

— Ну! Какая!.. Вы что же думаете, казаки наши не хотят пить-есть?.. Но вы поглядите, какая «организованность»! «Товарищи» бы позавидовали. Не каждый сам для себя, а в громаду несут, в полковой фонд.

Мириманов задумчиво поглаживал усы.

— А вы не думаете, полковник, что это может раздражать население, возбуждать его против добровольческой армии?

— Да ведь мы не так, как махновцы: те с пальцами отрезают кольца, а мы снимаем. И больше все у жидков.

Ночью, среди притаившейся тишины, изредка слышались вдалеке крики «караул!» и одиночные ружейные выстрелы.

* * *

Жители прятались по домам. Казаки вламывались в квартиры, брали все, что приглянется. Передавали, что по занятии города им три дня разрешается грабить. На Джигитской улице подвыпившие офицеры зарубили шашками двух проходивших евреев.

Шли обыски и аресты. В большом количестве появились доносики-любители и указывали на «сочувствующих». К Кате забежала фельдшерница Сорокина, с замершим ужасом в глазах, и рассказала: перед табачной фабрикой Бенардаки повешено на фонарных столбах пять рабочих, бывших членов фабричного комитета. Их вчера еще повесили, и она сейчас проходила,— все еще висят, голые по пояс, спины в темных полосах.

Арестовали и профессора Дмитревского. Жена его, Наталья Сергеевна, пришла в контрразведку. Ротмистр с взлохмаченными усиками, очень напоминавший прежних жандармских ротмистров, встретил ее сурово.

— Нет, ему никакого снисхождения не будет. Можно еще простить учителя какого-нибудь, который с голоду пошел к ним на службу. Но он,— тайный советник! — и связался с этими негодями!

— Но ведь он заведывал просвещением. Он не большевик, он смотрит, что самое убийственное оружие против большевиков, как и против самодержавия,— просвещение. Он пошел к ним, как шел раньше к самодержавию.

Ротмистр покоробился при таком упоминании о самодержавии. Он резко ответил:

— Вы, г-жа Дмитревская, этими фразами нас не убедите. У нас против него есть такой один документик...

И он развернул перед нею газету «Красный Пролетарий» с отчетом о первомайском празднике.

— Вот что он говорил, ваш поклонник просвещения! «Социализм сумеет насадиться только беспощадной винтовкой и штыком в мозолистой руке рабочего».

Наталья Сергеевна побледнела.

— Тут его слова извращены, он говорил совсем другое!

— Ну, конечно! Что ж вам еще на это возразить.

Наталья Сергеевна указывала, сколько людей спас Дмитревский от расстрела и тюрьмы своими хлопотами.

— Это, сударыня, нас очень мало трогает. Чем больше компрометировали бы себя большевики, тем для нас было бы выгоднее.

Само же европейское имя Дмитревского, видимо, ничего не говорило ротмистру. Большевики ценили крупных деятелей науки и искусства, относились к ним подчеркнuto бережно. Здесь же Дмитревский был только тайный советник.

Катя бросилась к Гольдбергу, бывшему управляющему делами их отдела. Оба они развили чисто электрическую деятельность. Катя написала заявление, где, как свидетельница, рассказывала об извращении газетным отчетом речи профессора, об их совместном посещении редакции. Гольдберг отыскал несколько других свидетелей, слышавших речь и согласившихся дать показание. Расшевелил учительский союз, союз деятелей науки и искусства, убедил их подать заявление с ходатайством за Дмитревского, как европейского ученого, гордость русской науки. Собирал под ходатайством подписи и у именитых граждан. Бывший городской голова Гавриленко охотно подписался. Катя обратилась к Мириманову. Мириманов отрицательно помотал головою и ответил:

— Нет, извините,— не подпишу. Зачем он к ним пошел? Сама себя раба бьет...

— Но ведь вы же знаете, как он корректно все время держался, как он всегда...

— Екатерина Ивановна! Все мы отлично понимаем, для чего он пошел к большевикам: спасался от издевательств, сберегал дачу свою от разгрома. И для этого выбрасывал иконы из школ, говорил демагогические речи... Должен был знать, на что идет.

* * *

Депутация шла по коридору «Европейской гостиницы», занятой управлением командования. Были в депутации председатели учительского союза, союза деятелей науки и искусств, городской голова Гавриленко, Катя с Гольдбергом.

Вызвали адъютанта.

— Нам нужно видеть коменданта города. Вы нам назначили прийти сегодня в пять часов.

— Пожалуйста, немножко подождите. Его еще нет.

В ожидании они медленно расхаживали по коридору с стоявшими у дверей часовыми кубанцами. В глубине коридора показался сухощавый казачий офицер. Он вдруг остановился перед молодым казаком часовым и сказал:

— Здравствуй!

Казак ответил:

— Здравия желаю, господин есаул!

— Что? Не слышу!

Казак подтянулся и громко повторил:

— Здравия желаю, господин есаул!

— Не слышу, черт твою мать дери!!!... Как руки держишь, с-сукин сын?!!

Часовой вытянул руки по швам и гаркнул на весь коридор:

— Здравия желаю, господин есаул!!!

Офицер постоял, молча погрозил пальцем перед его носом и вошел в номер.

Катя в изумлении спросила казака:

— Неужели у вас и теперь офицеры так разговаривают с солдатами?

Часовой, сконфуженно улыбаясь, покрутил головою.

— Он так всегда с молодыми казаками. Хочет, чтоб мы были казаки, а не бабы. Он хороший, мы его любим.

Оказалось, это и есть комендант. Но адъютант попросил еще немножко подождать. Ждали долго. За дверью номера слышались грозные, раскатывающиеся крики, робкий голос что-то отвечал.

Катя опять вызвала адъютанта. Он вышел растерянный.

— Господа! Вот что я вам скажу: утро вечера мудренее. Придите лучше завтра.

Катя настаивала.

— Завтра, завтра приходите. Сейчас не совсем удобно. Прошу вас, уходите!

И он исчез в номере. За дверью слышался шум, грозные выкрики. Подошел Гольдберг.

— Мне сейчас сказали: комендант пьян, и лучше его сегодня не тревожить.

Дверь стремительно распахнулась. В коридор, шатаясь, выскочил молодой офицер в коричневом френче. Он крикнул, всхлипывая:

— Посмотрите, что они со мною делают!

Рука держалась за расшибленные зубы, из перебитого носа лилась кровь, пуговицы френча были оборваны. Часовые втолкнули его обратно в номер. Катя вдруг узнала Бориса Долинского, племянника Мириманова.

Опять за дверью зарокотали пьяно-грозные выкрики:

— Руки по швам, мерзавец! Большевикам проданся! А еще офицер!

Вышел адъютант.

— Потрудитесь уйти. Сказал же я вам!

Катя крикнула:

— Господи! Вы там избиваете человека!

Часовые выпроводили их вон.

Катя шла по улице и дрожала мелкою внутренней дрожью. И вдруг ей вспомнились подведенные глаза Бориса, его кокетливо поющий голос:

В группе девушек нервных, в остром обществе дамском,

Я трагедию жизни претворю в грезо-фарс...

Навстречу, под руку с офицером в блестящих погонах, шел, весело болтая, певец Белозеров.

* * *

На стенах и каменных заборах висели объявления новой власти. Не приказы большевиков,— грозные, безоглядные и прямо говорящие. Скользко, увидистого сообщалось о твердом намерении идти навстречу «действительным» нуждам рабочих, о необходимости «справедливого» удовлетворения земельной нужды крестьян. И чувствовалось,— это говорят чужие люди с камнем за пазухой, готовые уступить только то, чего никак нельзя удержать,— и все отобрать назад, как только это будет возможно.

Мириманов, довольно посмеиваясь, писал в суд исковое прошение о взыскании с рабочих, живших в его доме, квартирной платы и убытков за побитые стекла, испорченные водопроводные краны. Вселились обратно Гавриленко и доктор Вайнштейн. Мириманов предложил им свои безвозмездные услуги по отобранию у рабочих унесенных ими вещей. Гавриленко поморщился и отказался. Вайнштейн лукаво улыбнулся, поднял ладони и ответил:

— Нет, бог с ним! Что с возу упало, то пропало. Разве я знаю, что будет опять через два месяца?

* * *

Загорелый, оживленный и радостный Дмитрий сидел у Кати, с жадной любовью оглядывал ее и рассказывал:

— В народных массах совершился несомненный перелом, большевизм изживается. В Купянске жители встретили нас на коленах, с колокольным звоном. Когда полки наши выступали из Кубани, состав их был двести-триста человек, а в Украину они вступают в составе по пять, по шесть тысяч. Крестьяне массами записываются в добровольцы. В Харькове рабочие настроены резко антибольшевистски, не позволили большевикам эвакуировать заводы. Вот увидишь, через два месяца мы будем в Москве.

Катя устало слушала.

— А не кажется вам, Дмитрий, что вы все время вдеваете толстую нитку в узенькое игольное ушко, и все силы на это кладете? Не кажется вам, что ваша нитка никогда в это ушко не пройдет?

Дмитрий дрогнул и удивленно взглянул на Катю.

— «Вам»? Катя, ты сказала — «вам».

Она сказала «вам», но не заметила этого. Покраснела и с усилием стала говорить «ты».

Когда через полчаса ушел Дмитрий, оба почувствовали, что ничего между ними нет.

* * *

Из Арматлука пришла в город Конкордия Дмитриевна, дочь священника Воздвиженского, и сообщила Кате, что Иван Ильич дома, у себя на даче. Уже с неделю дома, пришел пешком, рано утром. Только он очень болен, все лежит. И совсем без призора.

Катя, сумасшедшая от радости, расспрашивала, что случилось с отцом, как он попал домой.

— Не знаю. Он ничего не рассказывает.

Катя в полчаса собралась и пошла в Арматлук.

Пришла она под вечер. В спальне своей лежал Иван Ильич со страшно исхудалым, темным лицом и запавшими глазами. Он слабо и радостно улыбнулся навстречу Кате, и улыбался все время, когда она, рыдая, целовала его руку.

С трудом, на каждой фразе останавливаясь, он рассказал, как его вывели из тюрьмы и повезли на автомобиле в горы, как ссадили на дороге, и как военный повел его под откос в кусты.

— Ну, думаю, конец! Вдруг он говорит: «Дядя, не бойтесь ничего, это я». Вглядываюсь в темноте: — Леонид! Ты? — «Тише! Идите скорей!» Спустились под откос, он развязал мне руки. Наверху зашумел приближающийся автомобиль, загудел призывной гудок.— «Не пугайтесь,— говорит,— я сейчас выстрелю. С час посидите тут, а потом идите к себе, в Арматлук. В город не показывайтесь, пока мы еще здесь». Выстрелил из револьвера в кусты и пошел наверх.

Иван Ильич помолчал, потом спросил:

— А с другими что сделали?

— Всех расстреляли ночью за свалками.

Про Анну Ивановну они не говорили. Катя спросила:

— А что с тобою?

— Не знаю... Сначала думал,— ревматизм. Холодно было в подвале и сыро. Сильнейшие боли в колене,— в одном, потом появились в другом. И слабость бесконечная, все бы лежал, лежал. По бедрам красные точки, как от блошиных укусов. А вчера посмотрел,— багровые и желто-голубые пятна на бедрах... Ясное дело,— цинга. Только странно, что на деснах ничего. Но так бывает. Это все пустяки.

Он устал говорить и закрыл глаза.

— Ты что-нибудь ел сегодня?

— Да, да, ел. Старуха Воздвиженская приносила супу.

— Я сейчас что-нибудь приготовлю.

Катя пошла в кухню. Плита была снята, духовой шкаф и котел выломаны, виднелись закоптелые кирпичи. В комнатах, где жили солдаты, с диванов и кресел была срезана материя, голые пружины торчали из мочалы. Разбитые окна, грязь.

Столбы провололочной ограды были срублены, по неогороженному саду бродили коровы. Объединенные фруктовые деревья и виноградник, затоптанные гряды огорода. В пустом курятнике белел давно высохший куриный помет, пусто было в чуланчике под лестницей, где жил поросенок.

Кате вдруг со смехом пришло в голову:

...мы старый мир разроем
До основанья, а затем...

Она вяло побрела в кухню.

* * *

За поселком, под шоссейным мостом, чабаны нашли труп застреленного татарина. Спина его была исполосована стальными шомполами. Узнали председателя ревкома соседней татарской деревни. Сгубил его георгиевский его крест, который он нацепил, чтобы умиловить белых. Накануне вечером казаки, гнавшие арестованных в город, пили вино в кофейне Авраими. Урядник бил татарина по щекам и говорил:

— Этакую грязь разводил,— а еще крест носишь!

И сговаривались между собою:

— Всем по двадцать пять шомполов вкатим по дороге, а этого прямо в канаву.

Арестовали в саду во время работы Афанасия Ханова. Арестовали почему-то и Капралова, и увезли обоих в город. Гребенкин скрылся. Тимофей Глухарь тоже скрывался, а вечером, в сумерках, бегал по дачам и просил более мягкосердечных дачников подписать бумагу, что они от него обиды не имели. Почтительно кланялся, стоял без шапки.

Агапов, ласково и торжествующе улыбаясь, ходил с милиционером по крестьянским хатам и отбирал свою мебель, посуду и белье. Вечерами же писал в контрразведку длинный доклад с характеристикой всех дачников и крестьян. Бубликов немедленно высадил из квартиры княгиню Андожскую. Все комнаты своей гостиницы он сдал наехавшим постояльцам. Круглая голова его, остриженная под нолевой номер, сияла, как арбуз, облитый прованским маслом.

* * *

Откуда их столько появилось? Было непонятно. По пляжу и по горам гуляли дамы в белых платьях и господа в панاماх, на теннисных площадках летали мячи, на песке у моря жарились под солнцем белые тела, тела плескались в голубых волнах.

Урожай выдался колоссальный. По шоссе с утренней зари до полной темноты скрипели мажары с ячменем, почерневшие от солнца мужики проезжали из степи с косилками, проходили с косами. Они поглядывали на берег, белевший телами, в негодующем изумлении разводили руками и говорили:

— А — они, они опять голые на песке лежат!

* * *

В женскую камеру городской тюрьмы, позвякивая шпорами, вошли два офицера, за ними — начальник тюрьмы и солдаты. Молодой офицер выкликнул по списку:

— Сартанова!

Вера отозвалась. Офицер постарше спросил:

— Это которая?

— Что по дороге в каменоломни поймана, господин полковник. Сама заявляет, что коммунистка.

Вызвали еще четырех работниц. Полковник громко сказал:

— Этих пятерых. Завтра утром на тех же свалках, где они сами расстреливали. Перевести в камеру № 7.

Начальник тюрьмы почтительно наклонился к нему.

— Там мужчины, господин полковник.

— Что ж из того! Вы их этим не удивите. Привыкли ночи спать с мужчинами. Только веселей будет напоследок. У них это просто.

Спутники засмеялись.

В тесной камере № 7 народу было много. Вера села на край грязных нар. В воздухе висела тяжело задумавшаяся тишина ожидаемой смерти. Только в углу всхлипывал отрыдавшийся женский голос.

Рядом с Верою, с ногами на нарах, сидел высокий мужчина в кожаных болгарских туфлях-пасталах, — сидел, упершись локтями в колени и положив голову на руки. Вера осторожно положила ему ладонь на плечо. Он поднял голову и чуждо оглядел ее прекрасными черными глазами.

— Товарищ, не нужно падать духом.

Он поспешно ответил:

— Нет, я, понимаете, ничего... Так только, задумался...

— У вас семья есть, дети?

— Да. Только я не об этом.

Он помолчал, внимательно поглядел на Веру.

— Вы, товарищ, коммунистка?

— Да. А вы?

— Я, понимаете, тоже коммунист. А только... Фамилия ваша как будет?

— Сартанова.

— Сартанова? У нас в поселке дачном доктор один есть, тоже Сартанов фамилия.

Вера быстро спросила:

— Вы из Арматлука?

— Да.

— Где сейчас доктор Сартанов?

— Дома. Его, было, арестовали, а в последний день, видно, выпустили. Только теперь он дома.

Вера задыхалась.

— Верно?

— Ну, да. Сам его видел.

Он с удивлением глядел на Веру. Она прижалась головою к столбу нар и беззвучно рыдала, закрыв глаза руками. А когда опять взглянула на него, лицо было светлое и радостное.

— А вы родственница ему?

— Это отец мой... Ну, да! — Она овладела собой.

— Хороший человек. И дочка его, Катерина Ивановна, — тоже хорошая. Очень она интересно, понимаете, о жизни всегда разговаривает. Выходит, — сестрица вам. А вы вот коммунистка. У меня на этот счет мысли всякие.

— Какие мысли?

Он помолчал.

— Вообще, — насчет жизни... Вот, говорим мы, — чтобы всем хорошо стало. А делаем так, что все еще хуже. Я вот был председателем ревкома. Сколько всяких делал зверств! А из города приезжают, — кричат: «Что ты их жалеешь? Какой ты коммунист! Ты, видно, кулацкого элементу!» Мужиков всех разобидели, они нас ненавидют. А я ведь сам мужик. И с интеллигенцией тоже, — как бы ее поприжать, да поиздеваться над нею. Батюшку вашего в тюрьму потащили, — за что? Понимаете, сам его арестовывал, а потом неделю целую во сне видел.

— Слушайте, товарищ... Как ваша фамилия?

— Ханов.

— Слушайте, товарищ Ханов. Что вы говорите, — это все и мне так близко! Скажите мне, — вы раньше когда-нибудь читали Евангелие?

— Читал. Я раньше и Толстова много читал, даже жить, было, по нем начал. Да как-то у него все это... Не получил я покою.

— Так вот, в Евангелии есть: «Кто хочет душу свою спасти, тот погубит ее». Пришло такое время, что нельзя думать о чистоте своей души, об ее спокойствии. С этим — как бы все было легко! Вы только подумайте: ну, что — лишения, смерть? Какие пустяки! Правда, как все это было бы легко? Разве вас сейчас смерть мучает, которая вас ждет? Я вижу: вас мучает, что перед вами смерть, а позади — кровь и грязь, грязь, в которой вы все время купались.

Ханов изумленно глядел на Веру.

— Как вы это узнали?... Да, да. Понимаете, — вот, как вы сказали, — в грязи купался!

— Вот. В том и ужас, что другого пути нет. Миром, добром,

любовью ничего нельзя добиться. Нужно идти через грязь и кровь, хотя бы сердце разорвалось. И только помнить, во имя чего идешь. А вы помнили,— иначе бы все это вас не мучило. И нужно помнить, и не нужно делать бессмысленных жестокостей, как многие у нас. Потому что голова кружилась от власти и безнаказанности. А смерть,— ну, что же, что смерть!

Стали подходить другие осужденные.

Вера говорила, и все жадно слушали. Вера говорила: они гибнут за то, чтоб была новая, никогда еще в мире не бывавшая жизнь, где не будет рабов и голодных, повелителей и угнетателей. В борьбе за великую эту цель они гибнут, потому что не хотели думать об одних себе, не хотели терпеть и сидеть, сложа руки. Они умрут, но кровь их прольется за хорошее дело; они умрут, но дело это не умрет, а пойдет все дальше и дальше.

На замасленном столе тускло чадила одинокая коптилка. В спертую вонь камеры сквозь решетчатое окно чуть веяло свежим воздухом, пахнувшим горными цветами.

Красавец брюнет с огненными глазами, в матросской куртке, спросил:

— А как скажете, товарищ,— скоро социализм придет?

Вера почувствовала, какой нужен ответ.

— Теперь скоро. В Германии революция, в Венгрии уже установилась советская власть, везде рабочие поднимаются.

— Через два месяца будет?

— Ну, не через два... — Вера поглядела на него и улыбнулась.— Через два-три года.

— Это ничего. Столько можно подождать.— Матрос радостно засмеялся.— То-то они так злобятся: чуют, что кончено их дело!

Рабочий в пиджаке, с умными, смеющимися глазами, отозвался:

— И ничего не кончено. Не выйдет у нас никакого социализму. Не такой народ.

Ханов нетерпеливо отмахнулся.

— Ну, ты, Капралов,— всегда вот так!

Матрос, сверкая глазами, ринулся на него.

— Как не выйдет?!

— Не выйдет. Не будет ничего. Не справится народ. Больно работать не любит. Только когда для себя. И опять прихлопнут вас буржуи, как перепелок сеткой.

Вера с удивлением смотрела на него.

— За что же вы сюда попали?

Ханов засмеялся.

— Он у дачников книжки отбирал для общественной библиотеки, а они на него и показали. Вот и попал в загон, как козел меж барашков.

Спорили. Шутили, смеялись. Засиделись до поздней ночи и улеглись спать, не думая о завтрашнем, и спали крепко.

Толпа людей рыла за свалками ров,— в него должны были лечь их трупы. Мужчины били в твердую почву кирками, женщины и старики выбрасывали лопатами землю. Лица были землистые, люди дрожали от утреннего холода и волнения. Вокруг кольцом стояли казаки с наведенными винтовками.

Солнце вставало над туманным морем. Офицер сидел на камне, чертил ножами шашки по песку и с удивлением приглядывался к одной из работавших. Она все время смеялась, шутила, подбадривала товарищей. Не подъем и не шутки дивили офицера,— это ему приходилось видеть. Дивило его, что ни следа волнения или насада не видно было на лице девушки. Лицо сияло рвущуюся из души, торжествующею радостью, как будто она готовилась к великому празднику, к счастливейшей минуте своей жизни.

Девушка выпрямилась, блаженно взглянула на синевшее под солнцем море, на город под ногами, сверкавший в дымке золотыми крестами и белыми стенами вилл. И глубоко вдохнула ветер. Рядом привычными, мужицкими взмахами работал киркою высокий болгарин в светло-зеленых пасталах.

— Товарищ Ханов, правда, как хорошо?

На всю жизнь в памяти офицера осталось ее лицо. Он не мог бы сказать, красиво ли было это лицо, и все-таки такой красоты он никогда больше не видел.

Офицер ощерил зубы под подстриженными темными усиками и встал.

— Стройся! Спиной ко рву!

Ханов ревниво отстранил ставшего подле Веры Капралова, расправил широкую свою грудь и восторженно вздохнул. Никогда не знала его душа такой странно легкой, блаженной радости, как сейчас, под направленными на грудь дулами. Он запел, и другие подхватили:

Вставай, проклятьем заклеянный,
Весь мир голодных и рабов...

Матрос, горя глазами, тряс кулаком в воздухе:

— Да здравствует советская власть! Да здравствует социализм!
Недолго уж вам, проклятые!..

Офицер бешено крикнул:

— Пли!!

Дачка на шоссе. Муж и жена. И по-прежнему очумелые глаза, полные отчаяния. И по-прежнему бешеная, неумелая работа по хозяйству с зари до поздней ночи. Он — с ввалившимися щеками, с глазами, как у быка, которого ударили обухом меж рогов. У нее, вместо золотистого ореола волос,— слежавшаяся собачья шерсть, бегающие глаза исподлобья, как у затырканной кухарки. И ненавидящие, злобные друг к другу лица.

— Не стану я поливать абрикосов! Понимаешь ты это? И так погибаем от работы. Не до абрикосов.

— Ты-то погибаешь? Барином живешь, все на меня свалил. Ну, что ж делать, придется мне и абрикосы поливать.

— Ну, да послушай же, наконец, Лидочка! Сообрази хоть немножко...

— Ах, оставь! Все, все на меня рад свалить! Клещом каким-то, паразитом настоящим впился в меня и сосет все силы, все соки... Да еще зудит с утра до вечера. О, жизнь проклятая!

* * *

Четыре подводы перед кофейнею. Деревенские парни с красными от вина лицами. Заливались гармоники.

Катя спросила:

— Вы — мобилизованные?

Парень, свесившимися через грядку сапогами, ответил с усмешкою:

— Ну, да, значит, — мобилизованные.

— Воевать едете?

— Нет, не воевать.

— А что же!

Парень помолчал.

— Мир вам привезти.

— Как же это?

— А вот так. Будет воевать, надоело. Через месяц придем к вам назад с красными флагами и вот этак мир вам принесем. — Он расставил ладони, как будто держал в них большой, хрупкий шар. — И будет спокойствие.

— Я не пойму. К большевикам перейдете?

— Зачем? Нет. А просто, значит, принесем мир. Чего нам воевать со своими? Вот у меня двух братьев большевики взяли, с собою угнали, а меня сюда гонят. И у всех так. Кому эта война нужна? Просто сговоримся и уйдем.

* * *

В один ясный вечер, когда уже отзвенели цикады, и лиловые тени всползали на выбегающие мысы, и, в преднощной дремоте, с тихим плеском ложились волны на темный песок, — Иван Ильич лежал на террасе, а возле него сидела Катя, плакала и жалующимся, детским голосом говорила:

— Мне больше не хочется жить! Зачем? Опять в этой разоренной дырке сколачивать щепочку со щепочкой, кур разводить, кормить поросенка... Не хочу! Из-за чего биться, из-за чего выматывать силы?

Иван Ильич ясными глазами смотрел на тускневшее, жемчужное море. Он медленно сказал:

— Жить хорошо, когда впереди крепкая цель, а так... Жизнь изжита, впереди — ничего. Революция превратилась в грязь. Те ли одолеют, другие ли, — и победа не радостна, и поражение не горько. Ешь собака собаку, а последнюю чёрт съест. И еще чернее реакция придет, чем прежде.

— Господи, как я устала! Наверно, так земля устанет в свой последний день!

Иван Ильич положил исхудалую руку на ее руку, загрузевшую и загорелую, тихо улыбнулся и вдруг сказал:

— Давай, умрем.

Катя вздрогнула, выпрямилась и впиалась глазами в его глаза.

— Убить себя? — Она вскочила. — У меня мелькала эта мысль... Нет, ни за что! Сдаться, убежать! Забиться в угол и там умереть, как отравленная крыса!.. Ни за что! Какая скупость к жизни, какая убогость!.. Нет, я хочу умереть, но чтоб бороться! Пусть меня пилами режут пополам, пусть сдирают кожу, но только, чтоб не было бегства!

Иван Ильич тихонько плакал и целовал ее руку.

— А за что бороться... Девочка моя, как я тебе завидую! Если бы я был молод!

Она в ответ целовала его седую, растрепанную голову, и слезы лились по щекам.

— Милый мой, любимый!.. Честность твоя, благородство твое, любовь твоя к народу, — ничего, ничего это никому не нужно!

И Катя увидела, — ясный свет был в глазах Ивана Ильича, и все лицо светилось, как у Веры в последний день.

Гуще становились сумерки. Зеленая вечерняя звезда ярко горела меж скал. Особенная, редкая тишина лежала над поселком, и четко слышен был лай собачонки на деревне. Они долго сидели вместе, пожимали друг другу руки и молчали. Иван Ильич пошел спать. Катя тоже легла, но не могла заснуть. Душа металась, и тосковала, и беззвучно плакала.

Катя встала, на голое тело надела легкое платье из чадры и босиком вышла в сад. Тихо было и сухо, мягкий воздух ласково принимал к голым рукам и плечам. Как тихо! Как тихо!.. Месяц закрылся небольшим облачком, долина оделась сумраком, а горы кругом светились голубовато-серебристым светом. Вдали ярко забелела стена дачи, — одной, потом другой. Опять осветилась долина и засияла тем же сухим, серебристым светом, а тень уходила через горы вдаль. В черных кустах сирени трещали сверчки.

* * *

Катя похоронила Ивана Ильича, распродала мебель, лишние вещи, и однажды утром, ни с кем не простившись, уехала из поселка, неизвестно куда.

1920—1923

В. ВЕРЕСАЕВ

СЕСТРЫ

РОМАН
В ТРЕХ ЧАСТЯХ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛИТЕРАТУРНЫХ
ДЕЛ

1954

*«Писатель должен не наблюдать
жизнь, а жить в жизни,
наблюдать ее не снаружи,
а изнутри».*

*«Искренность — дело трудное и
очень тонкое,
она требует мудрости
и большого душевного такта.
Маленький уклон в одну сторону —
и будет фальшь; в другую — и
будет цинизм».*

*«Лжи не будет! Я научился
не щадить себя».*

*В. Вересаев.
Из «Записей
для себя».*

Часть первая

НА УЗКОЙ ДОРОГЕ

Толстая тетрадь ¹ в черной клеенчатой обложке с красным обрезаем. На самой первой странице, той, которая плохо отстаёт от обложки и которую обыкновенно оставляют пустою, написано:

В тихом сердце — едкий пепел,
В темной чаше — тихий сон.
Кто из темной чаши не пил,
Если в сердце — едкий пепел,
Если в чаше — тихий сон?

В. Ходасевич. «Счастливый домик» ².

Это теперь превзойдено и погребено.

Нинка-друг! Тебе передаю наш дневник, — последнее личное, что осталось у меня, — да, последнее. Больше не повторится то, что здесь записано.

Жизнь не раз разразится громом
И не раз еще бурей вспенится,
Но от слов дорогих и знакомых
Закаляется сердце ленинца.

Посмертное — Николая Кузнецова ³.

Пусть и в тебе закаляется сердце, когда будешь перечитывать — такие некомпсомольские — мысли нашего дневника. За последнее время мы здорово с тобою разошлись. Я с большой тревогой слежу за тобой. Но все-таки надеюсь, что обе мы с тобою сумеем сохранить наши коммунистические убеждения до конца жизни, не смотря ни на что. Но одна моя к тебе просьба напоследок: Нинка! Остриги косы! Дело не в косах. А — отбрось к черту буржуазный пережиток.

Кончила заниматься ерундовыми дневниками комсомолка Лелька Ратникова, бывшая вузовка. Навсегда ухожу в производство.
Москва. 14 августа 1928 г.

Если перевернуть эту страницу, то вторая, — первая по-настоящему, — имеет такой вид. Наверху крупными печатными буквами выведено:

НАШ ОБЩИЙ ДНЕВНИК.

Потом нарисовано два овала и под ними подпись:

Здесь будут наши фотографические карточки.

Затем двустилише:

Будет буря! Мы поспорим
И поборемся мы с ней!

Москва. 3 мая 1925 года.

А со следующей страницы идут дневниковые записи двумя различными почерками. Один почерк — Лельки: буквы продолговатые, сильно наклоненные, с некрепким нажимом пера. Одна и та же буква пишется разное: «т», например,— то тремя черточками, то в виде длинной семерки, то просто в виде длинной линии с поперечною чертою вверху. Другой почерк — Нинки: буквы большие, с широкими телами, стоят прямо, как будто подбоченившись, иногда даже наклоняются влево.

Даты редки.

* * *

(*Почерк Лельки.*) — Вот как странно: сестры. Полгода назад почти даже не знали друг друга. А теперь начинаем писать вместе дневник. Только вот вопрос: писать дневник, хотя бы даже отчасти и коллективный (ведь нас двое), — не значит ли это все-таки вдаваться в индивидуализм? Ну, да ладно! Увидим все яснее на деле.

Как заглядывается на меня Володька Черновалов. Смешно. А я к нему отношусь только по-братски. Причины следующие: могу любить тогда, когда на меня внимания не обращают, а затем... Забыла, что — второе. Вспомнила. Я не считаю за любовь тихое чувство, хорошее, ласковое отношение. Любовь — буря, непонятный океан горя и волнений. Этого тут нет, и он слишком показывает, как меня сильно любит. Притом он интеллигент, в нем мало комсомольского. Нет, милый, — смывайся! Поллюбить, так полюблю парня-рабочего, пролетария, который за рабочий класс жизнь готов отдать. А ты на девчонку смахиваешь, размазня.

* * *

(*Почерк Нинки.*) — Май, самый светлый месяц в году. Под моим руководством находится шестьдесят пролетарских детей — юных пионеров. Моя задача — дать им коммунистическое направление, выработать из них бойцов за лучшее будущее, приучить к дисциплине и организации. Когда я говорю им о классовой борьбе, бужу в них ненависть к буржуазии и капиталистическому строю, глаза на их худых мордочках загораются революционным огнем, и мне ясно представляется, как растет из них железная когорта выдержанных строителей новой жизни. Очень весело жить на свете.

На днях все они выезжают за город, будут жить в палатках, на свежем воздухе, но вблизи деревни и организовывать таких же детей крестьян в отряд юных пионеров. Сейчас много занимаюсь,

через две недели кончу зачеты и поеду к пионерам в лагерь. Уж теперь радуюсь, как подумаю: жизнь и спанье на чистом воздухе, сигналы пионерской трубы и барабанная дробь, веселые и в то же время глубокие беседы с ребятами. Вся жизнь у меня в работе. Часто думаю: как бы я могла жить и находить удовлетворение в жизни, если бы не была в комсомоле? Совершенно не представляю себя в роли «беспартийной». Чем хорош комсомол? У комсомольца каждый миг рассчитан, на все надо смотреть с выдержанным, марксистским взглядом, все у него рационально и материалистично, следовательно, абсолютно истинно. И перед ним — широкая, прямая, освещенная ярким солнцем дорога, проложенная нашими вождями — Карлом Марксом, Фридрихом Энгельсом и Ильичом.

* * *

(*Почерк Нинки.*) — Вчера были с Лелькой у мамы. Как всегда, она очень нам обрадовалась, стала варить кофе, готовить яичницу. Делать она ничего не умеет: кофе у нее всегда убегает, яичница выходит, как гуттаперча. А через два часа, тоже как всегда, мы разругались и ушли. Конечно, о большевиках и советской власти.

А ведь была она большевичкой до самого Октября. Ее муж, наш отец, — знаменитый революционер Александр Ратников, повешенный Столыпиным⁴. Маме хотели дать за его деятельность и смерть персональную пенсию в двести рублей, но она отказалась и живет на девяносто — сто рублей жалованья. Сначала работала в кооперации, а когда кооперацию стали обольшевничать, то ушла в этнографический музей. Она — сухая, нервная, глаза постоянно вытаращены, говорит без умолку и все ругает советскую власть: за аморализм, за «неразборчивость в средствах», за дискредитирование идеи социализма и превращение его в «шигалеvщину» (это в романе Достоевского «Бесы», говорят, есть такой дурак Шигалев, нужно бы, собственно, прочесть). С самого великого Октября, — мне тогда было девять лет, а Лельке одиннадцать, — с самых тех пор она нам ругала и избличала коммунизм. Мы поэтому горячо его полюбили, и возненавидели мертвый интеллигентский морализм.

И поступили в комсомол. Я удрала из дому пятнадцати лет, как только кончила семилетку. Жизнь вихрем закрутила меня. Целый приключенческий роман можно бы написать из того, что я переиспытала с пятнадцати лет до последнего года, когда поступила в МВТУ. Кем я ни была: библиотекарем, бандитом, комиссаром здравоохранения, статистиком. И где я ни побывала: на Амуре, на Мурмане, в Голодной степи. Больше всего любила зной зауральских пустынь, хотя больше всего вынесла там страданий.

Лелька оказалась терпеливее: выдержала с мамой до запрошлого года, когда кончила девятилетку. Но когда поступила в МГУ, — тоже ушла. И иначе мы не можем, хоть и жалко маму. Она часто потихоньку плачет. А сойдемся — и начинаем друг в друга палить электрическими искрами.

Так и сегодня.

Мирно сидели за столом, ели жареную гуттаперчу, потом стали пить кофе. Лелька рассказывала, как они у себя, на факультете, вычистили целую компанию помещичьих и поповских сынков и дочек. Мама загорелась, вытаращила глаза, спросила:

— Что же, это хорошо?

Мы ответили:

— Конечно, хорошо. Какой смысл для советской власти за счет рабочих и крестьян давать оружие образования в руки классовых своих врагов?

И началось! «Да если бы в нашу советскую нынешнюю школу пришли Герцен и Кропоткин, Добролюбов и Чернышевский, то их выбросили бы, как дворянских и поповских сынков!» И много, много говорила.

Милые детишки от пятидесяти лет и выше! Нам с вами никогда ни о чем не столкнуться. Мы настолько старше вас, настолько опытнее и мудрее, что речи ваши нам кажутся наивным лепетом. Нам приходится сюсюкать, чтоб разговаривать с вами, а это очень скучно.

Я маму люблю и даже уважаю, но только — на расстоянии не ближе как за километр.

* * *

(Почерк Лельки.) — Сегодня я ходила в бюро и просила нагрузки. Предложили работать библиотекарем при ячейковой библиотеке. Но я, конечно, отказалась. (Дураков теперь нет.)

Хочу работать при какой-нибудь производственной ячейке, среди рабочих ребят. Записали руководителем комсомольской политической школы. Ура!

Что-то ждет меня впереди? Сорвусь или справлюсь?

Дорогой мой товарищ, вы должны справиться, и не средне, а очень хорошо, должны уметь быть агитатором и пропагандистом, должны суметь подойти к рабочим ребятам, взять от них все лучшее и дать им все лучшее свое. А еще нужно забыть себя, забыть слово «я», раствориться в массе и думать «мы».

* * *

Я и два наши парня ездили в райком. Они оба давно на политпросветработе, и в этом году им не хотелось быть руководителями. Шли и ворчали.

Я молчала, от волнения горели щеки. Что если в райкоме сделают предварительную политпроверку, и я не подойду? До черта будет тяжело и стыдно. Наверное, там будет заседать целая комиссия. Оказалось все очень просто: в пустой комнате сидел парень. Он нас только спросил, работали ли мы в этой области, и записал, какой ступенью хотим руководить. Буду работать на текстильной фабрике, там все больше девчата. С ребятами интереснее, а с девчатами легче.

* * *

Lieber Genosse! ⁵ Вы справляетесь со своей работой, и я жму вашу лапку.

* * *

(*Почерк Нинки.*) — Завтра уезжаю в лагерь к своим пионерам.

Вчерашний вечер наполнил мою душу чем-то новым, таким ярким, как солнце сейчас. У нас в клубе вчера читали пролетарские писатели, — я видела и слышала этих пионеров нашей, пролетарской литературы. Потом наши ребята выступали с критикой. Очень удивил меня Шерстобитов. Он активист, говорит складно. Один из поэтов прочел два стихотворения, очень хороших, где рассказывал о лунной ночи и о своей любви к дивчине. Шерстобитов стал его крыть и заявил, что современная пролетарская молодежь не думает о поцелуях и лунных ночах, а думает о социализме, что пролетариату чужда «любовь двух сердец», потому что мысли его заняты мировой революцией. Это как же, значит? Пролетариат перестанет размножаться? Или будет простая случка, без всякой любви, как у быков и коров? Притом я хорошо знаю: сам Шерстобитов здорово крутит с девчонками. И вдруг он навсегда стал мне противен. Вместо лица вижу у него маску. Очень хотелось бы сбить ее.

* * *

(*Почерк Лельки.*) — Нинка уехала к своим пионерам вот уже две недели. Как-то без нее скучно. Уж привыкла, чтоб она приходила ко мне из общежития. Сидим, болтаем, знакомимся: мы, в сущности, очень мало знаем друг друга, ведь не видались несколько лет. Но я ее очень люблю, и она меня. Она садится за этот дневник и пишет. Иногда ночует у меня.

Мы вместе с Володькой Черноваловым занимаемся в кружке по диамату. Читаем, беседуем. Сегодня вышли на улицу, он вдруг говорит таким странным голосом:

— Лелька, я тебя люблю. Об этом надо мне много с тобою поговорить.

Я сухо ответила:

— Много говорить нечего: мое отношение к тебе товарищеское.

Он опустил голову и пошел прочь. Все-таки приятно думать, что есть парнишка, который всегда рад меня увидеть, пожать мою лапу.

* * *

Почему на фабрике ребята так любят бузить? Как они не устают шуметь и дурачиться?

Вечер провела в клубе текстильщиков. Один парень поцеловал меня при ребятах, я reagировала, как на щекотку, ребята смеялись. Так и надо было сделать: глупо было бы показывать обиду, от этого они бы только еще больше смеялись.

* * *

Дневник! Я расскажу тебе на ухо то, что меня мучает: я б-о-ю-с-ь своей аудитории. Перед тем как идти к ребятам, что-то жалобно сосет в груди. Я неплохо готовлюсь к занятиям, днями и вечерами просиживаю в читальне Московского комитета, так что это не боязнь сорваться, не ответить на вопросы, а другое. Но что? Просто как-то неудобно: вот я, интеллигентка, поварилась в комсомоле, начиталась книг и иду учить рабочих ребят. Пробуждать в них классовое сознание. Правильно ли это?

Я стараюсь раствориться в их массе, быть такой, как они, даже отчасти их лексикон переняла, но все это не то. Я все еще одиночка, отособленная и далекая им.

А в общем все эти рассуждения и самовопросы — чистейшая интеллигентщина, от которой начинает тошнить.

* * *

Все-таки я Володьку совсем не отшила. И сказать уже всю правду? Мне с ним все-таки как-то приятно бывать. Выработалась привычка, вернее — потребность, с ним видеться. Общая работа, интересные споры — и первая ласка. Я уклонялась, не хотела (считала, нет у меня любви «по-настоящему»), и все-таки поцелуй — в губы. И после собрания за руку шли домой.

* * *

Сентябрь 1925 г. — Видимся с Володькой очень часто, вместе читаем. Он еще какой-то зеленый, на меня смотрит почтительно. Вообще он слишком мне подчиняется, я этого не люблю.

* * *

Вчера шла по Остоженке, встретила Володьку. Так как ему не хватает стипендии, то он, чтоб подработать экономисту, время от времени подрабатывает. Теперь он работает на стройке. Шел в брезентовой спецовке, весь вымазанный известкой, в пыли. Когда увидел меня, просиял. Как-то эта встреча меня заставила многое передумать. Полно, уж такой ли он интеллигент? Хорошо он выглядел в спецодежде.

Мы взяли за руки, было солнце и желтеющие листья ясеней над церковной оградой. Он позвал меня к себе домой. Умылся, вытирал мозолистые руки полотенцем. Смотрела на свои руки и думала: не так уж они много работали физическим трудом, так что особенно мне чваниться нечем.

Пили чай. На окне стоял в горшке большой куст белых хризантем. Я невольно все время поглядывала на цветы, и не было почему-

то покоя от вопроса: почему цветы? Сам он их себе купил или... принес ему кто-нибудь? Купит ли себе парень сам цветы? Или станет ли парень парню приносить цветы?

Я не выдержала. Ужасно глупо. Он что-то рассказывал, а я вдруг с обидой, с задрожавшими губами, прервала его:

— Откуда у тебя эти цветы?

Он замолчал, поднял брови, пристально поглядел на меня,— вдруг расхохотался, крепко охватил меня и стал целовать. Дурак!

* * *

Нинка воротилась в Москву. Виделись с нею. Много рассказывала о своей работе с пионерами.

* * *

(*Почерк Нинки.*) — Октябрь, морозистый и звонкий... А в душе совсем не звонко. Все, что есть во мне так наз. пролетарского, все это — начало, чуждое мне. В этом я убедилась. Потому-то мне и скверно так сегодня, потому-то так нелепы были сегодняшние мои поступки. Все мысли мои о том, что я стала «настоящей» комсомолкой,— буза. Та же внешность — кожаная куртка и красная косынка, не хватает стриженных косм и папироски в зубах. Но этого не будет, хотя могло быть легко. Но не сейчас. Ша! Довольно подделок,— сказала я себе.

* * *

(*Почерк Лельки.*) — Ничего не понимаю. Что все это значит?

* * *

(*Почерк Нинки.*) — Минутное настроение. Мне тогда было очень тяжело.

* * *

(*Почерк Лельки.*) — Пишу после почти двухмесячного перерыва. Много было, но не стоит записывать.

Вчера вечером произошел очень нервный и очень тяжелый разговор с Володькой.

— Нет, Володька, брось! То, что между нами было,— это не любовь. Это так у меня было — интерес к никогда еще не испытанному, тоска по настоящей любви.

То кровь кипит, то сил избыток.

Повторю еще раз: по-настоящему я люблю только парня-работячего, настоящего, пролетария по духу и по крови.

И он — плакал! Какой странный и неприятный вид, когда плачет мужчина! Он мне орошал руки своими слезами, целовал руки, как барышням целовали в дореволюционные времена, так что они стали совсем мокрые.

Я засмеялась.

— Чего ты?

— Никогда до сих пор не видала, как плачут взрослые мужчины. Смешно.

И стала вытирать руки носовым платком.

Он вскочил. Быстро надел пальто. Стало стыдно. Я, как стояла к нему спиной, так подалась, откинула голову и с ласковым призывом подставила ему под губы лоб. Но он положил мне сзади руки на плечи и, задыхаясь, прошептал на ухо:

О, не бойтесь: я не нищий!

Спрячьте ваше подаянье!

И выбежал.

Стыдно черт те как.

* * *

Нет, все-таки — не по мне он. Размазня, интеллигент. Вспомню, как он плакал,— становится презрительно-жалко.

И вообще мне со студентами-интеллигентами как-то тесно, душно. С пролетариями вольнее.

* * *

(*Почерк Нинки.*) — На трамвае неожиданно встретила с Басей Броннер. Не видела ее с тех пор, как кончили с нею семилетку. Жизнь у ней была очень тяжелая: пятнадцати лет ушла от родителей-торговцев, нуждалась, очень голодала, с трудом кончила семилетку. А теперь, оказывается, она работает простой работницей, галошницей, на резиновом заводе «Красный витязь»⁶, за Сокольниками. Мне она очень понравилась. Обязательно возобновлю с нею знакомство.

* * *

Была у Баси в селе Борогодском. Хоть это вовсе не село, а та же Москва, только дома поменьше и пореже. И в середине дымит огромный завод резиновый. Бася меня водила и все показывала. Решено: завязываю с нею очень близкое знакомство. Она мне сильно нравится. Ушла в самую гущу пролетариата и насквозь пропиталась его духом. Работницы другие ей говорят:

— Ну, ты — интеллигентка. Разве ты с нами долго станешь работать? Пришла, чтобы в вуз поступить или выдвинуться по партийной линии.

Но она им хочет показать на деле, что и интеллигенты умеют быть настоящим пролетариатом, а не для карьеры идут на фабрики и заводы.

* * *

(*Почерк Лельки.*) — Володьку не видела больше месяца, даже не знаю, где он. Говорят, уехал куда-то. Как-то не хватает мне чего-то без него. Ну, к черту! Буза!

Я прочла сегодня в одной книжке: «Большевизм по заслугам славится своею стройною законченностью и монолитностью в области мировоззрения». И стало мне очень грустно. Я замечаю за собою, что частенько я смотрю на вещи не ленинскими глазами и думаю не большевистскими мыслями. Наступает новый год. Я бы хотела, чтоб в этом новом году у меня больше не было сумасбродных мыслей о жизни, о смерти и прочих идеализаций чего бы то ни было, чтобы не было стремления и к индивидуализму. Я бы хотела смотреть на все явления жизни так, каковы они есть, и подходить к ним с марксистски-материалистическим, рациональным подходом.

* * *

(*Почерк Нинки.*) — Ого, Лелька! Как еще нам много приходится друг с другом знакомиться!

* * *

(*Почерк Лельки.*) — Вдруг в театре Революции встретила с Володькой. Он, — как будто ничего не было, — быстро подошел ко мне, улыбается. Я не успела собою овладеть и радостно вспыхнула, сама не пойму отчего.

Ходили с ним по фойе. Верно! Он уезжал. В Ленинград. И только что воротился. Ездил туда с Иван Ивановичем Скворцовым-Степановым⁷, редактором «Известий», — их несколько ребят с ним поехали. Скворцова туда послал ЦК новым редактором «Ленинградской правды» и вообще возглавить борьбу с троцкизмом, который там очень силен.

Мы даже забыли про спектакль. Пропустили целое действие. Ходили по фойе с притрушенным электричеством, и он рассказывал, как их враждебно встретили наборщики «Ленинградской правды», как являлись депутации от заводов и требовали напечатания оппозиционных резолюций. Положение часто бывало аховое. Путиловцы бузили самым непозволительным образом. Весело было глядеть на Ивана Ивановича. Смеется, потирает руки. Большой, жизнерадостный, с громово смеющимся голосом. «Нет, — говорит, — положительно, я по природе — авантюрист! Вот это дело по мне! Это борьба! А сидеть в Москве, строчить газетные статейки...» Рассказывал Володька, как они все со Скворцовым-Степановым двинулись на завод, как рассыпались по цехам, как под крики и свистки выступали перед рабочими и добились полного перелома настроения.

Повеяло от Володьки как будто запахом пороха. Свежим возду-

хом пахнуло, борьбою, движением. Скучно вдруг как-то и серо показалось здесь, у нас.

Но вы, товарищ,— почему вы так вспыхнули, когда его неожиданно увидели? Нужно будет звать его к себе, вообще дать понять, что мне приятно его видеть.

* * *

(*Почерк Нинки.*) — Это мы пишем вместе, потому что сегодня мы очень полюбили друг друга и сблизились. И расширили стену, которая была между нами. Вот как это случилось.

Вечером ездили на Брянский вокзал⁸ провожать наших ребят, командированных на работу в деревне. Ждали отхода поезда с час. Дурака валяли, лимонадом обливались, вообще было очень весело. Назад⁹ вместе шли пешком вдвоем. Перешли Дорогомиловский мост⁹, налево гранитная лестница с чугунными перилами — вверх, на Варгунихину горку, к раскольничьей церкви.

Мы взбежали по лестнице. Нинка из нас остановилась на верхней ступеньке, а Лелька двумя ступеньками ниже. Смотрели сверху на замерзшую реку в темноте, на мост, как красноглазые трамваи бежали под голубым электрическим светом. И очень обеим было весело. Вдруг у Нинки сделались наглые глаза (Лелька требует поправить: «озорные», — ну ладно) — сделались озорные глаза, и она говорит:

— Тебе нравится все время стоять на одной ступеньке?

Лелька замолчала и долго пристально смотрела на Нинку, а Нинка задком галоши била по стенке ступени, смотрела Лельке в глаза и потом прибавила:

— Или даже — твердо подниматься вверх со ступеньки на ступеньку?

Лелька ответила очень медленно:

— Это было бы очень хорошо, так бы и нужно. Но меня неудержимо тянет бегать по всем ступенькам, по всей лестнице, и вверх и вниз.

Нинка сказала:

— И меня тоже.

И мы обе рассмеялись,— почему мы это скрывали одна от другой?

Никто в мире этого не узнает, но мы друг про друга будем теперь знать, что и другая в «душе», или как там это назвать,— в сознании, что ли? — носит то же

СИМВОЛ ЛЕСТНИЦЫ

* * *

(*Почерк Нинки.*) — Обо всем этом нужно говорить тихонько и интимно, потому что так легко испугаться самой себя и замолчать! Но что же делать, если это есть в душе? Вот в чем дело. Терпеть

не могу пай-девочек и пай-мальчиков, живущих, действующих и думающих «как нужно». Мне тогда бешено хочется шарлатанишь, и все взрывать к черту, и вызывать всеобщее негодование к себе. И я думаю: где это, у кого есть уже такая совсем полная истина? Позвольте мне раньше побегать по всей лестнице вверх и вниз, постоять на каждой ступеньке, все узнать самой и продумать все самой же. А поэтому, чтобы жизнь тебя не надула, нужно, хоть на время, стать «великим шарлатаном», не верить ни во что и в то же время во все верить, научиться понимать всех людей, стать насмешливым наблюдателем на арене жизни — и непрерывно производить эксперименты. Но в то же время я знаю: если нет на земле правды, то все же есть много маленьких правд, и первая из них: в классовой борьбе победит пролетариат, и только диктатура пролетариата... Ну, известно.

* * *

(*Почерк Лельки.*) — Над этим нужно подумать. Мне это какой-то стороною тоже чертовски близко, только было запрятано очень глубоко в душе. Гм! Быть «великим шарлатаном». Это завлекательно. Но с этим вместе мы безумно любим наш комсомол. В этом трагедия. Как жить без него и вне его? Ну что ж. Будем великими шарлатанами и экспериментаторами.

* * *

(*Почерк Нинки.*) — Только помнить: когда шарлатанишь, нужно все делать добросовестно и очень серьезно.

* * *

(*Почерк Нинки.*) — 9 февр. 1926 г. Только что вернулись из подшефной деревни. Комсомольская ячейка совместно с беспартийной молодежью организовала туда лыжную вылазку. С нами ездили и рабочие ребята с фабрики, где мы ведем общественную работу.

Что за день был! Мне кажется, никогда в жизни мне так хорошо не было. Снег, солнце, запушённые инеем ели. Ребята такие близкие и родные. И веселье, веселье. Толкали друг друга в снег, топили в сугробах. Вылезая, фыркали и отряхивались, как собачата, брошенные в воду.

Почему мне было так хорошо? Не потому ли, что в этот день я вся переродилась, стала другой, близкой ребятам, своей...

Завязали связь с деревней, на той неделе деревенская молодежь приезжает к нам во втуз, на экскурсию. Обязались им помочь в организации пионеротряда. Но — главное: снег, солнце, зазорные песни — и радость без предела.

Это вообще. А в частности: обратно шли к станции медленно,

уоставшие. Я так устала идти на лыжах, что предпочла их взять на плечо, а сама идти по дороге. Легкий скрип за мою спину, торможение. Мы рядом. Лазарь. Я давно к нему приглядываюсь,— кто он и что он?

Постараюсь записать все то, что он мне рассказал. Вчера умерла его мать; вот уже два года, как он ее не видел, не видел с тех пор, как ушел из дому, поступил на фабрику, стал жить в рабочем общежитии. Визгливо кричала мать, грозился отец, и их крики еще раздавались на лестнице, когда он со своей корзинкой выходил из парадного. Отец — крупный торговец, еврей, культурный, начитанный, мать — местечковая, со всеми традициями, мелочная, с торгашеской психологией. И он, Лазарь, их сын, случайный и не к месту. Восточные глаза смотрят в стекла очков, честные, правдивые, и боль, боль в них.

Вчера вечером умерла мать, а утром вчера она дрожащей рукой написала записку: «Приди проститься». Не пошел Лазарь проститься с умирающей торговкой, по странной случайности получившей право называться его матерью. Прав ли он был?

Что мне было ответить ему? Н-е з-н-а-ю. Это думала я. А говорила, что только так и мог поступить комсомолец.

* * *

Нинка поехала в гости к Басе Броннер в село Богородское, за Сокольниками. Бася, подруга ее по школе, работала галошницей на резиновом заводе «Красный витязь».

Бася после работы поспала и сейчас одевалась. Не повсегдашнему одевалась, а очень старательно, внимательно гляделась в зеркало. Черные кудри красиво выбивались из-под алой косынки, повязанной на голове, как фригийский колпак. И глаза блестели по-особенному, с ожиданием и радостным волнением. Нинка любовалась ее стройной фигурой и прекрасным, матово-бледным лицом.

Бася сказала:

— Идем, Нинка, к нам в клуб. Марк Чугунов делает доклад о международном положении.— И прибавила на ухо: — Мой парень; увидишь его. И заранее предупреждаю: влюбишься по уши — или я ничего в тебе не понимаю.

Нинка с удивлением поглядела в смеющиеся глаза Баси,— слишком был для Баси необычен такой тон.

В зрительный зал клуба они пришли, когда доклад уж начался. Военный с тремя ромбами на воротнике громким, привычно четким голосом говорил о Чемберлене, о стачке английских углекопов. Говорил хорошо, с подъемом. А когда речь касалась империалистов, брови сдвигались, в лице мелькало что-то сильное и грозное, и тогда глаза Нинки невольно обращались на красную розетку революционного ордена на его груди.

Когда пошла художественная часть, Бася увела Чугунова и

Нинку в буфет пить чай. Подсел еще секретарь комсомольской цеховой ячейки. Чугунов много говорил, рассказывал смешное, все смеялись, и тут он был совсем другой, чем на трибуне. В быстрых глазах мелькало что-то детское, и смеялся он тоже детским, залихватистым смехом.

Подошли два студента Тимирязевской сельскохозяйственной академии, Басины знакомые: не застали ее дома и отыскиали в клубе. Перешли в комнату молодежи; публика повалила на художественную часть, и комната была пуста.

Играли, дурачились. Устроили вечер автобиографий. Каждый должен был рассказать какой-нибудь замечательный случай из своей жизни. Почти у всех была за спиною жизнь интересная и страшная, каждому было, что рассказать.

Первый жребий достался секретарю ячейки. Он рассказал про свой подвиг на гражданской войне, как ночью украл у белых пулемет, заколов штыком часового. Рассказывал хвастливо, и не верилось, что все было так, и Нинка слушала его с враждою. Потом тимирязевец рассказал, бывший партизан, тоже про свой подвиг. Третий жребий вытянул Чугунов.

— Ну-с, что же бы вам рассказать?

Нинка сказала:

— Расскажите, как и за что вы получили орден Красного Знамени.

Ей хотелось послушать, как и он будет хвастать, чтобы и к нему испытать то же враждебно-насмешливое чувство, как к первым двум.

Чугунов внимательно поглядел на Нинку, усмехнулся, подумал и медленно ответил:

— Я вам лучше расскажу, как я был приговорен к расстрелу. За трусость и отсутствие организаторских способностей.

— Ого!

Все оживились. Это было поинтереснее подвигов. Чугунов прислонился спиною к простенку между окнами и стал рассказывать.

— Было это очень скоро после Октябрьской революции, в самом начале гражданской войны. Я тогда воротился из ссылки и работал слесарем на Путиловском заводе. И вот решил я поступить в Красную гвардию. Поступил. Наскоро нас обучили и послали на казанский фронт, против чехословаков. На длинном шнуре мотается у колен револьвер... А я хоть был материалист, но в то время питал чисто мистический страх перед всяким огнестрельным оружием: когда стрелял, зажмуривал оба глаза. Явился к командарму. «Из Питера? Рабочий-подпольщик? Чудесно!» Назначил меня комендантом станции Обсерватория. А нужно вам сказать...

Он внимательно оглядел всех, усмехнулся.

— Тут ребята все свои, и дело прошлое, скрывать нечего. Бои тогда были удивительные: три дня стрельба — и ни одного убитого с обеих сторон. Побеждал тот, кто раньше оглушит противника, испугает его шумом пальбы. Вот так белые тогда оглушили нас,

и наши побежали. В момент очистили мою станцию, я один. Что мне делать? Сел на паровоз и привел его в расположение нашего командования. Являюсь к командующему армией Каменскому. Он: «Как вы смели бросить свой пост?» — «Да там никого уж не осталось, я хоть паровоз спас, привел сюда». — «А почему у вас там никого не осталось? У вас есть революционное слово, есть револьвер. Сейчас же отправляйтесь назад и воротите беглецов». — «Да ведь дотуда семьдесят верст, как я попаду? Пути испорчены, поезда не ходят». — «Возьмите мою лошадь». А я никогда и верхом не ездил. Подвели мне лошадь, набрался я духу, сел, — она, подлая, повернула и прямо назад в конюшню; я ей — тпрууу! Все смеются. Кое-как слез, пошел на станцию свою пешком. Верст десять отошел. Навстречу во весь дух несется наша батарея — удирает. Ездовые нажаривают нагайками лошадей, чуть меня не затоптали. Поглядел я им вслед: ну-ка, останови их револьвером или революционным словом! Потом конница пронеслась галопом. Всё иду вперед. Под вечер набрел на привал пехоты. Костры, варят хлебово. Я подсел. Думаю: вот когда момент пришел применить революционное слово! Завел речь издалека: «Самое, — говорю, — опасное на войне — это бежать; во время бегства всегда происходит наибольший урон; в это время бывает всего легче обойти». Они подняли головы: «Нешто обошли?» Испуг. «Вот человек говорит: обошли». — «А кто ты такой?» Писаных мандатов в то время почти еще не существовало, был мне просто устный приказ. «Да ты не шпион ли?» Один дядя бородатый печет картошку, мрачно говорит из-за костра: «А вы бы, землячки, пулю ему в брюхо, — было бы вернее». Насилу отвертелся, ушел. Опять являюсь к Каменскому. «Что это? Вы опять здесь?» А мне вдруг так ясно представилась вся бестолочь, которую я видел за эти дни, вся очевидная невозможность что-нибудь сделать единичными усилиями, — мне стало смешно, не мог удержаться, улыбнулся. Он остолбенел, с изумлением смотрит на меня. А я стою и самым дурацким образом улыбаюсь. Командарм пришел в ярость, сорвал с меня револьвер и велел арестовать. Был суд. Приговорили к расстрелу.

Нинка спросила:

— А почему не расстреляли?

— Попросил для искупления вины отправить меня на фронт. Тогда как раз полковник Каппель прорвался нам в тыл, и посылался полк коммунаров ликвидировать прорыв. Там я получил боевое крещение.

Нинка внимательно глядела на него. Мило стало его простое, открытое лицо и особенно то, как он просто все рассказал, не хвалясь и сам над собою смеясь.

Следующая очередь была Нинки.

Она сидела на столе, положив нога на ногу, и рассказывала. По плечам две толстых русских косы, круглое озорное лицо, чуть

вздернутый нос. Брови очень черные то поднимались вверх, то низко набежали на глаза; от этого лицо то как будто ясноло, то темнело.

Рассказала она, как три года назад была в Акмолинской области. Поехала она из Омска в экспедиции для обследования состояния и нужд гужевого транспорта. Рассказывала про приключения с киргизами, про озеро Балхаш, про Голодную степь и милых верблюдов, про то, как заболела брюшным тифом и две недели самой высокой температуры перенесла на верблюде, в походе. Оставить ее было негде, товарищам остаться было нельзя.

Воодушевилась, рассказывала очень хорошо. Все подбадривали, требовали дальше.

Рассказала она и такое:

— Наняли мы киргиза с верблюдами, подрядили на сорок верст. Но свернуть пришлось в сторону, других верблюдов нигде достать не могли, и пришлось нам его протаскать с собою верст триста. По ночам мы его поочередно караулили, чтоб не сбежал. Раз ночью все-таки убежал, со всеми своими верблюдами. На заре мы бросились за ним в погоню. Ведь что нас ждало: в глухой степи, пешие. В балке нашли отбившегося верблюда. Один из наших парней, Степка, очень сильный, сел на него. Пучок соломы верблюду под хвост, зажгли, — он ринулся как ошпаренная собака. Нагнали ребята киргиза, зверски его избили. На ночь связали. И вообще стали возить связанным.

Еще рассказала, как они голодали, как делали набеги на одиночек-киргизов, — товарищи грабили, она держала верблюдов.

— Своей части добычи и не брала, противно было. Мне только интересно было в этом поучаствовать.

И вспыхнула: стыдно стало, что как будто оправдывается.

Было уж поздно. В комнату набиралась чужая публика. Стали расходиться. Нинка вышла вместе с Басей и Чугуновым.

Бася взволнованно говорила Чугунову:

— Как мог ты, Марк, при всех рассказывать, как вы оглушали друг друга пальбой! Удивительно полезно молодежи слушать про такие геройские подвиги! Если даже это и было, то — к чему? А и было-то, наверно, только раз-два, как случайность.

Глаза Баси сурово блестели. Марк с веселой усмешкой возразил:

— Случайность? Ну, тебе, видно, лучше знать.

Положил руку на плечо Нинки и спросил:

— Скажи, что тебя понесло в Голодную степь? Ведь не могли ж тебя, такую юную, мобилизовать? Сколько тебе лет было?

Нинка холодно ответила:

— Пятнадцатый год. Я сама заявила желание. Даже не хотели брать. Я сказала, что мне минуло шестнадцать.

— А что ты смыслила в гужевом транспорте?

— Никто у нас не смыслил. Чистейшая была авантюра.

— А как вы этого киргиза несчастного за собою таскали, как грабили их, — ужли тебе не было жалко?

Черные брови Нинки по-детски высоко поднялись, потом набежали на самые глаза, темным облаком покрыв лицо.

— Было жалко, ясно. Я очень плакала.— И прибавила с вызовом: — Только я люблю всякие эксперименты. Хотела и это все испытать.

Глаза Марка весело смеялись.

— Я и сам год целый пробыл в Туркестане, воевал с басмачами. Люблю тамошние степи! И ты, как вижу, любишь,— да?

— Ага! — И глаза Нинки, невольно для нее, приветно загорелись.

Бася и Марк проводили ее до трамвайной остановки, дождались, пока подошел вагон, и потом, Нинка видела, пошли, тесно прижавшись, по направлению к Басиной квартире. Стало почему-то одиноко.

* * *

(*Почерк Нинки.*) — Постараюсь объяснить себе, почему я так много думаю о Марке, с нетерпением жду его письма, а еще с большим — встречи с ним. Как странно он ведет себя со мной! Впечатление создается такое, что он будто задыхается от массы пережитого, что ему нужно с кем-то поделиться,— так почему же именно со мной? Почему не с Басей? Неужели только потому, что недавно знакома с ним, а ведь с чужим говорить легче. Если бы так вел себя другой парнишка, то я реагировала бы по-другому. Но ведь это Марк, герой гражданской войны, с орденом Красного Знамени, старый партиец-пролетарий, прошедший подполье и ссылку. Неужели он переживает то, что нами уже пережито, всякие ерундовые любовные увлечения? Да нет, ясно, дело не в этом. Письма его — чисто товарищеские, и у меня к нему отношение как к старшему товарищу, у которого можно многому научиться и много узнать.

* * *

(*Почерк Лельки.*) — Что за Марк? В первый раз слышу. И все-таки думаю, что ты ошибаешься на этот раз, проницательная моя Нинка. Суть дела тут не в «товарищеских» письмах и отношениях, а кое в чем другом. Не знаю твоего Марка, но думаю, что не ошибусь.

* * *

(*Почерк Нинки.*) — Лелька! Давай поссоримся на две недели.

* * *

(*Почерк Лельки.*) — Сейчас не хочется. А все-таки дело не в товарищеских отношениях. Дело в другом,— я тебе об этом скажу на ушко. Дело в том, что мы с тобою — красивые и, кажется, талантли-

вые девчонки с такими толстыми косами, что их жалко обрезать, поэтому к нам льнут парни и ответственные работники.

* * *

(*Почерк Нинки.*) — Ге-ге-ге! Что ж, может быть, так оно и есть. Тогда все это становится о-ч-е-н-ь и-н-т-е-р-е-с-н-ы-м. Я сразу начинаю себя чувствовать выше его. Меня начинает тянуть к себе эксперимент, который мне хочется произвести над ним... и над собой. Ну что ж!

Будет буря! Мы поспорим
И поборемся мы с ней!

* * *

(*Почерк Лельки.*) — Встретила на районной конференции Володьку. Он выступал очень ярко и умно по вопросу о задачах комсомола в деревне. Когда увидел меня, глаза вспыхнули прежнею горячею ласкою и болью. Парнишка по-прежнему, видно, меня любит. Мое отношение к нему начинает меняться: хоть и интеллигент, но, кажется, выработается из него настоящий большевик. Я пригласила его зайти, но была очень сдержанна.

* * *

На квартире у Марка Чугунова на Никитском бульваре Нинка неожиданно подошла к выключателю и погасила электричество. Марк на минуту замолчал удивленно, потом продолжал говорить более медленно, а сам пренебрежительно подумал: «Ого!» Замолчал, в темноте подошел к Нинке и жадно ее обнял.

Нинка в негодовании отшатнулась, вскочила и сказала, задыхаясь:

— Неужели нельзя задушевно разговаривать без лапни!

Загорелся свет и осветил сконфуженное лицо Марка.

— Я подумала: насколько легче и задушевнее будет нам говорить в темноте. А ты... — Нинка села в глубину дивана, опустила голову, брови мрачно набежали на глаза.— Больше не буду к тебе приходить.

— Ну, Нинка, брось. Не обращай внимания.

Лицо у него было детски-виноватое.

— Можем еще где-нибудь встречаться, на улицах вместе гулять. А к тебе не стану приходить. Мне неприятно.

Марк ответил грустно:

— Мы так нигде не сможем разговаривать, как у меня. А нам с тобою о многом еще нужно поговорить. Я чувствую, что у нас могут установиться великолепные товарищеские отношения. Ты мне очень интересна.

В ее глазах мелькнула тайная радость, но она постаралась, чтобы Марк этого не заметил. Встала, подошла к окну. Майское небо зеленовато светилось, слабо блестели редкие звезды, пахло душистым тополем. Несколько времени молчали. Марк подошел, ласково положил руку на ее плечо, привел назад к дивану.

— Ну, кончай, что начала говорить. Мне это очень интересно.

Нинка оживилась.

— Да. Я о том, что ты сейчас рассказывал. Вот. Вы жили ярко и полно, в опасностях и подвигах. Я слушала тебя и думала: в какое счастливое время вы родились! А мы теперь... Эх, эти порывы! Когда хочется сорваться с места и завертеться в хаосе жизни. Хочется чувствовать, как все молекулы и нервы дрожат.

Она в тоске стиснула ладони и сжала их меж локотков. Марк сказал с усмешкой, смысла которой она не могла уловить:

— Это, товарищ, называется авантюризмом.

Нинка мечтательно продолжала:

— Хорошо было раньше в подполье. Хорошо бы теперь работать нелегально в Болгарии, Румынии или в Китае. Неохота говорить об этом, но что же делать? Глупо, когда живешь этими мыслями, дико, ведь и сама знаю, что это называется авантюризмом... А ты меня, правда, не мог бы устроить в Китай или, по крайней мере, в Болгарию?

Они ужинали, потом пили чай. Блестящие глаза Марка смотрели горячо и нежно, в душе Нинки поднималась радостная тревога. Но такое у нее было странное свойство: чем горячее было на душе, тем холоднее и равнодушнее глядели глаза.

Марк внимательно поглядел на нее, и губы его нетерпеливо дернулись, совсем как у избалованного ребенка. Нинка вдруг вспомнила слова Баси о его бесчисленных романах, предсказание ее, что она, Нинка, влюбится в него. «Ого! Еще поглядим!»

Встала, взглянула на свои часы в кожаном браслете и скусающе сказала:

— Пора идти, скоро час.

— Ну, подожди, что там!

— Нет, пойду. Привет!

Марк положил руки на ее плечи и близко заглянул в глаза.

— Так как же, Нинка? Сможем мы устроить хорошие товарищеские отношения, хочешь ты их?

Она ответила очень серьезно:

— Хочу, Марк. Ты мне тоже интересен, и сам ты, и все твои переживания.

— Ну, прощай.

Он обнял ее за талию, привлек к себе. В их среде это было дело обычное. Поцеловал в косы, потом закинул ей голову, поцеловал в губы, и она ему ответила. Вдруг он крепко сжал ее и стал осыпать бешеными поцелуями, совсем другими, чем раньше. Нинка потом вспоминала: «От таких поцелуев и пень бы затрепетал, не говоря обо

мне». Губы ее ответно трепетали и ловили его поцелуи. Вдруг она почувствовала, что рука его шарит по ее груди и расстегивает пуговицы кофточки. Нинка крепко удержала руку и спросила громким, насмешливым голосом:

— Это что, начало товарищеских отношений?

Марк отшатнулся, закусил губу и отошел в угол. Нинка проговорила равнодушно:

— До свиданья.

И вышла.

Медленно открыла большую дверь подъезда, пошла по бульвару. Никитские Ворота. Зеленовато-прозрачная майская ночь. Далеко справа приближался звон запоздавшего трамвая. Сесть на трамвай — и кончено.

Нинка постояла, глядя на ширь пустынной площади, на статую Тимирязева, на густые деревья за нею. Постояла и пошла туда, в темноту аллеи. Теплынь, смутные весенние запахи. Долго бродила, ничего перед собою не видя. В голове был жаркий туман, тело дрожало необычно, глубокою, снаружи незаметною дрожью. Медленно повернула — и пошла к квартире Марка.

Подошла, взглянула вверх на окна. В них было темно. Как острая иголка прошла в сердце: он,— он у-ж-е л-е-г с-п-а-т-ь!

Быстро повернулась и пошла домой.

* * *

После этого она два письма получила от Марка,— горячие, задушевные, зовущие. Настойчиво просил ее позвонить по телефону. Нинка без конца перечитывала оба письма, так что запомнила наизусть. После второго письма позвонила по автомату и оживленно-безразличным голосом сообщила, что сейчас очень занята в лаборатории, притом близки зачеты, и вообще не может пока сказать, когда удастся свидеться. Привет!

* * *

(Почерк Нинки.) — Очень интересно делать эксперименты. Интересно сохранять в полном холоде голову и спокойно наблюдать, как горячею кровью бьется чужое сердце, как туманится у человека голова страстью. А самой в это время посмеиваться и наблюдать.

Но — сказать ли всю правду? Я притворяюсь безразличной, но он мне о-ч-е-н-ь н-у-ж-е-н. Мне с ним необходимо поговорить, серьезно и ответственно.

* * *

(Почерк Нинки.) — Больше трех недель ни ты, ни я ничего тут не писали.

Лелька!

* * *

(*Почерк Лельки.*) — Что такое значит? «Лелька!» — и больше ничего. Ну, что?

* * *

(*Почерк Нинки.*) — Лелька! Ты — девушка?

* * *

(*Почерк Лельки.*) — Конечно, нет. А ты?

* * *

(*Почерк Нинки.*) — Тоже нет. Больше об этом не будем говорить.

* * *

Нинка перестала бывать у Баси. Но случайно встретила с нею в театре Мейерхольда¹⁰. Покраснела и хотела пройти мимо. Бася, смеясь, остановила ее.

— Чего это ты, Нинка, морду в сторону воротить? — Помолчала, со смеющимся вниманием взглядела ей в глаза: — Тебе неловко, что ты у меня «отбила» Марка? Да?

Нина прикусила губу, еще больше покраснела, брови низко набежали на глаза. Бася хохотала.

— Неужели ты думала, я буду негодовать на тебя, приходиться в отчаяние? Милый мой товарищ! Вот если бы ты мне сказала, что нам не удастся построить социализм, — это да, от этого я пришла бы в отчаяние. А мальчишки, — мало ли их! Потеряла одного, найду другого. Вот только обидно для самолюбия, что не я его бросила, а он меня. Не ломай дурака, приходи ко мне по-прежнему.

* * *

Марк сидел в углу дивана, а Нинка лежала, облокотившись о его колени, смотрела ему в лицо и говорила, тайно волнуясь.

— Я с четырнадцати лет стала искать дорогу к единому, удовлетворяющему мирозерцанию. И мне казалось ясно: если я сохраню естественную человеческую честность, то я найду истину. Тяжело было, что нет ни от кого помощи, я увидела, что люди прячут свои естественные, сокровенные мысли как что-то нехорошее. Как будто кто-то их заставляет носить маски с девизом: «Я такой же, как все!» Я очень самолюбива, очень чутка на насмешки, и когда у меня самой срывалась маска под давлением искренних чувств, я быстро напя-

ливала ее опять. В глубине страдала, а наружно улыбалась, вульгарничала, старалась исправить оплошность перед товарищами. А страдала — отчего? Знаешь, Марк, отчего? Я чувствовала, что надо срывать с людей маски, надо осмелиться самой выступить без маски...

Была у Нинки особенность, Марк всегда ею любовался. Черные брови ее были в непрерывном движении: то медленно поднимутся высоко вверх, и лицо яснее; то надвинутся на лоб, и как будто темное облако проходит по лицу. Сдерживая на тонких губах улыбку, он смотрел в ее лицо, гладил косы, лежавшие на крепких плечах, и сладко ощущал, как к коленям его прижималась молодая девическая грудь.

А Нинка говорила с одушевлением, все так же волнуясь в душе:

— С шестнадцати лет я имею довольно твердое и полное мировоззрение. Я нашла истину, я определила свое положение во вселенной. Мои взгляды с точностью совпали с «Азбукой коммунизма» Бухарина и Преображенского¹¹ и вообще со всеми теми взглядами, которые требуются от комсомолки. Но дело-то в том...

Марк расхохотался, охватил Нинку за плечи и стал горячо целовать. Она удивленно и обиженно отстранилась. Хотелось продолжать говорить о том важном, чем она жила и во что необходимо было посвятить Марка, непонятно было, чего он расхохотался. Но он еще горячей припал к ее губам, целовал, ласкал и вскоре в страстный вихрь увлек душу Нинки.

Но потом, позже, когда она, истомленная и тихая, лежала, чувствуя его щеку на своем плече, она с враждою смотрела на его курчавую голову и с насмешкой говорила себе:

«Дура! Так тебе и надо. Чего полезла с интимностями?»

Взглянула на часы в кожаном браслете.

— Ой, мне давно пора.

Быстро оделась и равнодушно сказала:

— Ну, пока!

— Подожди, дай одеться. Хоть провожу тебя.

— Не надо.

И ушла.

* * *

(Почерк Нинки.)

1. Ценность — есть категория логическая?

2. Если прибавочная стоимость вырастает из неоплаченного труда рабочего, то не выгоднее ли капиталисту иметь на своем предприятии как можно больше рабочих, а не заменять их усовершенствованными машинами?

3. Техническое и общественное разделение труда.

4. Что такое «товарный фетишизм»? И что такое фетишизм вообще, без товара?

Шумною гурьбою парни и девчата возвращались в общежитие с субботника. У Зоопарка остановилась блестящая машина, военный с тремя ромбами крикнул в толпу:

— Нина!

Нинка подошла к Марку.

— Слушай, Нинка, что же это ты? На письма не отвечаешь, не приходишь ко мне. Рассердилась?

Она невинно подняла брови.

— Рассердилась? За что? Нет. Просто, расположения не было.

— Я за тобой. Садись, прокатимся за город.

Нинка поколебалась.

— Я обещалась с ребятами... Да нет! Слишком соблазнительно. Ладно, едем.

Чугунов радостно распахнул дверцу, Нинка села, автомобиль мягко сорвался и понесся к Ленинградскому шоссе.

— Откуда вы шли?

— С субботника, в пользу ликбеза. Работали на Александровском вокзале. Ребята грузили шпалы, а мы, девчата, разгружали вагоны с мусором. Очень было весело. На каждую дивчину по вагону. Устала черт те как! Смотри.

Она показала свежевывмытые руки с кровавыми волдырями у начала пальцев. Марк наклонился низко, взял ее руку и поцеловал в ладонь. Нинка равнодушно высвободила руку и продолжала рассказывать про субботник. Марк потемнел.

Августовское солнце сверкало. Машина подлетала уже к Петровскому парку. Вдоль кустов желтой акации при дороге во весь опор мчался молодой доберман-пинчер, как будто хотел догнать кого-то. Вдруг оглянулся на их машину, придержал бег, выровнялся с машиною, взглянул на сидевших в машине молодыми, ожидающими глазами, коротко лаянул и ринулся вперед.

Нинка всплеснула руками:

— Смотри, это он с нами перегоняется! Да, да, смотри!

Пес мчался и изредка на бегу оглядывался на машину.

— Товарищ шофер, перегоните его!

Солидный шофер что-то пренебрежительно пробурчал и продолжал ехать прежним ходом. Марк засмеялся.

— Ведь верно! Смотри, возвращается...

— Старт! Старт устанавливает!

Пес опять бежал вровень с машиной, поглядывал на шофера, опять коротко лаянул — и опять стремглав бросился вперед.

Нинка схватила руку Марка.

— Нет, ты только подумай! Ну, хочет обогнать,— понятно. Но он не просто хочет обогнать,— ведь добросовестнейшим образом устанавливает старт. Как замечательно! Никогда бы не подумала!

Она в восторге трясла и пожимала руку Марка. Почувствовали

себя друг с другом опять близко и просто. Марк покосился на спину шофера и опять поцеловал Нинку в ладонь, она в ответ ласкающе пожала его щеки.

Заехали далеко в поля. Гуляли. Понеслись назад. Нинка сказала: — Чертовски хочется есть.

— Знаешь что? Поедем, пообедаем в хорошем ресторане.

— Ну! В столовку куда-нибудь. Никогда не была в ресторанах, не хочу туда. Буржуазный разврат. Да и платье на мне старое, все пылью осыпанное, как работала на субботнике.

— Никогда не была? Значит, поедем. Нужно все знать, все видеть. А что платье... — Его глаза сверкнули тем грозным вызовом, который иногда так изменял его добродушно-веселое лицо. — Что же, мы будем стесняться и стыдиться нэпачей?

Широкое крыльцо с швейцаром, вестибюль, пальмы. По лестнице, устланной ковром, поднимались вверх. На площадке огромное зеркало отразило поношенное, покрытое пылью платье Нинки и озорные, вызывающие лица обоих.

Маленькие столики с очень белыми скатертями, цветы, музыка. Но народу сравнительно было еще немного. Подошел официант, вежливый и неторопливый, предупредительно принял заказ, как будто не видел Нинкина платья, — теперь это было дело обычное.

Вкусный обед, бутылка душистого хереса. У Нинки слегка кружилась голова от вина и от музыки. Марк спросил папирос, закурил, папиросы были дорогие и тоже душистые. Доедали мороженое, запивая хересом.

Марк наклонился к Нинке:

— Ну, Нинка, говори правду: сердилась на меня?

Нинка укусила губу, брови низко опустились на глаза и затемнили лицо.

— Тебе совсем неинтересно меня слушать. Я решила не говорить с тобой о том, что у меня на душе. Да и сама решила этим не интересоваться. Так дико — заниматься собственной личностью! Ведь правда?

— Нет. Мне очень было интересно, что ты говорила о масках. Я чувствую, что ты не стандартный человек, а я таких люблю.

Нинка с вызовом поглядела на него.

— погоди! Раньше узнай поближе, а тогда говори, любишь ли таких.

— Ой, как страшно! Ну, не тяни, рази прямо в сердце. Сразу, чтобы без лишних мучений.

Нинка разозлилась.

— Если будешь бузить, ничего не стану говорить. Для меня это очень важно, а ты смеешься.

— Верно. Глупо с моей стороны. — Он под скатертью положил руку на ее колено. — Ну, говори, меня страшно интересует все, чем ты живешь.

Музыка, выпитое вино, папироса, ласка любимого человека —

все это настраивало на откровенность, хотя и страшно было то, что она собиралась сказать. Ну что ж! Ну и пускай! Отшатнется от нее,— очень надо! Ведь все, что у нее с ним было,— это только э-к-с-п-е-р-и-м-е-н-т. Очень она кого боится!

И, глядя с прежним вызовом, Нинка стала говорить, что у нее две «души»,— поганое слово, но другого на место его у нас еще нету. Две души: верхняя и нижняя. Верхняя ее душа — вся в комсомоле, в коммунизме, в рациональном направлении жизни. А нижняя душа против всего этого бунтует, не хочет никаких п[у]т, хочет думать без всяких «азбук коммунизма», хочет иметь право искать и ошибаться, хочет смотреть на все, засунув руки в карманы, и только нахально повсисывать.

— Да, вот и знай: от этого я никогда не откажусь, как никогда не откажусь и от коммунизма, от того, чтобы все силы жизни отдать ему. Ты — пролетарий, ты цельный человек, тебе все это непонятно.

Марк мял в руках маленькую руку Нинки. Добрая-добрая усмешка играла на бритом лице.

— Только одно ты всем этим сказала: что ты молода, что в тебе много кипит силы, что все еще бродит и пенится, все бурлит и шипит. Не беда. Я чувствую твою душу. Выбьешься из этих настроений и выйдешь на широкую нашу дорогу. А что будешь в стороны заезжать, что будешь ошибаться...

Он замолчал, пристально поглядел на Нинку.

— Ты понимаешь по-немецки?

— Понимаю, но не очень. А ты разве знаешь?

— Знаю порядочно. В ссылке изучил.

Еще поглядел на Нинку, достал блокнот, стал писать карандашом. Вырвал листок и, улыбаясь, протянул Нинке:

— Прочти дома... Ну, кончили?

Расплатился, вышли. Он горячим шепотом спросил:

— Ко мне?

Она молча наклонила голову. Мчались вдоль Александровского сада, он обнял ее за талию, привлек к себе.

— Нинка, как я тебя люблю! И как тосковал по тебе эти дни, когда ты от меня ушла. А ты — любишь меня хоть немножко?

— Не могу наверно сказать... Н-не знаю.

В общежитие Нинка воротилась очень поздно, когда все уже спали. Достала листок из блокнота, прочла:

Wenn du nicht irrst, kommst du nicht zu Verstand,
Willst du entstehn, entsteh' auf eigne Hand!

Мефистофель во второй части «Фауста» Гёте.

Рылась в словаре, подыскивала слова. Наконец перевела:

«Если не будешь ошибаться, не придешь ни к чему толковому; хочешь возникнуть,— возникай на собственный лад».

Долго сидела, закинув голову, и улыбалась. С этого вечера она по-настоящему, горячо любила Марка.

Нинка ехала на трамвае и волновалась. Вот уже глубокая осень, между ними было так много, а у нее все те же вопросы: кто он ей? Кто она ему? И зачем этот трепет?

Подъехала к Никитским Воротам раньше назначенного срока, но не пошла к Марку. Решила: нарочно, вот нарочно опоздает на двадцать-тридцать минут, пусть не думает, что ей так нужен. Бродила в темноте по Гоголевскому бульвару, глядела, как последние листья ясеней падали на дорожку.

И все думала о Марке. Крупный работник, революционер. Ну, не смеется ли над нею жизнь? Зачем она полюбила члена Реввоенсовета, «работника во всесоюзном масштабе»? Разве может член Реввоенсовета понять глупую комсомолку, которая стремится уйти в дебри лесов и степей? Что если бы встретились они в семнадцатом году: девятилетняя девочка со смешными косичками и закаленный революционер, прошедший через тюрьмы и ссылки? Что было бы тогда? В лучшем случае, если бы она ему понравилась, подарил бы леденец: соси и усладжайся. А теперь — нужна ли она ему? Что он думает о ней? Что у него вообще в душе? Она н-и-ч-е-г-о не знает. И как у него хватает времени встречаться с нею, ведь он так занят!

Знает ли он, как нужен ей?

Подошла к большим дверям подъезда. Широкая лестница. На втором этаже дверь и медная дощечка с его фамилией. Постучалась в кабинет. Вошла.

Марк лежал на кожаном диване, повернувшись лицом к спинке. Не обернулся, молчал. «Ге-ге! Сердит, почему опоздала». Радость хлестнула в душу: значит, ждал, тяжело было, что она опаздывает.

Долго молчали.

Почему-то расстегнулся браслет от часов, и никак не могла застегнуть. Ой, так ли?

— Марк, помоги!

Браслет застегнут, но ее рука осталась лежать на его колене. Он заглянул ей в глаза, улыбнулся и с шутливой мстительностью ударил концами пальцев по ее щеке.

Зеленый из-под колпака свет лампы. Глубокая тишина располагала к близости. Сидели оба на диване. Он держал в теплых руках ее руку. Нинка говорила о себе, о Сибири, о зное этих ветров.

— Марк, ты слушаешь?

— Да, да.

— Объясни, почему так, почему эти уголовные наклонности, почему было тогда такое хищное искание авантюры, самых диких, опасных, а главное — безыдейных? Ведь не с басмачами мы дрались, а с мирными жителями. Свист ветра, удачное бегство от погони, вот что нужно было мне тогда. Знаешь? И теперь иногда жизнь кажется мне узкой колодкой, я не могу найти людей по себе. А раз их нет, то не все ли равно, кто окружает тебя,— благовоспитанная

бездарность или яркая сволочь? Мне кажется, я живу «пока». Больше делаю вид, что живу.

Марк забарабанил пальцами по валику дивана. Нинка быстро взглянула на него.

— Ты слушаешь, Марк?

— Ну да же!

— Вот ты вошел в мою жизнь, я сразу почувствовала, что с тобою вошел кусок «настоящего». Мне так легко говорить с тобою, Марк, при тебе я невольно становлюсь требовательной к жизни, к людям и к себе. Кажется, вот-вот почищу от прошлой жизни, отряхнусь — и снова стану строгой, горячей и нежной. Марк, понимаешь ты меня? Ведь столько противоречий!

Погасили свет, его голова лежала на ее коленях, она гладила его волосы. В душе была большая нежность, тихо дрожала непонятная грусть.

— Марк, давай говорить легко и свободно, как будто мы должны завтра умереть.

Он с веселым недоумением спросил:

— Почему же умереть?

— Марк, расскажи о себе.

Но ласки его становились все горячее, и сама она все больше разгоралась.

Но потом, когда была усталость и истома, когда голова его, как всегда, лежала на ее груди, она опять сказала упрямо и настойчиво:

— Марк, расскажи о себе.

Он вяло отозвался:

— О себе? Мало я рассказывал!

— Не то. Не внешнее.

Марк потянулся и зевнул.

— Долго рассказывать. Ты лучше вот что: вон на столе лежит анкета для ЦК,— я ее сегодня заполнил. Возьми и прочти. Там все сказано.

— Все?! Там сказано — все?

Нинка вскочила, зажгла свет, босая подседа к Марку на постель, жадно заглянула ему в глаза. Он не успел спрятать, что было в них. А была в них — скрытая скука. Да, ему было скучно!

Быстро потушила свет, оделась в темноте. Марк сонно молчал. Опять зажгла электричество.

— Прощай. Мне нужно идти.

Только бы не выдал голос. Пусть Марк никогда не узнает, что он сделал с ее душой. Ни слова ему не скажет,— молча уйдет навсегда из его жизни.

Домой шла темными переулками, шаталась от боли, скрипела зубами. Все лучшее растоптано. Пройдут года, она будет пожилой женщиной с седыми прядями в волосах, но этого вечера никогда не забудет. Вывернуть себя наизнанку, просить помощи — у кого?

То, чем она жила,— для нее все это было так страшно, она ждала

от него четкого ответа, как от старшего товарища и друга. Когда он посмеивался на ее откровенности, она думала: он знает в ответ что-то важное; разговорятся когда-нибудь хорошо, и он ей все откроет. А ему это просто было — неинтересно. Интересны были только губы и грудь восемнадцатилетней девчонки, интересно было «сорвать цветок», — так у них, кажется, это называется.

* * *

(Отдельный дневничок в красивой красной обложке. Записи только почерком Нинки.)

Он вчера нашептал мне много,
Нашептал мне страшное, страшное...
Он ушел печальной дорогой,
А я забыла вчерашнее —
забыла вчерашнее.

Вчера это было — давно ли?
Отчего он такой молчаливый?
Я не нашла моих лилий в поле,
Я не искала плакучей ивы —
плакучей ивы.

Ах, давно ли! Со мною, со мною
Говорили и меня целовали...
И не помню, не помню — скрою,
О чем берега шептали,
берега шептали.

Я видела в каждой былинке
Дорогое лицо его страшное...
Он ушел по той же тропинке,
Куда уходило вчерашнее —
уходило вчерашнее...

Я одна приютилась в поле,
И не стало больше печали.
Вчера это было — давно ли?
Со мной говорили и меня целовали —
меня целовали.

Просто удивительно, что это не я написала, а Блок.

(Вся страница закапана слезами.)

* * *

(Общий дневник. Почерк Лельки.) — Нинка! Ты за последний месяц так изменилась, что тебя не узнаешь. Белые, страдающие губы, глаза погасли. У тебя всегда в них был оттенок стали, я его очень любила, — теперь его нету. Разговариваешь вяло. Мне тебя так жал-

ко, жалко! Хочется взять за голову, как младшую сестренку, кем-то обиженную, и говорить нежные, ласковые слова, и защитить тебя от кого-то.

* * *

(*Почерк Нинки.*) — Лелька! Ты спятила с ума! Какая пошлость! Тебе меня — ж-а-л-к-о! Катись ты к чертям. Неужели не понимаешь: можно простить человеку многое, — нечуткость, грубость, даже жестокость, но нельзя простить жалости к себе. И еще: «защитить от кого-то». Запомни навсегда: я сама за все отвечаю, сама творю все, что со мною случается, и не желаю ни в чем раскаиваться. Терпеть не могу пай-девочек.

А когда-нибудь, когда буду в настроении, я расскажу тебе веселенькую сказочку про одного очень глупого мотылька. Он увидал, — горит свеча. Сказал себе: «Произведу над огнем эксперимент!» И — пролетел сквозь огонь. Результат: свеча горит по-прежнему, а мотылек, с обожженными крыльями, кувыркается на поверхности стола. Это очень смешно.

* * *

(*Почерк Нинки.*) — Лелька! Как только вспомню, я начинаю злиться, и пропадает охота писать в этом дневнике. Беру с тебя слово комсомолки: никогда не проливать надо мною слез жалости и никогда не хныкать надо мною. Только в таком случае могу продолжать писать в этом дневнике.

* * *

(*Почерк Лельки.*) — Это было так, минутное. Конечно, больше никогда не повторится. А бросить писать дневник очень было бы жалко. И теперь его интересно перечитывать, когда мы еще дышим тем же воздухом, которым обвеян дневник. А лет через двадцать-тридцать, когда во всем мире будет коммунизм, когда новое бытие определит совершенно новое сознание, мы жадно перечитаем смешную и глупую сказку, какою покажется этот наш дневник. Будем удивляться и хохотать.

* * *

(*Почерк Нинки.*) — Я не понимаю маму: все-таки она была революционеркой. Как она может иметь общение с той беспартийной шпаной, которая забилась от октябрьского нашего вихря в щелки всяких художественных и краеведческих музеев? Вчера сидел у нее один такой, — корректный, «вы изволили сказать», только крахмального воротничка не хватало.

Рассказывал:

— Мы с женой тогда были еще женихом и невестой...

Я вытаращила глаза.

— Что такое значит — «жених и невеста»? Я не понимаю.

Он вежливо изумился.

— Не понимаете этих слов?

— Слова-то понимаю. Знаю, что в старые времена родители без ведома дочери сватали ее, за кого хотели, жених до свадьбы даже ее не знал, потому называлась «невеста». Но вот вы, например... Значит, вы любили друг друга и ждали — чего? Неужели, правда, так бывало и у интеллигентных людей, что сойдутся к ним знакомые, и им всем объявляют: сегодня ночью мы станем мужем и женою. Все пируют, поздравляют, а к ночи жених и невеста торжественно направляются в «брачный чертог» и там, с благословения родителей и с поздравлениями друзей, отдаются друг другу?

Я видела, его всего корежило, что я так просто говорю о таких «деликатных» вещах. Но видела еще, что он совсем растерялся и сам как будто в первый раз почувствовал нелепость того, что было раньше.

Эх, весело становится, сколько мы такого заплесневелого тряпья выбросили за борт нашей лодки, прыгающей с волны на волну к новой жизни!

* * *

(Почерк Лельки.) — С демонстрации 7 ноября. Я так устала, что завалилась на постель и продряхнула, не раздеваясь, до двенадцати ночи. Днем обегала все организации Хамовнического района¹² и не нашла Володьки Черновалова, хотя он был там, где я его искала, но очень быстро прошвырнулся. Глупо как-то у меня все выходит. Я измельчала за последнее время, только и думаю, как бы Володька от меня не ушел и как бы не догадался, что я к нему тянусь все сильнее. Собственно говоря, сказать по совести, я хочу любви, что ли, или — как она там называется? Не хочется говорить об этом, как-то паршиво, но что делать, Нинка? Пусть хоть ты знать будешь, к чему лежит моя душа. Эх, Нинка! У всех у нас одна болезнь — мальчишки. Глупо, когда живешь этим. И не по-комсомольски. Но что же делать? Вот я теперь подделалась под массу, не стою выше ее и ничем не отличаюсь от типичной комсомолки в красной косынке... Как странно у меня перебегают мысли: начала с парнишки, а кончила «человеком-массой». Нет, положительно, мне необходимо заняться математикой, ибо она систематизирует мысли, вырабатывает ясный ум. А я — дура, и хаос всегда в мыслях. Ничто и никто не заставит меня теперь относиться с уважением к себе. Когда-то было наоборот.

* * *

(*Почерк Нинки.*) — Смотрю вперед, и хочется четкости, ясности, определенности. Никакой слякоти внутри не должно остаться. Дико иметь «бледные, страдающие губы» из-за личных пустяков. Хотелось бы прочно стать на общественную дорогу, как следует учиться. Все так и смотрят на меня: «энергичная, боевая, с инициативой и неглупая, пойдет далеко». И нельзя заподозрить, какая большая во мне червоточина есть. Ну ладно, не скули, глупая, живи рационально.

* * *

(*Почерк Нинки.*) — 15 янв. 1927 г. Вечером с собрания шли большой толпой в общежитие. Шли переулками и пели. Любимая моя:

Ты гуляй, гуляй, мой конь,
Пока не поймаю;
Как поймаю, — зануздаю
Шелковой узду.

Было очень хорошо, мягкий морозец и тишина. Борька Ширкунов отозвал меня в сторону и спросил, соглашусь ли я быть курсовым комсомольским организатором. Для приличия я помолчала, «подумала» и сказала, что ничего не имею против, а сердце колотилось от радости за доверие ко мне. Присоединилась к ребятам, снова пела, но по-другому, как-то звончее.

Потом заспорили с Ленькой и Мишкой о бытовой этике и о безобразном отношении парней к девушкам. Пришли в общежитие. Разожгли в нашей комнате буржуйку (общежитие наше — старый деревянный дом, очень холодно). Стали пить чай, продолжали спорить, бузили, смеялись. В комнате нас пятеро: две комсомолки и трое беспартийных. Беспартийные были уже в постелях, лежали спиной к свету и спали. Вот тоже — жизнь! Позубрили учебники, потом сходили в кино или пофлиртовали в уголках с парнями — и спать. Никаких захватывающих интересов, никакого широкого товарищеского единения. Ах, милый мой комсомол! Помирать стану — и тогда буду вспоминать наши собрания, споры, дружную товарищескую спайку, это слияние разнообразных людей в один крепкий коллектив, горящий любовью к новой, никогда еще на земле не бывавшей жизни.

19 янв. — Состоялось курсовое комсомольское собрание, повестка дня:

1. Выборы курсорга.
2. Принятие в комсомол.

И вот я — курсорг! Но заместитель мой — Шерстобитов. Я о нем здесь один раз уже писала, — как он выступал, что нынешняя

молодежь не думает о поцелуях и лунных ночах, а думает только о социализме. Мое глубокое убеждение, что он носит маску. Так всегда выступает благородно и стопроцентно, что начинает подташнивать. Он — большой, басистый. Густой рыжеватый чуб мелководрявых волос свисает на лоб, а затылок красный и подбритый. Губы крупные; когда серьезны, то ничего, а усмехнется — сразу я чувствую, что пошлая душа и дурак, хотя говорит очень складно.

Ну что ж, Нинка! Помнишь, полгода назад ты говорила одному человеку, что надо срывать с людей маски? Теперь, по-видимому, представляется случай. Уж я его не упущу. Радостно чешутся руки.

Товарищ, сознайтесь: когда заходите в бюро, то сердце по-особенному начинает биться, и охватывает робость перед ребятами из бюро. Глупо и стыдно, но это так, и они мне кажутся особенными, «избранными». Как будто я не могу дорости до них!

23 янв. — При бюро ячейки было совещание курсовых организаторов, прорабатывали план работы на это полугодие. Хочется всю себя отдать организации. Был и Шерстобитов.

25-го. — Безобразно проходят у нас занятия политкружка. Шерстобитов ничего этого не замечал. Руковод, наверно, к занятиям совсем не готовится. Ребята тем более, в самых элементарных понятиях путаются. Руковод договорился до того, что у нас эксплуатация на государственных заводах! И это не уклон какой-нибудь, а просто безграмотность. Не мог объяснить разницу между прибавочным продуктом и прибавочной стоимостью. Приходится брать на занятия слово и исправлять чушь, которую он говорит.

28-го. — Говорила на бюро. Руковода сняли, а Шерстобитову дали нахлобучку, что ничего не замечал.

30-го. — Мне радостно работать в комсомоле, эгоистически хорошо. Радостно и потому, что на твоих глазах растет мощная организация смены старых бойцов,— но и потому, что, когда работаешь, шаг делается тверже, глаза смотрят прямее, и нет той глупой застенчивости перед активом, которая так меня всегда злит, и в то же время ничем ее из себя не выбьешь, если не работаешь. И еще: кипишь в деле, пробиваешься вперед,— и нет времени думать о том, что дымящаяся азотная кислотой непрерывно разъедает душу.

Мне очень нравится состав нашего бюро, под его руководством не пропадешь. Но один парень особенно,— Борька Ширкунов, который меня запрашивал, хочу ли в курсорги.

* * *

(Почерк Лельки.) — Все полно одним. Вот уже год все мысли во власти этого проклятого вопроса. И в конце концов — паршивая душевная трагедия, любовь без взаимности. Вначале было наоборот: ласки, дружба с его стороны. Я же рассуждала так: интеллигент, барский сынок, ничего комсомольского. Не такого я полюблю, а пролетария настоящего. Так я думала до осени 25-го года, пока

была активной занята работой, считалась боевой комсомолкой, вела ответственный кружок на фабрике, он же только вступил в нашу молодежную организацию. С моей стороны было пренебрежение, нехорошее интеллигентское снисхождение. Позволяла целовать и ласкать себя, но все время считала, что это все несерьезно, пока, так себе. И вот — Лелька за свое сволочное поведение получила возмездие. Парень меня любил, но время не терял. За эти полтора года из него выработался активный член комсомола, он учится в коммунистическом университете имени Свердлова, его уже знают и отмечают наши вожди. Я же — рядовая вузовка, отсталая комсомолка, мямля, ни к черту не годная. Вообще дрянь. Опустилась, настроение упало. Хочется читать Блока, Ахматову, Есенина.

* * *

(*Почерк Нинки.*) — Сiju вечером в аудитории, — должна была быть лекция по термодинамике; вдруг влетает Женька Ястребова, золотая копна волос чуть прикрыта платком. Настойчиво зовет меня в свое общежитие, причины не говорит. Пошли.

Еще на дворе были слышны пьяные голоса, звон посуды. Оказывается, у Шерстобитова в комнате пьянка. К нему я не пошла, сидела у Женьки. Мимо нас тяжело топали нетвердою поступью. Ребята рвало в коридоре, и они снова шли пить.

Вышла в коридор. Прислонившись к окну, стоит Темка Кириллов. Он — парень хороший, искренно преданный, но безвольный. Ребяческая рожа перекошена, чуб падает на бледный лоб. Я взяла его за шиворот, ввела в комнату.

— Неужели ты не видишь, с какой сволочью связался? Отправляйся сейчас же домой, выпишь, а завтра с тобой говорить буду. Или из комсомола вылететь захотел?

Парень послушался и ушел. В коридор вышел Шерстобитов с беспартийным парнем, и сквозь перегородку Женькиной комнаты нам слышен был разговор. Шерстобитов бил себя кулаком в грудь и орал басом:

— Я за Троцкого душу отдам!

А беспартийный ему доказывал правильность линии ЦК. Сценка на ять.

Вот мерзавец! А сам на собраниях распинается за генеральную линию и оппозиционеров кроет, да с такой руганью, что даже ребята его останавливают. Я вышла в коридор, поглядела внимательно на Шерстобитова и пошла домой.

10 февр. — Развила самую электрическую деятельность, подбирала материал о Шерстобитове, почти неделю только этим и была занята. Вот результат:

1. По карточкам получал мануфактуру и отцу в деревню посылал, а тот ею там спекулировал.

2. Жена Шерстобитова — дочь помещика, глупая, ограниченная

девчонка. Он над нею издевается, мучает, запугал совсем. Постоянно крутит с девчонками, а когда она пытается уйти, он угрожает: «Если уйдешь от меня, лишенной станешь, с голоду помрешь».

3. Дезорганизует общежитие, не несет дежурств, не соблюдает регламента, часто пьянствует в компании беспартийных и втягивает в это дело наших комсомольцев.

4. На собраниях против оппозиции, а в общежитии выступает против ЦК за оппозицию. Одно слово — двурушник. Тоже — очень любит говорить на собраниях о здоровом быте, а сам совсем разложился!

12 февр. — Здорово сегодня на бюро поспорили с Борисом Ширкуновым. Я считаю неправильным, что так много ребят на вузовской работе. Нужно больше посылать на вневузовскую работу, в производственные ячейки, особенно на пропагандистскую работу. И без того разверстку райкома еле-еле выполнили. Всё себя обслуживаем, а обслужить никак не можем. Много у нас не работы, а суеты и видимости одной.

Вот так всегда, какой бы вопрос мы ни затронули: Борис — на одной стороне, я — на другой. А домой шли миролюбиво, беседовали. Чем он мне нравится? Что у него лицо серьезное и решительное, — такие лица бывают только у людей, твердо делающих ответственное дело. С нами была и Женька. Я Борису все рассказала про Шерстобитова, Женька мне поддакивала. Борис с очень серьезным лицом мне посоветовал выступить на собрании: послезавтра совместное с бюро собрание курсовых организаторов. Но, кажется, в этом вопросе он не особенно мне доверяет. Ну и пускай, очень мне он нужен! Пойду на бой одна.

14 февр. — На собрании я выступила, рядом сидел Шерстобитов. Внутри я очень волновалась, но, кажется, говорила вполне спокойно. Только, по словам Женьки, губы стали очень бледные. Рассказала, как плохо бюро осведомлено о работе курсовых коллективов, какую чепуху несет в нашем коллективе руковод политкружка. Коснулась и бытового разложения Шерстобитова. Женька уверяет, — говорила очень твердо и умно.

Кончила. Ребята глядят по сторонам и молчат. Председатель помолчал, не предложил никому высказаться по поднятому мною вопросу и перешел к следующему пункту повестки.

Единственная реакция — молчание. Та-ак! Ну, не на такую напали. Что ж, пусть вызовут в бюро, пусть назначат расследование. Я от своего не отступлюсь.

18 февр. — В бюро еще не вызывали. Я туда не хожу сама. Бориса эти дни не видала. Но совершенно ясно: не сдамся ни за что.

23 февр. — Пошла в бюро. Сидел один Борис. Я спросила, почему бюро никак не реагировало на мое выступление. Он мнетя, чего-то не договаривает. Не доверяют? Я категорически, самым резким образом сказала, что требую расследования, так как за свои слова отвечаю и от них не отказываюсь.

1 марта.— Вчера вызывали Шерстобитова на бюро, он все отрицал, но Темка и другие ребята на мои ловкие вопросы понемногу рассказали все его художества. На следующий день, то есть сегодня, хотели вызвать жену Шерстобитова и сказали ему это. Он вылетел бомбой из бюро, побежал домой, повесил петлю на гвоздь и хотел вешаться; так застала его жена, войдя из кухни. Тогда он с кухонным ножом выскочил на двор, но поцарапал слегка руку и бросил нож.

Ну, что, Нинка? Он плохой комсомолец, даже просто мерзавец, но — спокойно ли у тебя на душе, когда, может быть, вот в эту сейчас минуту он режется или вешается, и ты — косвенная тому причина? Конечно, вполне спокойно! Что за интеллигентский гуманизм!

2 марта.— Трагедия превратилась в комедию. Ребята из бюро мне рассказывали, что все это Шерстобитов разыграл нарочно, чтобы запугать жену, и чтоб она о нем ничего не рассказывала в бюро. Но она под напором ребят много рассказала о нем, даже чего я не подозревала.

Теперь бюро поняло, что я была права, никаких личных счетов не было у меня с Шерстобитовым, да он и сам подтвердил.

А Борис, свинья, только сегодня мне сознался, что подозревал личные счета.

5 марта.— Было собрание. Сухо и сдержанно Борис информировал от имени бюро, что ввиду бытового разложения и политической невыдержанности Шерстобитов снят с работы и его дело передано в РКК, и предложил избрать нового заморга. Ребята, друзья Шерстобитова, попробовали бузить, требовали доказательств, но Борис им ответил, что дело, идущее через РКК, может коллективом не обсуждаться.

Итак, в борьбе победила я. Маска сорвана и, растоптанная, валяется на земле. А — — — кто сорвет маску с меня?

* * *

(*Почерк Лельки.*) — Прочла, что ты тут записала за полтора месяца. К-а-к с-к-у-ч-н-о! Неужели тебе интересно тратить силы и нервы на такие пустяки? А мне сейчас все — все равно. Не хочется даже писать в этом дневнике.

Сегодня прочла стихи Ходасевича «Счастливый домик». Выписываю пять стихов:

В тихом сердце — едкий пепел,
В темной чаше — тихий сон.
Кто из темной чаши не пил,
Если в сердце — едкий пепел,
Если в чаше — тихий сон?

* * *

(*Почерк Нинки.*) — Я торжествую! Вчера после лекции ребята давали мне характеристику. Борис заявил, что у меня, как он убедился, «большой интеллект», а «в бытовой этике я настоящая жен-

щина-коммунистка». Лелька, что скажешь на это? Ведь *мне* говорят! Той, у которой сплетены тесно романтизм и реализм, идеализм и материализм. Что бы сказали они, если бы услышали наши разговорчики о «символе лестницы»? Разве не я тоскую по сухим зауральским степям? Как я рада, что все это внешне не выплывает. Знаешь ведь ты, как раньше приходилось за собой следить, чтобы даже в мелочах не проявилась романтика, а теперь даже следить не приходится: внешняя форма образовалась и окрепла. Что касается внутреннего содержания, то меняется и оно, только более болезненно.

А все-таки я осталась очень глупой!

* * *

(*Отдельный красный дневничок. Почерк Нинки.*) — Я его любила глубоко, но всегда говорила, что не люблю. А он всегда говорил, что любит меня, и не любил. Было поверхностное отношение, к моим переживаниям не относился серьезно, а мне так нужен был его товарищеский отклик друга и закаленного революционера.

Помнишь ли ты меня, Марк, или таких много дурочек, которые идут на ласку, как рыбка на приманку? Вот вечный вопрос. Кто бы ответил на него, я много бы дала. Кончено. Большая черная точка. Хорошо еще, что нагрузка в сто процентов не дает времени на размышление.

* * *

(*Общий дневник. Почерк Нинки.*) — Меня выдвинули ребята в секретари предметной комиссии. Много предстоит борьбы с реакционной профессурой.

* * *

(*Почерк Лельки.*) — Нинка! Мне скучно! Мне неинтересно стало жить. Хочется хоть пошарлатанить по-настоящему. Вот что было.

Позвонили из райкома в наш агитпропколлектив — прислать докладчика о новом быте на завод «Красный молот». Назначили меня, зашла в райком, взяла путевку. Целый день работала в химической лаборатории. Вечером села писать тезисы к докладу. Было самое несерьезное отношение к нему. Говорить о новом быте, а у самой цельного взгляда не выработалось. И разве можно легко выработать его в такой сложной и запутанной обстановке? Да еще задевать о любви, все брать в рациональном духе, подводить экономику, когда я тут и в самой себе не могу разобраться и не могу понять, почему так глупо проходит у меня моя любовь. Разве не смешно?

Зашла Нюрка Лукашева, принесла первую часть «Основ электричества» Греча. Собирались сесть вместе заниматься, но обеим

что-то не хотелось. Решили выпить. Нюрка принесла бутылку портвейна, мы ее распили, легли с ней на кровать. Я начала ее «поучать». Говорила, что нет любви, а есть половая потребность. Она огорченно смотрела своими наивными голубыми глазами, тяжело было меня слушать, хочется ей другой, «чистой» любви. Я смеялась и говорила: «Какая чушь! Можно ли быть комсомолке такой идеалисткой?»

Вдруг вспомнила, ударила себя по лбу:

— А тезисы-то! Совсем про них забыла!

Села к столу и тут же написала тезисы к завтрашнему докладу.

Следующий вечер. Клубный зал полон парней и девчат, я заходила на собрание, зачитывали анкеты, кончили и дали мне слово. Полилась речь уверенная и яркая, подводила экономику, материализм и проч., и проч. Направо сидел секретарь и записывал речь, налево председатель пускал иногда одобрительные реплики, внимательно слушает аудитория. Кончился доклад, полились записки. Потом прения. Прошибла ребят, — жажнут они путей новой жизни. А мне в заключительном слове вот что хотелось сказать: «Послушайте, ребята, я ведь это несерьезно, ведь я смеюсь над вами, тезисы пьяная писала; это было очень легко, потому что тут ничего не было моего собственного, я говорила то, что пишут другие. А своих мыслей у меня еще нет, как и у вас. Разорвите протокол, и давайте начнем с начала, давайте собственными мозгами попытаемся поискать путей нового быта».

Хотелось домой идти одной, но пришлось идти с ребятами, и по дороге спорила, что-то доказывала, горячилась. А потом, дома, было на душе очень грустно, и даже немножко поплакала в подушку, когда все в квартире заснуло. Должно быть, чтобы быть великим шарлатаном, нужно иметь в душе великую грусть.

* * *

(*Почерк Нинки.*) — Здорово, Лелька! У меня начал чесаться язык тоже сделать хорошенький какой-нибудь доклад, например о рациональном отношении к жизни или о том, что комсомолец ни в чем никогда не имеет права ошибаться и обо всем должен думать точно так, как думал Ленин.

* * *

(*Почерк Лельки.*) — У меня иногда кружится голова, как будто смотришь с крыши восьмизэтажного дома на мостовую. Иногда берет ужас. Нинка, куда мы идем? Ведь зайдем мы туда, откуда не будет выхода. И останется одно — ликвидировать себя.

* * *

(*Почерк Нинки.*) — Очень возможно. Не знаю, как ты, а когда я пишу в этом дневнике, мне кажется, что я пишу свое посмертное письмо, только не знаю, скоро ли покончу с собой. А быть может, и останусь жить, ибо не кончила своих экспериментов над жизнью.

* * *

(Почерк Лельки.) — Знаешь, что? Во всяком случае, раньше нам обязательно еще нужно будет с тобой иметь по ребенку. Это тоже ужасно интересно. Как прижимается к тебе крохотное тельце, как нежные губки сосут тебе грудь. И это испытанием, а тогда убьем себя.

* * *

(Почерк Нинки.) — Да, это тоже очень интересно.

* * *

(Почерк Лельки.) — Мне кажется, комсомол (говорю только о нем, потому что его лучше знаю) идет сейчас по очень узкой дороге — по темному ущелью или по лесной тропе. Без широких далей и без размаха для взгляда. Нет того, что зажигало бы изнутри, от чего бы душа замирала и рвалась вширь, как было с поколением, которое было перед нами,— счастливым поколением гражданской войны и великих дел. Какой-то душевный термидор. Теперь, в сущности, нам говорят: «Исполни добросовестно свое дело, в этом всё. Рабочий — работай, крестьянин — паши землю, служащий — служи, учащийся — учись. Только в свободное время обязательно занимайся политграмотой».

В этом роде вчера с насмешкой говорила мама и спрашивала с злыми глазами (тогда она их выкатывает, и они у нее делаются огромные),— спрашивала:

— Какие же вы революционеры? Вы типичнейшие культурники, делатели малых дел.

Я, конечно, возражала очень иронически, а в душе с нею соглашалась, хотя это было неприятно. Нельзя не признаться, что у нас сейчас полоса, когда очень много зажигательных фраз и очень мало зажигательных дел. Десятилетние ребята-пионеры грозно поют:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем!

А весь пожар — в барабанном бое да в красных галстучках. Ха! Хе.

В вузовских ячейках у нас темы для докладов высасываются из пальца — о НОТе, о быте. А яркого проявления жизни организации на собраниях не бывает. Основная работа — политпросветительная. Это то же самое, что оттачивать для боя шашки и чистить винтовки. Очень хорошо и полезно. Но тогда, когда все это
Д-Л-Я Ч-Е-Г-О - Т-О!

Диспуты у нас все больше — о половых проблемах, и молодежь валом на них валит. У нас вот с тобой — личные неудачи в сердечных делах, и мы стараемся пристально не смотреть друг другу

в глаза, чтобы не прочесть в них отчаяния. А стоят ли его эти неудачи?

Я думаю, если в ближайшие годы перед нами, комсомольской молодежи,— да и вообще перед партией,— не вспыхнет близко впереди яркая, огнебрызжащая цель, не раздвинется наша узкая дорога в широкий, творческий путь, то мы начнем понемножку загнивать и расползаться по всем суставам.

Ты не думаешь, Нинка, что и все наше шарлатанство, пожалуй,— симптом этого начинающегося загнивания?

* * *

(*Почерк Нинки.*) — Право, не знаю. Но мне не нравится, что ты этим сводишь все наше шарлатанство на какой-то «симптом». Тогда им совсем неинтересно заниматься. Я на него смотрю серьезнее.

* * *

(*Почерк Лельки.*) — Ездил с Нинкой за Сокольники, познакомилась с Басей Броннер. Она произвела на меня очень сильное впечатление. Только мне было неловко с ней, почему она ко мне хорошо относится, этого я не понимаю, ведь даже себе я противна. Вот она,— прямой, твердый взгляд, идет по определенному, верному пути... Смешно — в двадцать лет не уметь выработать себе непоколебимых убеждений и твердо стать на ноги. Когда ехала домой, ужасно хотелось перерезать себе горло, только комсомольская этика мешает, а я уже ярко себе представила это большое, абсолютно тихое «ничего».

Вообще я думаю дать себе сроку один год; если в этот год я не стану вполне комсомолкой, то покончу вообще, оставляя надежду испривиться. Теперь или никогда,— это ясно.

* * *

(*Почерк Лельки.*) — Полно, глупая Лелька, ты взвалила на свои плечи непосильную тяжесть. Не тебе быть великим шарлатаном. Вся душа кричит против. А поэтому я твердо решила повернуть руль в другую сторону и стать действительно борцом за коммунизм, воспитать себя не шарлатанкой, а идейным человеком; для этого нужно не искать новых путей, а идти по указанной дороге, каждый поступок рассматривать с марксистской точки зрения. Много придется поработать над собою, но думаю, что сумею заглушить в себе голос великого шарлатана.

Для чего все это делаю,— почему больше не буду шлаться по «неизведанным тропинкам», а пойду бодрим, деловым шагом по пути к коммунизму? Конечно, не интеллигентский альтруизм ведет меня и не классовый инстинкт,— горе мое и мое проклятие, что я не роди-

лась пролетаркой,— ведет просто чувство самосохранения. Раз ноша, которую я взвалила на плечи, слишком тяжела, я беру ношу полегче: ведь от первой ноши так легко надорваться и уйти к предкам.

* * *

(*Почерк Лельки.*) — Был дождь, кругом лужи, и шумят листьями деревья, я стою и думаю: идти ли к ним, к товарищам, к стойким, светлым коммунистам? Была грусть сильнее, чем когда бы то ни было, хотелось умереть, и думала, что иду прощаться. Все-таки пошла к ним, было хорошо от их привета и участия, однако же губы иногда нервно подергивались.

Когда уходила, они пошли меня провожать до трамвайной остановки. А когда повернулись и пошли домой, крепкие, стойкие, три кожаные курточки, то у меня задержались брови, сжались зубы, я решила: буду идти по тому пути, чтобы стать кожаной курточкой. Это — твердое решение, это — резкий перелом.

Решила сделать на днях одну вещь.

* * *

(*Почерк Нинки.*) — Сейчас мы с Борисом Ширкуновым завариваем в предметной комиссии очень крутую кашу,— посмотрим, как-то ее расхлебает наша правая профессура! Положение такое. Освободилась кафедра металлургии. Профессура выдвинула кандидатом Красноярова,— крупный ученый, но далекий от общественности и индивидуалист, враг коллективной работы. Наша студфракция наметила Яснопольского; он тоже ученый с именем, хотя и не с таким, конечно, как Краснояров, но главное — общественник, член горсовета, свой парень. Важно добиться его согласия: материально наша кафедра его не устраивает,— в Харькове он много еще зарабатывает в качестве консультанта, поэтому колеблется переезжать в Москву. Ждем окончательного его ответа, а пока всячески волюним и дезорганизуем заседания комиссии. Профессора злятся, а я и Борька сидим с невинными лицами и удивляемся: мы-то тут при чем? Объективные причины!

* * *

(*Почерк Лельки.*) — Сделала что хотела. Отвезла этот дневник и попросила Басю внимательно его прочесть. Сегодня весь вечер мы с ней ходили по лесу и говорили.

Она верно определила все наши писания: интеллигентщина и упадочничество. Очень резко отзывалась о Нинке: глубочайший анархизм мелкобуржуазного характера, ей не комсомолкой быть и ленинкой, а мистической блоковской девицей с тоскующими глазами. Про меня говорила мягче: споткнулась на ровном месте,

о такую ничтожную спичку, как неудачная любовь, но есть в душе здоровый революционный инстинкт, он меня выведет на дорогу.

Над всем этим надо подумать.

* * *

(*Почерк Нинки.*) — Свинья, что без спроса дала Басе наш дневник. Следовало раньше спросить меня. Ну, да наплевать.

Неужели на тебя произвели какое-нибудь впечатление речи Баси? Так просто можно тонкие и сложные переживания охарактеризовать парой самых истрепанных слов! А во мне это только легкую тошноту вызвало, как очень приевшееся кушание. Что ж ты, не знала раньше сама, что это припечатывается словами «упадочничество» и «интеллигентщина»?

* * *

(*Из красного дневничка. Почерк Нинки.*) — Так сильно когда-то хотелось получить от тебя весточку, Марк, как я нужна тебе. И вот через год передо мной твое письмо, ласковое, дружеское, и слова: «Нина, милая, прости!»

Глупый, за что прощать? За то, что я была странной, порывистой, наивной и самоуверенной девчонкой, за то, что много во мне было нежности, грусти и искания, а ты ко мне подошел для поцелуев, может быть, только для них? Марк, Марк, ведь я от унижения была больна, был испорчен весь год. Марк, за что? И сейчас такая тупость, такая мучительная усталость от людей. И боязнь таких, как ты. Милый, может быть, даже любимый, я скоро тихо и незаметно уйду от жизни, ведь так противно в девятнадцать лет чувствовать усталость. Ну, что же тебе ответить? Я согласна, приезжай за мной в общежитие, мы будем с тобой бродить по переулкам и берегу Москвы-реки и хорошо, просто говорить. Марк, скажи мне,— за что?

Вот уже год, как я не видала тебя, не отвечала на твои письма, целый год я старалась побороть себя, и поборола, правда. Когда я увижу тебя, когда твои губы протянутся для поцелуев, опять в груди у меня начнет что-то трепетать, опять голова закружится, но все это будет происходить в глубине, а внешне я имею настолько сил, что просто протяну тебе руку, и мы будем говорить о твоей жизни, о твоих переживаниях, но ни слова уже не скажем ни обо мне, ни о нашей «любви».

СТРАСТЬ МНЕ НЕ НУЖНА.

Она мне представляется в виде широко открытых глаз, влажных губ и порывистого дыхания. Знай же, твою страсть я презираю, больше никогда не повторится то, что было, я стала другой.

Прощай!

(Я никогда тебя не любила; была ли страсть,— и то можно сомневаться,— была распушенность и любопытство к неизвестному.)

Мне хочется сказать себе: милая Нинка, пошарлатанила, похулиганила, и хватит,— твоя миссия на этом свете кончена. Пора переходить в другой мир, в мир безмолвия и тишины. Все равно я никогда не отделаюсь от шарлатанства и экспериментирования; сколько ни борюсь с собой, всегда люди, отлитые по одной общей форме, будут вызывать во мне тошноту.

(Под этим нарисована широкая и красивая виньетка; видно, рука долго и старательно работала над нею.)

ПРИДИ, Я ЖДУ ТЕБЯ!

17 ноября 1927 г.

1 час ночи.

Не верь, что было сказано раньше.

* * *

Долго ходили по берегу Москвы-реки и по снежным краснопресненским переулкам комсомолка с двумя толстыми косами по плечам и военный с тремя ромбами на лацканах. Военный раздраженно кусал губы.

— Нинка, что с тобой? Как будто ледяная стена между нами, я стучусь и никак не могу до тебя достучаться. Конечно, я был тогда груб и нечуток. Но неужели ты так злопамятна?

Комсомолка удивленно и невинно подняла брови.

— Почему тебе это так кажется? А я думала, что мы сейчас очень хорошо и задушевно поговорили с тобой.

Военный капризно выдернул руку из-под локтя комсомолки.

— Ну, прощай. Снежная какая-то кукла, а не живой человек. Увидимся еще. Может быть, будешь тогда другая.

Она с равнодушным радушием ответила:

— Ты знаешь, что я всегда тебе рада.

Он в бешенстве закусил губы и пошел прочь.

* * *

(Из красного дневничка.) — Думала, что смогу говорить с ним задушевно. Но как только увидела, такое горячее волнение охватило, так жадно и горестно потянуло к нему, так захотелось взять его милые руки и прижать к горящим щекам... Не нужно было нам встречаться.

Это ничего, что много мук

Приносят изломанные и лживые жесты.

В грозы, в бури, в житейскую стынь.

При тяжелых утратах, и когда тебе грустно,

Казаться улыбчивым и простым —

Самое высшее в мире искусство.

С. Есенин.

(Общий дневник. Почерк Нинки.) — Вдруг телеграмма из Харькова от профессора Яснопольского: «Согласен выставить свою кандидатуру». К Борису. Быстро выработали план действий. Теперь не зевать, сразу ахнуть выборы и прекратить прием дальнейших заявлений. Собрали студфракцию. Постановлено: обязательна стопроцентная явка на выборы. «Да ведь Левка и Андрей больны!» — «Под их видом пусть другие ребята». — «Да разве можно?» — «А профессора нас всех в лицо знают?» — «Ха-ха-ха-ха! Здрóрово!»

Настоящая классовая борьба. Наша сила — что мы действуем организованно и все, как один. А профессора идут врозь. Даже не догадались, что всем до одного нужно бы прийти на выборы и дать бой за своего кандидата.

Открывается заседание. Ура! Бесспорнейшее наше большинство, сразу видно; да еще два профессора за нас, «сочувствующие». Те выходят из себя: тянули, тянули, а тут вдруг сейчас же выборы! Я встаю, не дрогнув бровью, заявляю:

— Раньше мешали разного рода объективные причины, теперь их нет, а дело стоит, кафедра пустует. До каких же пор, в угоду товарищам профессорам, мы будем тянуть волюнку?

Обсуждение кандидатов. Серьезных только два: ихний, Краснояр, и наш, Яснопольский.

Темка встает и провокационно:

— Краснояр был членом ЦК кадетской партии.

Профессор Дьяченко в бешенстве вскочил:

— Это неправда. Членом ЦК он никогда не был!

— А значит — вообще кадетом был?

— Вообще... Э-э... Я почему знаю!

— А-а-а! А что членом ЦК не был, знаете! И притом, говорят, у него было имение в две тысячи десятин.

Профессора в недоумении пожимают плечами.

— Речь идет о металлургии. При чем тут, был ли он кадетом, и какое у него было имение? Была у него только дачка под Москвой.

Наши загоготали.

— Го-го! Дачка! Здрóрово!

Провели мы Яснопольского.

После выборов зашла в столовку пообедать. Против меня сел профессор Вертгейм. Спросил стакан чаю, вынул завернутый бутерброд, стал закусывать. Ласково поглядел на меня, заговорил о выборах. Волнуется.

— Зачем такая беспринципность?

Я гляжу дурочкой.

— Какая беспринципность, о чем вы говорите?

— Ведь ясно, вы тянули нарочно, пока не получили согласия Яснопольского.

— Ничего подобного! Объективные причины.

— И потом, для чего это обливание противников грязью? Я понимаю — борьба; вы ее даже считаете политической. Но неужели для нее неизбежны те нечистые средства, к которым прибегаете вы?

— Какие нечистые средства?

— Извините, но ведь в данных условиях говорить о дачках и о кадетстве ученого,— для чего это? Разве *этим* определяется его пригодность к научной и преподавательской деятельности?

— Ах, вы вот о чем...

Держалась я все время на высоте. Так мы и расстались: он — с полным убеждением, что говорил с твердокаменной комсомолкой, я — с гордостью, что так великолепно провела роль.

* * *

(*Почерк Лельки.*) — Роль? Это только была — роль? А вправду ты что же, согласна с этим профессором?

Нинка! Я давно хотела тебе сказать. Положительно, ты оказываешь на меня разлагающее влияние. Я старше тебя, я чувствую, что умею влиять на людей и организовывать их, но с тобою невольно поддаюсь твоим настроениям и мыслям. Это, в конце концов, даже обидно для моего самолюбия.

Когда общаюсь с тобой, мне хочется шарлатанства, озорства, «свободы мысли». И всею душою я отдыхаю с Басей. Поговоришь с нею,— и как будто воздух кругом становится чистым и свежим. Вообще меня вуз не удовлетворяет. Эх, не наплевать ли мне на все вузы и не уйти ли на производство? Там непосредственно буду соприкасаться с живыми силами пролетариата. Бася меня устроит.

* * *

(*Красный дневничок. Почерк Нинки.*) — Вчера была грусть. Вместо того чтобы пойти на лекцию, ходила в темноте по трамвайным путям и плакала о том, что есть комсомол, партия, рациональная жизнь, материалистический подход к вещам, а я тянусь быть шарлатаном-факиром, который показывает фокусы в убогом дощатом театре.

Я нищая, которая позвякивает медяками в рваном кармане и говорит, что там золото. Ну, не комична ли жизнь? Я изломанный куст, стою и качаюсь от ветра, я су-ма-сшед-ше одинока, кому повем печаль мою? — никому. Пусть лгут глаза, лгут губы, пусть ясная голова на теоретической основе строит свое счастье. А в горячее сердце бьется пепел сожженных переживаний прошлого года. «Пепел стучится в мое сердце». *Де-Костер* («Тиль Уленшпигель»). Я не отношусь к своей жизни серьезно, я пробую, экспериментирую и рада хоть маленькому кусочку счастья.

Запишу уже и вот что. С Борисом кончилось — увы! — как со всеми. Я думала, он сумеет удержаться на товарищеской высоте. Но, видно, не по силам это парням. Только что завяжешь товарищеские отношения,— лезут целоваться.

Была с ним в театре. Дразнила свою чувственность тем, что прижалась к его щеке своей щекой, он обнял меня, и так стояли мы в глубине темной ложи. Чудак он, — нерешительный, робкий, опыта, должно быть, мало имеет. Может быть, думает, что люблю его. Нет, Боря, уж очень мне жизнь большие уроки преподносила, отдавалась я непосредственно, вся, а взамен получала другое. Ну, а теперь и я испортилась: нет непосредственности, взвешиваю и наблюдаю за собой, а любви нет.

Кто любил, уж тот любить не может,
Кто сгорел, того не подождешь.

С. Есенин.

Глупый, а ты заговорил даже — о женитьбе. Это чепуха, я за тебя не «выйду» (мерзкое слово). Ну, а целоваться иногда можно, но при условии, чтобы ты на это серьезно не смотрел.

Конкретно: я так много страдала из-за любви, что чувствую необходимость, чтобы за меня тоже страдали, вот выпал жребий на Бориса.

* * *

(Общий дневник. Почерк Нинки.) — Месяц прошел, и ни одна из нас не раскрывала этого дневника. Должно быть, он начинает себя изживать, и мы понемножку друг от друга отходим.

Как сильно я изменилась за это время! Хорошо подошла к ребятам в ячейке, и это была не игра, — действительно, и внутри у меня была простота и глубокая серьезность. Нинка, ты ли это со своим шарлатанством и воинствующим индивидуализмом? Нет, не ты, сейчас растет другая, — комсомолка, а прежняя умирает. Я недурно вела комсомольскую работу и чувствую удовлетворенность.

Шла из ячейки и много думала. Да, тяжелые годы и шквал революции сделали из меня совсем приличного человека, я сроднилась с пролетариатом через комсомол и не мыслю себя как одиночку. Меня нет, есть *мы*; когда думаю о своей судьбе, то сейчас же думаю и о судьбе развития СССР. Рост СССР — мой рост, тяжелые минуты СССР — мои тяжелые минуты. И если мне говорят о каких-нибудь недочетах в лавках, в быту, то я так чувствую, точно это моя вина, что не все у нас хорошо.

Но — я не хочу, чтобы вы видели складку горечи у моих губ, моя гордость запрещает ее показывать. Мои милые товарищи-пролетарии! Все-таки трудно интеллигенту обломать себя, перестроиться, тщательно очиститься от всякой скверны и идти в ногу с лучшими партийцами. Нет-нет, да и споткнусь, а то и упаду, а потом встану и иду снова. Кто посмеет сказать, что я не двигаюсь? Продолжайте верить в меня как в сильную, трудоспособную ленинку, а вот цену всему этому вы не узнаете.

ОСОБО НЕРВНЫМ ЛЮДЯМ
ВХОД ЗАПРЕЩЕН!

* * *

(*Почерк Лельки.*) — Как все это уже становится далеко от меня! Как будто сон какой-то отлетает от мозга, в душе крепнут решения...

Мой тебе совет, Нинка: наметь себе конкретные задачи, вернее — цели, к которым ты будешь стремиться,— хотя бы в продолжение года. Не старайся быть «великим», будь такую, как все. Я уверена, что ленинский дух в тебе достаточно силен, вылечишься от «детской болезни левизны», и все пойдет «как надоть». Еще одно желание: никогда не ищи одиночества, будь всегда среди массы, в среде хороших пролетарских ребят. Порви, если знаешься, с ненашей, беспартийной молодежью. Последнее — полюби хорошего рабочего-пролетария с одного из московских заводов,— и залог победы у тебя.

* * *

(*Почерк Нинки.*) — К-а-к-о-й т-о-н! Милая тетушка, тронута до дна души вашими поучениями.

Скромное примите поздравление,
Тетушка, с днем ангела от нас!

Обязательно постараюсь последовать вашим мудрым советам.

* * *

(*Почерк Лельки.*) — Не умно.

* * *

(*Почерк Лельки.*) — Ну,
РЕШИЛА ОКОНЧАТЕЛЬНО!

Ухожу на производство. С осени поступаю на резиновый завод «Красный витезь», где Бася. Почему я ухожу из вуза? Скажу прямо: бытие определяет сознание. А в постановке нынешнего студенческого «бытия» что-то есть очень ненормальное: даже бывшие рабочие ребята, коренные пролетарии, постепенно перерабатываются в типичнейших интеллигентов. Как-то должны перестроиться вузы, неотрывнее связаться с производством. О себе же я прямо чувствую: если не соприкоснусь с живой пролетарской стихией, если не очутюсь в кипящей гуще здоровой заводской общественности, то совершенно разложусь, погибну в интеллигентском самоковырянии и в порывах к беспринципному, анархическому индивидуализму, который гордо, как Нинка, буду именовать «свободой».

Это — основная причина. А был еще повод. Что ж, не буду скрываться. На съезде встретила с Володькой Черноваловым, обрадовалась ему, не скрывая; после заседания затащила к себе. С болью

чувствовала: еще горит в нем пламя ко мне, глаза еще смотрят с лаской и страданием,— но уже не так высоко полыхает пламя, и чувствуется, что освобождается он от меня. И вот, когда я это последнее почувствовала, я вдруг стала робкой, как девочка-подросток. Нужно было именно теперь, чтобы он стал дерзок, предприимчив. Но этого не случилось. Должно быть, слишком больно и горько он помнит о том «подавании», которое я ему когда-то протянула, подставив лоб под прощальный поцелуй... Я опять отъехала куда-то совсем в сторону. Ну так вот: он мне много и с упоением рассказывал о своей работе на Украине,— видимо, весь горит в ней. А потом, мешая ложечкой чай, спросил с серьезной любознательностью,— но я под нею почувствовала легкое пренебрежение,— спросил:

— Ну, а ты что? Всё — учишься?

Скоро, Володя, скоро я встречу с тобою твердой и выдержанной ленинкой, достойной стоять в рядах пролетариев,— тогда и говорить мы с тобою начнем иначе, и... и, может быть, опять любим друг друга, уж по-настоящему, как равноправные товарищипартийцы.

* * *

(*Красный дневничок. Почерк Нинки.*) — Буду писать откровенно, как уж не могу писать в общем дневнике. Вот Лелька за несколько месяцев обкорнать себя успела; или она другая натура, или... И сейчас она много играет, в надежде, что вскоре игра воплотится в жизнь. Лелька обкорнала себя окончательно, я еще не совсем, но в значительной мере становлюсь куцой. Вот я уже не тоскую, «не стремятся к дымке все мои мечты», мало шарлатаню, все более и более уважаю «ту» идеологию. Довольна ли я? Нет. Чтоб оставаться с тем взглядом на жизнь, какой у меня есть, нужно быть почти сверхчеловеком, а я только — глупая комсомолка, напрасно ждавшая от людей ответов не таких, какие можно купить за пять копеек в любом книжном киоске. Был один, до сих пор неизменно любимый. Он поманил сладким ответом о праве ищущего человека ошибаться и возникать на собственный манер. Но оказалось, это были безответственно брошенные на ветер слова, а нужны ему были только свежие поцелуи девочки.

Хорошо бы — поплакать, и легче станет. У меня слез нет и не будет. Когда-то был сильный пожар и высушил лужицу до дна, теперь сухо. К черту!

* * *

(*Общий дневник. Почерк Лельки.*) — Как легко стало дышать, как весело стало кругом, как радостно смотрю в синие глаза идущего лета! Окончательно — даешь завод! В августе этого 1928 года я — работница галошного цеха завода «Красный витязь». Прощай, вуз, прощай, интеллигентщина, прощай, самоковыряние, нытье и игра в

шарлатанство! Только тебе, Нинка, не говорю «прощай». Тебя я все-таки очень люблю. Некоммунистического во мне теперь осталось только — ты.

* * *

(Почерк Нинки.) — Вот уж как! «Некоммунистического»... Что ж, Лелька, исключай меня из партии, оставайся коммунисткой, как ты понимаешь это слово. А я пойду в дорогу одна, буду тосковать, буду биться головой об стену, но прошибу ее, найду «мой коммунизм». Да, Леля, и я приду к компартии, но приду позже тебя, постучусь в другую дверь, но, право же, буду богаче тебя, я не убью искусственно, как ты, живую мою «душу». Сначала мы шли вместе, я и ты, обе убивали в себе все многое, как ты знаешь это так же хорошо, как я. Во мне много еще шарлатанства, но оно отходит от меня, и я знаю, — я его изживу. Однако, во всяком случае, если я не смогу почему-нибудь идти по своему пути, — знай, Лелька, я убью себя скорей, чем перейду на твой. Он мне чужд, неприятен.

* * *

(Почерк Нинки.) — Август месяц. В жизни Лельки большой перелом, — бросила вуз, поступила на завод.

Да. Вот. У нас с Лелькой появился «идеологический уклон». Они бывают оттого, что человек попал в несоответствующую обстановку, поэтому ему нужно создать другую, более «здоровую» среду. А потом — бытие определяет сознание. Ну, например, у человека появляются взгляды, не соответствующие партийцу, или просто даже настроения. Он, как Лелька, уходит на производство и там получает то, что ему нужно. Как с-м-е-ш-н-о! Неужели жизнь и среда — парикмахеры, которые сидят в разных комнатах, и вот человек, который хочет свою «душу» подстричь известным образом, идет к определенному парикмахеру. «Бриться пожалуйста». Часто бритье бывает с болью, иногда люди наиболее «слабые» не выдерживают и уходят от жизни, ведь «несчастные случаи» так часто бывают.

В чем моя неугасающая боль? В том, что я не получила окраски своей среды, в том, что внешне я, может быть, и подхожу, но не дальше, и не могу я срастись с ними, н-е м-о-г-у. Хочу, сильно хочу, и не могу. И я хожу иногда к парикмахеру, только это меня оскорбляет, иногда просто хочется разразиться безудержным смехом: «Ах, если я по этому вопросу думаю не так, как нужно комсомолке, так ведите скорее к парикмахеру, и я начну думать по-другому».

Эх, найти бы мне великого шарлатана и скептика, разучиться так жгуче тосковать и — заплечный мешок, короткая юбка, курточка, в карманы которой так удобно засовывать руки, и идти по широким путям и нехоженым тропинкам, рассматривать жизнь и людей, а главное — научиться смеяться весело и задорно.

Но этого я никогда не сделаю, все-таки среда в меня кое-что вло-

жила, и вот в этой среде я буду тосковать о свободной и дикой воле, а если уйду шарлатанить, то будет тяжело, что я не строитель жизни, потому что я страстно рвусь строить жизнь. Какой выход? Окончательно обкорнать себя, как Лелька, я не могу. Умереть? Жаль ведь, жизнь так интересна! Уйти в другую среду? Н-и-к-о-г-д-а! Все-таки эта среда — лучшая из лучших. Вот и тяжело мне.

* * *

(*Почерк Лельки.*) — Если бы я верила во всякие сверхъестественности, то я сказала бы, Нинка, что ты — дьявол. Ты два года с лишним стояла над моим сознанием и искушала его. Но теперь это кончилось. И мне только жалко тебя, что ты мотаешься по нехоженным тропинкам, что можешь смеяться над глубокою материалистичностью положения о «бытии, определяющем сознание». Да, ухожу в производство, чтобы выпрямить сознание и «душу», — чтобы не оставаться такую, как ты.

К О Н Е Ц.

Больше мне писать в этом дневнике нечего.

* * *

(*Почерк Нинки.*) — Мне тоже нечего. Большая полоса жизни твоей и моей кончилась. Для обеих нас начинается новая. Больше трех лет мы были друзьями. Счастливого тебе пути!

* * *

(*Почерк Лельки.*) — Да, Нинка, и тебе — счастливого, а главное же — хорошего пути!

Эх, а портретов-то наших на первой странице так и не наклеили! Содрать, что ли, с зачетных книжек? Теперь уж, пожалуй, не стоит.

Часть вторая *

Медицинский пункт. За стеклянной стенкой — грохот работающих цехов. Вошли два парня-рабочих: лакировщик Спирька и вальцовщик Юрка. Спирька — крепкий, широкоплечий, у него низкий лоб и очень широкая переносица, ресницы густые и пушистые.

* Можно без труда узнать описываемый здесь завод — и по слегка лишь измененному названию его, и по местонахождению, и по специальности. С тем большею решительностью автор должен заявить, что роман его ни в какой мере не содержит в себе истории именно данного завода, и действующие лица списаны не с живых лиц этого завода. Взята только обстановка завода и общие условия работы на нем. Совершенно бесплодным делом займутся те, которые будут стараться докопаться, насколько верно с действительностью изложены у автора описываемые события, и кто именно «выведен» у него под тем или другим именем. (*Примеч. В. Вересаева.*)

- Доктор, посмотрите ноги у меня. Очень чтой-то нехорошие.
- Что у вас с ногами?
- Просто сказать, как говядина. Очень преют и болят.
- Разуйтесь.

Вонь пошла, как от самого острого сыра. Ступни Спирьки были влажные, сизо-розовые, с полосами черной грязи. Старик доктор взглянул парню в лицо и неожиданно спросил:

— Что это у тебя с бровями? — Приблизил лицо, взгляделся.— Подбрил себе, что ли?

Брови Спирьки были тонко подбрены в стрелку. Он самодовольно ухмыльнулся:

— Культурно.

— Культурно? А ноги в такой грязи держать — тоже культурно? Какое тебе тут лечение! Мой ноги каждый день, держи их в чистоте, все и пройдет. Ну, как самому не стыдно? Культур-но!..

Спирька сконфуженно обувался.

Вошла девушка-галошница в кожаном нагруднике. Она шата-лась, как пьяная, прекрасные глаза были полны слез, грудь судорожно дергалась от всхлипывающих вздохов. Доктор улыбнулся.

— Опять, Ратникова, к нам. Ну, ну, ничего!

Лелька Ратникова кусала губы, чтобы не прорваться истерическими рыданиями.

— Ложитесь.

Это было острое отравление бензином новенькой работницы. Широко открыли фрамуги, положили Лельку на кушетку, лекарская помощница расстегнула у девушки бюстгальтер, давала ей нюхать нашатырный спирт.

Парни стояли, прислонившись плечами друг к другу, и смотрели. Доктор сурово спросил:

— Нужно еще что?

Юрка сверкнул улыбкой, обнажившей белые зубы до самых десен.

— Н-нет...

— Ну и идите.

Вздохнули.

— Вот! И отсюда гонят! Куда ни придем, везде выставляют. Пойдем, Спиря!

Парни вышли и, держась под ручку, двинулись среди вагонеток с колодками. Спирька сказал:

— Вот так девчоночка! Ну и ну!

Юрка отозвался:

— Раньше чтой-то не видать было. Надо быть, из новеньких.

— Поглядим, где работает.

Стали расхаживать меж вагонеток, перед дверями врачебного пункта.

Минут через десять Лелька вышла и, понури-вав голову, медлен-

но пошла к столовке. Парни в отдалении за нею. За столовкою повернула по лестнице вверх и мимо грохочущих конвейеров прошла в угол, где, за длинными столами с номерами на прутьях, недавно поступившие работницы обучались сборке галош.

— Ну да! Новенькая! На номерах еще.

Спирька обогнал девушку, наклонился и близко заглянул в лицо наглыми глазами. Лелька отшатнулась. В полузатемненном сознании отпечаталось круглое лицо с широким носом и с противно красивыми ресницами.

Курносая, со старообразным лицом мастерица укоризненно покачала головой.

— Бесстыдники! Разве это сознательно — так приставать к девушке? А еще комсомольцы называетесь! Халюганы вы, а не комсомольцы.

Высокий Юрка улыбнулся быстрой своей улыбкой.

— Спасибо за то, что хуже не сказала!

— Вам нужно бы и похуже сказать.

— Ну скажи похуже, — веселей тебе станет.

Парни повернули назад. Спирька сказал значительно:

— Возьмем на замечание. Девочка на ять.

Лелька подошла к своему месту у стола, начала роликом прикапывать на колодке черную стельку, а крупные слезы падали на колодку.

Подошла мастерица Матюхина, шутливо сказала:

— Не плачь над колодкой — брак будет! — И прибавила: — Халюганы, так они и будут халюганы. Не обращай внимания.

Лелька презрительно ответила:

— Стану я об этом! — И, не сдержав отчаяния, вдруг сказала: — Никогда, должно быть, не привыкну к бензину!

— Привыкнешь. Потерпи. Спервоначалу всем так кажется. Две недели пройдет — и замечать перестанешь.

Так ей все говорили. Но больше не было сил терпеть. Вторую неделю Лелька работала на заводе «Красный витязь», — обучалась в галошницы. От резинового клея шел сладковатый запах бензина. О, этот бензин! Противно-сладким дурманом он пьянил голову. Сперва становилось весело. Очень смешно почему-то было глядеть, как соседка зубами отдирала тесемку от пачки или кончиком пальца чесала нос. Лелька начинала посмеиваться, смех переходил в неудержимый плач, — и, шатаясь, пряча под носовым платком рыдания, она шла на медпунктдохнуть чистым воздухом и нюхать аммиак. Одежда, белье, волосы — все надолго пропитывалось тошнотным запахом бензина. Голова болела нестерпимо, — как будто железный обруч сдавливал мозг. Приходила домой, — одного только хотелось: спать, спать, — спать все двадцать четыре часа в сутки. А жить совсем не хотелось. Хотелось убить себя. И мысль о самоубийстве приходила все чаще.

Лелька окончила сборку галоши, поставила колодку на шпенек

рамки и вдруг почувствовала — опять тяжелый, дурманный смех подступает к горлу. Она пошла прочь.

Пошла по большим залам, где, по два с каждой стороны, гремели работою длинные конвейеры. Здесь тоже шла сборка галош. Но у них, у начинающих, каждая работница собирала всю галошу. За конвейером же сидело по сорок две работницы, и каждая исполняла только одну операцию. Колодка плыла на двигающейся ленте, ее снимала работница, быстро накладывала цветную стельку, задник или шпору, ставила опять на ленту, и колодка плыла дальше. Так, медленно двигаясь, колодка постепенно обрастала одною деталью за другой и минут через двадцать выходила из-под прижимной машины, одетая в цельную, готовую галошу.

Работали с бешеной быстротой. Только что работница кончала одну колодку, уже на ленте подплывала к ней новая колодка. Малейшее промедление — и получался завал. Лелька стояла и смотрела. Перед нею, наклонившись, толстая девушка с рыжими завитками на веснушчатой шее обтягивала «рожицею» перед колодки. С каждым разом дивчина отставала все больше, все дальше уходила каждая колодка. Дивчина нервничала.

Лелька воображала себя на ее месте — и сейчас же начинала нервно волноваться: как можно хорошо работать, когда знаешь, — вон она там, плывет и подплывает все ближе твоя колодка, неумолимая в неуклонном своем приближении. Знать, что ты *обязательно* должна кончить свою операцию во столько-то секунд. Да от этого одного ни за что не кончишь!

Лелька пошла к концу конвейера. Тут работала «на резине» Бася Броннер. У нее была не работа, а одна красота. Размеренно наклонялась чернокудрявая голова в красной косынке, открытые смуглые руки быстро и неторопливо прижимали к кожаному нагруднику колодку, равномерно обтягивали ее резиною, ставили готовую колодку на бегущую ленту, колодка уплывала вправо, — и очень точно, в эту самую секунду, как будто на спокойный вызов Басиной руки, слева подплывала новая колодка. Ах, хорошо! И с тупою болью внутри головы Лелька думала: никогда она не научится так работать! И никогда, никогда не привыкнет к проклятому этому бензину.

Больше не хотелось сумасшедше смеяться, немножко легче стало дышать. Еще раз Лелька поглядела на кипящий шумом и движением конвейер: как хорошо вот так работать, дружно, всем вместе в одной работе! И скучной показалась Лельке работа их, новичков, в уединенном уголке, где каждый работал отдельным одиночкой.

Преодолевая отвращение, подошла к своему месту, тупо уставилась на колодку. Как все противно! А воскресенье еще через четыре дня. Когда же настанут дни, что не будет болеть голова, не будет мутить мозгов этот проклятый бензин, и перестанешь непрерывно думать, что не стоит жить?

Лелька острым ножом обрезывала резину на колодке. Украдкой поглядывала по сторонам. Мастерница стояла спиной, соседки были

заняты каждая своей работой. Лелька стиснула зубы — и сильно по-лоснула себя ножом по пальцу. Кровь струйкой брызнула на ко-лодку. Леля замотала палец носовым платком. Бледная от боли и стыда, медленно пошла на медпункт.

* * *

Ребята нынче гуляли. С пяти часов пили в пивной на Соколь-ничьем проезде,— Спирька, Юрка и еще два заводских парня: Буе-раков и Слюшкин. Вышли шатаясь. Пошли по бульвару. Кепки на за-тылках, козырьки в небо. Ни перед кем не сторонились, сталкивали плечами прохожих с пути и как будто не слышали их ругательств. С особенным удовольствием толкали хорошо одетых женщин и муж-чин в очках, не в рабочих кепках.

Торопливо шла навстречу скромно одетая молодая женщина. Вдруг Спирька быстро наклонился и протянул руку к ее щиколотке. Женщина шарахнулась в сторону. А Спирька старательно поправлял шнурок на своем ботинке, как будто для этого только и наклонился. Парни загоготали.

Нашли, что скучно тут. Поговорили, подумали, решили ехать в Черкизово. Пошли к трамвайной остановке. Народу ждало много. Парни очень громко разговаривали, острили. Молоденькая девушка, нагнувшись, озабоченно что-то искала глазами на мостовой. Неуго-монный Спирька спросил:

— Вы что, гражданочка, невинность потеряли свою? Не старай-тесь, все равно уж не найдете.

Юрка дернул его за рукав.

— Да будет тебе!

Подходил переполненный трамвай. Парни побежали навстречу, первые вскочили на ходу. Вагон пошел дальше, никого больше не приняв. Они висели на подножке. Юрка сказал наивным голоском, как маленький мальчик:

— Товарищи, продвиньтесь! Иначе мы можем не сесть!

Наверху засмеялись, немножко потеснились. Парни подобра-лись выше. Слюшкин крикнул:

— Граждане! Потеснитесь там, в вагоне! Надуйтесь!

Юрка, тем же голоском наивного мальчика, поправил:

— Не надуйтесь, а наоборот: выпустите дух!

Спирька возразил:

— В общественном месте неудобно.

И прибавил еще что-то уж совсем неприличное. Женщины сде-лали безразличные лица и стали глядеть в сторону. Кондукторша сердито сказала:

— Вы это что, гражданин? Довольно совестно вам такие выра-жения говорить публично. Вы в трамвае. Сами сказали — общест-венное место. А между прочим — выражаетесь!

Она с замечанием обратилась к Юрке, хотя сказал это не он. Юрка сверкнул улыбкой и ответил:

— Виноват!

— Вот я сейчас остановлю трамвай и позову милиционера, тогда будете знать. Хулиганы!

— Что ж вы, гражданка, ругаетесь? Ведь я вам сказал: «Виноват». Взаправду я вовсе даже не виноват, сказал, только чтоб скандалу не было. А вы ругаетесь.

— Как это вы говорите: «Не виноват»?

— Я говорю: «Виноват»!

— Нет, вы сказали, что не виноваты!

— Я не виноват, верно! А сказал, что виноват!

Все хохотали, и всем стало весело, только кондукторша продолжала негодовать. Юрка вздохнул и сказал:

— Дайте-ка билетик. Надоело без билета ехать.— И прибавил утешающе: — К концу пятилетки мы вам тут в трамвае будочку устроим, вам тогда не так будет беспокожно.

Тогда и кондукторша наконец улыбнулась.

Приехали к Преображенской заставе.

Гуляли по бульвару Большой Черкизовской улицы с недавно посаженными липками. Хулиганили. Опять сшибали в темноте плечами встречных. Не всем прохожим это нравилось. Два раза немножко подрались.

Шли две девицы в юбках до середины бедер, с накрашенными губками. Шли, высокомерно подняв головы, и на лицах их было написано: «Ничего подобного!»

Спирька сказал:

— Барышни, не желаете ли с нами погулять? Советую. Анергичные мальчики!

Девицы еще высокомерно подняли головы.

— По всей вероятности, вы нас принимаете не за оных. Мы с незнакомыми кавалерами не разговариваем.

— А вы разрешите познакомиться! Будем знакомы. Мальчики замечательные! Не пожалеете!

Через пять минут шли все вместе. Каждую девицу держали с обеих сторон под руку два парня и тесно прижимались к ней.

Спирька игриво спрашивал:

— Что, Клавочка, прикрывает у вас этот галстук? Я очень антиресуюсь.

Клава напевала, глядя вперед:

Я разлюбить тебя поклянуся,
Найду другого, тотчас полюблю...

Навстречу шла по бульвару обнявшаяся парочка: девушка в голубой вязаной шапочке с помпоном на макушке и плотный парень с пестрой кепкой на голове.

Юрка гаркнул на девушку:

— Тебя мать на бульвар баловаться отпустила, а ты делом занимаешься?!

И сверкнул своею улыбкою, от которой, что он ни говорил, становилось весело.

Когда они повернули назад, девица в голубой шапочке шла навстречу одна, — шла медленно и поглядывала на Юрку. Юрка подскочил и заговорил.

Долго все сидели на бульварной скамеечке, тесно притиснув девиц. Три девицы между четырех парней. Было темно, и со стороны плохо видно было, что делали с ними парни. Слышался придуренный смех, негодующий девичий шепот, взвизгивания.

Мимо скамейки прошел плотный парень в пестрой кепке. Медленно оглядел всех.

Было уже поздно. Встали. Прощались. Буераков нежно говорил одной из девиц:

— Так в то воскресенье, значит, придете на бульвар? Приходите, буду ждать. Прощайте. Желаю вам всего самого специального!

Опять прошел по дорожке парень в пестрой кепке, с ним еще несколько парней.

Девушка в голубой шапочке обеспокоенно сказала Юрке:

— Вы смотрите, как бы наши парни вас не подстерegli на дороге. Страх не любят, когда ваши заводские гуляют с нами. Хулиганы отчаянные.

Юрка беззаботно ответил:

— А мы боимся! Мы сами хулиганы.

Простились с девицами, пошли Камер-Коллежским Валом к себе в Богородское. Клавочка жила в переулке у Камер-Коллежского Вала, Спирька провожал ее до дому. Он отстал от товарищей и шел, прижимая к себе девицу за талию. Лицо у него было жадное и страшное.

Трое остальных шли по шоссе Камер-Коллежского Вала и пели «По морям». Ветер гнал по сухой земле опавшие листья тополей, ущербный месяц глядел из черных туч с серебряными краями. Вдруг в мозгах у Юрки зазвенело, голова мотнулась в сторону, кепка слетела. Юрка в гневе обернулся. Плотный парень в пестрой кепке второй раз замахивался на него. Юрка отразил удар, но сбоку получил по шее. Черкизовцев было человек семь-восемь. Они окружили заводских ребят. Начался бой.

Но силы были очень уж неравные. Юрка закричал во весь голос:

— Спирька!! На помощь!

От Хромовой улицы донесся голос Спирьки:

— Есть!

Юрка через силу отбивался от двух наседавших на него, когда легким бегом физкультурника из темноты подбежал Спирька и врезался в гущу. Дал в ухо одному, сильным ударом головы в подбородок свалил другого. Четверо было на восьмерых. Спирька крутился и упоенно бил черкизовцев по зубам. Один из них, с залитым

кровью лицом, вдруг выхватил из-за брюк финский нож, замахнулся на Спирьку. Спирька бросился под занесенный нож и страшным размахом ударил парня коленкой между ног. Тот завыл и, роняя нож, схватился за низ живота.

Спирька быстро поднял финку.

— А-а, собаки! Вы вот как!

И кинулся на них с ножом. Черкизовцы побежали вниз по Богородскому Валу. Заводские гнались следом и били их по шеем.

Воротились к себе в Богородское. Очень захотелось выпить. Но было поздно, и всё давно уже было закрыто.

— Ну что ж! К Богобоязненному!

С шоссе свернули в переулок. Четырехоконный домик с палисадником. Ворота были заперты. Перелезли через ворота. Долго стучались в дверь и окна. Слышали, как в темноте дома кто-то ходил, что-то передвигал. Наконец вышел старик в валенках, с иконописным ликом, очень испуганным. Разозлился, долго ругал парней за испуг. За двойную против дневной цену отпустил две поллитровки горькой и строго наказал ночью вперед не приходиться.

Уселись на улице на первую подвернувшуюся скамейку у ворот. Распили бутылочки. Сильно опьянели. Слюшкин и Буераков пошли домой. А Спирька и Юрка, обнявшись, долго еще бродили по лесу за аптекой. Шли шатаясь, держали в зубах папиросы и сыпали огонь на пальто. Спирька говорит:

— Юра! Знаешь ли ты инстинкт моей души? Меня никто не понимает, на всем свете. Можно ли меня понять? Невозможно!

— Спиря! Я п-о-н-и-м-а-ю.

— Юрка, друг! Нам с тобой на гражданских фронтах нужно бы сражаться, вот там мы с тобой показали бы, что за штука такая ленинский комсомол. Тогда винтовкой комсомол работал, а не языком трепал. Вот скажи мне сейчас Ленин али там какой другой наш вождь: «Товарищ Спиридон Кочерыгин! Видишь — сто белогвардейцев с пулеметами? Пойдешь на них один?» Пошел бы! И всю бы эту нечисть расколошматил. И получил бы боевой орден Красного Знамени. Мы с тобой, Юра, категорические герои!

Юрка в ответ вздохнул.

— Да, поздно мы родились на свет. Нужно нам было с тобою понатужиться, родиться лет на десять раньше. Были бы мы тогда с тобою в буденновской кавалерии.

— Правильно! Я тебе, друг, по совести скажу: инстинкт моей души говорит мне, что был бы из меня герой вроде Семена Буденного.

* * *

Лелька очень мучилась позорностью своего поступка. И все-таки из души перла весенне-свежая радость. Как хорошо! Как хорошо! Бюллетень выдали на три дня. Да потом еще воскресенье. Четы-

ре дня не дышать бензином! Не носить везде с собою этого мерзостно-сладкого запаха, не чувствовать раскалывающей голову боли, не задумываться о смерти. Как хорошо!

Но позорное дезертирство с трудового фронта нельзя было оставить без наказания. Лелька сама себя оштрафовала в десятикратном размере суммы, которую должна была получить из страхкассы за прогульные дни: предстояло получить около семи с половиной, — значит, — семьдесят пять рублей штрафа. Отдать их в комсомольскую ячейку на культурные нужды.

Отдать решила как можно скорее. Поэтому сократила себя во всем. Утром пила чай вприкуску, без молока, с черным хлебом. Обедала одним борщом. Было голодно, но на душе — легко.

* * *

Лелька пошла утром в бюро комсомольской ячейки. Уже вторую неделю она никак не могла добиться себе какой-нибудь нагрузки. Секретарь посылал к орграспреду, орграспред — к секретарю.

Пришла. В ячейке было еще пусто. Секретарь общезаводской ячейки Дорофеев, большой и рыхлый парень, сердито спорил с секретарем ячейки вальцовочного цеха Гришей Камышовым. Этот был худой, с узким лицом и ясными, чуть насмешливыми глазами. Говорил он четко и властно. И говорил вот что:

— Работа в нашей ячейке — ни к черту не годная. Ты только речи говоришь да резолюции проводишь, а все у нас идет самотеком. Ребята такие, что мы только компрометируем ленинский комсомол. Членских взносов не платят по два, по три года, девчата только о шелковых чулках думают, губы себе мажут, ребята хулиганят. Кто самые первые хулиганы на все Богородское? Спирька Кочерыгин да Юрка Васин, — наши ребята. Надо таких всех пожестче брать в оборот. Не поддадутся — вон гнать.

— Бро-ось! Что мы будем рабочих парней исключать? Нужно воспитывать.

— Так будем воспитывать, в чем дело? А ты ни о чем не думаешь, ничего не делаешь. Ни к черту ты не годный секретарь!

— Тебя на мое место посадить, все бы пошло чудесно! — Дорофеев сердито стал закуривать папироску. Взглянул на Лельку. Стараясь скрыть волнение, спросил: — Ты ко мне?

— К тебе. Все с тем же. Когда мне нагрузку дашь?

— Да ведь вот... Ты орграспреду говорила, Соколовой?

— Говорила. Ты к ней посылаешь, она — к тебе.

Камышов торжествующе сказал:

— Вот видишь! Что? Дивчина работать хочет, а у нас все так хорошо, что и припустить ее не к чему! — Он ласково взглянул на Лельку. — Ты не из вуза к нам в работницы поступила? Не про тебя мне Баська Броннер говорила?

— Видно, про меня.

— Ну, в чем же дело? Дивчина с образованием, нам такие нужны. Погоди-ка, Дорофеев. Кружок текущей политики — Царапкин у нас вел? Соколова мне говорила, что ему какая-то другая нагрузка выходит.

— Да, да,— вяло вспомнил Дорофеев.— Ведь верно. Кружок текущей политики сможешь вести? — спросил он Лельку.

В душе Лелька испугалась: ну как не сможет? Но храбро ответила:

— Смогу.

— Так вот, как же нам это сделать? — Дорофеев потер переносицу.— Наверно, не сегодня, так завтра Царапкин сюда зайдет, в ячейку. А то лучше пойди сама, отыщи его в цехе. Он в верхней лакировке работает.

Камышов опять вмешался.

— Погоди, все проще можно сделать. Сегодня Царапкин как раз делает доклад в галошной ячейке. О текущем моменте. Там с ним и столкнешься. Собираются в клубе пионеров.

Лелька пожалела, что ответственный секретарь — Дорофеев, а не Камышов. С этим можно бы дело делать.

Дорофеев и Камышов ушли. Лелька сидела на окне и болтала ногами. Шурка Шуров, технический секретарь ячейки, высунув из левого угла губ кончик языка, переписывал протоколы. Лелька переговаривалась с ним.

Вбежала Зина Хуторецкая, галошница,— худая и некрасивая, с болезненно-коричневым лицом. Шурка протянул:

— А-а, Зина-на-резине!

Она спросила:

— Стаканчика нельзя раздобыться у вас, воды выпить?

Положила на стол потертое портмоне, носовой платок и пропуск на завод в красной обложке. Шурка, не отрываясь от писания, проговорил:

Стаканчики граненые упали со стола...

Зина подхватила, смеясь:

Упали и разбились...

Стала наливать из графина воду. Шурка взял ее портмоне и спокойно положил себе в карман.

— Это еще что! Отдай!

— Не отдам.

Зина стала отнимать. Поднялась возня. Отняла. Шурка крутил ей руки. Она говорила радостно-негодующим голосом:

— Катись от меня, слышь!

— Отдай мой кошелек!.. Зинка! Не сопротивляться!

— Это мой! Что ты врешь!

Выкатились в коридор, там слышны стали визги и блаженный смех Зины. Шурка воротился задыхающийся, сел опять за переписку. Вошла назад Зина, открытые до локтя руки были выше запя-

тий натертые, красные. Шурка пошел к желтому шкафу взять бумаги. Зина поспешно села на его стул. Он подошел сзади, взял за талию и ссадил. Зина воскликнула:

— Так и знала, что сгонит!

Шурка раскрыл пропуск, взглянул на ее фотографию, покачал головою.

— Ну и рожа!

— На всех чертей похожа? — засмеялась Зина.

Заревел обеденный гудок. Комната стала заполняться девчатами и парнями, забежавшими в ячейку по комсомольским своим делам или просто поболтать. Шутки, смех.

— А-а! Гора с горой! Колхоз приехала!

— Эй, татарский пролетариат! Подпишись на «Комсомольскую правду».

— Не могу. Сейчас у меня кризис. Я полтинника два дня искал по всему заводу.

— Ой, скорей воззвание нужно писать. Я в цехе еще сегодня не была.

— Забюрократилась?

— Не говори!

Лелька сидела на окне, болтая ногами, разговаривала со знакомыми, заговаривала с незнакомыми, а в душе горделиво пелось: вокруг — самые настоящие работницы и рабочие, и среди них — она, р-а-б-о-т-н-и-ц-а г-а-л-о-ш-н-о-г-о ц-е-х-а Елена Ратникова.

Вошли Спирька и Юрка. У Спирьки была опухшая, рассеченная верхняя губа, а у Юрки правый глаз заплыл кроваво-синим наливом. Девчата спрашивали:

— Что это с вами?

— По-склиз-ну-лись...

Все хохотали. Шурка Щуров сказал, смеясь:

— Спирька на той неделе говорил: «Чтой-то сегодня как скучно, — ни от кого даже по роже не получил!» Теперь веселее стало, ха-ха?

Спирька презрительно повел глазами.

— По роже я не люблю получать. Больше люблю давать.

Лиза Бровкина, секретарь галошной цехячейки, строго сказала:

— Не комсомольское это дело, ребята, — хулиганить.

Юрка улыбнулся быстрой своей улыбкой.

— А ты почему знаешь, что мы хулиганили? Может, на нас напали, а мы оборонялись? А не хулиганили.

— Без дела не нападут. Гуляете, буяните. Только везде о вас и разговор.

Спирька спросил неохотно:

— А что делать? В клубе сидеть, картинки смотреть в «Огоньке»? Скучно.

Юрка поддержал:

— Конечно, скучно.

— Собрания посещай,— поучающе сказала Лиза.

Спирька усмехнулся.

— Напосещались. Надоели хуже поповой обедни.

Лелька с презрением оглядела его.

— Вот не думала, что в комсомоле могут еще встречаться подобные типы! — Она узнала противно-красивые, пушистые ресницы Спирьки и широкую его переносицу, вспомнила, как наглые эти глаза близко заглянули ей тогда в лицо. Сердце вспыхнуло ненавистью.

Юрка быстро повернулся к Лельке, сверкнул улыбкой.

— Ну да! Скучно! Разве неправда? Говорим-говорим; резолюции всякие. Уж как надоело... Эх-ма! То ли дело было десять лет назад! Вот тогда жили люди!

Лиза Бровкина строго сказала:

— Авантюризм.

— Нет, что ни говори, а поздно мы родились, не успели на фронте.

Лелька спросила насмешливо:

— Храбрость показать свою?

— Ну да! И показали бы. Думаешь, трусили бы с ним? — Он ударил Спирьку по плечу.

— Нет, отчего же! Хитрость тут небольшая. И бандиты-налетчики храбры, и белогвардейцы были храбрые. Почитай про колониальные завоевания, как, например, Кортес завоевал Мексику,— разбойники форменные, а до чего были храбры! Этим нынче никого не удивишь. А мы по старинке все продолжаем самое большое геройство видеть в храбрости. Пора это бросить. Терпеть не могу храбрости!

Все молчали и с удивлением на нее смотрели. По губам Лельки бегала озорная усмешка. И ей приятно было устремившееся на нее общее внимание.

Юрка сказал:

— Ого! Чего ж ты любишь?

— Бывает, воротится герой с подвигов своих, и оказывается: ни к чертям он больше ни на что не годен. Работать не любит, выпить первый мастер. Рад при случае взятку взять. Жену бьет. К женщине отношение такое, что в лицо тебе заглянет — так бы и дала ему в рожу его... широконосою! — неожиданно прибавила она с озлоблением, поведя взглядом на Спирьку.

Спирька покраснел и отвернулся.

Шурка Щуров враждебно спросил:

— Все герои такие?

— Дурак какой! Я вовсе этого не говорю. А говорю: самый великолепный герой может оказаться таким. А для нас выше храбреца и нет никого, его мы больше всех уважаем. Пора с этим

кончить. И другие есть, которых нужно гораздо больше уважать.

Юрка с интересом спросил:

— Кто такие?

— Вот кто. Кто любит и умеет трудиться, кто понимает, что в труде своем он строит самый настоящий социализм, кто весь живет в общественной работе, кто по-товарищески строит свои отношения к женщине. Кто с революционным пылом расшибает не какие-нибудь там белые банды, а все старые устои нравственности, быта. Нет, это все нам скучно! А будь он круглый болван, которому даже «Огонек» трудно осилить,— если он мчится на коне и машет шашкой, то вот он! Любуйтесь все на него!

Гриша Камышов, вошедший в комнату, с ласковой улыбкой пожал сзади руку Лельки выше локтя и весело сказал:

— Вот это — да! Это я понимаю! Тебя у нас агитпропом нужно сделать!

Заревел гудок. Помещение ячейки опустело. Спирька и Юрка работали в ночной смене, торопиться им было некуда. Юрка подсел к Лельке и горячо с нею заговорил. Подсел и Спирька. Молчал и со скрытою усмешкою слушал. Ему бойкая эта девчонка очень нравилась, но он перед нею терялся, не знал, как подступиться. И чувствовал, что, как он ей тогда заглянул в глаза, это отшибло для него всякую возможность успеха. К таким девчонкам не такой нужен подход. Но какой,— Спирька не знал.

А Лелька сурово обегала его взглядом и говорила только с Юркой.

Юрка встал, улыбнулся.

— Ну ладно, похожу в кружок, послушаю тебя.

Спирька откашлялся, спросил смиренно:

— А мне можно?

Лелька ответила, не глядя:

— Никому не запрещается. Может всякий, кто хочет.

* * *

На доклад Царапкина Лелька запоздала,— попала сначала в пионерский клуб соседнего кожзавода. Пришла к самому концу доклада. Узкая комната во втором этаже бывшей купеческой дачи, облупившаяся голландская печка. На скамейках человек тридцать,— больше девчат. Председательствовала Лиза Бровкина, секретарь одной из галошных ячеек.

У Царапкина были пушистые пепельные волосы и черные брови; это было бы красиво, но вид портили прыщи на лице. Говорил он гладко и уверенно. Однако Лелька, послушав его пять минут, совсем успокоилась, и не стало страшно принять от него кружок.

Кончил. Бережно провел рукой по пушистым волосам. Лельку

удивило. Он был одет не по-комсомольски щеголевато: пиджачок, крахмальный воротничок. Галстук был кричаще-яркий.

Лиза Бровкина встала и спросила:

— У кого есть вопросы?

Все молчали.

— Ну? Товарищи! Неужели ни у кого никаких мыслей и вопросов не родилось от доклада?

Лельке нравилась Лиза. У нее было совершенно демократическое, пролетарское лицо, очень миловидное, хотя угловатое и курносое. Вот уж сразу видно, что в ней ни капли нет какой-нибудь аристократической крови. И видно было: она изо всех сил следит, чтобы быть идеологически выдержанной, чтобы не уронить своего звания секретаря.

Лиза улыбалась и оглядывала всех.

— Кто, девочки, имеет слово? Кто смелее всех? Кириллова, решишь!

Кириллова замахала руками.

— Ну, что я!

Зина Хуторецкая, растерянно смеясь, спросила:

— Можно сказать два слова?

— Можно пять.

— Хочу спросить докладчика, что такое значит слово «оппортунизм».

Лиза Бровкина обрадовалась.

— Ну вот! Вот и хорошо!

Вася Царапкин провел рукою по волосам и толково объяснил. Потом задал еще вопрос невысокий парень в очень большой кепке с квадратным козырьком, рамочник Ромка:

— Вот ты говоришь: Бухарин и некоторые другие личности. Теперь эти личности правого уклона,— как они, раскаялись? Отказываются от своей паники?

Царапкин ответил. Больше вопросов не было, как ни вызывала Лиза. Девчата мялись и молчали.

У Лизы стало строгое лицо. Она встала и сказала.

— Предлагаю резолюцию.

В резолюции говорилось, что комсомольская ячейка галошного цеха одобряет взятый партией курс на усиленную индустриализацию и коллективизацию страны и требует применения самых жестких мер в отношении к правооппортунистическим примиренцам и паникерам.

Лиза спросила:

— Будут дополнения?

— Чего там! И так хорошо.

— Кто за резолюцию, поднимите руки. Кто — против? Кто воздержался? Принято единогласно.

По окончании заседания Лелька подошла к Царапкину.

— Ты — Царапкин?

Он почему-то передернулся при этом вопросе и с неудовольствием ответил.

— Скажем, Царапкин. Что дальше?

— Мне ячейка передает кружок, который ты ведешь.

— А-а! — обрадовался Царапкин.

Сговорились, что она придет в клуб во вторник, и он передаст ей свой кружок.

С собрания Лелька шла с Лизой Бровкиной. Лелька с огорчением говорила:

— Ой, как у нас плохо с девушками! Робкие какие,— мнутя, молчат. Большую нужно работу развернуть. И не с докладами. Доклады что,— скука! Всего больше пользы дают вопросы и прения. А они боятся. Ты больно скоро перестала их тянуть, нужно было подольше приставать, пока не раскочаются. Знаешь, что? Давай так будем делать. Я нарочно стану задавать разные вопросы, как будто сама не понимаю. Один задам, другой, третий. И буду стараться втягивать девчат.

Лиза в восхищении вскричала:

— Вот это бы было здорово! — Вздохнула и прибавила: — Помогай мне, Лелька! Очень уж мне трудно. Секретарь наш — рохля, от него никакой помощи.

Они долго ходили взад и вперед вдоль завода, от Яузского моста до Миллионной, держались рука за руку. Лиза рассказывала, как ей трудно, какие отсталые девчата — галошницы. Потом еще ближе разговорились, совсем по душам. Лелька рассказывала Лизе, как постепенно впала в разложение, как из-за этого ушла из вуза на производство. Лиза жаловалась на свою необразованность, как ей приходится одновременно и работать, и руководить ячейкой, и самой учиться, и как боится она, чтоб в чем-нибудь не сказалось, что она думает не так, как надо. И прибавила с довольной улыбкой:

— Очень ты нынче хорошо в ячейке накрутила хвост нашим хулиганам!

Лелька шла домой с веселым шумом в голове. Один корешок за другим она начинает запускать в гущу пролетарской жизни. Эх, как хорошо и интересно!

* * *

Лелька нанимала комнату неподалеку от завода, у рабочего мелового цеха Буеракова. По краю соснового леса была проложена новая улица, на ней в ранжир стояли стандартные домики-коттеджи, белые и веселые, по четыре квартиры в каждом. Домики эти были построены специально для рабочих. Буераков с семьей занимал квартиру в три комнаты, и вот одну из них, с большим итальянским окном, сдал за двадцать пять рублей Лельке. Вся семья, — Буераков,

его жена, взрослый парень-сын и двое подростков,— все спали в маленькой задней комнате, на кроватях, на сундуках, на тюфяках, расстеленных на полу. Девушка-домработница спала в кухне. Большая же средняя комната была парадная; здесь стоял хороший ореховый буфет, блестел никелированный самовар, в середине большой стол обеденный, венские стулья вдоль стен. Здесь ели и пили только в торжественных случаях. Обычно это делали на кухне. Было совершенно непонятно, что делать еще с третьей комнатой, и ее сдали Лельке.

Сейчас все сидели в большой комнате за блестящим самоваром. Были гости. Шумно разговаривали, смеялись и выпивали.

Только что Лелька прошла к себе, как Буераков постучался к ней в дверь. Вошел.

— Здравствуйте, товарищ Ратникова. Не зайдете ли ко мне выпить чашечку чаю?

И выжидающе-самолюбиво уставился на нее острыми, глубоко сидящими глазками.

— Что это у вас, торжество какое?

— Так, знаете... Рождение мое. Конечно, это все одно, когда родился, а нужно времем и повеселиться. Больше по этой причине. И все-таки — рождение. Не то чтобы там какой-нибудь глупый ангел, которого не существует.

Лелька пошла. У сына Буеракова была забинтована голова марлей (это он со Спирькой и Юркой подвизался вчера в Черкизове). Лелька выпила рюмку водки, стала есть. Буераков острыми глазками наблюдающе выщупывал ее. И вдруг сказал:

— Как вы скажете, товарищ? Желая вам предложить один вопросец. Разрешите?

— Пожалуйста.

— Вот какой вам будет вопрос. Коммунизм,— идет ли он супротив советской власти, или нет?

— Какой вздор! Не только не идет против...

— А я вот говорю: идет против.

— Как это?

— Вот так.

— Ну, именно? Объясните.

— Вот именно! Позвоните в ГПУ, велите меня арестовать, а я заявляю категорически: коммунизм идет против советской власти!

— Не понимаю вас.

— Не понимаете? Подумайте вкратце.

— Ну уж говорите.

— Во-от! — Он помолчал.— Как вы скажете, когда коммунизм придет, уничтожит он советскую власть или оставит?

— Вот вы о чем! Конечно, тогда вообще никакого государства уже не будет.

— А-а, вот видите!.. Х-ха! Я всегда верно скажу!

Лелька спросила:

— Вы партийный?

Буераков кашлянул и сурово нахмурил брови.

— Был партийный. Но! Теперь нет. Пострадал за свою замечательную ненависть к религии.

Лелька улыбнулась.

— За это у нас нельзя пострадать. Как же это случилось?

— А так.

— Ну, ну — как?

— Вот именно, — так.

Но не стал рассказывать. Разговоры становились шумнее. Буераков-сын с забинтованной головой подсел к Лельке и попытался завести кавалерский разговор.

Пришла Дарья Андреевна, жена Буеракова. Портфель в руках, усталое лицо. Буераков взглянул сердитыми глазами и стремительно отвернулся. Она усмехнулась про себя. Поздоровалась с гостями, села есть.

Гости расспрашивали, чего запоздала, где сейчас была. Дарья Андреевна неохотно ответила, что делала общественную работу.

Буераков хмыкнул.

— Общественная работа, а, между прочим, мужу — рождение. И жены даже для такого случая нет дома! Х-хе! Называется — общественная работа, ничего не поделаешь!

Вошла женщина с очень толстой шеей, выпученными глазами и огромным бюстом. Неприятное лицо. Ей навстречу радостно пошла Дарья Андреевна. Усадила пить чай.

Толстая спросила вполголоса:

— Ходила к Картавой на обследование?

— Ходила. Сейчас только пришла. Все так и есть, как она заявила. Живет с ребенком в коридоре, квартирная съемщица над ее постелью сушит белье. Я говорю: «Как же вы это так?» — «У меня, говорит, ребенок». — «У вас ребенок? А у нее щененок?»

Толстая сказала:

— Завтра пойдем вместе с тобой в Руни¹³. Ты утром свободна? Старик Буераков ядовито поглядывал на них.

— Товарищ Ногаева! У меня есть к вам один вопросец. Может быть, вы мне вкратце ответите. Вы вот все ей толкуете: женщина, общественная работа... Нешто это называется общественная работа, когда дома непорядок, за ребятами приглядеть некому, растут они шарлатанами, а ее дома никогда нету? Вот, мужу ее рождение, и то — когда пришла! Это что? Общественная работа?

Женщина с толстой шеей спокойно ответила:

— Мещанство разводишь, товарищ Буераков. А еще в партии состоял. Жена из дому уходит, — подумаешь! А ты — дома. Вот и посиди вместо ее, пригляди за ребятами. Новое, брат, дело. Ты по-старому брось глядеть.

Голос у нее был очень уверенный, идущий из души. Она вдруг

понравилась Лельке. Буераков разозлился, стал нападать на женщин, говорить о развале семьи. Только мужу и остается, что уходить.

— Ну и уходи. Другого не найдет? Сколько вас угодно, только выбирай.

— Да-а, уж вы теперь... «выбираете»! Через каждый месяц!

— Это не ваше дело.

— Как — не наше дело? Срамотитесь с мужчинами, а мужу твоему не будет дела?

— Не будет никакого. На той неделе засиделся у меня товарищ по общественному делу до поздней ночи. Полетели по коридору сплётки: с мужчинами ночует! А я им только смеюсь: «Это касается меня одной, если бы я даже оставалась с мужчиною на половой почве. Это даже мужа моего не касается».

Лелька легла спать с рядом новых, больших ощущений.

* * *

Про хозяев своих Лелька узнала вот что.

Жили они себе, как все. И муж и жена работали на заводе. Придя с работы, жена стояла над примусом, бегала по очередям, слушала ворчания мужа за поздний обед, по воскресеньям стирала с домработницей белье. И вот наметилась на нее женорганизатор из ячейки, товарищ Ногаева. Беседовала с нею на работе, приходила на дом и сидела с нею за примусом. И не ждал товарищ Буераков, какой она ему готовила сюрприз. Вдруг выбрали его жену женделегаткой. Дарья Андреевна испугалась, уверяла, что неспособна, но на это не посмотрели. Сначала боялась, волновалась, постепенно втянулась. И увидела она, что есть широкая, деятельная жизнь не за примусами и корытами. Дома все пошло вверх дном. Товарищ Буераков скандалил, что нет надзора за домработницей, что ни с кого он ничего не может спросить, что жена и к обеду даже не приходит. А где ей было приходиться? Работала она в жилищной комиссии,— осматривала жилища рабочих, следила за распределением комнат. Утром поест наскоро и — на работу в мазильную. В обеденный перерыв принимает народ в завкоме, вечером — на обследовании, и приходит домой в одиннадцать-двенадцать часов ночи. Как хватало сил выдержать такую жизнь! Дарья Андреевна осунулась, побледнела, но прежде вялые глаза стали живые, быстрые, голос сделался уверенным. Неподвижный серый гроб раскалывался, и из него выходил живой человек.

А насчет самого Буеракова оказалось верно: вылетел из партии, как и сказал, за свою замечательную ненависть к религии. Дело было так. Пригласил он к себе на квартиру весь клир окрестить ребенка. Пришел священник, принесли купель. «Где же ребенок?» — «А вот, батюшка, сюда пожалуйста. Не один, а пятеро». И подвел его

к кошелке со щенятами. Священник пожаловался в ячейку. И вот — Буеракова — за это — исключили из партии! Совершенно казалось невероятным, но — да, исключили! Это была самая большая боль в жизни Буеракова. Так он и не мог понять, за что с ним так поступили. И в душе он все это ощущал, что как бы не партия его исключила, а он, со скорбью и горечью, исключил из своего сердца не оценившую его партию. Однако председателем заводской ячейки воинствующих безбожников он остался. Иногда что-нибудь сморозит. Вдруг заявит: «Папа, сволочь этакая, был у нас лишенцем, а как выслали его из Союза, то теперь проповедует против нас крестовый поход». Поговаривали, что следовало бы его снять, но слишком мало было на заводе людей, а ненависть его к религии была, правда, очень велика.

В общем, был он старикашка вздорный и кляузный, полный личной и классовой самовлюбленности. Везде он скандалил, отстаивая свои права и достоинство.

Придет в заводский универмаг. На огромном блюде копченые сомы и карточка: «1 кило — 1 р. 25 к.»

— Отрежьте-ка мне двести граммов.

— Двести граммов нельзя, продается только целыми рыбами.

Товарищ Буераков грозно глядит:

— Как это так — целыми рыбами? На кой мне черт целая рыба, я объемся, в ней три кило, вопрос исчерпан, режь двести граммов.

— Не могу, гражданин.

— Что-о? Вы знаете, с кем вы разговариваете? Я рабочий!

— Это все равно.

— Как — все равно? Вам все равно, что рабочий, что какой-нибудь буржуй или поп? Вы издеваетесь над рабочим покупателем!

Голос его зычно звучит по всему магазину, собирается народ. Буераков объясняется с заведующим отделением, потом с заведующим магазином, опять слышится: «Да вы понимаете, с кем вы разговариваете? Я — рабочий! Поняли вы это дело?»

И он уже сидит за жалобной книгой и строчит пространнейшую жалобу, в которой решительно ничего невозможно понять.

* * *

Лелька была ловкая на руки. Не так страшно оказалось и не так трудно работать на конвейере. Она скоро обучилась всем нехитрым операциям сборки галоши. Ее сняли с «номеров» и посадили на конвейер начинающих. На бордюры. Из чувства спорта, из желания достигнуть совершенства Лелька все силы вкладывала в работу. Скоро она обогнала соработниц в быстроте исполнения своей операции. Торжествуя сложив руки на кожаном нагруднике, Лелька ждала, пока к ней подплывет на ленте следующая колодка.

Вскоре ее перевели на обычный конвейер. Здесь Лельку сначала нервировала мысль о неуклонно подползающей на ленте колодке, но

вскоре страх исчез, как у кровельщика исчезает страх перед высотой. Создалась автоматичность работы,— самое сладкое в ней, когда руки сами уверенно делают всю работу, не нуждаясь в контроле сознания.

К бензину Лелька до некоторой меры привыкла, да и было его тут, в воздухе вокруг конвейера, раза в два-три меньше,— тут банка с резиновым клеем не стояла перед каждой работницей. Противно-сладкий запах бензина по-прежнему неотгонимо стоял в волосах и белье, но он воспринимался не с таким уже отвращением. О, Лелька знала: тяжелы последствия хронического вдыхания бензина. Уже через два-три года работы исчезал самый яркий румянец со щек девушек, все было раздражительно и нервно, в тридцать лет начинали походить на старух. Но об этом сейчас не думалось, как не думается человеку о неизбежной смерти. Лелька была в упоении от тех новых чувств, которые она переживала в конвейерной работе.

Не было ощущения одиночества и отделенности, какое она переживала, когда работала на «номерах». Тут была большая, общая жизнь, бурно кипевшая и целиком втягивавшая в себя. Все было неразрывно связаны друг с другом. Начинала одна какая-нибудь работница работать медленнее,— и весь конвейер дальше начинал давать перебои. Заминка на одном конце отдавалась заминкой на другом. Одна общая жизнь сосредоточенно билась во всем конвейере и властно требовала отдачи себе всего внимания, всех сил. Сладко было отдавать этой общей жизни силы и внимание, и безумно-сладко было ощущать тесное свое слияние с этой жизнью.

И вот еще что заметила в себе Лелька. Какая-то внутренняя организованность вырабатывалась от конвейерной работы. Все движения — быстрые, точные и размеренные, ни одного движения лишнего. Исчезала из тела всякая расхлябанность и вялость, мускулы как будто превращались в стальные пружины.

Однажды утром Лелька убирала у себя комнату — подметала, вытирала пыль, чистила щеткою пальто. И вдруг радостно ощутила и тут во всем — ту же приобретенную ею быструю и размеренную точность всех движений.

* * *

Юрка и Спирька стали ходить на занятия в кружок текущей политики, который вела Лелька. Юрка слушал с одушевлением. Спирька всегда садился в отдалении, слушал боком. Ему и совестно было учиться чему-нибудь у девчонки, и обидно было, что не может здесь первенствовать и держаться соколом. Да и мало, в сущности, было интересно, о чем рассказывала Лелька, особенно, когда началось: «империализм», «стабилизация капитализма», «экономическая блокада». Но его бешено тянуло к Лельке, и он не знал, как к ней подступиться.

Лелька видела его влюбленные глаза, ей было смешно. Но все приятнее становилось злорадное ощущение власти над этим широко-носом наглцом с пушистыми ресницами и странно узкими черными бровями в стрелку. Она не могла забыть, как он тогда заглянул ей в глаза.

А Спирька старался вовсю. Завел себе новый, ярко-зеленый джемпер. И вот однажды явился на занятия: гривка волос тремя изящными волнами была пущена на лоб. Специально для этого Спирька зашел в парикмахерскую. Называется «ондулясьон».

Кончился час. Все поднялись. Вдруг веселая рука взъерошила сзади хитрую Спирькину прическу, вся она пошла к черту. Спирька в гневе вскочил и обернулся. Перед ним, хохоча, стояла Лелька.

— Что это, Кочерыгин? Что за уродство ты напустил себе на лоб?

Он спросил испуганно:

— А что? Некультурно?

Лелька зло смеющимися глазами вглядывалась в его лицо.

— Погоди, погоди... А это что? Я все дивилась, почему у тебя такие узкие и красивые брови. А оказывается... Ха-ха-ха!.. Они у тебя — п-о-д-б-р-и-т-ы!

Все девочки и парни хохотали. У Спирьки гневно разгорались глаза, и он возражал с самолюбивою развязностью:

— Э! Это ничего не составляет!

Ребята из Лелькина кружка уходили. Входили ребята более серьезные, изучавшие диамат (диалектический материализм). Кружок по диамату вел комсомолец Арон Броннер, брат Баси. Лелька раза два мельком встречалась с ним у Баси. Он ей не понравился. Стало интересно, как он ведет занятия. Лелька осталась послушать.

Наружность Арона была ужасная, и он ни в чем не походил на сестру. Бася была красавица. Арон был безобразен: огромная голова, вывороченные губы, узенькие плечи, выдавшиеся вперед; в веснушках, и весь рыжий: не только волосы рыжие, но и брови, даже ресницы на припухших веках были бледно-рыжие.

Но когда он сел за стол, вынул блокнот с конспектом и вдруг улыбнулся, он Лельке понравился: улыбка была грустная, смущенная и ужасно добрая. Арон заговорил. Стал излагать возражения Энгельса Дюрингу по вопросу о том, делает ли диалектический материализм излишним философию как отдельную науку. Тут он совсем заинтересовал Лельку, даже безобразие его стало не так заметно. Глазки за припухшими веками засветились глубоко серьезным светом; в углах толстых губ дрожала добродушная насмешка: как будто для себя, внутри, Арон соглашался далеко не со всем тем, что излагал ребятам. Беспокойно и завистливо ощущалось, что он знает и понимает больше, чем говорит, и даже как будто больше того, кого излагает. То есть, значит,— больше самого... Энгельса? Ого!

Лелька спросила соседа:

— Докладчик — из вуза или у нас работает?

— У нас, в закрытой передов.

Лельке стало смешно: никак не могла она себе представить этого головастого лектора режущим на цинковом столе резину для передов.

* * *

В ЧАСТНУЮ ЛЕЧЕБНИЦУ
БОЛЕЗНЕЙ УХА, ГОРЛА И НОСА
Д-РОВ ДАВЫДОВА И ПЕРЕЛЬМАНА

Дорогие товарищи! Прочитав в публикации «Красной нивы» ваш адрес, обращаюсь к вам с просьбой такого сорта. У меня более солидное лицо, толстый нос и вдобавок сросшиеся брови, а также вдобавок и широкие. Вот и все недостатки моего лица. Теперь если можно сделать операцию моему носу, чтобы его сузить, а также чтобы он был потоньше, и если можно сузить и уничтожить волос сросшихся бровей, то пришлите ответ немедленно. И ответьте мне, сколько это будет стоить все лечение.

*Спиридон Кочерыгин, рабочий-лакировщик
завода «Красный витязь».*

* * *

Лелька вся жила теперь в процессе новой для нее работы на заводе, в восторге обучения всем деталям работы, в подготовке к занятиям в кружке текущей политики, который она вела в заводском клубе. Далекими становились личные ее страдания от воспоминания о разрыве с Володькой. Только иногда вдруг остро взмахнет из глубины души воспоминание, обжигающими кругами зачертит по душе — и опять упадет в глубину.

Давно была пора заняться зубами — многие ныли. Но в вихре работы и сама боль ощущалась только как-то на поверхности мозга, не входя в глубь сознания. Однако в последнюю ночь зубы так разболелись, что Лелька совсем не спала и утром пошла в заводскую амбулаторию к зубному врачу.

Сидела в ожидальной в длинной очереди. За разными дверями принимали врачи разных специальностей, — к каждой двери были очереди. Лелька сидела, сонно смотрела перед собою. Вдруг видит: из одной очереди вышла пожилая работница, стала в угол за кипятильником «Титан», спиной к сидевшим, что-то стараясь закрыть. Но Лелька увидела: вынула из кармана маленький пузырек, отбила головку и стала из пузырька поливать себе руки. Пузырек бросила в угол. Воровато огляделась. Лелька поспешно отвела глаза. Работница опять села в очередь.

Что такое? В чем дело? Лелька поглядывала на работницу. Руки ее покраснели, кое-где даже как будто вздулись волдыри. Леля стала ходить по приемной, как будто случайно подошла к углу,

уронила на кафельный пол свою красную книжку-пропуск, нагнулась и вместе с книжкой подняла пузырек. Трехгранный, рубчатый; на цветной этикетке — «Уксусная эссенция». Лелька поблела. Сердце заколотилось.

Решительно подошла к работнице.

— Вот что, товарищ, уходите-ка с приема. Вы себе сейчас полили руки уксусной кислотой, чтобы получить бюллетень.

— Какой кислотой? С ума, что ль, ты спятила? — работница быстро стала сыпать негодующими словами.— И как не стыдно врать! Я еще не на Ваганьковом, не в крематории, чтобы на меня врать!.. Кипятила наемни воду на примусе и обварила руку.

Соседки враждебно поглядывали на Лельку.

— Ты что тут, контролерша, что ли?

— Товарищи, стыдитесь! При чем тут контролерша? Мы все сейчас — хозяева производства, мы не на капиталистов работаем. Как же мы можем допускать, чтобы наше рабочее государство платило деньги по бюллетеню человеку, который нарочно руки себе испортил, чтобы не работать!

— А тебе что? Не из своего, чай, кармана будешь платить.

— Плыла бы лучше мимо. Ишь, подглядела! Кто тебя звал?

Работница с обожженными руками продолжала кричать на всю ожидальную, всем показывала руки, рассказывала подробно, как обварилась из самовара.

Бледная Лелька решительными шагами расхаживала из одного конца ожидальной в другой.

Из двери сестра крикнула:

— Номер восемнадцатый!

Работница вошла к доктору. Леля раза два прошлась по приемной, потом быстро открыла дверь и вошла тоже. Доктор осматривал красные, в волдырях, руки работницы.

— Доктор, может быть, вот этот пузырек поможет вам определить истинные причины ожога у больной. Десять минут назад она в углу приемной полила себе руки из этого пузырька.

Больная сначала остолбенела, потом опять быстро стала сыпать о самоваре, о бесстыдном вранье. Но доктор уже привык к таким вещам. Он обнюхал руки больной и равнодушно сказал:

— Вот мазь. А бюллетеня вам не будет.

Работница, плача, вышла в ожидальную.

— Что ж я теперь делать буду? Работать не могу, бюллетеня не дали... У-у, сука подлая, подглядчица! Шпионка! Глаза бы таким вырывать с самым корнем!

* * *

Работницы ночной смены толпились на широком заводском дворе,— кончили работу и ждали, когда заревет гудок и распахнутся калитки. От электрических фонарей снег казался голубым. Лелька

увидела Басю Броннер. Взволнованно и слегка пристыженно рассказала ей об утреннем происшествии в амбулатории. Бася сурово сверкнула глазами.

— Очень хорошо сделала! Молодец девчонка!.. Ах, черт! Расстреляла бы всю эту сволочь. Вредители проклятые! — Вдруг рассмеялась.— Руки обожжены, значит, а бюллетеня не получила,— здорово! Нужно потребовать от врача, чтобы сообщил о ней в завком. Какой ее врач принимал?

Вынула блокнот и все записала. Лелька поморщилась.

— Что там, оставь уж, Баська! И без того она наказана.

Бася нетерпеливо повела плечами:

— Эх, это гуманничанье интеллигентское! Бро-ось!

Заревел гудок, работницы и рабочие восьмью черными потоками полились в распахнувшиеся калитки.

Вышли и Лелька с Басей. Долго ходили по улицам. Бася говорила:

— Такой кустарной борьбе, в одиночку, грош, конечно, цена. Нужно ее поставить на широкую ногу, придать борьбе общественный характер. Ты не представляешь, как крепко сидит в рабочем, и особенно в работнице нашей, это старое, рабское отношение к производству: надувай, сколько сумеешь! А что еще хуже, и что в них еще крепче сидит, это — старое представление о товарищеской солидарности. Добросовестная работница всей душой болеет за производство, а рядом с нею — злостная лодырница, только портит материал, форменная вредительница. И та смотрит на нее, сама же возмущается, а нет, ни за что не заявит мастеру. И так брезгливо: «Что, я на товарища буду доносить?» Всю еще психологию надо перестраивать.

И деловито перебила себя:

— Нужно будет вот что: переговорить в ячейке и встряхнуть хорошенько легкую нашу кавалерию. Как всегда у нас: в прошлом году взялась за дело горячо, а потом совсем закисло. Нужно ее двинуть на борьбу с пьянством, с лодырничеством и вредительством.

А когда прощались, Бася крепко, по-мужски, пожалала руку Лельки и властно сказала:

— Лелька! Я на тебя очень рассчитываю, не зря так старалась сманить тебя на наш завод. Работе своей ты теперь уж обучилась. Пора в настоящее дело. Всей головой.

— А я для чего же сюда пошла?

* * *

В субботу под вечер сидели на скамеечке у ворот три рабочих-вальцовщика, покуривали папиросы «Басма» и беседовали.

Старичок с впалой грудью, с рыжевато-седой бородкой говорил:

— Без нее и аппетита настоящего нету. А как выпьешь перед

обедом лафитничек, — и ешь за обе щеки... А теперь, — что такое, скажите, пожалуйста: за поллитровки два рубля отдай, сдачи получишь две копейки: Это что, — рабочее государство, чтоб с рабочего такие деньги драть? А раньше бутылка стоила всего полтинник.

Другой, очень большой и плотный, поддержал:

— И выпить-то негде. Только в сортире и можно. На улице станешь пить — милиционер тебе один рубль штрафа; спорить начнешь — в отделении три заплотишь. Нужно, чтоб в нарпите и водочку продавали, — вот бы тогда было хорошо. Сиди в свое удовольствие.

— Хо-хо! — третий, с подстриженным треугольником волос под носом, расхохотался. — Еще в нарпите тебе водку продавай!.. Нет, как в четырнадцатом году продажу по случаю войны прекратили, с той поры я не пью. И до чего же хорошо!

Большой возразил неохотно:

— Нужно чем-нибудь развлечься. Скучно. Как не выпить.

— Клуб тебе на то есть.

— Ну, клуб! Всегда молодых битком. Да и что там? Кино, театр.

Надоело.

— А тебе чего надобно в клубе, что не надоело?

Большой замолчал в затруднении. Рыжебородый же старичок твердо ответил:

— Надобно, чтоб бутылка была пятьдесят копеек, чтобы было где с приятелем выпить и закусить. Дома что? Только во вкус придешь — жена за рукав: «Буде!» Какое удовольствие? Пивных, — и тех поблизости нету, — запрещены в рабочих районах. За Сокольничный круг поезжай, чтоб пивнушку найти. Это называется: диктаторство пролетариата! Буржуйам: пожалуйста, вот вам пивная! А рабочему: нет, товарищ, твой нос до этого не дорос!..

— Буде тебе! — третий с опаскою оглянулся.

— Что «буде»? Я правильно говорю, я никого не боюсь, самому Калинину это самое скажу. Или вот такой параграф: в субботу и воскресенье спиртные напитки продавать запрещено. Это в кого они наметились, понял ты? В рабочего же человека! Торговец там или интеллигент, — он и в будни может купить. А мы с тобою в будни на какие капиталы купим? Вот зато нам сейчас с тобою выпить захотелось, иди к Богобоязненному, целкаш лишний на бутылочку накин.

Большой вздохнул.

— А идти не миновать. Выпить охота.

Старичок решительно встал.

— И нече время терять. Идем!

Свернули в переулочек. Серые тесовые ворота, старый, но крепкий четырехконный домик с палисадником. Недалеко от ворот стояли три парня и безразлично смотрели. Были уже сумерки. На дворе постучались в дверь. Открыл высокий старик, иссохший, с иконописным ликом, похожий на Иисуса Христа, по прозвищу Бого-

боязненный. Впустил в горенку, зажег свет — и тогда стал похож на Григория Распутина¹⁴. Вышел в другую комнату, долго там что-то передвигал, скрипел и вынес бутылку водки.

Довольные, вышли оба из ворот. Вдруг подошли к ним парни.

— Вы что в доме этом делали?

Старик грозно крикнул:

— А вам что?

Молодой парень с кепкой на затылке быстро распахнул у старика полы пальто и выхватил из кармана пиджака бутылку.

— Хха-а! Это что у вас, гражданин?

— А тебе что?! Кто ты таков? Сопляк, пошел прочь, пока тебе соплей не утер!

Парень крикнул высокого роста товарищу, неподвижно смотревшему на то, что делалось:

— Юрка! Обыщи другого гражданина! Может, и у него что под одежей!

Юрка продолжал неподвижно стоять, засунув руки в карманы. Подскочил третий парень и ощупал старикова спутника. Тот пожал плечами и покорно поднял руки, как перед грабителями. У него ничего не нашли.

Оська Головастов, наслаждаясь своею ролью и властью, сказал большому:

— Вы, гражданин, можете идти, а вас (к старику) мы попросим в отделение милиции для составления протокола.

— Да кто вы такие? Уголовный розыск, что ли?

— Легкая кавалерия.

— Ка-ва-ле-ри-я... То-то я смотрю, рожи как будто все свои, рабочие... Тьфу! До чего испоганились людишки!

Оська и Ромка повели старика в милицию. Сзади, понуриив голову, брел Юрка.

В отделении милиции дежурный стал составлять протокол.

— У кого вы, гражданин, купили вино?

Старик сердито кричал:

— Ни у кого я не покупал! Вчера вечером купил в лавке Центро-спирта! А сейчас с приятелем шли в лес выпивать.

Оська торжественно спросил:

— А зачем к Богобоязненному заходил?

— Не обязан я отвечать, к кому зачем заходил! Я свободный гражданин советского государства! Почетный! Рабочий, пролетарий! Имейте в виду! Куда хочу, туда и отправляюсь!

Несмотря на все расспросы, Богобоязненного старик не выдал. И с омерзением глядел на парней. Послали наряд милиционеров сделать обыск у Богобоязненного. Стали подписывать протокол. Оська сказал:

— Юрка, подпишись!

— Ну тебе!

Юрка махнул рукою и вышел из отделения.

* * *

Пропала безутратная веселость Юрки. Ходил он мрачный, рассеянный и, вспоминая, болезненно морщился. На работе не глядел на товарищей. Раз услышал за спиною, когда проходил к своей машине:

— Вон доносчик идет. Иван Иванович Зяблова арестовывал, в милицию водил.

В курилке, когда он входил, разговоры замолкали.

* * *

В обеденном перерыве, когда Юрка в мрачной задумчивости стоял в очереди за супом в столовой нарпита, к нему взволнованно подошел Спирька. Глаза в пушистых ресницах смотрели из-под низкого лба враждебно. Спросил отрывисто:

— Тебя Лелька Ратникова записала в легкую кавалерию?

— Ну да, записала.

— Почему ж меня не записала? Вот стерва. Хуже я тебя, что ли!

— А я знаю? Чего сам не запишешься? Зайди в ячейку.

— Тебя она записала, а я сам пойду записываться! — Потер широкую переносицу. — Какая стерва, а?.. Будешь сегодня на молодежной вечеринке в клубе?

— Нет, не пойду. Невесело что-то мне.

— Лелька будет.

— А мне что!

— Я пойду.

Спирька сказал это с угрозой.

* * *

Пришел Спирька на вечеринку. В темно-синей сатиновой рубашке с густо нашитым рядом перламутровых пуговиц от ворота почти до пояса. Разговаривал с Лизой Бровкиной и нервно смеялся. Она спросила:

— Что это ты какой веселый?

— Сейчас зуб себе вырвал.

— Шибко болел?

— Стану я больной зуб рвать! Здоровый, конечно. Чтоб золотой вставить.

Увидел в густой толпе Лельку. Сразу стал угрюмый. Угрюмо кивнул ей головой и отвернулся.

Лелька шла с Зиной Хуторецкой, каждая несла в руках по фотографическому аппарату. Вошли в боковую комнату. Над дверью была большая надпись:

БЕСПЛАТНО! ПОРТРЕТЫ!

Каждый получит в конце вечера свое собственное изображение поразительного сходства!

Уже стояла длинная очередь далеко в коридор. Леля и Зина, давясь от смеха, защелкали аппаратами. Парни подбоченивались и принимали молодецкий вид, девчата придавали глазам томное выражение. Но это был шутовской номер: затворами щелкали впустую, а в конце вечера каждый снявшийся должен был получить в конверте грошовое зеркальце.

Спирька стал в очередь. Устроился так, чтобы попасть к Лельке. Стал в позу, выпрямился и придал лицу глубоко меланхолическое укоряющее выражение. Лелька щелкнула затвором и равнодушно сказала:

— Следующий!

Спирька постоял. Поглядел. Медленно вышел из клуба.

Вечеринка была грандиозная,— первый опыт большой вечеринки для смѣчки комсомола с беспартийной рабочей молодежью. Повсюду двигались сплошные толпы девчат и парней. В зрительном зале должен был идти спектакль, а пока оратор из МГСПС¹⁵ скучно говорил о борьбе с пьянством, с жилищной нуждой и религией. Его мало слушали, ходили по залу, разговаривали. Председатель юнсекции то и дело вставал, стучал карандашиком по графину и безнадежно говорил:

— Товарищи! Давайте будем потише!

В отдельных комнатах были устроены разные аттракционы. Распорядительницы-комсомолки с веселыми лицами зазывали желающих набросить удочкою кольцо на горлышко бутылки или с завязанными глазами перерезать ножницами нитку с тяжестью. В комнате № 28 танцевали под гармонику вальс, краковяк, тустеп. Здесь усердно отплясывал Васенька Царапкин,— в крахмальном воротничке, а из бокового кармашка пиджака выглядывал ярко-зеленый шелковый платочек. Танцевали больше парни с парнями, девчата с девчатами.

Внизу, в полуподвальном этаже, по длинному коридору только что начали новую эстафету в мешках. Лелька глядела с другими и смеялась.

Вдруг — треск и раскатывающийся звон разбитого стекла. У входа, в дверях, стоял Спирька. Рубашка была запачкана грязью, ворот с перламутровыми пуговками оборван, волосы взлохмачены, а в каждой руке он держал по кирпичине. Одна за другою обе полетели в окна. Звон и грохот. Ребята растерялись. А Спирька в пьяном иступлении хватал кирпич за кирпичом из кучи, наваленной для ремонта прямо за дверь, и метал в окна.

Потом сверкнувшим взглядом внимательно оглядел ребят. И вдруг, сильно размахнувшись, швырнул кирпич в их кучу, как раз

в то место, где стояла Лелька. Девчата завизжали, все бросились на другой конец коридора и там сбились в кучу.

На минуту настала тишина. В одном конце коридора стояла онемевшая толпа парней и девчат, на другом — широкоплечая фигура Спирьки с растрепанной головой. Он держал на изготровке кирпич и глядел на одну Лельку.

Лиза Бровкина возмущенно сказала:

— Ребята, да укротите же его! Ведь он всех здесь искалечит!

Но парни мялись и не двигались.

У Лельки взмыла из глубины души холодная, озорная дерзость. Весело захватило дух. Уверенным шагом, высоко держа голову, она пошла прямо на Спирьку.

Спирька удивился, опустил кирпич и медленно пошел ей навстречу. Несколько парней двинулось следом за Лелькой. Спирька сверкнул глазами, и кирпич полетел мимо Лельки в глубину коридора. Ребята шарахнулись назад. Лелька сильно поблдедела.

Подошла, положила руку на плечо Спирьки.

— Спирька! Как не стыдно! Что за хулиганство! А еще комсомолец!

Спирька задышался. Глаза в пушистых ресницах со страданием глядели на Лельку.

— Лель!.. Лель!..

Он всхлипнул и крепко ударил себя кулаком в грудь.

— Лель! За что ты меня обидела?

— Чем я тебя обидела?

— Юрку позвала в легкую кавалерию, а меня нет? А мы вместе с ним тебя в кружке слушали... Я ведь тоже слушал, старался... Чем я хуже его оказался? Лё-ель!..

Он выронил кирпич, рыдал и продолжал бить себя кулаком в грудь.

Вдруг вокруг него выросли фигуры парней, бросились на Спирьку. Он зарычал. Ребята схватили его за руки и стали их закручивать назад. Он вывертывался, рвался, но подбежали еще парни. Так закрутили ему назад руки, что Спирька застонал. И вдруг Лелька увидела: Оська Головастов теперь, когда Спирька был беззащитен, яростно бил его кулаком по шее.

Лелька в негодовании крикнула:

— Брось же, Оська! Что за гадость!

Спирька неожиданно изогнулся, с силою боднул Оську головою в лицо, вырвался и, шатаясь, побежал к двери. Разгоряченные ребята — за ним. Оська стоял, зажав ладонями лицо, из носу бежала кровь. Вдруг — дзеньканье, звон, треск. У двери были сложены оконные рамы, Спирька споткнулся и упал прямо в рамы. Барахтался в осколках стекла и обломках перекладин, пытался встать и не мог.

Его вытащили. Оська с остервенением кинулся его бить, но другие не пустили. Спирька пришел в себя, беспомощно стоял и с удив-

лением глядел на свои залитые кровью руки, и как ручейки крови бежали с лица на нижнюю рубашку, выглядывавшую из разрывов верхней. Кровь не капала, а бежала быстрыми ручейками. Лелька сказала:

— Это серьезная штука. Нужно его отправить на перевязку.

Спирька встряхнулся.

— Куда отправить? Никуда не пойду.

И заворочал опять обезумевшими глазами.

Явился заведующий клубом, распорядители. Спирька отказывался идти, буйствовал, кричал:

— Ни с кем не пойду, только с Лелькой!

И со звериною хитростью все время держался спиной к стене, чтоб его опять не схватили сзади.

Лелька пожала плечами.

— Одна я с тобою не справлюсь. Не доведу. Пусть вот хоть Шурка Щуров с нами пойдет.

— Шурка? — Спирька внимательно оглядел Шурку. — Технический секретарь? Доверяю! Ладно!

Втроем пошли в больницу. В середине — шатающийся, весь залитый кровью Спирька, а под руки его держали с одной стороны Лелька, с другой — Шурка Щуров.

Спирька в счастливом упоении все бил себя кулаком в грудь и твердил:

— Из всех ребят! Из всех девчат! Больше всех я уважаю тебя! Только тебя уважаю, больше н-и-к-о-г-о!.. Лё-ель! Видишь трамвай идет? Скажи одно слово, — сейчас же лягу на рельсы!

Лелька шла и в душе хохотала. Ей представилось: вдруг бы кто-нибудь из бывших ее профессоров увидел эту сценку. «Увеселительная прогулка после вечера смычки». Хха-ха! Ничего бы не понял бедный профессор, как можно было променять тишину и прохладу лаборатории на возможность попадать в такую компанию, как сейчас. Стало ей жаль бедного профессора за его оторванность от жизни, среди мошек, блошек и морских свинок.

* * *

Юрка тосковал и не знал, куда себя деть. Вышел новый номер заводской газеты «Проснувшийся витязь». В нем Юрка прочел:

НА ЧЕРНУЮ ДОСКУ!

В штаб легкой кавалерии поступило заявление, что некий Воробьев, по прозвищу Богобоязненный, бывший рабочий нашего завода (какой позор!), торгует вином. Этот Воробьев очень хитрый и ловко умел скрывать от милиции свои делишки. Вальцовщик Иван Зяблов в минувшую субботу зашел к нему с товарищем, купил бутылку водки, но при выходе был остановлен отрядом легкой кавалерии нашего завода. Попросили его в милицию. Когда стали составлять протокол, то Зяблов стал скрывать этого шинкаря и ругать кавалеристов. Что это за рабочий, который скрывает шинкаря? Мы не ожидали, что на нашем заводе могут быть такие несознательные рабочие. На черную доску вальцовщика Ивана Зяблова!

Но и эта заметка не изменила настроения Юрки. Напротив, еще стало противнее на душе. «В штаб легкой кавалерии поступило заявление...» Это он там нечаянно проговорился про Богобоязненного, у которого и сам не раз покупал прежде вино. Проговорился, ребята пристали, пришлось сказать адрес... Ой, как все мерзко!

Юрка не знал, что сделать, чтоб утишить тоску. Напился пьян. Легче не стало.

* * *

Могучий рев гудка на весь поселок, залиvistые звонки по цехам: половина двенадцатого, часовой перерыв на обед.

Юрка остановил свою машину, вяло побрел в столовку. По проходам и лестницам бежали вниз веселые толпы девчат. Девчата, пересмеиваясь, стояли в длинных очередях к кассе и к выдаче кушаний. Буро-красные столы густо были усажены народом, — пили чай, ели принесенный с собою обед или здесь купленные холодные закуски (горячие блюда в заводской столовке не готовились, — пожарная опасность от огня: бензин). Весело болтали, смеялись, спорили.

Юрка сидел в углу, угрюмо жевал колбасу с плохо выпеченной булкой и с завистью смотрел на кипевшую вокруг бездумно-веселую беззаботность. Увидел у окна в куче девичьих голов хорошенькую головку Лельки с вьющимися стриженными волосами. Лелька, смеясь, горячо что-то говорила Лизе Бровкиной. Вот Леля: она все знает, все понимает, что хорошо, что плохо, у ней настоящие взгляды, марксистские... Эх, муч-чение!

Лелька встала из-за стола, пошла с Лизой из столовой. Юрка бросил начатый стакан чая и побежал следом. Нагнал в раздевалке, меж вагонеток, груженных рамками с готовыми галошами.

— Здравствуй, Леля!

— А-а, Юрка! — она радушно протянула руку. — Читал в газете про ваш налет?

Юрка потемнел.

— Читал.

Лелька внимательно поглядела на него, взяла за концы пальцев и потянула за собой.

— Пойдем, поговорим.

Они пошли длинными и молчаливыми залами за раздевалкой, где чернели огромные вулканизационные котлы. Ходили по рельсовым путям взад-вперед и горячо говорили.

— Юрка, Юрка, глупая ты голова! Неужели и теперь не понимаешь? Какая у нас может быть установка? Пойми, — только одна: все, что способствует приближению социализма, то хорошо. Что вредит, то — к черту, с тем нужно бороться всеми силами, без пощады и без гнилых компромиссов. Ну а что, скажи: правильно поступает наша власть, когда борется с пьянством рабочих, когда запрещает продажу спиртных напитков?

— Ясно правильно.

— Н-ну-у?.. — Лелька взъерошила Юрке волосы. — О чем же ты мучаешься, чем терзаешься? Дурак, дурак!

Взяла Юрку под руку, прижалась к его руке, и так пошли к раздевалке.

— Мы с тобой еще много делов наворочаем. Это у тебя «детская болезнь», остатки старой, дореволюционной психики.

Юрка радостно ощущал, как к локтю его прижималась тугая грудь Лельки. Волна уверенной радости окатила душу. Лелька видела его влюбленные глаза, и ей хотелось почувствовать свою власть над ним.

— Ну, сейчас гудок. Бежать на работу. Вот что, Юрка. В штабе нашей легкой кавалерии я предложила такую штуку: нужно повести решительную борьбу с прогульщиками. Прогоулы дошли до четырнадцати процентов. Ты понимаешь, как от этого падает производительность. И вот что мы надумали... С понедельника мы работаем в ночной смене, ты — тоже?

— Ага!

— Так вот. В понедельник к восьми утра мы собираемся в завкоме, получаем список всех не явившихся на работу, разбиваемся на отряды — и на квартиры к прогульщикам. Проверяем — уважительный прогул или неуважительный.

Опять вихрь омерзения закрутился в душе Юрки, он неохотно промычал что-то, будто бы одобрительное. Лелька опять внимательно поглядела на него.

— Значит, в понедельник, в восемь утра, в завкоме. Придешь?

— Приду.

— Ну, смотри! Если надуешь...

Она погрозила ему кулаком.

Заревел гудок. Опрометью оба бросились к своей работе.

* * *

В завкоме, в комнате Осоавиахима¹⁶, в понедельник собрались ребята-налетки. Походом руководила Бася. Распоряжалась властно и весело. Шурка Шуров, во всяком деле незаменимый технический секретарь, принес длинный список работниц и рабочих, не явившихся сегодня на работу.

— Го-го! — общий раскатился хохот. — Какой эпидемический день!

Бася спросила Шурку:

— А адреса их раздобыл?

— Ну да, раздобыл. А то как же?

— Молодец, парень. Забыла тебе сказать. Боялась, сам не сообщишь.

Шурка, играя, схватил ее за запястья. Бася спокойно отстранила его руки.

— Брось заигрывать! Молодой парень, а к старухе лезешь... Ну, расслаживайся, ребята. Будем распределять адреса по районам.

С шутками и смехом сортировали адреса, потом стали распределять районы.

Лелька под столом ласкающе потянула Юрку за концы пальцев и сказала:

— Мы с тобой.

Юрка радостно отозвался:

— Ладно!

Распределили. Лельке с Юркой достался район Миллионной улицы. Юрка, сначала веселый, вдруг опять почему-то стал мрачен. Лелька исподтишка приглядывалась к нему. Делом женского самолюбия стало для нее — подчинить себе этого парня, заставить его радостно, с сознанием своей правоты исполнять то, что сейчас — она видела — он исполнял с надсадом и отвращением.

Когда они выходили, Юрка вдруг сказал:

— Я тебя очень прошу: давай с кем-нибудь поменяемся районами.

Лелька удивилась.

— Почему?

— Видишь ли... — Он замялся, вынул список, подчеркнул ногтем. — Спиридон Кочерыгин. Это мой приятель закадычный. Спирька. Ты знаешь. Сколько гуляли вместе! Как я к нему приду?

Лелька строго смотрела на него.

— Юрка! Ты для своих приятельских отношений готов пожертвовать революционным долгом? Стыдись!

— Да нет, я что ж... Я понимаю. Нешто я против этого? Я только прошу, поменяемся районами, чтоб не мне к нему идти...

Холодно и упрямо Лелька ответила:

— Как хочешь. Меня не пугает, что мне к Спирьке придется идти, — чего мне меняться? А ты меняйся, твое дело.

Проходили мимо Шурка Шуров с Лизой Бровкиной.

— Шурка! Хочешь, пойдем со мной? А Юрка с Лизой пойдет. Ему что-то со мной не по дороге.

Шурка с готовностью отозвался:

— Есть!

Но Юрка отстранил его.

— Нет уж, все одно. Пойдем.

* * *

На Миллионной вошли в ворота большого — не сказать двора, не сказать сада. Среди высоких сосен и берез были разбросаны домики в три-четыре окна. Юрка, бледный, шел уверенною дорожкой к почерневшему домику с ржавой крышей.

Вошли в просторную кухню с русской печью. За столом сидела

старуха, в комнате было еще трое ребят-подростков. У всех — широкие переносицы и пушистые ресницы, как у Спирьки.

Юрка, не стучась, открыл соседнюю дверь,— Лелька хотела его остановить, чтоб постучал, да не успела. Спирька в очень грязной нижней рубашке сидел на стуле, положив ногу на колено, и тренькал на мандолине. Волосы были взлохмаченные, лицо помятое. На лбу и на носу чернели подсохшие порезы,— как он тогда на вечеринке упал пьяный в оконные рамы. Воздух в комнате был такой, какой бывает там, где много курят и никогда не проветривают.

— А-а!

Спирька приветливо улыбнулся Юрке и вдруг в сконфуженном испуге заметался по комнате: увидел Лельку. Схватил крахмальный воротничок, стал пристегивать.

Лелька холодно спросила:

— Мне нельзя? Я подожду.

— Ничего, иди, иди!

А сам поспешно надевал пиджак и повязывал галстук. На ходу заглянул в зеркальце, поплевал на ладонь и пригладил волосы.

— Садитесь, сейчас будем чай пить.

Был он очень польщен, но все-таки никак не мог понять, чего она пришла. Лелька с тою же холодной сдержанностью спросила:

— Ты почему сегодня не на работе?

За спиною Спирьки она увидела его постель: засаленная до черноты подушка, грязный тюфяк и на нем скомканное одеяло. Он спал без постельного белья. А зарабатывал рублей двести. Ветхие синие обои над кроватью все были в крупных коричневых запятых от раздавленных клопов.

— Почему не на работе? Проспал. Немножко погуляли вчера.

— Что ж так? Это не годится. В распоряжения попадешь за неуважительную причину.

— Уважительная будет. У меня тут в домовом комитете все свои людишки, вместе гуляем. Самую уважительную причину пропишут... Да что мы так, погодите, я сейчас чайку...

— Товарищ Кочерыгин, мы к тебе не чай пришли распивать, а по приказу штаба легкой кавалерии,— проверить, по уважительной ли причине ты сегодня не вышел на работу. Ты комсомолец, значит, парень сознательный, понимаешь, что прогулы — это не пустяки для производства, что производство на этом ежегодно теряет сотни тысяч рублей. Подумал ты об этом?

Спирька окаменел от неожиданности и молча слушал. Потом остро блеснул глазами, медленно оглядел обоих.

— Вы за этим делом ко мне и пришли?

И пристально уставился на Юрку. Юрка отвел глаза.

— Та-ак... — Спирька глубоко засунул руки в карманы.

Лелька с негодованием воскликнула:

— Ты же еще пытаешься нас облить презрением! А еще комсомолец! Пример подаешь лодырям и прогульщикам, обманываешь

государство и партию, играешь на руку классовым нашим врагам — и стоишь в позе возмущенного честного человека!

Спирька тяжело глядел, не вынимая рук из карманов.

— Ну? Дело свое сделали? Запишите в свои книжечки что надо и смывайтесь.

Лелька спокойно ответила:

— Нам больше тут делать и нечего. Пойдем, Юрка.

Спирька, все так же руки в карманах, вышел следом на крылечко. Лелька с Юркой пробирались по узкой тропинке в снегу к воротам. Спирька сказал вслед Юрке:

— Погоди, гад! Посчитаемся с тобой!

Лелька остановилась.

— Что он сказал?

Спирька ушел к себе. Юрка ответил неохотно:

— Так, грозитя. Только не больно его испугались.

Они пошли по следующим адресам.

* * *

Длинные столы. Перед ними — баки с коричневым лаком. Мускулистые лакировщики снимают с вагонетки тяжелые железные полосы, — они почему-то называются рамками. На полосах густо сидят готовые галоши. Ставят рамки на подставки за столом. Лакировщик снимает колодку с готовой галошей, быстро и осторожно опускает галошу в лак, рукою обмазывает галошу до самого бордюра, стараясь не запачкать колодку, и так же быстро вставляет ее опять на шпенек рамки. Приятно пахнет скипидаром.

Спирька Кочерыгин работал в одной физкультурке без рукавов, бугристые его мускулы на плечах весело играли, когда он нес к вагонетке рамку с отлакированными галошами. Но сам он был мрачен, глядел свирепо и только хотел как будто в веселую игру мускулов оттянуть засевшую в душе злобу.

Пришел из курилки взволнованный Васька Царапкин, сообщил товарищам:

— Администрация поднимает вопрос о снижении расценок лакировщикам. Говорят, — очень много зарабатываем, двести рублей.

— Как?! Ого! — рабочие возмутились. — А работа-то какая, это они подумали? В рамке два пуда весу, ежели колодки чугунные. Потаскай-ка, — ведь на весу их держишь в руках.

— Да, — продолжал Царапкин, — вырабатываем мы пятьдесят три тысячи пар, хотят поднять норму до пятидесяти семи, а расценки снизить.

— Ну, это еще поглядим, как снизят. Не царские времена.

Царапкин осторожно возразил:

— Царские времена тут ни при чем. А нужно в профцехбюро, — послать туда депутатов, объяснить. Не может всякая работа оплачи-

ваться одинаково. У нас тяжелая работа — раз. Вредная для здоровья — два.

Спирька процедил:

— Ого! Как раз и хронометраж идет. Держись, ребята!

В лакировочную входила Бася Броннер с папкою в руке. Все не спеша взялись за работу.

Бася подошла к столам, где рядом работали Спирька и Царапкин. Спирька оглядел ее наглыми глазами. Бася от него отвернулась. Достала карандаш, положила секундомер на край стола и начала наблюдать работу Царапкина. Царапкин медленно снимал колодку, медленно макал ее в лак и старательнейше обмазывал рукою бордюр. Бася начала было записывать его движения, — безнадежно опустила папку и спросила:

— Вы, товарищ, всегда так медленно работаете?

Царапкин с готовностью стал объяснять:

— Скорая работа, товарищ, у нас никак не допустима. Галоши нужно обмазывать очень осторожно, чтоб ни одна капелька лака не попала на колодку. Н-и о-д-на, понимаете? А то при вулканизации лак подсохнет на колодке. Когда новую галошу на колодке станут собирать, подсохший этот лак сыплется на резину и получается брак. Самая частая причина брака.

Бася раздраженно возразила:

— Напрасно вы мне это, товарищ, рассказываете, — я и сама все это не хуже вас знаю.

— А знаете, так чего же удивляетесь?

И продолжал с медленною старательностью обмазывать галоши. Бася прикусила губу, помолчала и стала записывать его движения.

Сзади кто-то с возмущением сказал:

— Как не надоест! Ходит, ничего сама не работает, только глаза зевает и пишет.

Бася вспыхнула и не сдержалась:

— Зато вам после меня придется больше работать!

— Да уж это конечно! На то вас тут и поставили, — шнырять да вынюхивать, как бы норму нагнать.

Царапкин примиряюще возразил:

— Товарищи, нельзя так. Это ее работа, она ее обязана делать.

Бася, поглядывая на секундомер, старательнейшим образом продолжала записывать все — видимо, замедленные — движения Царапкина. Наконец кончила, сложила папку и пошла к выходу. Вдогонку ей засмеялись.

Царапкин морщился и махал на товарищей руками.

— Нельзя так, ребята! Ну что это! Все дело только портите. Она сразу и поняла, что мы дурака валяем. Нужно было ничего не показывать, — только растягивай каждый работу, и больше ничего. Эх, подгадили все дело!

Трудная это была и неприятная работа Баси — хронометраж. Рабочие настораживались, когда она подходила, знали, что выгоднее работать на ее глазах помедленнее, и отношение к ней было враждебное. Силой воли Бася обладала колоссальной, но и она с непривычки часто падала духом, никак не могла найти нужного подхода.

Весь этот день она промучилась, и самолюбие сильно страдало, когда вспоминала общий смех себе вдогонку. Вечером случайно узнала в ячейке, что Царапкин — комсомолец, да еще активист. Вспомнила, что даже имела с ним кой-какие дела. Бася решила пойти к нему на дом и поговорить по душам.

Царапкин жил в конце трамвайной линии, около аптеки, в огромном шестиэтажном, только что выстроенном доме рабоче-жилищной кооперации. Позвонила Бася, вошла.

Царапкин очень удивился. Она сказала, сурово глядя на него черными глазами:

— Я не знала, что ты комсомолец, уже после узнала. Пришла с тобою поговорить по-товарищески, по-комсомольски. Что же это ты, Царапкин, делаешь?

Вася с невинным лицом смотрел.

— Это насчет того, когда ты была у нас в лакировке? Что же я делаю? Когда ты ушла, я, совершенно напротив того, объяснил товарищам, что так не годится делать.

— А сам зачем делал?

И вдруг замолчала. И с удивлением стала оглядываться. Большая комната. Все в ней блестело чистотою и уютом. Никелированная полутораспальная кровать с медными шишечками, голубое атласное одеяло; зеркальный шкаф с великолепным зеркалом в человеческий рост, так что хотелось в него смотреться; мягкий турецкий диван; яркие электрические лампочки в изящной арматуре.

Бася отрывисто спросила:

— Что это у тебя за мебельный магазин?

Васенька покорежился. Бася подняла брови и изумленно взглянула на стену.

— А это что?!

Над диваном в красивых, совершенно одинаковых ореховых рамах висели рядом два портрета: портрет Ленина и — фотографически увеличенный собственный портрет Васеньки Царапкина с умным лицом.

— Два вождя на стене: Владимир Ленин и товарищ Царапкин! Ха-ха-ха!

Царапкин с неудовольствием возразил.

— Почему — «вождя»? Пришлось по случаю купить две рамки одинаковых, только всего и дела. А что тебе из мебели тут не нравится?

— Ничего не нравится. Кокотки комната, а не комсомольца. Ты, случаем, уж не душишься ли?

— Кокотки тут ни при чем. И вообще я тебе удивляюсь, товарищ. При царском режиме рабочий жил, как свинья,— что же, и теперь мы должны жить так же? Я думаю, что рабочий должен повышать свой жизненный и культурный уровень, в этом и был смысл нашей великой революции.

— Да? — почтительно спросила Бася.

Рассмехалась и встала. И смотрела с ненавистью.

— Я пришла с тобою говорить как с товарищем-революционером о твоём ошибочном поведении сегодня в цехе. А теперь вижу, что говорить нам с тобою не о чем. С тобою нужно бороться как с классовым врагом.

И вышла.

* * *

Из объявления на задней странице газеты «Известия».

Гр-н ЦАРАПКИН Василий Алексеевич, уроженец города Москвы, меняет имя и фамилию Василий Царапкин на ВАЛЕНТИН ЭЛЬСКИЙ. Лиц, имеющих препятствия к означенной перемене, просят сообщить в Мособлгаз, Петровка, 38, зд. 5, с указанием имени, отчества, фамилии и местожительства.

* * *

Лелька в воскресенье зашла вечером к Басе. Расхаживая по уютной своей комнате широким мужским шагом и сильно волнуясь, Бася рассказала, как держался с нею на работе Царапкин. Когда Бася волновалась, она говорила захлебываясь, обрывая одну фразу другою.

— Этого оставить так нельзя. Нужно, понимаешь, вокруг этого дела чтобы забурлило общественное мнение. Чтоб широкие массы заинтересовались. Какое наглое рвачество! И комсомолец еще! Я поговорю в партийной ячейке. Думаю,— нельзя ли устроить над ним общественный суд, товарищеский, чтобы закрутить это дело в самой гуще рабочих масс.

Пили чай. С хохотом делились такими противоположными впечатлениями от посещения обиталищ Спирьки и Царапкина.

Лелька сказала:

— А я недавно присутствовала на занятиях твоего брата, как он ведет кружок по диамату.

Черные глаза Баси блеснули острым любопытством. Стараясь показаться безразличной, она спросила, глядя в сторону:

— Как тебе понравились его занятия?

— Замечательно! Прямо, профессор какой-то! Откровенно сказать, раньше он мне не нравился. А тут — замечательно! Видно, умница, и с собственным взглядом на все.

В глазах Баси мелькнула тайная радость. Она медленно сказала, сдвинув брови:

— Арон — это единственное пятно на моей революционной совести.

— Пятно?

— Позорнейшее. Из-за которого я не должна бы смотреть прямо в глаза ни одному честному товарищу. Ведь мы с ним дети самого форменного нэпмана, мучного торговца. Только я с пятнадцати лет порвала с родителями, ушла от них, поступила в комсомол. А он от родителей не отказался, жил с ними, на их иждивении. Совершенно аполитический. До социализма ему нет никакого дела. А я провела его рабочим на завод, помимо биржи, через свои связи. Представляешь себе, какой он закройщик передов! Поддержала его кандидатуру в комсомол... Но как же мне иначе быть? Ты понимаешь, ему необходимо поступить в вуз, он обязательно должен дальше учиться, я уверена, что из него получится великий мыслитель. Увы! Не вроде Маркса, но, во всяком случае, вроде Спинозы или Эйнштейна... А так в вуз ему не попасть. Два раза блестяще сдавал вступительные,— и за социальное происхождение не принимали. Но скажи, неужели нам не нужны свои Эйнштейны?

Что Арон аполитичен, это сразу настроило Лельку против него. И, оказывается, ему совсем все равно, придет ли социализм или нет. Она вспомнила усмешку в его губах, когда он излагал в своем кружке возражения Энгельса Дюрингу. Чего доброго, он, может быть, даже — идеалист!

И Лелька ответила неохотно:

— Если так рассуждать, как ты, то придется принимать в вузы все классово чуждые элементы. Каждый папаша считает своего сынка гением.

Бася замолчала. Потом улыбнулась деланно:

— Как хорошая комсомолка, ты все это должна бы заявить, когда меня будут чистить. Поговаривают, что будет генеральная чистка всех партийцев.

Лелька обиделась.

— Что ты говоришь? За кого ты меня считаешь?

Бася нервно провела ладонями от висков по щекам.

— Я бы сочла своим долгом сказать. Ну, да спасибо.

Она молча заходила по комнате. Взглянула на часы в кожаном браслете. Потом сказала коротко и решительно:

— А теперь вот что. Пора тебе уходить. Я жду к себе своего парня.

Какого это парня? В личной жизни Бася была очень скрытна. Лелька знала только, что парни у нее меняются очень часто, что у нее было уже пять абортот.

Лелька шла по пустынной Второй Гражданской улице. Тихая облачная ночь налегла на поселок, со стороны Москвы небо светилось неугасающим заревом. Лелька думала о том, что вот и Бася

оказалась небезупречной. Это очень печально. Насчет Арона, конечно. Насчет парней — это ее дело. Может быть, слишком уж у нее все это просто, но, кажется, тут есть общий какой-то закон: кто глубоко и сильно живет в общественной работе, тому просто некогда работать над собою в области личной нравственности, и тут у него все очень путанно... Но Арон! Эх, Баська, Баська!

От глубокой снежной тишины было жутко. В сугробе под забором чернело что-то большое. Чернело, шевелилось. Пьяный? Поднялся было на руках человек, опять упал. Пьяный-то словно и пьяный, а только слишком как-то все странно у него. Небо низко налегло на землю. Выли собаки.

Одолевая жуть, Лелька подошла к сугробу. Человек уже лежал неподвижно, боком. Лицо было очень странное, — как будто все залито чернилами. Пьяный вылил себе на голову чернильницу? Или кто запустил в него ею? И вдруг Лелька вздрогнула: не чернила это, а кровь! Да, кровь!

Лелька наклонилась. Кепка валялась в снегу, густые волосы слиплись от крови, и кровью было залито лицо. Лелька тихо застонала: это был Юрка.

Оступаясь в колеях дороги, она побежала искать телефон, чтобы вызвать карету скорой помощи.

* * *

История с Юркой взволновала весь комсомол. В партийной ячейке шли возмущенные разговоры о том, что ребята в комсомоле совсем распустились, развиваются прогулы, хулиганство, рвачество, никакого отпора этому не дается, воспитательной работы не ведется. Секретаря комсомольской ячейки Дорофеева вызвали в райком и здорово намылили голову.

Решено было устроить тут же, на заводе, общественный показательный суд над Спирькой, избившим Юрку, и над Царапкиным. Придать суду самый широкий агитационный характер. Ребята энергично взялись за осуществление этого решения.

* * *

Суд был назначен в клубе, в комнате № 28. Пришел председатель суда, рабочий-каландровожатый Батиков, старый партиец, коротконогий человек с остриженной под машинку головой и маленьким треугольничком усов под носом. Пришли двое судей — галошница и рабочий из мелового отделения. Народ все валил и валил. Валила комсомолия, шло много беспартийных. Пришлось перенести суд в зрительный зал и для этого отменить назначенный там киносеанс.

Судьи уселись на эстраде за красным столом. Тут же сбоку сел

и секретарь суда — служащий из расчетного стола. Председатель вызвал Спиридона Кочерыгина.

Спирька легким прыжком физкультурника мимо лесенки вскочил на эстраду.

— Ты — Спиридон Кочерыгин?

— Ага!

— Садись.

Спирька сел и, посмеиваясь, переглянулся с приятелями. Он внутренне волновался, но держался спокойно и самоуверенно. Кудреватая гривка над низким лбом, ярко-зеленый джемпер на русской рубашке.

Председатель стал читать Юркино заявление, написанное Лелькою. В грамоте разбирался он плохо, но непременно хотел читать сам, секретарю не давал, хотя тот и пытался взять у него бумагу.

— Когда мы пришли кы... кы... к этому гражданину, то... э... э...

В следующем слове долго разбирался, секретарь заглянул, подсказал:

— ...то оказалось...

И хотел читать дальше. Но председатель отобрал бумагу. Спотыкаясь и замолкая, дочитал сам.

Спирька слушал, левую руку уперши в бедро. Правый локоть он положил на стол, руку вверх, и все время машинально сжимал и разжимал кулак.

Председатель кончил читать, вопросительно поглядел на публику.

— Понятно вам заявление? Может, повторить?

Событие все и без того знали. Ответили:

— Понятно.

Председатель удовлетворенно сел и сказал обвиняемому:

— Обвинение мы тебе прочли, а ты выкручивайся. Только говори всю правду, потому что ты не должен терять своего авторитета перед публикой... Так вот и расскажи нам, красота моя, как это случилось, что ты товарища своего избил,— за какие дела, за какую обиду?.. Только одну еще минуту подожди. Вот что скажи мне: раньше судился когда?

— Нет.

Из публики голос:

— Как — нет? А три месяца принудилки?

Спирька неохотно протянул:

— Ну да... Было три месяца.

— За что?

— Забыл.

— Забыл, за что дали три месяца!

— А я все буду говорить!

— Обязательно! Суд от вас этого требует.

— Просто сказать, драка была небольшая, взаимная. Несправедливо осудили, ни за что.

— Гм! Какой непролетарский судья! Надо про него написать в РКИ¹⁷, какой у него неправильный подход к рабочим.

Спирька усмехнулся и опять переглянулся с приятелями. Председатель строго сказал:

— Слушай! Если я смеюсь, то я смеюсь серьезно. И серьезно тебя спрашиваю: за что судили?

— Ну... за хулиганство.

И Спирька снова усмехнулся.

— Вы чего смеетесь? Я очень смешной или грязный? Мне бы легче было, если бы вы надо мною смеялись. А вы на три месяца принудилочки смеетесь, это плохо... Вы что, комсомолец?

— Да.

— Что же тебе в ячейке сказали за твое осуждение?

— Сказали, что плохо.

— Только и всего?

— Ну да! А то что же, скажут: «хорошо»?

Председатель вздохнул.

— Если мы все тут будем работать на принудилочке,— как ты думаешь, мы пятилетку тогда в четыре года сделаем? Нет, брат, тогда придут генералы, а ты перед ними будешь стоять под конвоем.

Выяснилось из сообщений присутствовавших, что у Спирьки еще одна была судимость — месяц принудительных работ. Да еще три привода в милицию.

— А выговоры тебе по заводу были?

— Не помню.

— Как же не помнишь?

— Все помнить!

Председатель заглянул в дело.

— Видимо нам из справки, что у вас по распоряжениям проведено шесть выговоров. Знаете ли вы, как такое дезертирство труда отзывается на производстве?

— Не знаю.

— Почему вы такой глупый, что не знаете? Так я вам тогда скажу, что с дезертиром рабочий класс не считается и увольняет за это. Кто не хочет участвовать в нашем великом строительстве, того мы, рабочие, заставляем работать из-под палки там, где комаров много... Ну вот, суммируя обо всем вышесказанном, скажи мне: две судимости, шесть выговоров, три привода в милицию,— вот все это, вместе собранное: все это была ложь, или сам ты был виноват? Зря тебе все это припаяли?

Спирька разжал кулак, заглянул в него, сжал опять и неохотно ответил:

— За дело...

— А три месяца принудилочки?

— Тоже не зря.— И вдруг сверкнул глазами в пушистых рес-

ницах.— Ты меня присуждай, к чему надобно, а жил из меня не тяни!

В зале захохотали. Председатель хитро усмехнулся.

— Мы тебя, милый, может, ни к чему даже и не присудим, нам не это важно есть. А важно нам выяснить тебя перед всеми, каков ты нам есть товарищ и гражданин пролетарского государства. И мы тебя начали уж немножко больше понимать,— от одних вопросов о твоей прошлой жизни. Теперь можно приступить к делу. Потерпевший... э... э... Георгий Васин. Выходи сюда, садись вот тут.

Юрка с головою, забинтованною марлею, поднялся по лесенке на эстраду. Спирька с глубоким презрением оглядел его и отвернулся. Юрка побледнел под этим взглядом. С страдающим лицом он сел на другом конце стола.

Председатель обратился к Спирьке:

— Вот теперь ты нам расскажи, все по порядку, за что ты товарища своего избил, за какие его дела.

— Просто пьяная драка была, больше ничего. А здесь из моськи сделали слона.

— А этого слона,— из-за чего его сделали? Вот ведь меня ты сейчас не бьешь. Из-за чего-нибудь драка вышла же у вас.

— Не помню.

— А вот тут в заявлении сказано, что ты перед дракой, три дня тому обратно, грозился, что ему даром не пройдет чегой-то такое. За что ты ему грозился?

— Мало ли что говорится. Это я тогда просто с сердецов сказал, без всякой последовательности.

— А за что ты ему тогда сказал? За что гадом назвал?

Спирька сверкнул глазами.

— Не по-товарищески поступил.

— А в чем был этот поступок нетоварищеский?

— Пришел на квартиру ко мне пронюхивать, почему на работу я не вышел. Что он, администрация, что ли? А были приятели, сколько вместе гуляли!

— Вот. Ты прогулы делаешь, вредишь этим производству. А чье теперь производство, знаешь? Капиталистов каких-нибудь, буржуазии, али рабочего государства? Отвечай мне.

— Ну, ясно: рабочего государства.

— Значит! Делая эти прогулы, ты у нас называешься дезертир труда. Ты знаешь про нынешнюю железную дисциплину труда? Мы раньше воевали с капиталистами, а теперь за лучшую нашу долю воюем с дисциплиной труда. Мы железно боремся на работе по труддисциплине! И всякого, кто за это борется, надо не гадом называть, а называть строителем социализма.

Спирька молчал, разжимал кулак, заглядывал в него и опять сжимал.

Председатель вздохнул.

— Плохо, красота моя, плохо!.. Ну, теперь потерпевший пусть нам расскажет, как что было.

Юрка смотрел угрюмо.

— Все в заявлении прописано. Что рассказывать!

— Сколько тебя человек било?

— Не один, конечно. Три-четыре. А то бы я дался?

— Узнал их в лицо?

— Спиридона вот узнал.

— А других?

Из других тут же в первом ряду сидели рамочник Буераков и съемщик Слюшкин. Они с выжидающей усмешкой глядели на Юрку.

Юрка с отвращением ответил:

— Других не узнал.

Председатель обратился к Спирьке:

— Кто это вместе с тобою работал, молодец?

Спирька с вызовом ответил:

— Не знаю.

Председатель повысил голос.

— Как я тебя спрашиваю по общественности, то ты мне отвечаешь по пролетарской совести, ты передо мною ничего не должен скрывать!

Повысил голос и Спирька.

— Что я, товарищ тебе стану выдавать? Не дожدهшься! Присуди меня на три года изоляции, а доносчиком на товарищ не буду!

Он сказал это горячо и резко. В разных концах зала раздались рукоплескания, в ответ на них — властно-громкое шиканье, и рукоплескания робко упали.

Председатель встал.

— Ну, товарищи, давай, оценивай. Какое общественное мнение, какой суд нужно применить к этому парню?

Лелька сказала:

— Позвольте мне.

— Сюда взойдите.

Лелька поднялась на эстраду, взошла на трибуну.

— Ребята! Я видела вот этого нашего товарища лежащим ночью в снегу, под забором, с разбитой головой, без чувств. Был мороз. Переулочек глухой. Если бы я случайно не проходила мимо, парень замерз бы. За что же его избili и бросили подыхать на морозе его товарищи, за что присудили к смерти? За то, что он честно исполнил долг пролетария и комсомольца, что он болел душой за производство, что повел большевистски-непримиримую борьбу с лодырями и прогульщиками, не глядя на то, приятели это его или нет... Юрка! Мне самое больное из того, что я здесь вижу,— это то, что ты сидишь как будто обвиняемый, что ты опускаешь голову и не смеешь взглянуть на мерзавцев, которые продают наше рабочее дело, которые пытались проломить тебе голову за то, что ты не хочешь их покрывать. Верь, Юрка, все мы, комсомольцы, все сколько-нибудь

сознательные рабочие,— мы все за тебя. Выше голову, гордо подними ее, ты честно делаешь свое дело! И прими от меня горячий товарищеский привет!

Она охватила руками шею остолбеневшего Юрки и жарко поцеловала его. Спирька вздрогнул, выпрямился, кулаки его машинально сжались. Зал загремел рукоплесканиями. Девчата хлопали, смеялись, приветственно махали Юрке кистями рук и платками, кричали:

— Юрка! Не робей! Дерись и вперед за производство! Молодец, парень! Не отступай!

Тепло и весело стало в зале, все почувствовали себя как-то дружнее. Спирька сидел растерянный и недоумевающий, исподлобья поглядывал на девчат.

Взошел на трибуну Гриша Камышов, секретарь ячейки вальцовочного цеха, длиннолицый, с ясными глазами. Он сказал:

— Товарищи! Должен я вам сказать вот какую истину: плохо у нас в комсомольской ячейке обстоит дело с воспитанием товарищей. Нет у них правильной идеологии, мало у них осознана классовая борьба, и нет настоящей поддержки правильным стремлениям. Подумайте, как это могло случиться? Вот сидит гражданин и воображает себя героем, пострадать готов, чтобы не выдать товарищей. И ему в зале хлопают, одобряют его геройство! И никто не толковал ему, что делает он не геройство, а — подлость, что он такими поступками ставит себя в ряды наших классовых врагов! И вот какая оказывается перед нами горькая истина: этот гражданин, который так внимательно все заглядывает зачем-то в свой кулак (смех), этот гражданин до самой сегодняшней поры был комсомольцем и черное дело свое делал с комсомольским билетом в кармане. Конечно, навряд ли мы его потерпим в нашей среде...

Спирька презрительно бросил:

— Сам уйду!

Председатель строго сказал:

— Погоди! Не прерывай! Твоя речь впереди. Продолжай, товарищ.

— Продолжать нечего, я все сказал. Только повторю то, что сейчас говорила Лелька Ратникова. Ты, Юрка, как видно, хороший парень, а хороших дел стыдишься, не понимаешь до сих пор той истины, что прогульщик, все равно что и рвач,— не товарищ нам, а классовый враг, и с ним нужна — беспощадность!

Председатель оглядел публику:

— Желает еще кто высказаться? Защищайте его, кто с ним согласен, не стесняйтесь. Выказывайте свою генеральную линию. Правильно сейчас сказал товарищ,— ведь хлопали ему. Вот и выскажитесь. Поспорим, выясним, кто прав.

Но никто не выступил. Чувствовалось, что многие за Спирьку, но не было привычки защищать на собраниях неодобренные взгляды. Настоящие споры должны были начаться потом, в ку-

рилках и столовках. Только один пожилой рабочий сдержанно заявил:

— Имейте в виду, товарищи судьи, его семейное положение, когда будете постановлять приговор. Отец у него пьяница и хулиган, бросил семейство, мать из сил выбивается, трое ребят незрелых.

— А он матери помогает?

— Помогает.

Председатель немножко мягче обратился к Спирьке:

— Ну, говори теперя ты. Защищайся, оправдывайся, сколько можешь.

Спирька угрюмо ответил..:

— Что ж оправдываться? Побил, не отрекаюсь.

— Нам этого мало. Мы, конечно, можем выгнать тебя с завода и закатать на принудительные работы. Но нам от этого никакой сладости не будет. Я бы тебя призвал исправиться, стать парнем на ять, подучиться, узнать, что такое пятилетка. Ты мог бы быть первым на заводе, ведь ты — парень молодой, красота смотреть, господь тебя, если бы он существовал, наградил мускулатурной силой... Что ты обо всем этим подумываешь? Даешь нам слово исправиться?

Спирька мрачно сказал:

— Ну, ясно. Даю.

И опять, забывшись, поглядел в кулак.

Председатель помолчал, потом сказал:

— Будем кончать.

Трое судей и секретарь наклонили головы и стали шушукаться, потом секретарь побежал пером по бумаге. Председатель встал и, спотыкаясь на трудно разбираемых словах, огласил приговор, — что обвиняемый подлежал бы за свою антипролетарскую деятельность увольнению с завода и хорошей изоляции, —

— Но!.. — суммируя семейное положение гражданина Кочерыгина и его обещание исправиться, то посему объявить ему общественное порицание и строгий выговор с предупреждением.

* * *

Потом без перерыва начали второе дело.

Опять председатель сам прочел заявление, спотыкаясь и экая. В заявлении было сказано, что комсомольская ячейка привлекает к товарищескому рабочему суду Василия Царапкина за нарушение производственной дисциплины и рвачество.

Председатель вызвал:

— Василий Царапкин.

Медленно поднялся на лесенке Царапкин, в ярком галстучке и в лакированных туфлях на зеленых носочках. Громким голосом он сказал:

— Заявляю суду, что я законным порядком изменил свое имя и фамилию, что меня теперь зовут не Василий Царапкин, а Валентин Эльский.

Хочот покотился по залу. Улыбнулся и председатель. Царапкин вспыхнул и еще громче, покрывая смех, крикнул:

— Я протестую против такого насмешливого отношения к законному постановлению нашей советской власти и прошу председателя призвать публику к порядку.

Председатель сделал серьезное лицо и сказал:

— Она сама в порядок придет... Ну, слышал заявление, понял, в чем тебя обвиняют?

— Ничего не понял.

— Значит, надобно, чтоб тебе это было объяснено. Товарищ Броннер, взойди к нам сюда и объясни, в чем этот парень проштрафился перед рабочим классом.

Бася быстро взошла на трибуну.

— Товарищи! Наш товарищеский и вообще наш пролетарский суд отличается от буржуазного суда прежде всего тем, что в привлечении к суду он руководствуется здравым смыслом, а не какими-то там параграфами законов. Нет в законе такого параграфа, по которому мы могли бы привлечь к суду товарища Царап... Извиняюсь, товарища В-а-л-е-н-т-и-н-а Э-л-ь-с-к-о-г-о (смех). И все-таки он глубоко виновен перед рабочим классом, виновен как рабочий и как революционер-комсомолец...

И Бася рассказала, как Царапкин намеренно медленно работал, стараясь удлинить все операции и тем сделать неверным весь хронометраж.

Председатель взглянул на Царапкина.

— Ну, милой, понял ты, в чем тебя обвиняют?

Царапкин презрительно отозвался:

— Теперь понял.— И заговорил уверенным, привычным к выступлениям голосом: — Чтобы заниматься хронометражированием какой-нибудь работы, нужно эту работу понимать. Товарищ Броннер нашей работы не знает, ничего в ней не понимает и, когда я работаю добросовестно, обвиняет меня в предательстве рабочего класса.

И опять он стал говорить о необходимости тщательной работы, о большом браке, который получается оттого, что присохший к колесу лак загрязняет резину галоши.

Со всех концов зала раздались голоса галошниц:

— Это верно. Всего больше от этого брак.

Согласилась и Бася.

— Да, верно. А скажи-ка ты мне, Царапкин, сколько ты в месяц вырабатываешь?

— Это тут ни при чем, сколько я зарабатываю.

— Ну, все-таки?

— Ну... Рублей двести.

— А сколько в день отлакируешь галош?

— Пар семьсот. Приблизительно по сотне в час.

— Та-ак... — Бася вынула свои записи.— Вот. Я твою работу подробно записала, как будто не заметила, что ты дурака валяешь. И выходит, что при такой работе, какую ты делал передо мною тогда, ты в день отлакируешь никак не больше трехсот-четырехсот пар. Ты сам себя, Царапкин, обличил. Стыдись!

Царапкин покраснел и молчал.

— Может, ты неправильно записала.

— Го-го! — В зале засмеялись.

— Нет, не беспокойся. Запись самая правильная.

Председатель сказал:

— Ну, так как же... Валентин Эльский? (Каждый раз весь начинал смеяться.) Дело-то твое, Валентин, выходит неважное. Нужно будет тебе подумать над своей жизнью. Видал, сейчас на этом же твоем месте сидел парень,— как, хорош? Оба вы не хотите думать о социалистическом строительстве и о пятилетке. Раньше был старый капитал, при котором один хозяин сидел в кабинете и над всем командовал...

Царапкин слегка усмехнулся.

— Чего смеешься?

— Ты о политике?

— Да! О политике!

— О политике я и сам скажу.

— Ты помолчи, я еще много буду говорить о политике... Так могло быть при старом капитале, который мы обворовывали, а того больше — он нас обворовывал. А теперь какой у нас строй? Вот ты говоришь, что в политике смыслишь,— скажи.

— Скажу.

И бойко, без запинки, Царапкин стал говорить о том, что сейчас у нас хозяином всего является рабочий класс, что теперь нет, как прежде, эксплуатации рабочих, что теперь подъем хозяйства выгоден для самих рабочих.

— Правильно. Ну, я тебе сказал про старый быт, ты нам — про новый. Какую же политику нам нужно вест?

Царапкин опять усмехнулся и бойко, как первый ученик на экзамене, заговорил о необходимости рационализации производства, увеличения производительности труда, снижении себестоимости.

Председатель слушал и растерянно глядел. Когда Царапкин кончил, он сказал в раздумьи:

— Правильно ты все это говорил, а слушать тебя было как-то... огорчительно. На тебя, я примечаю, какие-то особенные нужны слова, контрольные. Наши слова ты все и сам знаешь.— Он вздохнул.— Плохо, парень, то, что слова-то наши ты знаешь, а вот пролетарских чувств наших не знаешь, даром, что сам пролетарий... Ну, товарищи, кто желает высказаться?

Бася, задыхаясь от негодования, ринулась на трибуну.

— Я думаю, товарищи, все вы испытываете то же чувство омерзения, какое испытала я, слушая этого горе-комсомольца...

Девчата-комсомолки бешено захлопали и закричали:

— Правильно!

Бася бурно продолжала:

— Да! Слова наши он все знает,— верно сказал председатель. Но то, что в этих словах для нас горит огнем, полно горячей крови, трепещет жизнью,— все это для него погасло, обескровилось, умерло. Стыдно было слушать, когда он мертвым своим языком повторял те слова, которые нам так дороги, так жизненно близки...

— Правильно! Правильно!

Ребята яростно хлопали, еще пуще хлопали девчата и среди них Лелька.

— Какое бесстыдство! Какой цинизм! Вы заметили, как он подленько усмехался, когда произносил всем нам такие дорогие слова? Уж одним этим он себя не меньше обличил, чем своим враньем, что будто бы работал при мне так медленно, чтобы лак не попал на колодку... Товарищи! Сейчас у нас начинается великая стройка, рабочий класс должен напрячь все силы, себя не жалея, чтоб у нас установился социализм. А этот вот рвач дрожит только над одним,— как бы ему не повысили норму, как бы ему не потерять ни рублика из своих двухсот рублей в месяц... Двести рублей, а? Недурно, товарищи?

— Очень даже недурно!

Мужской голос:

— А тебе завидно?

Бася продолжала:

— И он недурно эти двести рублей умеет проживать. О, очень даже недурно! Я вам расскажу...

Под общий хохот она рассказала о своем посещении Васеньки на дому, о никелированной кровати и голубом атласном одеяле и о двух больших портретах на стене — Владимира Ленина и Валентина Эльского.

Хохот катался по всему залу. Царапкин сидел злой и красный. А Бася рассказывала, как он ей проповедывал, что сейчас задача сознательного рабочего — заводить себе получше обстановочку, лучше кушать и покрасивее одеваться.

— Вот как он понимает призвание сознательного рабочего в наше грозное, трудное и радостное время! Посмотрите на эти лакированные ботинки и зеленые носочки: вот тебе высокая боевая цель, рабочий класс!

Долго комсомолия аплодировала, волновалась и переговаривалась. Потом взошел на трибуну худощавый парень с бледным лицом,— его Лелька мельком видала в ячейке. Говорил он глуховатым

голосом, иногда не находя нужных слов. Брови были сдвинутые, а тонкие губы — энергичные и недобрые.

— Царапки! Помнишь, четыре года назад мы вместе с тобою поступили на завод. И в одно время с тобой мы, значит, вступили и в комсомол. Получали мы тогда шестьдесят рублей в месяц. И тогда ты не думал, так сказать, о зеркальных там разных шкафах и другом барахле. Ты был дельный парень, активный, хорош ты был тогда и Васькой Царапкиным, не надо было тебе, понимаешь, перекрашиваться в Валентина Эльского. Но я не об тебе хочу сейчас заострить вопрос. От тебя происходит определенное впечатление: ты стал предателем рабочего класса, с тобой нужно бороться и стараться тебя уничтожить. А вот, товарищи, в какую сторону я ударил свое внимание, когда слушал всю процедуру над этим здесь гражданином. Молодой парень, одинокий,— правильно ли, что он получает двести рублей в месяц?

Публика в недоумении задвигалась. Раздались голоса:

— Заливает!

— Заболтался! Видно, сам мало получает, вот и завидно стало.

— ...я говорю и, значит, повторяю. Старый рабочий; у него, понимаешь, семья в пять-шесть человек, не на что даже ребятам ботинки купить. Получает же столько, сколько молодой, одинокий. А этот вон на что денежки тратит,— на атласные одеяла да вон на энти туфельки лаковые.

Старый рабочий в грязной блузе, в какой был на работе, вскочил с места и заговорил взволнованно:

— Правильно, товарищ Ведерников! Больно много молодые получают, нельзя терпеть такого безобразия. Сокращать их надо в норму. Жарь, Афонька! Правильно!

Но другие возмутились и зароптали. Неслись выкрики:

— Об других легко говорить!

— Сам себе свое жалованье сократи!

— Сколько сам получаешь, ну-ка, скажи!

Ведерников, строго сдвинув брови, спокойно переждал шум.

— Сокращать вовсе незачем, но я совсем не к тому,— сказал он.— А вот я к чему, вот какая мне, так сказать, мысль пришла в голову. Мы, понимаешь, все — рабочие, товарищи друг другу, работаем на одном заводе, на одном деле. А выходит,— одни,— как нищие, а другие (он указал на Царапкина) — в туфельках. Правильная ли это сортировка? Нет, неправильная. Ведь мы — коммунисты. «Коммун» по-латыни значит «общий». Вот бы и нужно, чтобы весь заработок всех рабочих на всех шел, не делить на каждого. А кому, понимаешь, сколько надобно на дело, тому столько и выдавать. Чтобы всем ребятам ботинки были, а чтоб у Царапкина зеркального, значит, шкафа не было.

Лелька в восхищении крикнула:

— Ой, ч-черт! Здорово!

Ей очень понравилось это предложение. И вся комсомолия вско-

лыхнулась. В то время идея подобных производственных коммун была еще внове, в газетах об ней не писали, и она в тот вечер самостоятельно зачалась в голове Афанасия Ведерникова.

Заговорили за и против, заволновались. Председатель спохватился и сказал:

— Товарищи! Этот вопрос очень важный, надобно заострить его по всей норме. Но только сейчас мы больно далеко заедем с этим в сторону. Давайте поверотимся к делу... Никто больше не может сказать о деле?

Судья, сидевший направо от председателя, сказал:

— У меня вопрос. Кто ваши родители?

Царапкин ответил:

— Отец умер, до самой смерти работал в трубном отделении. Мать галошница.

Из публики сомнительно спросили:

— А не из чиновников ли?

Председатель обратился к обвиняемому:

— Ну, Царапкин, твое теперь слово. Фигурируй как можешь!

Царапкин встал, откашлялся и торжественно сказал:

— Сознаю свою вину и говорю это открыто, по-большевистски. Признаюсь, что нарочно замедлял работу при наблюдении хронометражистки. Я понял свою ошибку и даю слово честного комсомольца раз навсегда исправиться! И если мне будет осуждение, признаю, что я его заслужил.

Председатель удовлетворенно сказал:

— Вот этак-то сейчас у тебя лучше выходит... Ну что ж, можно теперь и это дело кончать.

Опять судьи наклонились друг к другу и зашептались. Встал председатель и прочел приговор: за несознательное отношение к производству и за попытку ввести в заблуждение хронометраж объявляется ему общественное порицание с опубликованием в местной заводской газете.

* * *

Суд кончился. Судьи ушли, также и взрослая публика. Но девчата и парни долго еще волновались и спорили. Царапкин в кучке девчат яро доказывал свою правоту: всякий рабочий имеет право на культурную жизнь; это позор и насилие — не позволять рабочему-пролетарию жить в советской стране так, как уже давно живут пролетарии даже в капиталистических странах — в Западной Европе и Америке. Если рабочий весь свой заработок пропивает, валяется под забором в грязи, то он — наш, свой! А если он вместо этого покупает шкаф с хорошим зеркалом или мягкую кровать, то он — буржуй, изменник рабочему делу!

Девчата возражали, но скоро все от него отошли, сказав:

— Нет, Васька, все-таки тебя нужно исключить из комсомола. Буржуйчик ты. Пижончик называешься, жоржик!

Большая толпа была вокруг Ведерникова и Гриши Камышова. Спорили о брошенной Ведерниковым мысли насчет общего заработка. Камышов ему возражал: несвоевременно. Лелька с одушевлением защищала идею Ведерникова.

Гурьбою вышли из клуба и продолжали спорить. Была тихая зимняя ночь, крепко морозная и звездная. Очень удачный вышел суд. Всех он встряхнул, разворошил мысли, потянул к дружной товарищеской спайке. Не хотелось расходиться. Прошли мимо завода. Корпуса сияли бесчисленными окнами, весело гремели работой. Зашли в помещение бюро ячейки.

И там продолжали спорить. Лельке очень понравился Ведерников. Гордые глаза, презрительно сжатые, энергические губы — настоящий пролетарий. И это милое «понимашь». И согласна она была как раз с ним, и спорила в его защиту. Но он пренебрежительно пробежал по Лельке взглядом и не обращал на нее никакого внимания. Это больно задевало ее. Юрка, с забинтованной головой и счастливым лицом, все время старался держаться поближе к Лельке.

Сидя на столе и покуривая трубку, Камышов говорил Ведерникову:

— Вот я тебе скажу такую истину: много народу ты сейчас на этом деле не собьешь,— слишком новое дело. И притом — утопизм, неправильная постановка: обобществлять зарплату, не считаться ни с квалификацией, ни с производительностью труда,— эти уравнивательные тенденции надо оставить. Не все такие хорошие, как мы с тобою. Пойдут склоки, неудовольствия...

Он говорил, глядя ясными глазами, и по губам пробежала весело-насмешливая улыбка. Лелька с обидой заметила, что он, кажется, умнее Ведерникова, тверже разбирается в вопросах и начитаннее. Камышов продолжал:

— А в этом, ребята, нужно нам сознаться. Закисаем мы, все больше всасываемся в болото, живем изо дня в день, без всякой яркой цели впереди, без настоящей коллективной работы. А кругом все идет черт те как: процент брака вполне неприличный, производительность труда плохая, прогулы растут. Вот на что нам нужно заострить внимание. Твое дело, Афоня, не уйдет,— в свое время надобно будет и его взять за жабры, конечно, с поправками. А сейчас вот что, по-моему, нужнее всего. Отчего бы нам не организовать ударный молодежный конвейер и взяться за это вплотную всему нашему активу. С энтузиазмом! Чтобы яркий огонек загорелся в рабочей массе.

Все замолчали. Совсем что-то новое встало и неожиданное. Соображали. Камышов продолжал:

— Ударный конвейер в галошном цехе. Я в вальцовке свой

каландр сагитирую, на вальцах Юрка будет ударяться. Как ты, Юрка?

Юрка с восторгом воскликнул:

— Ну, ясно!

Раздумчиво зазвучали медленные голоса:

— Пра-виль-но.

— Это хорошо.

Лельке жалко было отказаться от идеи Ведерникова, но предложение Камышова и ей понравилось больше: живая работа вместе, спаянность общей целью, стальная линия вперед.

И всем это понравилось гораздо больше, даже самому Ведерникову. Воодушевились. Стали обсуждать, как все это устроить, в подробностях намечали план. И надолго у всех осталась в памяти накуренная комната ячейки, яркий свет полуваттной лампы с потолка, отчеканенные морозом узоры на окнах и душевный подъем от вставшей перед всеми большой цели, и ясная, легким хмелем кружащая голову радость, когда все кругом становятся так милы, так товарищески дороги.

Так, совсем как будто нечаянно, кривым путем — из удавшегося суда, из душевного подъема, вызванного общими переживаниями на суде, — родилась первая молодежная ударная бригада на заводе «Красный витязь».

* * *

Лелька пришла к себе поздно, пьяная от восторга, от споров, от умственного оживления, от ярких просторов развернувшейся перед нею большой, захватывающей работы. Поставила в кухне на примусе кипятить чайник, а сама села на подоконник итальянского окна, охватив колени руками, — она любила так сидеть, хотя зимою от морозных стекол было холодно боку.

Сидела она и думала о том, как хорошо жить на свете и как хорошо она сделала, что ушла из вуза сюда, в кипящую жизнь. И думала еще о бледном парне с суровым и энергическим лицом. Именно таким всегда представлялся ей в идеале настоящий рабочий-пролетарий. Раньше она радостно была влюблена во всех почти парней, с которыми сталкивалась тут на заводе, — и в Камышова, и в Юрку, и даже в Шурку Шурова. Теперь они все отступили в тень перед Афанасием Ведерниковым.

Только почему он все время с таким пренебрежением глядел на нее?

* * *

Выбрали инициативную тройку для организации ударного конвейера. Вошли в нее Бася, Лиза Бровкина и Ведерников. Партийная ячейка отнеслась к начинанию молодежи благодушно, но без

особенной активности, администрация — с полнейшим равнодушием и даже с легкой насмешливостью. Инженер галошной мастерской сказал:

— Не завалите работы? Ну, делайте. А если что, — вы мне ответите.

Если над водою, сидя в лодке, держать зажженный факел, то с разных мест, — из заводов, из-под коряг, из темных омутов, — отовсюду потянутся к свету всякие рыбы. Так из гущи рабочей молодежи завода «Красный витязь» потянулись на призыв ударной тройки те, кому надоело вяло жить изо дня в день, ничем не горя, кому хотелось дружной работы, озаренной яркою целью, также и те, кому хотелось выдвинуться, обратить на себя внимание.

Желающих явилось больше чем нужно. Ударная тройка отбирала тех, кто был получше в работе. Необходимо было прикрепить к конвейеру и Басю: она и работница была прекрасная, и великолепный организатор в качестве члена тройки, — ее наметили бригадиром. Но Бася уже не работала на галошах. С большими усилиями, с вмешательством партийной ячейки удалось добиться, чтобы администрация временно освободила ее от хронометража.

И еще встал вопрос: кого в групповые мастерицы? Важно, чтоб она была подходящая и опытная. Долго не могли наметить. Тогда Лелька предложила Матюхину, — мастерицу, у которой она обучалась работе при поступлении на завод. Как?! Старуху? Нужно, чтоб и мастерица была комсомолка! Что же это будет за молодежный конвейер? Но у всех, кто знал Матюхину, лица зацвели улыбками.

— Матюхину! Лучше не найти! Дело вот как знает. И за производство болеет, как за родного ребенка.

Выцарапали у администрации и Матюхину. Этого добился Ведерников, который умел разговаривать с администрацией напористо.

Две-три недели ушли на организацию. Наконец все было готово. Сказали друг другу:

— Ну, ребятки, держись! Чтобы не осрамиться!
И начали работу.

* * *

Могучий и мягкий, как львиная лапа, ревет гудок над просыпающимся поселком и всем возвещает:

«Вставай! Собирайся! Через полчаса — начало работы».

К заводским калиткам уж начинают сходитьсь работницы, хотя пустят на завод только еще через двадцать минут. У одной из калиток девчата с ударного конвейера. С каждой минутой их подбирается все больше. Взволнованно глядят, кого еще нету. Очень беспокоятся. Первый пункт их обязательства — спустить опоздания и прогулы до нуля. А многие живут в городе, трамвай № 20 ходит

редко, народу едет масса. Если не слишком нахален, ни за что не вскочишь.

Ежятся на утреннем холоде, топают ногами.

А в залах галошного цеха уже расхаживают групповые мастерицы и материальщицы, все подготовляя для работы. Мастерица ударного конвейера, товарищ Матюхина, быстро раскладывает по длинному столу конвейера кожаные нагрудники и нужные для каждой операции инструменты: ножи, ролики, штитцеры с зубчатыми колесиками. Матюхина, невысокая, курносая, с старообразным лицом, одета, как все мастерицы, в фиолетовый халат с малиновыми отворотами. Тихо. Ленты конвейера неподвижны, бесшумно ползет вдоль стены гигантский транспортер. Тихо. Только гудят электрические вентиляторы, и звякают иногда металлические колодки, бросаемые колодочниками в большие ящики в начале конвейеров.

Заревел второй гудок. Густыми потоками полились девчата из проходов в залы цеха. Все вокруг ожило. Болтая и пересмеиваясь, девчата рассаживались по местам на высоких, вертящихся круглых табуретках. Повязывали вокруг пояса кожаные коричнево-желтые нагрудники. Это было красиво: как будто корсажи; и бюсты всех девушек как будто делались полными. Надевали на пальцы обеих рук матерчатые колпачки, зубами завязывали тесемки. Не спеша усаживались, поудобнее раскладывали вокруг себя инструменты и материал. Лениво разговаривали, пересмеивались.

Заревел снаружи третий гудок, долго и непрерывно зазвонили звонки в цехах. Лента конвейера задвигалась, и первая колодка с надетой на нее подкладкой поплыла на ленте. За нею вторая, третья. Ближайшие работницы срывали их с ленты, накладывали стельку, обминали по краям, быстро закатывали роликом, ставили колодку опять на ленту, и колодка плыла дальше. Постепенно одна лениво двигавшаяся фигура за другою хватала с ленты подплывавшую колодку и размеренными, бешено-быстрыми движениями начинала работать. Все чаще и чаще становился грохот колодок и роликов о железные настилы столов,— как будто стальные мячики редким, начинающимся летним дождем били по железной крыше.

И все новые фигуры втягивались в кружащую голову вихрь работы. Через двадцать минут уже весь конвейер кипел работой. И все другие конвейеры тоже. Грохотали удары роликов и колодок, со звенящим стуком падали колодки в ящики, гудели вентиляторы; иногда, как развернувшиеся бичи, воздух резали разбойничьи свисты парней резерва, гнавших вагонетки: свистели, засунув два пальца в рот, чтоб сторонились. Над бесконечными столами конвейеров наклонялись и поднимались девичьи головы, быстро двигались руки и локти, а в середине, на ленте, бежали и бежали вперед все обраставшие частями колодки.

Лелька работала на бордюре. Рядом с нею, на резине, работала Зина Хуторецкая; прозвание ей было: Зина-на-резине. Некрасивая,

худая, с нездорово-коричневым лицом и стрижеными, невьющимися волосами. Часто покашливала коротким кашлем. Любила бузить, дурила, смеялась, особенно с парнями; когда они возились с нею и крутили ей руки, она блаженно смеялась и смотрела влюбленно-угодливыми глазами. Но славная была девчонка, и одна из первых записалась в ударную бригаду.

Звонок. Ленты конвейеров остановились. Десятиминутный перерыв. Девчата спешно заканчивали начатую колодку и бросали работу: одним из пунктов ударного устава строго воспрещалось работать в перерывах. Бежали в уборные, в столовку выпить чаю, на медпункт взять порошок от головной боли или принять валерианки.

Зина-на-резине несколько минут сидела неподвижно, сгорбившись и свесив плечи. Потом встряхнула волосами и медленно пошла к выходу.

К Лельке подседа мастерица Матюхина.

— Леля! Не годится эта девчонка в ударницы. Я все за ней смотрю: совсем кволая. Старается вовсю, это грех не сказать, а только работает через силу. Ведь работа гоночная,— где ей такую выдержать.

— Я и сама это замечаю. Верно. Пойдем, скажем Ведерникову.

Ведерников работал на их же конвейере, на прижимной машине. Он подумал и сказал:

— Да, девчонка кволая, не выдержит. Вот что, товарищ Ратникова, столкнитесь с Лизой Бровкиной, поговорите вместе с Зиной, скажите, что мы ее решили снять с работы, жалеючи ее здоровье, а не из какой-либо причины.

— Ладно! Так будет лучше всего.

Зазвенел звонок. Все спешили к местам. У окна парень-колодочник, охватив Зину за плечи, что-то старался у нее отнять, а она вырывалась, смеялась мелким, блаженным хохотком и повторяла:

— Пусти! Да пусти же! Говорю тебе — не брала!.. Слышишь, звонок? Ей-богу же, пусти!

В следующий перерыв Лелька и Лиза Бровкина подошли к Зине. Лелька положила ей руку на плечо.

— Зина! Тебе ударная работа не по силам. Совсем испортишь здоровье. Нам поручили товарищи сказать: уходи из ударниц, мы тебя не осудим.

Зина побледнела.

— Ай я плохо работаю? Никогда у меня завалов нету.

— Работаешь очень хорошо, речь не о том. А все мы видим, что тебе такая напряженная работа не по здоровью.

— Почему — не по здоровью? Что кой-когда устану, так это со всяким может быть. Не гожусь,— прямо так и скажите. Тогда уйду.

Она всхлипнула, быстро встала и ушла.

После этого Зина надулась на Лельку и стала от нее отворачиваться.

Обедали ударницы в нарпитовской столовой все вместе. Потом

высыпали на заводский двор, ярко освещенный мартовским солнышком. В одних платьях. Глубоко дышали теплым ветром, перепрыгивали с одной обсохшей проталины на другую. Смеялись, толкались. На общей работе все тесно сблизилось и подружилось, всем хотелось быть вместе. И горячо полюбили свой конвейер. Когда проревел гудок и девчата побежали к входным дверям, Лелька, идя под руку с Лизой Бровкиной, сказала:

— А я понимаю Зину-на-резине. И сама ни за что бы не ушла, пускай бы даже умерла бы.

Одна только большая боль была у Лельки. Ей все больше нравился Афанасий Ведерников, с его суровым, энергичным лицом. И все больше она начинала его уважать. Он безумно всего себя растрачивал на работе. Учился на вечернем рабфаке; полдня проводил на заводской работе, полдня на рабфаке; был членом ударной тройки, много работал и в ней. Имел еще какую-то нагрузку на рабфаке. И Лельке больно было смотреть на его истощенное, бледное лицо с выступающими скулами, хотелось подойти к нему с горячей товарищеской лаской. Между тем она чувствовала к себе с его стороны какую-то тайную, совершенно ей непонятную враждебность. Ведерников никогда не обращался к ней ни с каким вопросом, всегда смотрел мимо нее. А с другими девчатами болтал, распускал суровые свои губы в улыбку, даже возился и обнимал за плечи. Нескольким раз Лелька пробовала заговорить с ним,— и сама потом с отвращением вспоминала свой заискивающе-влюбленный тон, вроде того, каким говорила с парнями Зина Хуторецкая.

* * *

Заводская газета «Проснувшийся витязь» с шумом и торжеством оповестила о возникновении молодежной ударной бригады в галошном цехе. И из номера в номер в ней появлялись статьи о ходе работы на ударном конвейере, о том, как добросовестно, с каким энтузиазмом работает молодежь.

Нет праздных разговоров, все внимание сосредоточено на работе; на столах чистота, не мешают работе лишние колодки, их уже нет; учитываются и терпеливо исправляются все недочеты, обрезки аккуратно попадают в ящик; а на второй день листок из сортировки не пестрит цифрами брака, его лишь незначительное количество.

Старые работницы посмеивались на эти хвалебные статейки и на самохвальные плакаты, которые молодежь вывешивала о своей работе. Но смеяться было нечего. Дневная норма выработки для одного конвейера — 1600 пар. Молодежный конвейер день за днем стал давать на семьдесят пар больше. Радовались и торжествовали. Старые работницы уже не посмеивались, а смотрели враждебно.

— Девчонки! Накрутите нам норму, снизят нам расценки из-за вас.

И брак спустился до четырех процентов. Это было не бог весть что, но — все-таки спустился. Раньше было больше пяти.

А однажды утром на стенке около профцехбюро появился яркий плакат, разрисованный Шуркой Щуровым. В нем молодежный конвейер № 17 вызывал на состязание конвейер № 21 — лучший конвейер завода, состоявший из старых, опытных работниц. Работницы конвейера № 21 толпились перед плакатом, негодовали и смеялись.

— Ах, соски вам в рот! Еще носов утирать себе не научились, а туда же: «вызываем!» Нужно бы, нужно бы им носы утереть!

Все уже было намечено заранее. По окончании работ толстая мастерица конвейера № 21, партийка Заливухина, взгромоздилась на стол и сказала работницам конвейера № 21 речь о том, что сейчас пролетариат вступил на путь гигантского строительства, что все должны быть участниками этого строительства. Молодежь сделала вызов им как лучшему конвейеру завода. Это очень хорошо, что молодежь старается поднять производство. Но неужто мы хуже их! И неужто мы потеряем, чтобы другие были энтузиастами, мы — нет?

Работницы-партийки поддакивали, делали поощрительные замечания. Одна взяла слово, сказала, что вызов обязательно нужно принять, что позор будет старым работницам, если молодежь станет их учить, как нужно относиться к производству.

Раззадоренные работницы единогласно решили принять вызов и, расходясь, говорили со смехом:

— Нужно, нужно утереть носы девчонкам!

* * *

У обеих сторон разгорелось чисто спортивное чувство: кто—кого? Напечатали о состязании в «Проснувшемся витязе». Но газета выходила редко, три раза в месяц. Перенесли хронику борьбы в стенную газету-ильичовку. И весь завод с интересом следил за этой бешеной работой в карьер, превращенной обеими сторонами в завлекательную игру. С нетерпением ждали сводки за две недели.

Горя жаркой лихорадкой, работал молодежный семнадцатый конвейер. С холодным и размеренным спокойствием работал конвейер двадцать первый.

* * *

Юрка Васин в это время вел ударную работу в вальцовке. С ним еще два парня-комсомольца. Их цель была доказать, что один рабочий может работать одновременно на двух вальцовых машинах,— до сих пор все работали на одной. Гриша Камышов, секретарь их цеховой комсомольской ячейки, «ударялся» со своими подручными тут же, на огромном трехвальном каландре.

Был здесь у всех тот же радостный подъем, как и на галошном конвейере, и тот же задор. Манило доказать угрюмо смотревшим старикам, что прекрасно один рабочий может справиться и с двумя машинами, если не сидеть часами в курилке. Ударники всех цехов часто сходились в ячейке, обменивались впечатлениями, смеялись, подзадоривали друг друга. Какой-то был молодой праздник. Так было радостно, так хорошо, что Юрка с удивлением приглядывался к рабочим, работавшим вокруг него с такими будничными лицами. Эх! Взять бы себе только другой подход,— и до чего же бы всем стало весело!

А раз случилось так.

Стоял Юрка у своей машины. Два нагретых металлических вала медленно ворочались друг другу навстречу и втягивали отвешенные порции разного сорта каучука: темно-коричневый смокед-шит, вкусно пахнувший ветчиною, красиво-палевую пара, скучно-серый регенерат. Материал втягивался в горячие валы, расплющивался, перемешивался, пестрея, лез опять вверх, и постепенно из разноцветной, некрасивой лохматой смеси образовывался один равномерно тягучий, черный, теплый пласт резины.

Юрка переходил от одной своей машины к другой, а сам все поглядывал вправо. Там пять слесарей из механического цеха заменили на соседней вальцовой машине рифленый вал гладким. Юрка поглядывал и весь кипел. Подняли вал на блоке. Ушли курить. Час целый курили. Наконец пришли двое. Поглядели на подвешенный вал, стали чесаться.

— А Макаркин где же?

Пошел Иванов искать Макаркина, сам пропал. Тем временем пришел Макаркин. Сели ждать Иванова. Всю работу можно было бы сделать в два-три часа, но видно было,— они проработают весь день.

Собрались наконец все. Взялись за работу. Работали с тою вялою неохотою, которая совершенно расслабляет силы, трудным делает всякое движение, противным — всякое усилие.

Юрка отнес на плече сверток свальцованной резины, остановился около слесарей. Все мускулы в нем бодро играли и пружинились. Хотелось растолкать эти вяло двигавшиеся фигуры, схватиться самому за работу, чтобы все закипело под руками, с презрением крикнуть: «Вот как надо!»

Спросил их:

— Вы сколько в день получаете?

— Пять рублей.

Юрка прикинул: пять человек,— перестановка вала обойдется заводу в двадцать пять рублей! Здорово!

— И не совестно вам так работать?

Они изумились. С усмешкою оглядели его. Макаркин помолчал и сурово спросил:

— А сам ты сколько получаешь?

— Я? Тоже пять рублей. Только я за это время 1200 килограммов резины свальцую, а вы что? Впятером один вал установите!

—Э!.. — Макаркин небрежно сплюнул сквозь зубы. Все начали зевать.

В первый раз всею душою Юрка почувствовал в этих рабочих не товарищей, а врагов, с которыми он будет бороться не покладая рук. И сладко было вдруг сознать свое право не негодовать втихомолку, а в открытую идти на них, напористо наседать, бить по ним без пощады, пока не научатся уважать труд.

Он сказал с отвращением:

— Мерзавцы вы!

И отошел.

Яро ворочал ползшую из-под валов резину, взбрасывал ее опять вверх и не слушал ядовитых шуточек и смеха на свой счет. Думал:

«Ладно уж! Не переругиваться с вами буду. Найдем против вас кое-что другое!»

Вечером с помощью Лельки он написал в заводскую газету заметку: «Как у нас в вальцовке переставляли валы», и с наслаждением перечислил поименно всех пятерых.

* * *

Весна развернулась яркая и жаркая. Деревья быстро распускались, сверкая зеленью. Носились в воздухе запахи черемухи и молодых листочков душистого тополя.

Пестро размалеванные плакаты оповещали цехи и весь заводской поселок, что в воскресенье, 12 мая 1929 года, комсомол устраивает в лесу

ПОЛИТБОЙ

на тему о пятилетке по резолюциям XVI партконференции.

Ребята уже две недели организовывались, разбивались на отряды, выбирали командиров, яростно изучали резолюции и речи вождей на конференции.

Сбор был назначен к четырем часам в саду при летнем помещении заводского клуба. Но уже задолго до четырех девчата и парни сидели за столиками буфета и на скамейках, взволнованно расхаживали по дорожкам. У всех в руках были голубовато-серые книжки резолюций и постановлений партконференции с большою ярко-красною цифрою 16 на обложке. Перелистывали книжку, опять и опять пересматривали цифры намечаемых достижений.

Лельку ребята выбрали командиром одного из «преуспевающих» взводов. В юнштурмовке защитного цвета, с ременным поясом, с портупеей через плечо, она сидела, положив ногу на ногу. К ней теснились девчата и парни, задавали торопливые вопросы. Она отвечала с медленным нажимом, стараясь покрепче впечатлеть ответы в мозги. В уголке, за буфетным столиком, одиноко сидел Ведерников и зубрил по книжке, не глядя по сторонам.

Парадом командовал Оська Головастов (тот, который вместе с Юркой накрыл тайного виноторговца Богобоязненного). Затрубила труба. Оська закричал:

— Ребята! Стройтесь по взводам!.. — Подошел к Лельке.— Лелька, мой первый взвод. Твой будет второй. Третий..

Он распределял места. По лицу беспризорно бегала самодовольная улыбка. Девчата и парни строились по четыре в ряд, шутили, пересмеивались. Оська волновался. Его раздражало, что ребята держатся недостаточно торжественно.

Впереди стал военный оркестр. Грянул марш. Повзводно, шагая в ногу, колонна вышла из сада и мимо завода двинулась вниз к Яузскому мосту. Гремела музыка, сверкали под солнцем трубы и литавры, мерно шагали прошедшие военную подготовку девчата и парни, пестрели алые, голубые, белые косынки, улыбались молодые лица.

Лелька шагала впереди своего взвода и украшала весь взвод стройной своей фигурой в юнгштурмовке и хорошенькою, кудрявою головою.

Ну, понятно, по бокам, около музыки, поспешали ребятишки. Босой мальчуган со съехавшими помочами шел впереди музыкантов и дирижировал, размахивая завернутою в бумагу булкой, которой дома дожидалась маманька.

Перед мостом повернули вправо и пошли над берегом Яузы, по опушке леса. На лужайке перед лесом остановились. Оська строил взводы,— шесть взводов, по три взвода друг против друга.

— Товарищи, когда появится штаб, я скоманую: «Смирно!» Ему дано уже знать. Сейчас появятся.

Но ждали с полчаса. Наконец вдали показалась кучка людей. Оська испуганно крикнул: «Смирно!», побежал вдоль взводов, выравнивая ряды, махнул рукою оркестру.

Навстречу медному грому торжествующей музыки подходил штаб. Впереди шел товарищ, присланный из райпарткома. Лелька побледнела. Это был — Владимир Черновалов! Она не видела его уже больше года.

Оська, держа ладонь у головы, подошел к Черновалову с рапортом. Черновалов слушал с серьезным лицом, тоже с рукою к козырьку. Потом обошел фронт. Увидел Лельку, радостно улыбнулся, приветливо кивнул головой. Остановился перед взводами и громким, властно звучащим голосом сказал речь. Что политбой устраивается на тему «Пятилетка». Сказал о великом значении пятилетки, о грандиозном шаге к социализму, который делает ею наша страна. Что каждый комсомолец должен знать весь план пятилетки как свои пять пальцев. В нынешнем политбое они и должны выявить свои знания.

— Да здравствует социализм! Да здравствует ВКП! Да здравствует ленинский комсомол!

Закричали «ура», оркестр заиграл «Интернационал», все запели. Каждые два состязающихся взвода промаршировали в намеренные для них места.

Взвод Лельки и состязающийся с ним взвод Оськи Головастова расположились на покато́й лесной полянке. Члены штаба разбились на тройки для руководства состязанием. В тройке, которая должна была судить Лелькин и Оськин взводы, был Черновалов, потом еще какой-то толстый товарищ из райкома и Бася (она давно уже была в партии).

Черновалов сел на пень и изложил условия предстоящего боя. В состязающихся взводах — по пятнадцать человек. Каждый из участников задает противной стороне по одному вопросу, касающемуся пятилетки. На вопрос может отвечать любой из неприятельского взвода, — по собственному желанию или по назначению командира. Однако каждый должен ответить на один вопрос, и не больше как на один. Ответивший хорошо считается в строю, — ему зачитывается одно очко. Ответивший неудовлетворительно считается раненым, — ему зачитывается пол-очка, и он отправляется на санитарный пункт, там ему подлечат его ошибки. Санитарный пункт — вон он, за ореховым кустом. (Смех. За кустом, тоже смеясь, сидел Гриша Камышов.) Давший плохой ответ считается убитым, — очка ему не зачитывается. Вопросы нужно задавать разумные. Вопрос кляузный, мелочной, имеющий целью поддеть противника, считается холостым выстрелом; за него скидывается пол-очка. Победит тот взвод, у которого окажется больше очков.

— Качество ответов определяю я. Никаких возражений и споров не допускается. Жаловаться можно потом в штаб. Даю двадцать минут на подготовку и обсуждение.

Голос его звучал крепко, фразы были короткие и решительные. Вообще Лелька почувствовала, что он стал какой-то крепкий.

Лелька со своим взводом ушла шагов за тридцать, на другую полянку за кустами. Расселись, разлеглись. Опять, волнуясь, перелистывали книжки. Лелька, стоя на коленях, опять отвечала на вопросы и давала разъяснения.

Катя Чистякова, закройщица передов, торопливо спрашивала: — Скажи скорей, что такая за штука контрактация.

Юрка взволнованно курил папиросу за папиросой, острил и смеялся, сверкая зубами. Вдруг вспомнил, — к Лельке.

— Слушай, скажи, — что нужно возразить Фрумкину на его утверждение, что у крестьянского труда нет этой... Как ее? Ну, ты знаешь.

— Перспективы?

— Да, да!

— Вот что. Запомни, это очень важно...

И Лелька втолковывала Юрке, что нужно возразить Фрумкину.

Парни и многие девчата от волнения непрерывно курили. Высокая девушка в черном платье и алом платочке, галошница Лида Асташова, сказала:

— Бросьте курить! Культурная революция, а они курят! И ты тоже!

Она сбросила кепку с Шурки Щурова.

— Эй, эй, ты! Гадючка в красном платке!

Высокий парень крутил руки смуглой дивчине с черными, блестящими глазами.

— Чего так волнуешься, дурак? Все платье мне порвал. Гражданин, прекратите!

Юрка вытянулся на траве, лицом кверху.

— Ой, считайте меня уже сейчас убитым! Шурка, накрой меня моим боевым плащом!

Из-за кустов донеслось:

— Товарищи! Бой начинается!

Вскочили, смеясь и остря. На пне, с листом бумаги и карандашом в руках, сидел Черновалов, подле него Бася и толстый из райкома. По обе стороны Черновалова, лицом к противнику, расселись сражающиеся взводы. Во главе первого сидел Оська, во главе второго — Лелька. Вокруг кольцом теснилась публика.

Черновалов скомандовал:

— Первый взвод, начинай! Задавай вопрос.

Задали такой:

— На каком месте по окончании пятилетки будет стоять СССР по добыче угля и чугуна?

Лелька быстро оглядела своих, прочла в глазах Кати Чистяковой, что та готова ответить.

— Катя, отвечай!

— По углю на третьем месте, по чугуну — на четвертом. — На той стороне раздались смешки.

— На-о-бо-рот!

Катя страдальчески сконфузилась.

— Ах, господи! Перепутала!

— Господь тут ни при чем, кстати, его даже и не существует.

Судья объявил:

— Ранена.

И сделал отметку на листе.

Спрашивали: на сколько вырастет за пятилетку наш транспорт, сколько миллиардов киловатт-часов будет давать страна в конце пятилетки. Девушка из отряда Оськи ответила, серьезно глядя:

— К концу пятилетки Союз наш дал двадцать три миллиарда киловатт-часов.

Черновалов улыбнулся.

— «Дал»... Погоди еще: «даст».

— Да, да! Даст!

Задали еще несколько подобных вопросов. Черновалов поморщился, почесал переносицу и сказал:

— Товарищи, все это, конечно, хорошо, но ведь цифры запоминать — дело памяти. А главная задача политбюа — выявить политическое понимание участников, уяснение ими себе задач пятилетки, ее путей. Не будет ли вопросов пошире?

Лелька перешепнулась с Лизой Бровкиной. Лиза задала вопрос:

— Какой основной смысл пятилетнего плана?

Оська взглянул на Ведерникова.

— Афонька, отвечай!

Ведерников смутился и сказал сурово:

— Не понимаю вопроса.

Лелька мягко и предупредительно стала объяснять:

— Что будет от осуществления пятилетки, — просто, скажем, получится увеличение продукции во столько-то раз, или ее осуществление будет иметь более широкое значение?

— Ага! — Ведерников откашлялся. — Значит, первое: из аграрно-индустриальной страны — в индустриально-аграрную переделается. Вот! А потом еще. Главный смысл, понимаешь, — мы тогда докажем капиталистическим странам, какая у нас силища, — значит, у государства, так сказать, которое есть социалистическое.

Ребята из вражеского взвода засмеялись.

— Что за «силища»?.. Ха-ха! Уби-ит!

Ведерников самолюбиво вспыхнул. Черновалов сказал веско:

— Остался в строю... Следующий вопрос.

Следующий вопрос Лелькину взводу был: какие трудности встретятся нам при осуществлении пятилетки?

Лелька сказала:

— Юрка!

Юрка подумал, потом, путаясь, начал:

— Несознательность рабочих, если будут, значит, мало помогать. Это одно.

— Второе?

Юрка сверкнул улыбкой.

— Подождите, подождите, дайте подумать! Да! Главное, значит, что трудно будет с орудиями производства, капиталистические страны будут мало помогать, то есть, значит, мало будут стараться прийти на помощь. А у нас у самих, — он сморщился, припоминая трудное слово, — у нас... технико-экономическая отсталость страны.

Черновалов спросил:

— Всё?

Юрка подумал и ответил:

— Всё.

Ведерников нетерпеливо вмешался:

— А внутри партии правые — не дают, что ли, трудностей?

— Товарищ, не вмешивайтесь... Ранен.

— Ага!

— Ступай на перевязку! — засмеялся Шурка Щуров и за ноги потащил лежащего Юрку в кусты к Камышову.

Оська, хитро улыбаясь, задал вопрос:

— Какие изменения в план пятилетки внесли Совнарком и ВЦИК?

Черновалов сурово оборвал:

— Холостой выстрел.

— А-а, кружковод! А еще начальник взвода!

— Эй, холостой! Надо тебя женить!

Бой разгорался. Падали убитые и раненые. Лелька руководила своим взводом, назначала отвечать тому, кто, думала, лучше ответит. А украдкой все время наблюдала за Ведерниковым во вражеском взводе. Она было позвала его в свой отряд, но Ведерников холодно ответил, что пойдет к Оське, и сейчас же от нее отвернулся. И теперь, с сосущей болью, Лелька поглядывала на его профиль с тонкими, поджатыми губами и ревниво отмечала себе, что вот с другими девушками он шутит, пересмеивается...

Из Лелькиного отряда задал вопрос татарин Гассан в зеленой тюбетейке:

— Что будет с кулаками, когда колхозы охватят все сельское хозяйство?

Оська кивнул беловолосой дивчине с наивно поднятыми бровками. Она сказала:

— Повтори вопрос.

Гассан смешался, потом засмеялся. Вытащил из кармана бумажку, которую было спрятал, и стал читать. Захохотали.

— Э, брат! Не в голове вопрос носишь, а в кармане!

— Значит, что будет с кулаками, когда колхозы охватят все сельское хозяйство?

Девушка еще выше подняла брови.

— Кулаки... ну, умрут.

— Как же это они умрут, интересно!

— Ну, расслоятся. То есть — рассосутся.

Гассан протянул:

— Рассосись сама... Угробил я тебя!

Бой подходил к концу. Задал вопрос Ведерников:

— На осуществление пятилетнего плана требуется, понимаешь, по расчету пятнадцать миллиардов рублей. Откуда, так сказать, мы можем добыть эти средства?

Лелька взялась ответить сама. Она над этим вопросом думала и проработала его. Ее охватил хорошо уж ей знакомый сладкий страх, когда нужно сказать что-нибудь ответственное. И она начала:

— Конечно, нельзя рассчитывать добыть такие огромные вложения из налогов и вообще из бюджета. Эти вложения может дать

только сама промышленность. Каким образом? Путем накопления средств в ней же самой. Для этого нужно прежде всего понизить себестоимость промышленной продукции, по крайней мере, на тридцать процентов, а для этого необходимо повысить производительность труда в невиданном размере. Знаете, на сколько? На с-т-о д-е-с-я-т-ь процентов! Ребятки, вы понимаете, что это значит? Это значит: социалистический строй к нам не придет н-и-к-о-г-д-а, если сами мы, рабочие, если сами мы не станем гигантами, если не поднимем на плечи тяжесть, которая изумит весь мир!

Положительно, из Лельки выработывался очень неплохой агитатор. Школьный ответ превратился у нее в зажигающую речь, и ее с растущим одушевлением слушали не только участники боя, но и рабочая публика, остановившаяся поглядеть на бой. Сила речей Лельки была в том, что никто не воспринимал ее речь как речь, а как будто Лелька просто высказывала порывом то, чем глубоко жила ее душа.

— Вопрос стоит прямо и ясно: только напряженность и добросовестность нашего труда сделают возможным построение социалистического общества. А между тем в нынешнем, в первом году пятилетки мы уже имеем невыполнение: заработная плата выросла больше, чем предполагалось по плану, а производительность труда не достигает намеченной степени... Какой позор! Какой позор! Мы рабочие — из-за нас план может не осуществиться! Рабочие всего мира с замирающим сердцем следят, сумеем ли мы создать новую жизнь, сумеем ли проложить путь туда, куда до сих пор путь считался совершенно невозможным. И вдруг окажется: нет, не сумели! Были такие возможности, каких ни у кого никогда не было, и — не сумели! Вы понимаете, какой это позор и какой ужас! И как в такое время могут находиться товарищи — р-а-б-о-ч-и-е! — которые думают только о рубле, которые боятся только одного, — как бы им не накрутили нормы!

И Лелька быстро села. Этого тут не полагалось, но все неистово захлопали, — сначала публика, потом бойцы, потом и сам Черновалов. Хлопали оба взвода одинаково. И вдруг среди приветственно улыбающихся, дружеских лиц Лелька заметила бледное лицо Ведерникова. Он один среди всех не хлопал. Сидел, скучливо глядел в сторону. Лелька закусила губу и низко опустила голову.

Бой был окончен. Благодаря Лелькиной речи он закончился ярко, крепким аккордом. Штаб сидел кружком под большим дубом и подводил итоги боя. Солнце садилось, широкие лучи пронизывали сбоку чащу леса. Ребята сидели, ходили, оживленно обсуждали результаты боя. Лелька увидела: Юрка о чем-то горячо спорил с Ведерниковым и Оськой. Ведерников как будто напал, Юрка защищался.

Штаб вышел на опушку. Ребята столпились вокруг него. Первый приз получил Лелькин взвод. Черновалов в заключительном слове сказал, что в общем политбой прошел достаточно удачно,

что это — очень многообещающая новая форма массового политического воспитания. Но один был недостаток очень существенный.

— Не было совершенно вопросов, касающихся правого уклона, и вообще о нем совсем не говорилось. Только один товарищ, Ведерников, попытался вам напомнить о нем. Это делает ему большую честь. Забывать сейчас о правом уклоне — это значит показать полное отсутствие классового чутья. То, что предлагают правые,— это не поправки к пятилетке, а отрицание ее. Поэтому изучение пятилетки необходимо неразрывно связывать с разоблачением идей правого уклона.

Кончили. Стали расходиться. Черновалов отыскивал глазами Лельку. Отыскал, подошел с протянутой рукой, хорошо улыбаясь. Хвалил ее за речь, сказал:

— Молодец, девка! Ты здорово продвинулась вперед. Твоя речь скрасила и углубила весь бой.

Смотрел с дружескою приветливостью, расспрашивал про ее работу на заводе. Но даже в самой глубине его глаз не было уже той внимательной, тайно страдающей ласки, какую Лелька привыкла видеть. И она знала: он сейчас живет с одной красавицей беллетристкой,— конечно, коммунисткой: Володька никогда бы не унился до любви к беспартийной.

Кончилась их любовь. Совсем. Для него это пережитая болезнь. А уже давно сказано: раз любовь прошла по-настоящему, она уже не воротится н-и-к-о-г-д-а.

Никогда.

Лелька приветливо улыбнулась, протянула Черновалову руку.

— Меня ждут ребята! Пока. Рада была тебя видеть.

И убежала.

Приз победителя был — бесплатное катанье этим вечером на лодках. Ребята шумною толпою шли к лодочной пристани у Яузского моста, кликали Лельку. Она их догнала. Юрка очутился возле.

Лелька незаметно отстала с ним и, как будто мельком, с полным безразличием спросила:

— О чем это ты, я видела, так горячо спорил с Афонькой и Оськой?

Юрка смешался.

— Э, так! Бузили они. Говорили незнамо что.

Лелька насторожилась.

— Ну, а что же все-таки говорили?

Он извиняюще улыбнулся.

— Черт с них спросит! Не стоит обижаться. Ну уж скажу. Только ты не обращай внимания. Говорили мне: зачем путаюсь с тобою? «Путаюсь!» Вовсе я и не путаюсь. «Зачем,— говорят,— ты путаешься с интеллигенткой этой? Разве не чуешь, что она не наша, что она чуждый элемент?» Я говорю: «Куда к черту — чуждый! Не слышал сейчас, что ли, речь ее?» — «Что ж — речь! Подучимся в вузе и сами

не хуже скажем. Чего они к нам лезут, в рабочую среду? Образовани-ем своим поковырять? Вырвать у них нужно образование, отнять. Чем они заинтересованы в победе рабочего класса?»

Лелька слушала с неподвижным лицом.

— Это кто же из них именно говорил?

— Ну, Ведерников, ясно. Афонька. Оська только поддакивал.

Пришли к пристани. Рассаживались по лодкам. Лелька бешено оживилась.

Очень удачное вышло катанье. И веселое. Перегонялись, облива-лись водою, бузили. Во всем зачиналкой была Лелька.

Гасла заря. Стояли зеленоватые майские сумерки. Тихо плыли назад, близко лодка за лодкой, и пели все вместе:

Ты моряк, красивый сам собою,
Тебе от роду двадцать лет.
Полюби меня, моряк, душою!
Что ты скажешь мне в ответ?

И потом одни пели:

По морям!

Другие откликались:

По волнам!

Первые:

Нынче здесь!

Вторые:

Завтра там!

Все вместе:

Ах!!!

По морям, морям, морям!
Нынче здесь, а завтра там!

А как только вышли на берег, Лелька быстро ушла одна. В тоске бродила по лесу. Долго бродила, зашла далеко, чтоб ни с кем не встречаться. Потом воротилась к себе, в одинокую свою комнату. Села с ногами на подоконник, охватив колени ру-ками. Ночь томила теплыню и тайными зовами. Открыла Лелька тетрадку с выписками из газет (для занятий в кружке текущей политики) и, после выписки о большой стачке портовых рабочих в Марселе, написала:

Очень большой успех на политбое. Моя речь «скрасила и углубила весь бой». Хха-ха! Головокружительный успех, а я не знаю, куда деваться от тоски. Он стоял властный, крепкий, такой изменившийся. Я равнодушно говорила с ним, а в душе обрывалась одна струна за другой. Да, ясно: кончено все. А ведь в его объятьях я перестала быть девушкой, его полюбила я горячо и крепко. И никто никогда уже не узнает про глупую любовь комсомолки Лельки, и как сама она, играя, разбила собственными руками большое свое счастье. А ведь я молода, мне всего двадцать два года,— почему же? Почему не могу я, как другие девчата в моем возрасте, насладиться

лаской, почувствовать горячий поцелуй и иметь хорошего друга-товарища? Да, еще сегодня я думала, что найду такого товарища, что я просто не умею как-то подойти к нему. Но как проклятие лежит на мне клеймо интеллигентки. Парень, настоящий пролетарий, с глубоким классовым чутьем,— он не пойдет ко мне. Да и не стою я. Разве не оказываюсь я способной вот на такие, например, ерундовские дневники с размазыванием личных чувств и с упадочными переживаниями, когда в Союзе нашем идет такая великая стройка?..

Перечитала Лелька написанное, вырвала страницу вместе с выпискою о марсельской стачке, разорвала на мелкие кусочки и выбросила в окошко. Край неба над соснами сиял неугасным светом. Лелька в колебании постояла у окна и вышла из комнаты.

Быстро шла по пустынной улице, опустив голову. Навстречу шагал Юрка. Узнал в темноте.

— Лелька, ты? Куда это ты смоталась? А мы до сих пор по лесу гуляли. Хорошо!

Лелька оглядела его странно блестящими глазами, сказала:

— А я за тобою шла,— думала, ты дома. Паршиво как-то на душе. Пойдем ко мне, будем чай пить.

Пили чай. Потом сидели у окна. Лелька прислонилась плечом к плечу Юрки. Он несмело обнял ее за плечи. Так сидели они, хорошо разговаривали. Замолчали. Лелька сделала плечами еле уловимое призывное движение. Юрка крепче обнял ее. Она потянулась к нему лицом. И когда он горячо стал целовать ее в губы, она, с запрокинутой головой и полузакрытыми глазами, сказала коротко и строго:

— Хочу быть твоей.

* * *

Юрка упоенно переживал восторги своего медового месяца. Но горек-горек был этот мед. Когда он назавтра свободно, как близкий человек, подошел к Лельке, то получил такой отпор, как будто это не он был перед нею, а Спирька или кто другой. Никогда он не знал, когда она взглянет на него зовущим взглядом. И каждая ее ласка была для него неожиданною радостью. Но именно поэтому ласка была мучительно-сладка.

* * *

Состязание конвейеров продолжалось.

Пришла наконец сводка за две недели. Только по прогулам молодежь стояла выше старых работниц: у молодежи прогулов совсем не было, не было и опозданий. Во всем же остальном старые работницы совершенно забили молодежь. Продукция галаш была у них в среднем на пятьдесят пар больше, а процент брака — один и три десятых против трех с лишним у молодежи.

Было общее уныние и конфуз. Более малодушные говорили: — Что ж дивиться, ясно! Лучшие работницы,— где же нам против них.

Бася сказала Щурову:

— Шурка, рисуй плакат, что они нас одолели.

— Вот еще! Чего нам срамиться.

И другие подхватили:

— Зачем? Не нужно плакат. Так просто, на маленькой бумажке объявим.

Ведерников строго возразил:

— Это, товарищи, не подход. У нас не футбольный какой-нибудь матч. Мы, понимаешь, должны только радоваться, что и старых работниц взбудрили. У нас установка такая и была, чтоб других поджечь.

Со стыдом вывесили яркий плакат о победе старых работниц. Однако внизу было написано очень крупно:

НО МЫ, МОЛОДЕЖЬ-КОМСОМОЛЬЦЫ, НЕ СДАЕМСЯ.
СОСТЯЗАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Старые работницы бахвалились и смеялись над девчатами: — Что? Мало мы вам в загорбок наложили? Ну, ну, ждите еще! Наложим покрепче.

Состязание продолжалось.

* * *

В перерыве Лелька остановилась с Лизой Бровкиной у конторки профцехбюро перед доскою объявлений. Сбоку был пришпилен кнопками лист серой бумаги с полуслепыми лиловыми буквами — распоряжения по заводу. Равнодушно пробежали сообщения о взысканиях, перемещениях и увольнениях. Вдруг Лелька вцепилась в руку Лизы.

— Лизка! Что это!? Смотри!

Они прочли:

«Выключается из списков за смертью: галошница Зинаида Хуторецкая, № 2763».

— Зина-на-резине! Смотри, умерла!

Они вспомнили, что уже три недели Зины не было видно. Кто-то, помнилось, говорил, что она захворала. Но никто даже не удосужился узнать — чем. Захворала — и захворала. Ее заменили другою работницею.

Лелька и Лиза кинулись к Басе.

— Как Хуторецкая умерла, когда? В чем дело?

Никто не знал.

Назавтра Лиза Бровкина все разузнала и принесла вести,— справилась в больнице. Умерла Зина от резко обострившегося туберкулезного процесса. Могло это быть от переутомления? Доктор ответил: «Ну конечно. Самая вероятная причина».

Все тяжело молчали. Лелька сказала:

— Да. Погибла. Как боец в бою. Среди нас, товарищей. А мы... Погибал среди нас человек, а мы...

Она припала головой к столу и разрыдалась. И многие девчата плакали.

Бася сурово хмурила брови.

— Короткую ей надгробную речь можно сказать: подлецы мы все с вами, девчата, больше ничего!

И, закусив губу, быстро пошла прочь. Зазвенел звонок, побежала лента. Все схватились за работу.

* * *

Новая сводка через две недели.

Опять по всем почти пунктам победили старые работницы. Опыт и сноровка одолели энтузиазм и задор. Особенно всех повергал в уныние брак: как ни стараются, не могут его изжить. Допрашивались у мастерицы Матюхиной,— в чем дело? Она, убитая и сконфуженная больше всех, только разводила руками. Причины брака в галошном производстве часто были совершенно неуловимы, сами инженеры не могли их выяснить. Но вот — все-таки у старых работниц брака было много меньше. Была у них сноровка, чутьем каким-то они выработали себе особые приемы. И у самой Матюхиной, если бы она работала, браку было бы меньше, но объяснить другим, как это сделать, она не могла, как не смогла бы и ни одна из старых работниц.

Уныние полное охватило комсомолию. Напрасно Ведерников, Бася и Лелька убеждали девчат, что дело вовсе не в их победе, что если заразились соревнованием и старые работницы, то это великолепно. Девчата вяло соглашались, но энтузиазм остыл, руки опустились. Работа пошла по-всегдашнему. Странно было, как вдруг изменились девчата. Раньше, если у одной получался завал, другие спешили на помощь. А теперь: одна растерянно билась над завалом, а соседки продолжали спокойно делать свою работу. Никому до общего преупреждения не было дела.

Состязание молодежного конвейера со старыми работницами живую струю пронизало обычную жизнь завода, всколыхнуло ее, привело в движение. Струя иссякла, и жизнь заводская опять застыла будничным болотом.

Наружно это было как будто не так. Под потолком цехов, по стенам клуба и столовки тянулись красные ленты с белыми призывами:

ВЫДВИНЕМ НОВЫЕ КАДРЫ СТРОИТЕЛЕЙ СОЦИАЛИЗМА!
ВОЙНА — РАСХЛЯБАННОСТИ И БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ!
ЗА ВСЕМЕРНОЕ СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ!
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РАЦИОНАЛИЗАЦИЮ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ ДИСЦИПЛИНУ!

Образовалось немало инициативных троек и ударных бригад. Но нужной подготовки проведено не было, тройки и бригады не родились органически от рабочей массы, а назначены были сверху, во исполнение приказа Куйбышева. И болтались они в заводской жизни мертвыми, нерожденными младенцами.

Лелька растерянно смотрела на происходившее и спрашивала Басю:

— Что же это такое?

Бася сердито хмурила брови и кусала губы.

В конце мая было общее производственное совещание. Оно тоже дало мало утешительного.

Председатель совещания, рабочий Жданов, больше говорил о том, что должно быть; о том же, что есть, мало можно было сказать хорошего: прогулы не уменьшаются, брак растет, снижение себестоимости незначительное. И он горячо зывал к собранию:

— Товарищи! Договор на соревнование — это не пустяки. Дело идет не на-живо, а на-смерть. Нужно на этом заострить внимание. И будем стараться, товарищи, чтобы нам выйтить на хороший путь.

Потом с докладом выступил инженер Сердюков, высокий старик с острой бородкой и с умными, тайно насмешливыми глазами. Говорил серьезно, медленно и веско.

— Мы с вами, товарищи, за первый квартал невыработали 600 тысяч пар галош... Сейчас вырабатываем по 53 тысячи пар в день; после отпуска мы должны вырабатывать в день по 57 тысяч, иначе не выполним задание... А, судя по теперешней производительности, выполнить задание мы никак не сможем.

И все время говорил: «мы с вами». Даже так сказал: «Мы с вами за этот квартал прогуляли больше тысячи рабочих дней».

И закончил:

— На днях вы все уходите в отпуск. Общераспространенное явление — очень многие задерживаются в деревне на полевых работах и опаздывают к сроку. Это, товарищи, сильно вредит производству. Нужно принять все меры, чтобы не было опозданий из отпуска.

В конце произошел маленький инцидент. В прениях выступил товарищ Буераков и заговорил резко, глядя острыми глазками:

— Я красноречия так много не знаю, как другие здесь развивают. Но все-таки хочу сказать категорически. Этого вот инженера, который тут выступал с докладом, я его давно заприметил. И замечаю по глазам, что он не любит нас, рабочий класс. Ему нет дела до грандиозного плана строительства, он сам не хочет выполнять задания и нам говорит, чтоб не выполняли. Должно быть, ему важно только жалованье спецовское получать, а на нас, рабочий класс, он плюет. Этого позволять ему нельзя.

Инженер Сердюков в президиуме удивленно пожал плечами. Председатель поглядел, помолчал и продолжал вести заседание.

* * *

Однажды поздно ночью, упоенный счастьем, Юрка робко спросил Лельку:

— Лелька, вышла бы ты за меня?

Лелька изумленно вытаращила глаза.

— Выйти за тебя. Что за слово нелепое: вый ти за те бя ... Тогда уж лучше ты выйди за меня. А я от своей самостоятельности отказываться не хочу.

Она рассмеялась.

— Пойти в загс? И потом поселиться вместе в одной комнате? И чтобы штопать тебе носки? Какой ты, Юрка, дурак!

* * *

8 июня работы закончились, всем был месячный отпуск.

Завод закрылся на месяц для общего ремонта. Деревенские с радостными лицами и с тяжелым багажом ехали к себе в деревню, здешние отправлялись в дома отдыха, молодежь — на экскурсии или на общественную работу. Юрка предложил Лельке проехаться вместе на пароходе по Волге. Лелька только рассмеялась. Она ехала в Нижегородскую губернию, политруком в лагерь к осоавиахимовцам.

* * *

8 июля, через месяц, съехались все обратно. Лелька, как в родной уже дом, вошла в бюро ячейки, где толкались и оживленно делились впечатлениями густо за месяц загоревшие девчата и парни. Лельку, тоже загоревшую, в защитного цвета юнгштурмовке, встретили:

— А, война и сила!

Катя Чистякова рассказывала, какой чудный парк был в их доме отдыха, бывшем графском поместье.

Шурка Щуров, технический секретарь, засмеялся:

— Ха-ха! «Чудный». Как будто в поэзии!

— Ну да. Это так говорят, когда очень хорошо.

Смех, шутки. Ах, милая комсомолия!

Вошли Бася и Ведерников, оба сердитые и взволнованные. Бася говорила:

— Второй уж день сегодня работаем,— и триста восемьдесят человек еще не явилось из отпуска. Четыре конвейера из-за этого расформировано... А, Лелька! Приехала?

Лелька с болью ждала, поздоровается ли с нею Ведерников первым. Не поздоровался, как будто даже не заметил.

Бася продолжала возмущаться:

— Принято с биржи сто новых галошниц, и все-таки из-за

нехватки работниц дневная выработка — только 53 тысячи вместо намеченных планом 57... Что же это делается? Как мы сможем выполнить план с такою публикой?

— Все деревня! — сурово отозвался Ведерников.— Сейчас ругался с ребятами в курилке. Вы для деревни забываете завод, для вас ваше хозяйство дороже завода. А они: «Ну да! А то как же! Самое страдное время, мы рожь косили. Пусть штрафуют». — «Дело не в штрафе, а это заводу вредит, понимаете вы это дело?» — «Э! — говорят,— на каком месте стоял, на том и будет стоять». Во-от! Что это за рабочие? Это чужаки, только оделись в рабочие блузы. Гнать нужно таких с завода.

— Гнать! Безусловно! — согласилась Бася.— И таких мало — рассчитывать, нужно, чтобы в их трудовых книжках было помечено, что они сбежали с трудового фронта и, значит, не нуждаются в работе. Ни один из этих предателей не должен быть принят обратно на завод. Ступай на биржу! И работу этому — в последнюю очередь!

Ведерников широко открыл глаза от восторга.

— Правильно! Баська, садись, пиши об этом статейку в нашу газетину. Будем на этом настаивать.

— Обязательно нужно писать. Шурка, дай-ка бумаги. Лелька, иди помогай!

Они втроем — Бася, Лелька и Ведерников — сели писать статью.

* * *

Творилось что-то невероятное. Как будто мухи какие-то ядовитые всех покусали. Съезжались из отпуска медленно-медленно. Брак рос, прогулы были чудовищные, трудовая дисциплина сильно падала. Получалось ужасное впечатление: как будто таков был ответ широкой рабочей массы на пятилетний план и на повышенные задания, предъявленные к заводу. О «Красном витязе» говорили по всему району.

Тогда сверху был направлен на завод сокрушительный удар. Смещен был за выявившийся оппортунизм на практике директор завода, назначены перевыборы завкома, в партком назначен новый секретарь. Снят был с секретарства в комсомольском комитете вялый фразер Дорофеев. Заводская комсомолия дружно выдвинула на его место секретаря вальцовочной цеховой ячейки Гришу Камышова. В райкоме его утвердили.

С изумлением и восторгом следила Лелька за искусной, тонкой работой, которая началась. Это была чудеснейшая, ничем не заменимая организация,— партийная рядом с государственной. Государство могло только предписывать и приказывать снаружи. Оно наметило пятилетку, дало определенные задания. Партия

же тысячами щупалец вбуравливалась отовсюду в самую толщу рабочей массы, будила ее, шевелила, раззадоривала и поднимала на исполнение задач, которые ставило перед классом государство.

* * *

Закрытое собрание комсомольского актива. Выступил с энергичным словом новый секретарь заводского партийного комитета Алехин (летом партийная и комсомольская ячейки завода были преобразованы в комитеты). Он был краток; охарактеризовал положение на заводе и дал общие директивы.

— А вы, комсомол, должны подхватить эти директивы, осознать их и развить всю свою творческую энергию, партия же вас не оставит и все время будет идти с вами рука об руку.

Потом говорил новый секретарь заводского комсомольского комитета, Гриша Камышов. Узкое лицо и ясные глаза, по губам быстро проносится насмешливая улыбка, и опять серьезен. Он жестоко крыл весенних ударниц, участниц молодежного конвейера:

— Весною вы разыгрались, весело было на вас глядеть, да только недолго получал я это веселье. Сейчас же вы и скисли. А когда теперь гляжу, как вы работаете, то откровенно скажу: не чувствую я, что вы ударницы. Вот когда талоны на материю получать, тогда — да! Тогда сразу я чувствую, что в этом деле вы ударницы. Вопрос теперь становится перед вами всерьез. Весною мы больше резвились, спички жгли для забавы, а теперь нам нужно зачинать большой пожар на весь завод. Вот вам истина, от которой не уйдете.

Выступила еще агитпроп комитета Бася Броннер.

— Задним числом глядя, наша весенняя ударная бригада была просто позор. Мы как будто не делом занимались, не решали важную политическую задачу, а матч какой-то устроили волейбольный, веселую для себя забаву!

Говорили много и горячо. В защиту комсомола выступил Ромка Акишин, машинист с прижимной машины, в большой кепке с огромным квадратным козырьком.

— Товарищи! Я коснусь о комсомоле. Как в резину прибавляется ускоритель, чтобы скорее шла вулканизация, так мы, молодежь, впускаем ускоритель в пятилетку. Наша молодежь доказала, что идет впереди. Нас обвиняют, по-моему, неправильно, я сейчас администрацию и завком тоже буду крыть. Есть товарищи, которые смотрят на это не в достаточной степени...

Он подробно рассказывал, как администрация, завком и партийные организации равнодушно отнеслись к весеннему начинанию комсомола и как великолепно работал комсомол, на удивление всему заводу. У Ромки были маленькие, наивные глазки и восхищенное лицо.

— Очень много говоришь,— вдруг кто-то сказал из публики. Хохот.

Ромка еще непривычен был к выступлениям. Смутился и кончил, все время сбиваясь:

— И мы, товарищи, будем бороться против всяких недостатков! Против бюрократизма! Против зажима инициативы! Мы, товарищи, за международную революцию!

Жидкие рукоплескания были заглушены смехом. Встала за столом президиума толстошеяя Ногаева с выпученными глазами,— новый партприкрепленный к комсомольскому комитету. И, ломая обычное вначале нерасположение к себе, заговорила спокойнo-уверенным, подчиняющим голосом.

— Товарищ Акишин выступал, что все у нас благополучно и что молодежь на первом плане. Так ставит вопрос, Акишин, значит, смазывать наши прорехи. Нельзя усыплять деятельность молодежи, нельзя ей голову кружить самохвальством. Ты подожди, пусть вас похвалят другие, а не вы сами. И нужно вам, ребята, не выхвалять свои прежние заслуги, а браться за дело. Дела много, и дело очень серьезное. Весь район сейчас смотрит на нас, сможем ли мы выйти из того позорного упадка, в который впали. Давайте не давать клятв, давайте не писать торжественных резолюций, которые мы привыкли и умеем писать. А вот давайте все, кто тут есть,— вступим в ударные бригады завтра же!

Бурные рукоплескания. Ромка вскочил:

— Я хочу!

Гриша Камышов спросил с легкой усмешкой:

— Ты что? Будешь оправдываться? Не надо!

Крики:

— Не надо!

Оживленно выходили все. Настроение было другое, чем тогда, зимою, когда замыслили молодежный конвейер. И не играя, не с удалым задором, как весною, брался теперь комсомол за боевую работу, а с сознанием большой ответственности и серьезности дела.

Камышов на прощанье сказал:

— Ну, ребята, теперь не шуточки шутить, теперь вы должны доказать ту истину, что комсомол недаром заслужил право носить звание ленинского комсомола.

* * *

И правда, зачался большой пожар. Через две-три недели узнать нельзя было завода: весь он забурлил жизнью. Конвейеры и группы вызывали друг друга на социалистическое соревнование. Ударные бригады быстро росли в числе. Повысилась темп работы, снижался брак, уменьшались прогулы. И сделалось это вдруг

так как-то,— словно само собой. Какой-то беспричинный стихийный порыв, неизвестно откуда взявшийся.

Но было, конечно, не так. Все подготовлялось заранее самым тщательным образом, намечались для начала более надежные конвейеры и группы, распределялись роли между партийцами и комсомольцами.

Когда звенел звонок к окончанию работы, вскакивал на табуретку оратор, говорил о пятилетке, о великих задачах, стоящих перед рабочим классом, и о позорном прорыве, который допустил завод. И предлагал группе объявить себя ударной. Если предварительная подготовка была крепкая, группа единодушно откликнулась на призыв. Но часто бывало, что предложение вызывало взрыв негодования. Работницы кричали:

— И так нагрузка черт те какая, больше не можем!

— Мы не резиновые, нельзя человека без конца растягивать.

— Не хотим мы ударяться, ударяйся сам!

Им давали выкрикаться. Потом с разных концов начинали подавать голоса партийки и комсомолки:

— Ведь семь часов работаем, не десять-двенадцать, как в царские времена. Можно и понатужиться.

— Что ж мы, на хозяина, что ли, работаем? На себя же, на свое, рабочее государство.

— Товарищи, неужели мы будем терпеть, что по всему району на наш завод пальцами указывают?

— Что разговаривать! Записывай всех в ударные!

Голосовали и принимали предложение. Тут же утверждали заранее приготовленный устав ударной бригады. И появлялись плакаты в цехах и заявления в заводской газете «Проснувшийся витязь»:

Для успешного проведения строительства социализма в условиях обострения классовой борьбы на всех участках этого строительства требуется напряжение всех сил пролетариата. Учитывая трудности строительства и желая прийти к нему на помощь, мы, работницы такого-то конвейера, объявляем себя ударным конвейером.

И дальше шли параграфы устава бригады: каждый ударник должен следить за работой своего соседа, и каждый отвечает за бригаду, также бригада за него... Ударник должен бережно относиться к заводскому имуществу, не допуская порчи такового хотя бы и другими рабочими. Должен быть примером на заводе по дисциплинированности и усердию работы на производстве.

* * *

Везде — в призывных речах, на плакатах, в газетных статьях — показывалось и доказывалось, что самая суть работы теперь в корень изменилась: работать нужно не для того, чтобы иметь пропитание и одежду, не для того даже, чтобы дать рынку нужные

товары; а главное тут — перед рабочим классом стоит великая до головокружения задача перестроить весь мир на новый манер, и для этого ничего не должно жалеть и никого не должно щадить. Весело было Лельке смотреть, как самыми разнообразными способами рабочие и работницы втягивались в кипучую, целеустремленную работу и как беспощадно клеймились те, кто по-старому думал тут только о себе.

Хронометраж установил, что по промазке «дамской стрелки» дневную норму смело можно повысить с 1400 пар на 1600. Администрация объявила норму 1600 и соответственно снизила расценку.

Работницы возмутились. Кричали, ругались в уборных и в столовке. И тайно сговорились. При ближайшем подсчете оказалось, выработка у всех была прежняя — 1400. И так еще три раза. Потом пришли работницы в дирекцию, стучали кулаками по столу, кричали, что норма невозможная, что этак помрешь за столом.

Директор холодно ответил:

— Не помрете.

А после их ухода позвонил в ячейку.

В понедельник из восьми работниц этой группы четыре оказались переведенными на новую работу, а на их место были поставлены комсомолки, снятые с намазки черной стрелки. Предварительно с девочками основательно поговорил в бюро ячейки Гриша Камышов.

Четыре оставшиеся старые работницы со злобою и презрением оглядывали девчат:

— Пришли норму нам накручивать? И куда же это ныне совесть девалась у людей!

Девчата посмеивались и мазали. В первый же день, еще не свыкнувшись с новой для них операцией, они уже промазали 1400 пар, как старые работницы. Через три дня стали мазать по 1600, а еще через неделю эти 1600 пар стали кончать за полчаса до гудка.

* * *

Камышов в бюро комсомольского комитета разговаривал по телефону, а технический секретарь Шурка Щуров переписывал за столом протоколы и забавлялся тем, что будто бы отвечал на то, что Камышов говорил в трубку.

— Здравствуй!

Шурка вполголоса, для собственного удовольствия:

— С добрым утром, с хорошей погодой!

— Что так поздно?

— Поздно. Раньше невозможно!

— Ругать вас и следует!

- Пора бить!
- Ну, спасибо!
- Не стоит того!

Вошла Лелька. Шурка, играючи, схватил ее за запястья. Лелька сказала:

— Ну ты, кутенок! Цыц!

Он отстал. Подошел от телефона Камышов, сказал Шурке:

— Левка принес знамя для завтрашней демонстрации, а на дровке нет острия. Возьми в клубе, я видел — там есть.

Шурка встал, чтобы идти.

— Да не сейчас. Не к спеху.

— Чего? Старик, что ли, я? Сейчас и сбегаю.

— Брось ты, что за постановка? Пойдешь обедать и зайдешь.

А вот что,— погоди,— сейчас нужно сделать. Сбегай домой, возьми фотографический аппарат, будь к гудку на заводском дворе.

А ты, Леля... Ты в ночной смене сегодня? Сейчас свободна?

— Ага!

— Вот тебе список фамилий,— четыре работницы из намазки материалов. Пойди, пусть тебе мастерица их укажет, я уж ей сказал. Только чтоб сами они этого не заметили. Запомни их рожи. А потом как-нибудь устройте с Шуркой так, чтобы снять с них фотографию,— лучше бы всего со всех четырех вместе, группой. Вот вам обоим миссия на сегодня.

— «Миссия»... Ха-ха! Как в брошюрках!.. Идем, Лелька!

* * *

Осенний ясный день. Гудок к окончанию работ дневной смены. Из всех дверей валили работницы. На широком дворе, у выхода из цеха по намазке материалов, стояла Лелька в позе, а на нее нацеливался фотографическим аппаратом Шурка Щуров.

Проходили работницы, останавливались, смотрели. Некоторые говорили:

— Нас бы снял!

Шурка все целился из аппарата на Лельку, а она зорко приглядывалась к проходившим. Шли две из намеченных, тоже остановились. Лелька к ним обратилась:

— Хотите, снимем вас?

— О? Ну, ну, снимай.

Стали расстанавливаться. Шла третья из намеченных. Ее окликнули:

— Дарья Петровна, подходи, сымись с нами.

Но четвертая долго не шла. Шурка смотрел под черным покрывалом в аппарат, перестанавливал старух, поправлял руки, поворачивал головы.

Появилась наконец четвертая. Лелька надеялась,— может быть, позовут ее сами. Но не позвали. А она даже не остановилась.

Лелька спросила Шурку:

— У тебя пластинка длинная, да?

Он с удивлением взглянул, ответил:

— Ну да.

— Так что же месту пропадать, жалко. Еще одна уместится. Товарищ, вы не хотите сняться?

Она остановилась. Ей закричали:

— Иди, иди! Снимись за компанию!

* * *

В ближайшем номере «Проснувшегося витязя» появился этот снимок. Все четверо были названы по фамилиям, а потом стояло:
ЭТИ РАБОТНИЦЫ УМЫШЛЕННО НЕ ВЫПОЛНЯЛИ НОРМЫ.

Рассказывалась вся история, как они притворялись, что не могут сработать больше 1400 пар, высмеивалось их рвачество. И смешно было смотреть на снимок, как они старались принять позы, выглядеть покрасивее. И этакая подпись!

А под снимком — другой: четыре задорно смеющихся молодых девичьих лица, под снимком — фамилии и подпись:

ЭТИ РАБОТНИЦЫ ЧЕСТНО ИСПОЛНИЛИ
СВОЙ ПРОЛЕТАРСКИЙ ДОЛГ.

По всему заводу рассматривали снимок, из других цехов заходили в намазочную, — почему-то всем интересно было увидеть пропечатанных в натуре. Старые работницы ругались, молодым было приятно. И после этого им приятно стало сделаться ударниками. Само собою образовалось ударное ядро в цехе намазки материалов.

* * *

Оська Головастов. Тот, который вместе с Юркой накрыл тайного виноторговца Богобоязненного и потом на политбое командовал взводом, состязавшимся с Лелькиным взводом. Огромная голова, как раз по фамилии, большой и странно плоский лоб, на губах все время беспризорно блуждает самодовольная улыбка. На всех собраниях он обязательно выступает, говорит напыщенно и фразисто, все речи его — отборно-стопроцентные.

Раньше был он колодочником, — подносил колодки к конвейеру. Потом стал машинистом на прижимной машине, на которой в конце конвейера прижимают подошву к готовой галоше. За эту работу плата больше — 3 р. 25 к., а колодочник получает 2 р. 75 к. На каждый конвейер полагается по колодочнику. В «Проснушемся витязе» Оська поместил такой вызов:

Я, Осип Головастов, заявляю: у колодочников рабочий день очень незагружен, они только и знают, что сидят в уборной и курят. По этой причине заявляю, что один колодочник может обслуживать не один конвейер, а сразу два, и берусь это доказать на деле. С прижимной машины перехожу на работу колодочника, несмотря, что колодочник получает меньше машиниста. Вызываю тт. колодочников последовать моему энтузиазму.

И месяц Головастов работал на подноске колодок. Сильно похудел, к концу работы губы были белые, а глаза глядели с тайною усталостью. Однако держался он вызывающе бодро и говорил:

— Определенно может один колодочник работать на два конвейера.

Через месяц на цеховом производственном совещании он заявил это самое. На него яростно обрушились колодочники:

— Ты месяц поработал, да опять к себе на машину уйдешь! Норму накрутишь, а сам выполнять ее не будешь. Не видали мы, как ты, высуня язык, с колодками бегал от конвейера к конвейеру?

Оська в ответ водил поднятою отвесно ладошкой и повторял:

— Товарищи! Ничего не поделаешь! Строительство социализма! Нужно напрягать все силы!

Помощник заведующего галошным цехом, инженер Голосовкер, тоже высказался против: экономия пустячная, 3 р. 25 к. на два конвейера, а истощение рабочего получается полное, это можно было наблюдать на самом товарище Головастове.

Оська вскочил, поднял ладошку:

— Прошу слова! — и заговорил: — Товарищи! Я вижу, что инженеру Голосовкеру нет дела до производства и до строительства социализма! Поэтому он и ведет саботаж всякому улучшению и всякому снижению себестоимости. Какая бы этому могла быть причина? Вот мы все время в газетах читаем — то там окажется спец-вредитель, то там. Не из этих ли он спецов, которые тайно только и думают о том, чтобы всовывать палки в колеса нашего строительства?

Обычно такие нападки на инженеров проходили без протестов собрания, но тут все слишком были против Оськи, посыпались крики:

— Буде! Больно много болтает! Выслужиться хочет!

И не дали ему кончить.

* * *

На заводском дворе висел огромный плакат, где каждые две недели оповещалось о проценте брака на каждом из конвейеров. Но это были не голые, как раньше, цифры, в которых никто не мог разобраться. Великолепно были нарисованы работницы в красных, зеленых, белых косынках; одни неслись на аэроплане, мотоциклетке или автомобиле; другие ехали верхом, бежали пешие, брели с палочкой; третьи, наконец, ехали верхом на черепахе, на раке или сидели, как в лодке, в большой черной галоше. Против каждой из фигур указывался соответствующий процент брака: аэроплан, например, — от 1,3 до 1,9, верхом на лошади — от 3,6 до 4,0, в галоше — больше шести.

И работницы останавливались, рассматривали, на каком месте их конвейер.

— Ой, батюшки, стыд какой! Бредем с палочкой! Скоро, гляди, на черепаху сядем!

В цехах, у конвейеров и машин, висели темно-бурые «красные доски», и на них написано было мелом:

Конв. 15. Ш а н о в а — инициатор уплотнения работы намазки бордюра.

С а х а р о в а — взявшая на себя промазку бордюра для двух конвейеров, благодаря чему сокращен штат на одного человека.

Или:

Конв. 6. Г р е б н е в а и А р г у н о в а — за работу сверх нормы и без оплаты 100 пар материала и за отсутствие прогулов.

На черных досках висели фамилии прогульщиков.

Преуспевшим обещались премии,— денежные или поездками в экскурсии, в дома отдыха.

Всячески ворошили рабочую массу, теребили, подхлестывали, перебирали все струны души,— не та зазвучит, так эта; всех так или иначе умели приладить к работе.

Пионеры,— и эта тонконогая мелкота в красных галстучках была втянута в кипящий котел общей работы. Ребята, под руководством пионервожатых, являлись на дом к прогульщикам, торчали у «черных касс», специально устроенных для прогульщиков, дразнили и высмеивали их; мастерили кладбища для лодырей и рвачей: вдруг в столовке — картонные могилы, а на них кресты с надписями:

Здесь лежит прах рвача Матвея Гаврилова.

Здесь покоится злостная прогульщица Анисья Поспелова.

Дежурили у лавок Центроспирта и пивных, уговаривали и стыдили входящих. Кипнем кипела работа. Лельке странно было вспомнить, как пуста была работа с пионерами еще два-три года назад: в сущности, было только приучение к революционной болтовне. А теперь... Какой размах!

* * *

Лелька работала на конвейере, где мастерицей была ее старая знакомая Матюхина. Курносая, со сморщенным старушечьим лицом. В ней Лелька вскоре научилась ценить высшее воплощение того, что было хорошего в старом, сросшемся с заводом рабочем. Вся жизнь ее, все интересы были в работе, неудачами завода она болела как собственными, все силы клала в завод, совсем так, как рачительный крестьянин — в свое деревенское хозяйство. Температурит, доктор ей: «Сдайте работу, идите домой». — «Ну, что там, вот пустяки! Часы свои уж отработаю». Умерла у нее дочь. Придет Матюхина в приемный покой, поплачет, при-

мет брому — и опять на работу. Она жила в производстве и должна была умереть у станка, потому что для таких людей выйти «на социалку» и в бездействии, вне родного завода, жить «на отдыхе», на пенсии — хуже было, чем умереть.

Матюхина была «ударницей». Но по отношению к ней это стало только новым названием, потому что ударницей она была всем существом своим тогда, когда и разговору не было об ударничестве. И горела подлинным «бурным пафосом строительства», хотя сама даже и не подозревала этого. На производственных совещаниях горела и волновалась, как будто у нее отнимали что-то самое ценное, и собственными, не трафаретно газетными словами страстно говорила о невозможно плохом качестве материала, об организационных неполадках.

— Стараемся, а дело все не выигрывается, хоть на канате вверх тащи! Хоть ты караул кричи! Резина в пузырях, а то вдруг щепя в ней, рожица никуда не годится. Сердца разрыв чуть не получаем, вот до чего убиваемся! А контрольные комиссии у нас над каждым концом... На ком вину эту сорвать, не знаю, но надо бы кого-то под расстрел!

А из инженерской конторки приходила на свой конвейер взволнованная и измученно говорила девочкам:

— Вот! Опять брак вырос! За вчерашний день 54 пары брака. Ходила, ругалась в закрытую передов и в мазильную.

И неутомимо ходила вокруг своего конвейера, осматривала и подмазывала каждую колодку, зорко следила, у какой работницы начинается завал, спешила на помощь и делала с нею ее работу.

* * *

Прорыв блестяще был ликвидирован. В октябре завод с гордостью рапортовал об этом Центральному комитету партии. Заполнена была недовыработка за июль — август, и теперь ровным темпом завод давал 59 тысяч пар галош, — на две тысячи больше, чем было намечено планом.

В газетах пелись хвалы заводу. Приезжали на завод журналисты, — толстые, в больших очках. Списывали в блокноты устав ударных бригад, член завкома водил их по заводу, администрация давала нужные цифры, — и появлялись в газетах статьи, где восторженно рассказывалось о единодушном порыве рабочих масс, о чудесном превращении прежнего раба в пламенного энтузиаста. Приводили правила о взысканиях, налагаемые за прогул или за небрежное обращение с заводским имуществом, и возмущенно писали:

Ах, как эти правила безнадежно устарели! Угрозы взысканиями за прогул и порчу имущества на фоне того, что происходило вокруг, отдавали чудовищной академической тупостью стандартного сочинителя правил...

На заводе читали такие статьи и хохотали.

Конечно, было все это хоть и так, но совсем, совсем не так.

* * *

Отдельных курилок на заводе нашем нет. Курят в уборных. Сидят на стульчаках и беседуют. Тут услышишь то, чего не услышишь на торжественных заседаниях и конвейерных митингах. Тут душа нараспашку. Примолкают только тогда, когда входит коммунист или комсомолец.

— Гонка какая-то пошла. В гоночных лошадях нас обратили. Разве можно? И без того по сторонам поглядеть некогда,— такая норма. А тут еще ударься.

— Говорят: «семичасовой день». Да прежде десять часов лучше было работать. Не спешили. А сейчас — глаза на лоб лезут.

— Зато времени больше свободного.

— А на кой оно черт, время свободное твое, ежели уставши человек? Придешь домой в четыре и спишь до полуночи. Встанешь, поешь,— и опять спать до утреннего гудка. Безволие какое-то, даже есть неохота.

— Ну, слезай, Макдональд! Разболтался! Мне за делом, а ты так сидишь!

— На что мне ваше социалистическое соревнование? Что от него? Только норму накрутим сами себе, а потом расценки сбавят.

— Расценков сбавлять не будут.

— Не будут? Только бы замануть, а там и сбавят. Как на «Красном треугольнике» сделали. А тоже клялись: «Сбавлять не будем!» И везде пишут: «Мы! рабочие! единогласно!» Маленькая кучка все захватила, верховодит, а говорят: все рабочие.

Вздохали.

— Нет, царские капиталисты были попростоватее, не умели так эксплуатировать рабочий класс.

— Дурья голова, пойми ты в своей лысой башке. Ведь капиталисты себе в карман клали, а у нас в карманы кому это идет,— Калинин или Сталину? В наше рабочее государство идет, для социализму.

— Я напротив этого не спорю. А все эксплуатация еще больше прежнего. Тогда попы говорили: «Работай, надрывайся, тебе за это будет царствие небесное!» Ну, а в царствие-то это мало кто уж верил. А сейчас ораторы говорят: «Работай, надрывайся, будет тебе за это социализм». А что мне с твоего социализму? Я надорвусь,— много мне будет радости, что внуки мои его дождутся?

— Вон пишут в газетах: «пламенный энтузиазм». Почему у нас соревнования подписывают? Коммунисты — потому что обязаны, другие — что хотят кой-чего получить. А нам получать нечего.

Такие струйки и течения извивались в низах. Не лучше случалось иногда и на верхах. Давали блестящие сведения в газеты, сообщали на производственных совещаниях о великолепном росте продукции. Неожиданно приехала правительственная комиссия, вскрыла уже запакованные, готовые к отправке ящики с галлошами,— и оказалось в них около пятидесяти процентов брака.

* * *

Все это видела и знала Лелька. Но теперь это не обескураживало ее, не подрывало веры, даже больше: корявая, трудная, с темными провалами подлинная жизнь прельщала ее больше, чем бездарно-яркие, сверкающие дешевым лаком картинки газетных строчил.

Вовсе не все поголовно рабочие, как уверяли газеты, и даже не большинство охвачено было энтузиазмом. Однажды на производственном совещании в таком газетном роде высказался, кроя инженеров, Оська Головастов: что рабочий — прирожденный ударник, что он всегда работал по-ударному и горел производственным энтузиазмом. Против него сурово выступила товарищ Ногаева и своим уверенным, всех покоряющим голосом заявила, что это — реакционный вздор, что если бы было так, то для чего ударные бригады, для чего соревнование и премирование ударников?

По тем или другим мотивам активно участвовало в соревновании, вело массу вперед — ну, человек четыреста-пятьсот. Это — на шесть тысяч рабочих завода. Были тут и настоящие энтузиасты разного типа, всюю душою жившие в деле, как Гриша Камышов, Ведерников, Матюхина, Ногаева, Бася. Были смешные шовинисты-самохвалы, как Ромка, карьеристы-фразеры, как Оська Головастов. Были партийцы, шедшие только по долгу дисциплины. Прельщали многих обещанные премии, других — помещение в газетах портретов и восхвалений.

И вот из всех этих разнообразнейших мотивов,— и светлых, и темных,— партия умела выковать одну тугую стальную пружину, которая толкала и гнала волю всех в одном направлении — к осуществлению огромного, почти невероятного плана. Вместе с этим — медленно, трудно — воспитывалось в рабочей массе новое отношение к труду, внедрялось сознание, с которым нелегко было сразу освоиться: нет отдельных лиц, которые бы наживались рабочим трудом, которых не позорно обманывать и обкрадывать, которых можно ощущать только как врагов. Пришел новый большой хозяин,— свой же рабочий класс в целом,— и по отношению к нему все старые повадки приходилось бросить раз навсегда.

Какими силами был ликвидирован прорыв? Как могло сделаться, что те самые люди, которые в июле — августе работали спустя рукава, множили прогулы и брак в невероятном коли-

честве,— в сентябре — октябре встрепенулись, засучили рукава и люто взялись за работу?

То же случилось, что отмечается наблюдателями и на войне. Везде большинство — средние люди, подвижная масса; и зависит от обстоятельств: могут грозным ураганом ринуться в самую опасную атаку,— могут стадом овец помчаться прочь от одного взорвавшегося снаряда. Зависит от того, какое меньшинство возьмет в данный момент верх над массой,— хабрецы или шкурники.

Так было и тут. Организованное, крепко дисциплинированное меньшинство клином врезалось в гущу бегущих, остановило их своим встречным движением, привлекло на себя все их внимание — и повело вперед.

* * *

Сын Лелькина квартирному хозяину, молодой Буераков, рамочник с их же завода, был ухажер и хулиган, распубликованный в газете лодырь и прогульщик. Раз вечером заташил он к себе двух приятелей попить чайку. Были выпивши. Сидели в большой комнате и громко спорили.

Лелька удивленно прислушивалась. Сквозь стену долетали слова: «пяtilетка», «чугун и сталь», «текстильные фабрики»... Ого! Хохотала про себя и радовалась: Буераков с приятелями — и те заговорили о пяtilетке!

В дверь раздался почтительный стук. Вошли спорщики. Буераков просил разрешить их спор: почему в пяtilетке такой напор сделан на железо, уголь, машины в ущерб прочему?

Лелька объяснила. Буераков удовлетворенно сказал:

— Ну что? Не так я говорил? Откуда мы машины возьмем,— ткацкие там, прядильные и разные другие? Весь век из-за границы будем выписывать? Вот почему весь центр внимания должен уделиться на чугун, на сталь, на машины. Научимся машины делать, тогда будет тебе и сатинет на рубашку, и драп на пальто. Ну, спасибо вам. Пойдем, ребята... А то, может, с нами чайку попьете, товарищ Ратникова?

Лелька пошла, и весь вечер они проговорили о пяtilетке.

* * *

С прошлого года завод обслуживала великолепная нарпитовская столовая, занимавшая левое крыло нововыстроенного универмага. Большой, светлый зал, кафельный пол, чистота.

У большого окна, за столиком, сидел за тарелкой борща инженер Сердюков. Лелька получила из окошечка свою тарелку борща и села за тот же столик. Нарочно. Ее интересовал этот

молчаливый старик с затаенно насмешливыми глазами, крупный специалист, своими изобретениями уже давший заводу несколько миллионов рублей экономии.

Разговорились. Лелька ему понравилась. И он говорил — с чуть насмешливою улыбкою под седыми усами:

— Эн-ту-зи-азм?.. Да, пожалуй: рвение рабочих вам удалось искусственно подогреть новизною дела и энергичностью агитации; может быть, есть даже и настоящий энтузиазм. Но — долго ли может человек простоять на цыпочках? Как возможно в непрерывном энтузиазме, из года в год, ворочать на вальцах резиновую массу или накладывать бордюры на галошу?

Лелька спросила со скрытой враждою:

— Вы, значит, никакого значения не придаете соцсоревнованию и ударничеству?

— О-г-р-о-м-н-е-й-ш-е-е! Огромнейшее придаю значение. Но главное его значение не в том, что оно непосредственно поднимает производительность и качество труда. Это может тянуться месяц, два. Повторяю: на цыпочках долго не простоишь. Важно совсем другое. Ударничество дает возможность подойти к рабочему с определенными требованиями: ты, братец, сам вызвался, — так работай же добросовестно! В рабочем воспитывается совершенно новое для него отношение к труду. Может быть, — Сердюков насмешливо улыбнулся, — может быть, и у нашего рабочего в конце концов выработается подлинное уважение к труду, которое так бросается в глаза у западноевропейского рабочего. Только теперь начинаешь вздыхать посвободнее и пересташешь отчаиваться в будущем нашего производства. Ведь в течение целых десяти лет систематически вытравили у рабочего всякое чувство ответственности, всякая дисциплинированность. Только директор или инженер попытаются хоть немножко подтянуть, — сейчас же поднимается травля в газетах, вмешивается завком, ячейка, — и руководство сменяется. И всякий предпочитал ни во что не вмешиваться, — пусть все идет, как хочет, а то заедят.

Вышла Лелька из столовой. Захотелось ей пройтись. Осенние дни все стояли солнечные и сухие. Солнышко ласково грело. Неприятный осадок был в душе от всего, что говорил инженер Сердюков; хотелось встряхнуться, всполоснуть душу, смыть осадок. Так все трезво, так все сухо. Так буднично и серо становится, так смешно становится чем-нибудь увлекаться. Даже Буераков — и тот давал душе больше подъема, чем этот насмешливый, до самого нутра трезвый человек, более, однако, нужный для завода, чем тысяча Буераковых.

Переваливаясь, медленно шла из парткома, с портфелем под мышкой, толстая Ногаева. Лелька нагнала ее.

— Погодка-то, а? Совсем как будто лето!

Пошли вместе. Говорили о работе временной контрольной комиссии по деятельности рабочих бригад, куда выбрали Лельку.

О результатах соцсоревнования. О будущих перспективах. Лелька сказала с усмешкою:

— Сейчас со спецом говорила. Смеется. Все это, говорит, вы искусственно разожгли. И никакого энтузиазма в рабочем классе нет. Хоть бы добросовестно работать научились, как западноевропейские рабочие, и то бы хорошо. А что говорить об энтузиазме!

Ногаева, выпучив глаза, закуривала папиросу «Дели». Закурила и своим спокойно-уверенным, несомневающимся голосом ответила:

— Слыхала. Все спецы так. Читают газеты и смеются: где же это по-газетному? Все дело в том, как поглядеть. Гляди на того, на другого. Где энтузиазм? Так, серенький народ, что им до чего! Иван Иванович да Нюрка. Ему бы выпить, ей — с кавалерами погулять. А как попрут все вместе, вдруг почувешь: не Иван Иванович, не Нюрка, а — пролетариат. Каждый — серый, а вместе — блестят. Что же скажешь, — не они все вместе прорыв ликвидировали? Разожгли? Разожгли, верно. А песок ты разожжешь? Капиталисты рабочих на свою работу — разожгут?

Все больше Лельке начинала нравиться Ногаева.

* * *

Вечером пришла к Лельке ее сестра Нинка. За последний год стала она серьезнее и сдержаннее, но как будто замкнулась от Лельки с того времени, как они прекратили общий дневник. Видались редко.

Сегодня Нинка с блестящими глазами накинута на Лельку.

— Прочла в газетах, как вы прорыв ликвидировали. Рассказывай. Поподробней. Как все было.

Лелька рассказывала, и помимо ее воли, как всегда в таких рассказах, все выходило глаже, завлекательней и ярче, чем было на самом деле. Нинка жадно слушала. Лелька с радостью почувствовала: Нинка горит тем же восторгом, как и сама она.

Сидели долго, пили чай и хорошо говорили.

— Вот теперь — да!.. Лелька, помнишь, как тосковали мы по прошедшим временам, как мечтали об опасностях, о широких размахах? Ты тогда писала в нашем дневнике: «Нет размаха для взгляда». А теперь — какой размах! Дух захватывает. Эх, весело! Даже о своих зауральских степях перестала тосковать. Только и думаю: кончу к лету инженером — и всею головою в работу.

— А как насчет шарлатанства?

Черные брови Нинки набежали на глаза и затемнили лицо.

— Не хочется об этом сейчас думать. Хочется бороться, хочется действовать. Поле открывается огромное. Шарлатанство свое я спрятала в карман.

— А все-таки — не выбросила совсем?

— Нет. В душе мне и теперь часто хочется засунуть руки в карманы и над многим хохотать, и на многое злиться.

Почувствовали себя сестры теплее и ближе друг к другу. Простились задушевно и решили чаще видаться.

* * *

Шла Лелька с работы. Вдруг кто-то пожал ей сзади руку выше локтя. Она обернулась и увидела ласково улыбающееся лицо Гриши Камышова, секретаря комсомольского комитета, с трубкою в руке.

— Вот что, Лелька. На бюро мы решили тебя и еще несколько девчат и парней передать в партию. На той неделе будет молодежный вечер,— торжественно будем вас тогда передавать.

Лелька стояла, разинув рот. Наконец сказала:

— Бude дурака ломать!

— Да не ломаю дурака. Взаправду.

— В партию?..

Были осенние сумерки, слякоть. Лелька, забыв пообедать, ушла далеко в лес. Капельки висели на иглах сосен, туман закутывал чащу. Лелька бродила и улыбалась, и недоумевала. Что такое? Что она такого особенного делала, за что такая небывалая, огромная честь? Останавливалась с застывшею на лице улыбкою, пожимала плечами, раздражалась смехом и опять без дороги шла через чащу леса, обдававшую ее брызгами.

* * *

Появились на заводе десятки, чуть не сотни надсмотрщиков,— непризнанных и непрошенных. Девчата и парни шныряли по заводу, следили за простоями машин, за отношением рабочих к инструментам и материалу, за сохранностью заводского имущества. Во главе этого стойкого молодого отряда стоял неутомимый и распорядительный командир — Юрка Васин.

Очень сильно крали резину. Это составляло большое место завода. Материал был ценный, валютный; приходилось сокращать производство из-за нехватки резины. А ее крали бесстыдно,— ловко, через все охраны, выносили каким-то образом из завода и за большую цену продавали частникам-кустарям. И никак не удавалось выследить воров. А ясно было, что тут работает организованная шайка.

По заводскому двору подъехал к воротам полок с пустыми бочками. У ворот стоял Юрка с другим парнем и двумя девчатами. Сверкнув улыбкою, весело спросил возчика:

— Порожние бочки везешь?

Бородатый возчик неохотно ответил:

— Знамо, порожние. А тебе что!

— Из-под мела бочки?

Возчик угрюмо отвернулся и крикнул сторожу, чтобы отпирал ворота. Юрка весело усевещивающим голосом сказал:

— погоди, дядя! куда спешишь! И куда это все торопятя,— как будто где их кто с водкой ждет!

— Что вы, сукины дети, делаете?! Весь воз разворочали! Потом опять за вами увязывай! К черту! Отваливай!

— погоди, дядя, не толкайся, мы это и сами умеем! Завяжем тебе воз...— Вдруг Юрка оборвал свои шутки и задохнулся от радости. Крикнул товарищам: — Ребята! Смотрите!

В бочке лежал большой, килограммов в сорок, кусок каучука. Ребята быстро стали сбрасывать бочки, заглядывали внутрь, не слушая ругательств возчика. В пяти бочках еще нашли по куску резины. Юрка командовал:

— Сонька, беги в охрану, позови дежурного агента уголовного розыска.

Столпились вокруг выходявшие из механического цеха рабочие. Возчика повели в охрану. Он исподлобья бросил на Юрку ненавидящий взгляд. Рабочие толпились, расспрашивали, в чем дело, что случилось.

— Он, видишь, в пустых бочках краденый каучук вывозил из завода, а комсомолец на него доказал.

— Какой такой? Где он?

Указывали на Юрку. Оглядывали его с ног до головы и молча направлялись к выходу.

Юрка знал,— если бы подойти к ним вплотную, если бы спросить: «Ну, как,— можно это допустить, чтобы разбазаривали самое ценное имущество завода?» — они бы ответили: «Ясное дело, нет. Это — безобразия». И все-таки — что он вот выследил, накрыл, донес,— они за это чувствовали к нему безотчетное омерзение и способны были объяснить его действия только одним: «Старается пролезть». Юрка и в самом себе помнил совсем такие настроения.

Теперь такое отношение уже не тяготило его, не приводило в отчаяние. Крепко запомнилось, что ему раз сказала Лелька: «Ты в прошлом году мечтал о буденновской кавалерии. Если бы ты в ее рядах сражался, страдал ли бы ты от того, что тебя ненавидят белые? Война есть война. Мы боремся за совершенно новое отношение к труду и производству,— что ж удивиться, что нас ненавидят рабочие, живущие в старых понятиях. В чем дело? Так и должно быть!» После случая со слесарями, устанавливавшими в вальцовке вал, для Юрки тут не было уже никаких сомнений. На презрительные замечания: «Гад! Провокатор!» он смеялся сверкающим своим смехом и, балагурия, доказывал ругателям их неправоту.

Юрка упоенно жил теперь пылом новой напряженной борьбы, так неожиданно открывшейся перед ним в обыденной, казалось, и такой скучной жизни. И была полная уверенность в себе. За ним стояла партия, и через Лельку Юрка убедился несокрушимо, что она хорошо знает, что делает: можно смело и весело ввериться ее руководству, можно весело бросаться в неразбериху боя; там где-то, на вышке, стоят сзади мудрые вожди, озирают все место боя и хорошо знают, зачем они Юрку посылают именно туда, а не туда; зачем заставляют делать то, а не то.

А с Лелькой отношения у него все оставались трудными. За беззлобное свое остроумие, за беззатратную веселость, за блеск улыбки он большим успехом пользовался у девчат; одной даже платил алименты. Романы кончались различно, но это было у всех одинаково: когда ухаживания увенчивались желанным концом, отношения становились простыми и само собою разумеющимися. Вопрос был только: где и как встречаться наедине? При жилищных трудностях это было нелегко.

А тут, с Лелькой, уж не один месяц продолжалась их близость, но как будто ничего между ними никогда и не было. Каждый раз, когда он пытался подойти к ней с уверенностью близкого человека, она так решительно отстранялась от него, что Юрка совершенно терялся. Близость ее была для него всегда сладкою неожиданностью, всегда она оставалась для него страстно желанной, далекой и недоступной. Вглядываясь в любимую со страдающим желанием, он с удивлением спрашивал себя: да неужели было, что она с мерцающими из-под ресниц глазами давала горячо ласкать себя, жарко целовала вот этими строгими губами? И ему хотелось схватиться за голову руками и рыдать, рыдать.

* * *

В цехах, на заводском дворе и на заборе летнего помещения клуба пестрели красным и черным большие плакаты.

МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕЧЕР

1. Доклад о революционном движении среди молодежи Запада.
2. Передача комсомольцев в партию и пионеров в комсомол.
3. Художественная часть. Выступления «Синей блузы».

Назначено было начало в семь часов, но, как всегда, не начали еще и в восемь. Первые ряды сплошь были заняты ребятами и подростками в красных галстуках; их пустили в зрительный зал раньше взрослых, чтобы они смогли занять передние места. Шум, гам, смех. Рыженький, в веснушках, комсомолец, вожатый отряда, стоял перед первым рядом стульев.

— Ребята, давайте пока петь.

Пели дружно, добросовестно раскрывая рты.

Все выше, и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц,
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ...

Сбоку, на маленькой эстраде для музыкантов, взрослые девчата, теснясь, толкаясь и смеясь, танцевали вальс под рояль,— играла на рояле одна из девчат. Танцевала и Лелька. Она взволнованно хохотала, дурила. И в душе досадовала: почему так волнуется? Ну да, она из тех, которых сегодня комсомол, как лучших своих членов, торжественно передает партии; да, она гордится, радуется. Но чего же внутренне дрожать? И все-таки дрожала и смеялась смехом, которого не могла сдержать. И все обычное, приглядевшееся казалось вокруг торжественно-необычным.

Пришли музыканты, прогнали девчат. Зазвенели звонки. Отдернулся занавес. Длинный стол под красной скатертью, большой графин с сверкающей под лампочкою водой. Как раз над графином — продолговатое, ясноглазое лицо Гриши Камышова, секретаря комсомольского комитета. Он встал, объявил собрание открытым, предложил избрать президиум. Избранные рабочие, работницы и пионеры заняли места на сцене.

Взошел на трибуну Камышов и привычно-четким голосом сказал вступительное слово. Сказал о молодежи, о надеждах, которые она должна оправдать, о работе, какую должна сделать.

— Владимир Ильич давал характеристику, которая примерно характеризуется так: ставьте на все места молодых,— они смелее, независимее, энергичнее стариков... Давайте, товарищи, оправдаем эту истину. Будем строить новый мир, будем рушить законы, быт, людей, вещи,— все, что путается в ногах. Да здравствует комсомол! Да здравствует партия! Да здравствует Третий интернационал!

Оркестр заиграл «Интернационал». Все встали. Пионеры стояли с серьезными лицами, подняв правые руки ладонями вперед. Лелька всегда любила этот прелестный пионерский жест и любовалась лесом замерших в воздухе молодых рук, безмолвно говоривших: «Всегда готовы!»

Потом вышел докладчик, военный, с огромным револьвером у пояса. Он говорил длинно и скучно, без подъема. Рассказывал историю комсомола на Западе, говорил о материализме Маркса, о разоблаченных им всяческих «мистических тайнах».

— Маркс доказал, что абсолютно для нас нет ничего неведомого. Мы все видим, все слышим, все понимаем! Мы все можем исследовать, нас ничего не может остановить...

Говорил очень долго. По всему залу шли разговоры. Председатель несколько раз давал предупредительный звонок. Доклад-

чик глядел на часы в браслете, отвечал: «Я сейчас!» и все сыпал в аудиторию сухие, лишённые одушевления слова. Самодовольно-длинные и зевотно-скучные доклады были привычным злом всех торжеств, и их терпеливо выносили, как выносят длинную очередь в кино с интересной фильмой: ничего не поделаешь, без этого нельзя.

Наконец кончил. Выступила еще Бася с маленьким докладом об ударных бригадах. Гриша Камышов встал и заявил:

— Товарищи! К нам сейчас приехали товарищи из Коминтерна и КИМа — делегаты от Германии, Чехословакии, Китая и американских негров. Предлагаю ввести их в президиум.

Бурные рукоплескания. Делегаты появились на сцене. На трибуну взошел высокий, плечистый немец и стал говорить на немецком языке приветствие. Скандал! Переводчика не нашлось, — никто не знал немецкого языка! И уж, конечно, никто не знал и английского, когда с трибуны заговорил курчавый негр в пиджаке, с ласковыми, тайно страдающими глазами. Но ничего! Слышали незнакомые звуки и восторженно рукоплескали. Понятно было и без слов, что они передавали советской молодежи привет от борющейся и преследуемой революционной молодежи Запада и Востока.

Лелька стояла за кулисами в толпе других комсомольцев, передаваемых в партию.

И вот поднялся секретарь общезаводской комсомольской ячейки Камышов с очень серьезным лицом и торжественно сказал:

— Товарищи! Мы выделили из своей среды лучших комсомольцев и сегодня передаем их в партию. Лучшие, достойнейшие пионеры передаются сегодня в наш комсомол.

Лелька стояла рядом с Юркой. Она крепко сжала его пальцы и озорно шепнула:

— Когда буду отвечать на приветствия, тебя взгрею!

Юрка испугался.

— О? За что?

— Увидишь!

Шагая в ногу, на сцену выступили пионеры и пионерки, выстроились в ряд. За ними вторым рядом встали комсомольцы. На трибуну поднялся представитель райкома, говорил о пятилетке, о строительстве социализма и приветствовал новые кадры, идущие на подмогу партии.

С ответным словом выступила Лелька.

Когда она увидела под собой море голов и звездное небо смотрящих глаз, душу обдало радостною жутью. Тут были друзья, с которыми вместе она боролась; были враги, которые на каждом шагу старались ставить им преграды; была тяжелая масса равнодушных, для которых все было безразлично, кроме собственно заработка. Всем она хотела передать то, чем была полна ее душа.

И она начала:

— Товарищи! Иногда приходится слышать от ребят: «Эх, опоздали мы родиться! Родиться бы нам на десять лет раньше, когда шли бои по всем фронтам. Вот когда жизнь кипела, вот когда весело было жить! А теперь — до чего серо и скучно! Легкая кавалерия — да! Что ж! Это дело хорошее. А только куда бы интереснее быть в буденновской кавалерии...»

По зале пронесся сочувственный мужской смех. Юрка смущенно кашлянул. Лелька продолжала:

— А я, когда думаю о нашем времени, то говорю себе: в какое редкое, в какое счастливое время, ребята, мы с вами родились! Вы только подумайте, только представьте себе это ясно: нигде никогда в мире не бывало ничего такого, что сейчас у нас. Человек трудился для обогащения богачей. Как он мог любить свой труд, как мог его уважать? Как мог находить жизнь в труде? Только теперь, у нас, здесь, мы работаем не для своего или чужого обогащения, а в самом труде своим работаем над созданием новой, еще не виданной на земле жизни; в первый раз труд сам по себе становится великим общественным делом. Когда я об этом ясно подумаю, у меня от восторга сердце хочет выскочить из груди. Как интересно, как весело стало работать! Труд, который мы привыкли считать таким скучным, таким будничным, — ребятки, до чего же он интересен! И в нем теперь — всё! Не лихие разведки теперь нужны, не скакать под огнем пулеметов, не сражаться в воздухе с аэропланами, а вот сидеть с роликом, нагнувшись над стелькой или задником, стараться, чтоб подошва на галоше не отставала, повторять лозунг, который висит у нас в столовке:

За задник хороший! За лучший носок!

За крепость галоши — вперед, комсомол!

Вот за что, ребята, вперед! И полюбить нужно эту работу, найти в ней счастье, поэзию и красоту, увидеть величайшую нашу гордость в том, чтоб работа наша была без брака, была бы ладная и быстрая. Помните, товарищи, что в этих производственных боях мы завоевываем не условия для создания социализма, а уже самый социализм, не передовые там какие-нибудь позиции, а главную, основную крепость.

И она обратилась к сидевшему за столом президиума члену райкома:

— Прежние поколения шли в ленинскую партию, испытанные в боях, обстрелянные, израненные. Когда понадобится, и мы по первому призыву партии пойдем под пули, снаряды и ядовитые газы. Пока же в боях мы не были. Но мы уже прошли тяжелые бои на производстве, бои с безразличием администрации, с инертностью организаций, с отсталыми настроениями рабочих. Мы познали красоту стоящей перед нами работы и поэзию будничного труда, мы познали завлекательность повседневной борьбы и радость

достижений на производственном фронте. И вот это всё, товарищи, мы теперь и приносим к вам в партию!

Ой, что началось! Хлопали с воодушевлением, с восторгом и долго не хотели затихнуть. Бася из-за стола президиума улыбалась суровыми черными своими глазами и приветливо кивала Лельке. Член райкома, наклонившись к председателю, спрашивал ее фамилию. Лелька стремительно села рядом. С чуть заметной усмешкой на тонких губах товарищ обратился к ней:

— Все это очень хорошо, как ты говорила. А только напрасно ты с таким пренебрежением отозвалась о лихих разведках и воздушных боях. Ты же знаешь, каждую минуту это может потребоваться опять.

Лельке странно было слушать: если бы товарищ из райкома знал, сколько ей пришлось выдержать споров, чтоб приучить товарищей уважать «легкую» кавалерию не меньше, чем буденновскую!

Медный гром «Интернационала» оборвал рукоплескания и разговоры. Это было заключение вечера, теперь играли не отрывок гимна, а весь его целиком. Все поднялись. Опять над передними рядами вознесся лес поднятых детских рук. Все стояли, и все громко пели:

Это есть наш последний
И решительный бой.
С Интернационалом
Воспрянет род людской.

И гости из Коминтерна пели — каждый на своем языке. Плечистый великан-немец стоял сзади Лельки, она слышала над самым ухом его крепкий, густой голос:

Völker, hört die Signale,
Auf zum letzten Gefecht!
Die Internationale
Erkämpft das Menschenrecht!

А направо от Лельки стоял молодой китаец с ровно смуглым лицом и неодинаково длинными зубами, с кимовским значком на пиджаке. Высоко подняв голову, он пел дребезжащим тенором:

Чжи ши цзуэйхоуди доучжен,
Туандьци цилай дао, миньтянь
Интенасьоналы
Цю идин яо шисянь!

Негр пел по-английски, чехословак — по-чешски. Это звучало удивительно сильно — именно, что каждый пел на своем языке, а смысл всех разноязычных слов был одинаковый, и всех их объединяла общая музыка. От грозно торжествующих медных звуков, от родной песни, от братского разноязычного хора все сладко сотрясалось в душе Лельки. Да! У них, только у них вправду объединены все народы, не то что у излицемерившегося христианства. И гордый собою англичанин, и этот презираемый на ро-

дине ласковоглазый негр, и немец, и китаец, и индус — все в общих шеренгах, плечом к плечу, идут на штурм старого мира.

Оркестр гремел. Длинные, пронзительно-ясные медные звуки высоких нот полосами тянулись поверх зала, а под ними тяжело ухали, вдвое скорее, басовые трубы:

С Интернационалом
Воспрянет род людской!

Звуки человеческих голосов заполняли все кругом, — голоса товарищеской массы, с которой Лелька эти полтора года работала, страдала, отчаивалась, оживала верой. И гремящее, сверкающее звуками море несло Лельку на своих волнах, несло в страстно желанное и наконец достигнутое лоно всегда родной партии для новой работы и для новой борьбы.

Лелька нахмурилась, перестала петь и испуганно прикусила губу. Позор! Ой, позор! Комсомолка, теперь даже член партии уже, — и вдруг сейчас разревется! Быстро ушла за кулисы, в самом темном углу прижалась лбом к холодной кирпичной стене, покрытой паутиной, и сладко зарыдала.

— Ч-черт! Все бензин!

Бензин, который на производстве вдыхает галошница из резинового клея, правда, расстраивает нервы. Но сейчас виноват был не бензин. Просто, это был самый счастливый день в жизни Лельки.

* * *

С Ведерниковым Лелька иногда встречалась на общей работе, но он по-прежнему неохотно разговаривал с нею и глядел мимо.

Предстоял московский, а потом всесоюзный съезд ударников. На 8 ноября была назначена заводская конференция ударных бригад для выбора делегатов на съезд. ВКК — временная контрольная комиссия по работе ударных бригад — поручила своим членам, Ведерникову, Лельке и Лизе Бровкиной, подготовить отчет для конференции: столкнитесь там между собою, выработайте сообща, и кто-нибудь из вас выступит.

Сговорились собраться через два дня втроем у Ведерникова. Но вдруг накануне Лиза Бровкина заболела тяжелой ангиной. А откладывать нельзя, — конференция на носу. Нужно было обернуться вдвоем. Лелька смутилась, испугалась и обрадовалась, как девочка-подросток, что ей одной придется идти к Ведерникову. Весь вечер она опять пробродила по лесу. Глубоко дышала, волновалась, жадно любовалась под мутным месяцем мелко запущенными снегом соснами, — как будто напудренные мелом усы и ресницы рабочего мелового цеха.

Назавтра под вечер Лелька приоделась, собрала бумаги. Но в передней столкнулась со стариком Буераковым. Глядя глубоко сидящими глазками, он сказал:

— Погодите, у меня к вам вопросец. Вы человек высокообразованный, хочу вас поспросить. Был я наемни на докладе товарища Рудзутака, и он такую штуку загнул. Говорит: «Маркс, как никто другой, понимал механику революции». Как вы скажете,— правильно это он изъяснил?

— По-моему, правильно.

— А я говорю: неправильно.

— Почему?

— А вот потому.

Лелька нетерпеливо поморщилась.

— Ну, именно?

— Вот именно. Он — член ЦК, даже член Политбюро, притом же заместитель председателя Совета народных комиссаров, а я — исключенный из партии. Хотя однако! Все-таки председатель ячейки воинствующих безбожников. И я вот утверждаю: неправильно он это изъяснил.

— Да почему же? Говорите скорей, я спешу.

— Вот потому.— Он помолчал, грозно нахмурил брови.— А Ленин? Про Ленина он забыл? Мне очень желалось спросить товарища Рудзутака, чтобы он мне вкратце ответил, по какой причине он в этом деле забыл товарища Ленина? Ленин, значит, хуже Маркса понимал механику революции?

— Да, это, конечно, так... Ну, мне надо идти.

— Та-ак?... Ха-ха! Во-от!

Оказалось, Ведерников жил в том же кооперативном доме и по тому же подъезду, где жил Юрка, только двумя этажами выше. Когда Лелька поднималась по лестнице, у нее так забилося сердце, и она почувствовала,— она так волнуется, что решила зайти к Юрке передохнуть.

Юрка был один и усердно читал учебник ленинизма.

— Иду к Ведерникову по делу. Зашла кстати тебя проведать.

Юрка очень обрадовался. Робко взял ее за локти, хотел поцеловать в открытую шею. Лелька инстинктивно отшатнулась, очень резко. Постаралась загладить свою грубость, положила ему руки на плечи и поцеловала в губы.

Юрка спросил:

— Что это ты какая нарядная?

Лелька озлилась.

— Где нарядная, в чем? Чистое платье надела,— и уж нарядная!

— Ну, ну, я ничего. Я так.

— Дай-ка воды выпить. Похолоднее. Из крана.

Ходила по комнате. Разговаривала. Но иногда на вопросы Юрки забывала отвечать. Задумывалась. Вполголоса сказала сама себе:

— Черт знает что!.. Ну, пока!

И ушла.

Ведерников ее подждал. Она с любопытством оглядела украдкой его комнату. Было грязновато и неудобно, как всегда у мужчин, где не проходит по вещам женская рука. Мебели почти нет. Портрет Ленина на стене, груды учебников на этажерке. Ведерников сидел за некрашеным столом, чертил в тетрадке фигуры.

— Чем это ты занимаешься?

Он поднялся, устало провел рукою по лбу.

— Геометрическую задачу решал.

Сложил тетрадку, положил на этажерку. Лелька села на подоконник и развязно болтала ногою.

— Здорово тебе работать приходится. И на производстве, и общественная работа, и на рабфаке. Как выдержишь!

— Ну, как будем материал обрабатывать? Садись к столу.

Сели, стали разбираться в цифрах: количество ударных бригад, снижение брака, результаты соревнования. Работа была огромная. Сидели до позднего вечера. Оба увлеклись.

Ведерников с злыми глазами говорил:

— Инженеры не оказывают никакой помощи, на этом необходимо заострить вопрос. Соревнование идет мимо них. И мы определенно должны сказать на конференции: «Товарищи! Вы ни черта нам не помогли!»

— Правильно. Ну, погоди. Значит,— выводы? Первый: соревнование себя оправдало как метод вовлечения рабочих масс в руководство нашим заводом.

— Так. Второе,— обязательно: рабочий с самого начала подхватил хорошо, но организации проспали, встряхнулись только после лета.

Хорошо работалось. Почувствовали себя ближе друг другу. Выработали тезисы.

Ведерников сидел, понурился, и вдруг сказал:

— Да. А по правде ежели сказать, трудно будет, понимаешь, широко развернуть у нас ударное дело.

Лелька изумилась.

— Почему?

Он помолчал и ответил:

— Деревня.

— Что — деревня?

— Сколько у нас настоящих пролетариев на заводе, много ли? Все больше деревенские. А что им до завода, до производства? Им бы дом под железом построить себе в деревне, коровку лишнюю завести, свинью откормить пожирнее... Собственники до самой печенки, только шкура наша, пролетарская.

Лелька радостно слушала. В первый раз Ведерников говорил с нею задушевно, без отчужденности. Ее глаза светились жадным вниманием, она не отрывала их от глаз Ведерникова.

— У меня даже такая, понимаешь, идея: не нужно бы совсем их на заводе, гнать вон всех без исключения. Это злейшие клас-

совые наши враги... Э-эх! Пока не переделаем деревню, пока не вышибем из мужичка собственника, не будет у нас дело ладиться и со строительством нашим. Вся надежда только на коллективизацию.

Был уж второй час. Ведерников спросил:

— Кто доклад будет делать?

— Как хочешь.

— Сделай лучше ты. Ты здорово говоришь, умеешь публику разжечь.

Лелька вспыхнула от радости: никогда она не ждала, что он скажет ей так. До смешного покраснела и засияла, как маленькая девочка.

— Да и правду ты сказала,— уж очень мне работы много и без того. Совсем времени нету.

Лелька взглянула с загоревшеюся ласкою.

— Я очень рада. Где тебе, правда! Работа огромная. А у меня времени много свободного. Разберу, подсчитаю все цифры, дам диаграммы. Чудесно все сделаю, ты уж ни о чем об этом не думай.

Ведерников не шевелился и пристально глядел ей в глаза. В квартире было очень тихо. Лелька встала и медленно начала собирать бумаги. Взглянула на часы в кожаном браслете.

— У, как поздно. Ну, пока!

И протянула руку. Ведерников задержал в руке ее руку и все продолжал смотреть в глаза. Потом, не выпуская руки, левою рукою обнял Лельку за плечи, положил сзади руку на левое ее плечо и привлек к себе. Лелька вспыхнула и обрадованно-поркорным движением подалась к нему.

* * *

Утром Юрка стремительно выскочил на площадку лестницы, надевая на ходу пальто. Сверху медленно спускалась Лелька, с необычным, как будто солнцем освещенным лицом.

Юрка в изумлении остановился, рассмеялся было от неожиданности, но вдруг побледнел. Стоял с еще зацепившеюся за лицо улыбкою и ничего не говорил.

Лелька равнодушно спросила:

— Ты на работу?

— Ага!

— Чего так рано вылетел?

— Кажется, опоздал.

Лелька взглянула на часы в браслете.

— Нету и семи. Еще первого гудка не было.

И так же медленно пошла по лестнице вниз. Юрка остался стоять на площадке.

Лелька и Ведерников стали видеться.

Ее мучило и оскорбляло: во время ласк глаза его светлели, суровые губы кривились в непривычную улыбку. Но потом на лице появлялось нескрываемое отвращение, на вопросы ее он отвечал коротко и грубо. И даже, хотя бы из простой деликатности, не считал нужным это скрывать. А она,— она полюбила его крепко и беззаветно, отдалась душою и телом, гордилась его любовью, любила за суровые его глаза и гордые губы, за переполнявшую его великую классовую ненависть, не шедшую ни на какие компромиссы.

С любящим беспокойством она стала замечать, что Ведерников глубоко болен. Однажды, в задушевную минуту, он сознался ей: странное какое-то душевное состояние,— как будто разные части мозга думают отдельно, независимо друг от друга, и независимо друг от друга толкают на самые неожиданные действия. Иногда бывают глубокие обмороки. И нельзя было этому удивиться: при той чудовищной работе, какую нес Ведерников, иначе не могло и быть.

Как-то вечером пришел Ведерников к Лельке, а ее задержали на собрании ячейки. Вошла она и видит: вешалка снята с крюков и положена на пол, Ведерников с восковым лицом неподвижно лежит около радиатора, в пальто и в кепке. Она стала брызгать ему в лицо водой, перетащила к себе на постель. Он пришел в себя. Огляделся. Сконфуженно нахмурился и быстро сел.

Тут-то Лелька и узнала, что он болен. За чаем Ведерников рассказал, как с ним это сегодня случилось, и губы при этом кривились на сторону сконфуженной улыбочкой.

— Много сегодня занимался. Пришел, значит, к тебе, стал ждать. Смотрю на вешалку. И соображаю: сниму вешалку, к крюку привяжу веревку, повешусь. А когда ты придешь, то снимешь меня, понимаешь, с крюка, и мы сядем чай пить. Да вдруг и свалился на пол.

Лелька взволнованно подошла, крепко прижала его голову к груди и сказала:

— Дорогой мой! Любимый!

И стала убеждать сократить работу, отдохнуть, в крайнем случае даже бросить рабфак.

— Что-о? — Он грозно блеснул глазами и отстранился от нее.— Вот дурища! Рехнулась.

И засмеялся.

Она этот вечер была с ним особенно ласкова. Говорила о несравненном героизме рабочего класса, о том, как люди гибнут в подвигах невидно, без эффектных поз. Вспоминала Зину Хуторецкую. И робко гладила его волосы.

Из «Устава Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи»:

2. Порядок приема в члены и кандидаты ВЛКСМ следующий:
- а) В члены союза принимается рабочая и крестьянская молодежь без кандидатского стажа и рекомендаций.
 - б) В кандидаты членов союза принимаются учащиеся непролетарского происхождения, служащие и интеллигенты.
 - в) Для кандидатов устанавливается полугодовой кандидатский стаж.

Арон Броннер, брат Баси, отбыл свой кандидатский стаж. Ячейка закрытого цеха, где он работал, высказалась за его перевод в члены комсомола: его любили. Когда Арон разговаривал, на лице появлялась мудрая и добрая улыбка. В старинные времена в каком-нибудь глухом еврейском местечке Западного края он, наверное, был бы уважаемым раввином, общим судьей и учителем, всех себе подчиняющим своею благостномудрою улыбкою. Кроме того, Арон был ценный активист. Диалектический материализм — предмет трудный, особенно для малоподготовленных: Арон же излагал его так увлекательно, что отбою не было от рабочих и работниц, желавших записаться в кружок по изучению диамата.

Иначе дело повернулось на общезаводском собрании комсомола. Выступил Афанасий Ведерников и спросил резко, обращаясь на «вы»:

- Скажите, пожалуйста, кто ваш отец?
- Мой отец — бывший крупный торговец.
- Вы проклинаете его деятельность или нет?

Арон ответил, пряча улыбку в толстых губах:

— Какой смысл проклина-ать? Сам я торговлей никогда не занимался и заниматься неспособен, живу собственным трудом. А проклинание — занятие совершенно бесполезное.

Ведерников сурово слушал, глядя в сторону.

— А зачем вы к нам поступили на завод? Чтобы остаться рабочим или для, так сказать, своих каких-нибудь целей?

Арон смутился и застенчиво улыбнулся. Бася все время сидела в президиуме, как окаменелая, и неподвижно смотрела в окно.

— Во-первых, я желаю зарабатывать деньги собственным трудом.

— А во-вторых? Высказывайтесь, не стесняйтесь!

— А во-вторых, — что отказываться? Да, я хотел бы дальше учиться. Мне кажется, у меня есть некоторые способности. И не думаю, чтобы такое желание могло почестся большим преступлением.

Когда стали обсуждать его кандидатуру, Арон застенчиво

направился к выходу. Этого никто никогда не делал, это не было принято, и это не понравилось: интеллигентщина. Ему крикнули:

— Чего уходишь? Думаешь, при тебе побоимся говорить?

Арон конфузливо сел в последнем ряду. Поднялся опять Ведерников.

— Гражданин Арон Броннер — сын торговца, нам совершенно чуждый элемент. Ему комсомольский билет нужен только для того, чтобы продвинуться. Он, понимаешь, не чаает, как получить комсомольский билет, чтобы козырять им. Ему прямой смысл: комсомольский билет спасет его от всяких препятствий, зарегистрирует его от этого, расчистит ему дорожку в вуз.

Дивчина из кружка Броннера крикнула:

— Он активно работает!

— Активно работает, правильно! А только работа эта, понимаешь,— с целью! Он сам с цинизмом проговорился тут, что ему нужно пробраться в вуз. Поработает у нас два года, чтобы получить рабочий стаж, и смотается с завода.

— Смотается, чтобы учиться! А ты сам чего на рабфак поступил,— не учиться?

Ведерников грозно поглядел в публику.

— Та-ак... Ты, товарищ, значит, высказываешься против этого, чтобы пролетариат завладел вузами и вытеснил оттуда социально негодные элементы? Встань, товарищ, покажи себя собранию, мы на тебя поглядим! Стесняешься? Ну, и хорошее дело, постесняйся!.. И еще вот на что, товарищи, я хочу заострить ваше внимание. Я несколько раз ходил в кружок Броннера, прислушивался. И, значит, заметил, что он свое «я», свои доводы, свои аргументы ставит, понимаешь, выше коллектива и, может быть, даже выше ленинизма. Он себя, одним словом, считает сверхъестественным человеком. Нам такие в комсомоле не нужны.

Потом выступил Оська Головастов, говорил, как всегда, театрально-напыщенным голосом, а по губам блуждала самодовольная улыбка.

— Товарищи! Сейчас по всем фронтам идет жестокая борьба с классовым врагом, он везде старается прорвать наши фронты, между прочим и фронт просвещения...

За Арона голосовали только его ученики по кружку и большинство ребят из закройной передов. Остальные голосовали против, в том числе и Лелька. Арона провалили. Тогда еще раз встал Ведерников. Бася побледнела. А он, беспощадно глядя, сказал:

— Предлагаю сообщить в партком и завком, что Арон Броннер сам сознался, что поступил к нам в рабочие, чтобы пролезть в вуз, и чтобы ему никак не давали бы путевки.

* * *

Через неделю Арон Броннер ушел с завода. Лицо Баси сделалось суше и злее. Во взглядах своих и действиях она стала еще прямолинейнее.

* * *

Однажды вечером Лелька пришла к Ведерникову. Хорошо говорили, он был ласков.

А позднюю ночью случилось так. Насытись друг другом, они лежали рядом под одним одеялом. У Лельки была сладкая и благодарная усталость во всем теле, хотелось с материнскою ласкою обнять любимого, и чтобы он прижался щекою к ее груди. А он лежал на спине, стараясь не прикасаться к ее телу, глядел в потолок и мрачно курил.

И вдруг сказал брезгливо:

— Не нравится мне, как мы с тобою крутим. Ваша какая-то, интеллигентская любовь. Для самоуслаждения. Чтоб только удовольствие друг от друга получать. Я понимаю любовь к девушке по-нашему, по-пролетарскому: чтобы быть хорошими товарищами и без всяких вывертов иметь детей.

Лелька сдержанно ответила:

— Отчего же нам с тобою не быть товарищами? А от детей я вовсе не отказываюсь. И даже очень была бы рада иметь от тебя ребенка.

— Ну, какие к черту товарищи! Интеллигентка, дворяночка. Деликатности всякие. И идеология наносная. Непрочно все это у вас, не верю я вам.

Лелька крепко прикусила губу.

— И у Маркса с Энгельсом идеология была наносная? И у Ленина? Вот у Васеньки Царапкина зато не наносная.

— Эка ты куда! Маркс, Ленин! — Он усмехнулся, помолчал.— И с детьми тоже. Чтобы были с голубою дворянскою кровью. Не желаю.

В первый раз Лелька потеряла самообладание и крикнула озлобленно:

— Сам ты давно уже и свою пролетарскую кровь сделал голубою! Поголубее всякой дворянской!

Он не понял.

— Это как?

Она не ответила и быстро начала одеваться.

* * *

Трудно и нерадостно протекала Лелькина любовь. В глубине души она себя презирала. После того, что ей тогда ночью сказал Афонька, ей следовало с ним разорвать и уйти. Но не могла она

этого сделать. Не могла первая расцеловать отношения. Невозместимо дорог стал ей этот суровый человек. И со страхом она ждала, что вот-вот он разорвет с нею.

Теперь никогда, прощаясь, он не сговаривался с нею о новой встрече. И каждый раз у нее было впечатление, что он уходит навсегда. Никогда уже больше он не звал ее к себе, и она не смела к нему прийти. А через неделю, через две он неожиданно приходил к ней, надменные губы кривились в улыбку. И с пронзающей душу болью Лелька догадывалась, что он просто не выдержал,— пришел, а в душе презирает себя за это.

Однажды она с горечью сказала ему:

— Ты приходишь ко мне, как к проститутке!

Ведерников не возмутился, не стал протестовать. Почесал за ухом.

— Черт тебя возьми, уж больно ты красивая девчонка. Издаля увидишь на заводе,— и опять потянет. Я уж и сам себя ругаю.

Лелька начала говорить,— хотела о чем-то с ним договориться, что-то выяснить, рассеять какие-то недоразумения. Ведерников, как всегда, ничего не возражал, надел пальто и, не дослушав, ушел.

* * *

Ехал товарищ Буераков на трамвае. Домой. Был выпивши. Но — в меру.

Против него сидела старая женщина. В шляпе и в пенсне. Когда пенсне у человека на носу, он всегда держит нос вверх, и вид у него получается нахальный.

Буераков смотрел, смотрел на старушку, буравил ее острыми глазками, наконец не выдержал. Ударил себя кулаком по затылку и сказал:

— Вот вы где все у меня сидите!

Старая дама с удивлением взглянула.

— Чего вам от меня надо?

— Чего надо! Не выношу вашего барского вида! Мы, рабочие, работаем, а вы нацепили пынсне на нос и поглядываете нахально!

Кондуктор сказал лениво:

— Что вы, гражданин, публику задираете?

У старой дамы глаза раздраженно выкатились, они стали очень большими.

— Я, может быть, больше вас работаю!

— Позво-ольте! Как вы можете меня оскорблять? Я рабочий, а вы говорите, что я ничего не работаю. Кондуктор!

Часть публики посмеивалась, другие возмущались. Товарищ Буераков наседавал на даму, стучал кулаком себе в грудь и кричал:

— Вы забываетесь! Не знаете, с кем говорите! Я — рабочий,

понимаете вы это? А ты мне смеешь говорить, что я ничего не делаю! Интеллигенция паршивая!

Тут уж вся публика возмутилась. Пожилой рабочий в кепке крикнул на него:

— Ты что тут хулиганишь, старикашка поганый? Чего к гражданке пристал, она тебя трогает? Вот возьму тебя за шарманку и выкину из вагона.

— Выкини, попробуй! — огрызнулся Буераков. Но замолчал. Нож острый в сердце: пролетариат, свой брат,— и против пролетария!

В Богородском он сошел. Видит, эта же дама идет впереди. И куда ему идти, туда и она впереди. Тьфу! Свернула — в ихний дом. Стала подниматься по лестнице. У его двери остановилась, позвонила. Он смущенно подошел.

— Вам кого?

Она оглядела его, узнала. Раздраженно ответила:

— Вам какое дело?

— Как я хозяин этой квартиры.

— Елену Ратникову.

— А-а... — Буераков расплылся в улыбке. — Хорошая дивчина, выдержанная.

Лелька открыла дверь и крикнула:

— Мама! Вот я рада!

И увела к себе. Товарищ Буераков высоко поднял брови и почесал за ухом.

Лелька, правда, очень обрадовалась. Такая тоска была, так чувствовала она себя одинокой. Хотелось, чтобы кто-нибудь гладил рукой по волосам, а самой плакать слезами обиженного ребенка, всхлипывать, может быть, тереть глаза кулаками. Она усадила мать на диван, обняла за талию и крепко к ней прижалась. Глаза у матери стали маленькими и любовно засветились.

А через час уже разругались. Мать рассказала Лельке о столкновении с Буераковым в трамвае. Лелька скучливо повела плечами.

— Какой кляузный старикашка! Вздорный, глупый.

У матери стали большие, злые глаза, и она спросила:

— Ты видишь тут только личную дрянность? И не видишь, до какой развращенности доведен рабочий класс в целом, как воспитывается в нем совершенно дворянская психология? Он вполне убежден, что он совсем какой-то особенный человек, не такой, как все остальные... Гадость какая!

Проспорили с полчаса, расстались холодно. Мать, спускаясь по лестнице, плакала, а Лелька плакала, сидя у себя на диване.

* * *

Одиноко было и грустно в душе Лельки. Но это она знала: пусть больно, пусть душа разрывается,— кому может быть до этого дело в той напряженной работе, которая шла кругом? И Лелька

ни с кем не делилась переживаниями. Зачем лезть к другим со своими упадочными, индивидуалистическими настроениями?

Она оживала душой, когда была на заводе. Если выпадало два праздника подряд, начинала скучать по заводу. Иногда в свободную смену добывала себе пропуск, бродила по цехам, наблюдая производство во всех подробностях, и — наслаждалась.

Наслаждалась она красотой завода. Наслаждалась так, как — раньше думала — можно наслаждаться только заходом солнца за речную далью или лунною ночью на опушке рощи. Большие залы, полные веселого стального грохота, длинные ряды электрических ламп в красивых матовых колпаках, быстро движущиеся фигуры девчат на конвейерах, красные, голубые и белые косынки, алые плакаты под потолком. Высоко вдоль стены, словно кольчатый дракон, непрерывно ползет транспортер. И атмосфера дружного труда, где всё — и люди и машины — сливается в один торжествующий гимн труду.

Лелька жадно смотрела и повторяла любимое двестише из Гейне:

Здесь выплачешь ты все ничтожное горе,
Все мелкие муки твои!

И представлялось ей: какая красота настанет в будущем, когда не придется дрожать над каждым лишним расходом. Роскошные заводы-дворцы, залитые электрическим светом, огромные окна, скульптуры в нишах, развесистые пальмы по углам и струи бьющиеся под потолок фонтанов. Крепкие, красивые мужчины и женщины в ярких одеждах, влюбленные в свой труд так, как теперь влюблены только художники.

Лелька сидела на окне около выходной двери, смотрела и думала:

«Это верно, да! Конечно, одежды будут яркие. Блеклые, усталые тона платьев, годные для буржуазных гостиных, в этих огромных залах сменятся снова одеждами ярко-красочными, как одежды крестьян, дающие такие чудесные пятна на фоне зеленого луга или леса».

— Чего это ты не работаешь?

Перед нею стоял Юрка и удивленно смотрел на нее.

— Я в дневной смене работала. А сейчас просто пришла. Полюбоваться. Люблю наш завод. Думала я... Сядь!

Она ласково потянула Юрку за руку и заставила сесть рядом на окно.

— Думала, какую мы разведем красоту на заводах, когда осуществим все пятилетки.

Делилась тем, о чем сейчас думала, глядела в робко-любящие глаза Юрки. И вдруг опять почувствовала, как она одинока и как сумасшедше хочется теплой, ровной, не высокомерной ласки. Спросила:

— Ну, а как ты живешь?

— Да! Ведь я тебе не говорил: записываюсь в Особую Дальневосточную армию добровольцем. Охота подраться с китайцами. Спирька уже записался.

Лелька поглядела ему в глаза. Помолчала. И вдруг решительно сказала:

— Юрка! Не записывайся. Позовут — иди. А тут у тебя работа серьезная, нисколько не меньше, чем с китайцами воевать. Эх, ты! — И, как в прежние времена, взберишила ему волосы.— Все ты о буденновской кавалерии мечтаешь! Когда поймешь, что у нас тут, на производстве, бои еще более трудные, еще более нужные?

А про себя подумала:

«Кроме же того, мне без тебя будет здесь очень одиноко. М-и-л-ы-й Ю-р-к-а!»

Он встал и сказал извиняющимся голосом:

— Нужно идти на работу.

— Я тебя провожу.

Взяла его за руку, и вместе пошли по направлению к вальцовке.

— Отчего, Юрка, никогда не зайдешь ко мне?

Он смешался, поглядел в сторону.

— Я думал...

Лелька с усмешкой пристально поглядела ему в глаза, взяла под руку и прижалась к его локтю.

— Что бы там ни было, это дело не твое. наших с тобою отношений это нисколько не меняет. Все остается по-старому.

Юрка разинул рот от удивления.

— Приходи сегодня после работы. Поужинаешь у меня.

Он быстро ответил:

— Приду.

— Ну, пока! — Ласкающе пожала концы его пальцев и пошла из вальцовки.

Юрка остановился перед своею машиною и долго смотрел на ее блестящие валы.

* * *

Уже полгода по заводу шла партийная чистка. В присутствии присланной комиссии все партийцы один за другим выступали перед собранием рабочих и служащих, рассказывали свою биографию, отвечали на задаваемые вопросы. Вскрывалась вся их жизнь и деятельность, иногда вопросами и сообщениями бесцеремонно влезали даже в интимную их жизнь, до которой никому не должно было быть дела.

Галошный цех, самый многолюдный на заводе, чистили в зрительном зале клуба. Председательствовала товарищ, чуть седая, с умными глазами и приятным лицом; на стриженных волосах по

маленькой гребенке над каждым ухом. Когда в зале шумели, она беспомощно стучала карандашиком по графину и говорила, напрягая слабый голос:

— Товарищи, давайте условимся: будем потише.

Лелька быстро прошла чистку,— так неожиданно быстро, что у нее даже получилось некоторое разочарование, как на экзамене у хорошо подготовившегося ученика. Никаких грехов за нею не нашлось; и о производственной, и о партийной работе все отзывы были самые хорошие.

Быстро прошла и Ногаева. Выступила она,— грузная, толстошеяя, с выпученными глазами,— и, как всегда, видом своим вызвала к себе враждебное отношение. Заговорила ровно-уверенным, из глубины души идущим голосом,— и, тоже как всегда, лица присутствующих стали внимательными и благорасположенными. Она рассказала, как работала на фронте гражданской войны, рассказала про свою общественную работу.

— Будут вопросы?

Поднялась старая работница Буеракова и сказала с восторженностью:

— Какие там вопросы! Такая коммунистка, что просто замечательно. Сколько просветила темных людей! Я и сама темная была, как двенадцать часов осенью. А она мне раскрыла глаза, сагитировала, как помогать нашему государству. Другие, бывают, в партию идут, чтобы пролезть, в глазах у них только одно выдвижение. А она вроде Ленина. Все так хорошо объясняет,— все поймешь: и о рабочей власти, и о религии.

Хлопали. Конечно, прошла.

А с Матюхиной в конце вышла маленькая заминка. Вызвали. Взошла на трибуну,— курносая, со старушечьим лицом, в красной косынке. Начала, волнуясь:

— Я родилась в семье крестьянина, конечно, в Воронежской губернии... И родители мои, конечно, были бедные...

Потом овладела собой, хорошо рассказала, как ее деревню разорили белые, как пришлось ей скитаться, как голодала. Работала на торфоразработках, потом на кирпичном заводе. Там поступила в партию.

Посыпались наперебой любовные, умиленные характеристики.

— Все ее знают, что там! Работает,— прямо не налюбуйешься, как работает.

— Такие кабы все мастерицы были, мы бы в три года пятилетку сделали.

— И к нам, работницам, имеет самый хороший подход. Один из членов комиссии спросил:

— А как у вас с партучебой?

— Учусь. Хожу в партшколу первой ступени. Только ничего не понимаю.

Хохот. А она прибавила очень серьезно:

— Что ж поделаешь!

Председательница сказала, улыбаясь:

— Все-таки постарайтесь, товарищ Матюхина, понять. Вы хорошая производственница, это по всему видно, но партиец должен понимать и политическую сторону дела, для этого нужно учиться.

— Постараюсь.

Вдруг женский голос из публики спросил:

— А как у вас насчет политики в деревне? Не отказались вы от таких взглядов, какие мне два дня назад высказывали? Она мне говорила, что в деревне притесняют не только кулаков, но и середняков, что всех мужиков разорили. Говорили вы это?

— Да, говорила, потому что это правда.

Председательница насторожилась и с глазами, вдруг ставшими враждебно-недоверчивыми, спросила:

— Вы там были, сами все это видели?

— Была, видела. Мой брат в деревне. У мужика всего 130 пудов хлеба, а наложили 120 пудов. Подушки продают, самовары.

— Отчего же вы об этом не заявили? Злоупотребления всегда возможны.

— Заявляла.

Из зала раздались взволнованные голоса:

— Везде так!

Председательница посмотрела сурово. Она спросила Матюхину:

— Понимаете вы политику партии в деревне? Кто прячет хлеб?

— Кулаки.

— А кто нам помогает?

— Бедняки.

— А еще кто?

— А еще... с-середняки...

— Вот, товарищ Матюхина. Насчет политики вам очень нужно подтянуться. У вас, видно, путаные понятия о классовой политике партии в деревне. Раз вы связаны с деревней, вам на этот счет особенно нужно иметь взгляды самые четкие.

Матюхина вздохнула и покорно ответила:

— Поучусь еще. Может, пойму как надо.

Пришла очередь Баси. Все другие рассказывали о голодном детстве, о горемычном житье. Бася начала так:

— Моя биография не совсем такая, какие вы до сих пор слушали. Я в детстве жила в холе и в тепле. Родилась я в семье тех, кто сосал кровь из рабочих и жил в роскоши; щелкали на счетах, подсчитывали свои доходы и это называли работой. Такая жизнь была мне противна, я пятнадцати лет ушла из дома и совершенно порвала с родителями...

Когда кончила, кто-то спросил враждебно:

— Почему вы пошли в работницы?

— Хотела быть с рабочим классом не только в мыслях, но и на деле.

Раздались дружные голоса:

— Хорошая партийка, что говорит! Все ее знают довольно. Даром, что корни буржуйские.

— Таких товарищей побольше бы, особенно из женского персонала.

— Человек на язык очень даже развитой. Когда бывают собрания, всегда выступает и говорит разные слова. Вбивает в голову нам, темным людям.

Все шло очень хорошо. Вдруг поднялась Лелька. Она была очень бледна.

— Скажи, товарищ Броннер. Тут на заводе работал одно время в закрытой передов твой родной брат Арон Броннер. Он со своими родителями-торговцами не порвал, как ты, жил на их иждивении. Ты его рекомендовала в комсомол. И сама же ты мне тогда говорила, что этот твой брат — пятно на твоей революционной совести, что он — совершенно чуждый элемент. Ты его помимо биржи устроила на завод, пыталась проташить в комсомол,— и все это только с тою целью, чтоб ему попасть в вуз.

Бася остолбенела. Страшно бледная, она неподвижно глядела на Лельку. Глаза Лельки были ясны и уверенны.

— Будешь ли ты отрицать, что говорила мне это?

Бася оправилась от неожиданности, помолчала и медленно ответила, опустив глаза:

— Да. Все это так и было. Этого не отрицаю, и в этом я виновата.

Вышел на трибуну Ведерников.

— Товарищ Ратникова правильно все рассказала и поступила по-большевицки, что не скрыла ничего от партии, что ей сообщила Броннер. Я еще вот на что хочу заострить ваше внимание: этот самый Арон Броннер цинично сам сознался, что поступил на завод и в комсомол для, так сказать, той цели, чтобы пролезть в вуз. И когда мы его ударили по рукам, и он, понимаешь, увидел, что дело с вузом у него не пройдет, он сейчас же смылся с нашего завода... Бася Броннер — товарищ хороший, выдержанная партийка. Мы можем свободно терпеть ее в своей среде и, конечно, исключать из партии не будем. Но за такое дело, какое она пыталась сделать для брата своего, ей надобно здорово, по-большевицки, накрутить хвост. Чтоб и другим было неповадно.

* * *

«Беременна»...

Да, врач сказала совершенно определенно. А Лелька все старалась себя обмануть, говорила себе, что это, наверно, так, не от беременности, а от случайной какой-нибудь причины...

Ну? Что же дальше?

Ведерникову она ничего даже и не сообщит,— после того, что он ей тогда сказал. А об Юрке, как об отце, не хотела и думать. Но кто отец, она и сама наверное не могла бы сказать. И глупо, совсем ни к чему, в душе пело удивленно-смеющееся слово «мать».

Сидела на подоконнике в своей комнате, охватив колени руками. Сумерки сходили тихие. В голубой мгле загорались огоньки фонарей. Огромное одиночество охватило Лельку. Хотелось, чтобы рядом был человек, мягко обнял ее за плечи, положил бы ладонь на ее живот и радостно шепнул бы: «Н-а-ш ребенок!» И они сидели бы так, обнявшись, и вместе смотрели бы в синие зимние сумерки, и в душе ее победительно пело бы это странное, сладкое слово «мать»!

Сидела она так на окне, охватив ноги руками, и слезы тихо капали на колени.

* * *

Ну что ж? Выход был горек и ясен.

Ордер в консультации она, как работница, получила легко.

— Какие причины?

— «Одиночка»: отсутствие отца.

* * *

Через десять дней Лелька снова вышла на работу. Только лицо было подурневшее, цвета намокшей штукатурки.

Часть третья

Заводской партком объявил мобилизацию рабочих в подшефный заводу район на колхозную кампанию. Образовалось несколько бригад. Откликнулись на призыв Лелька, Ведерников, Юрка. Оська Головастов поместил в заводской газете такое письмо:

Учитывая важность коллективизации сельского хозяйства для осуществления пятилетнего плана и для окончательного торжества социализма в нашем Союзе, а потому приказываю считать меня мобилизованным и отправить меня на пропаганду колхозного строительства в деревни подшефного района.

Устроены были при заводе двухнедельные курсы для отправляемых на колхозную работу, и в середине января бригада выехала в город Черногряжск, Пожарского округа¹⁸. Ехало человек тридцать. Больше все была молодежь,— партийцы и комсомольцы,—

но были и пожилые. В вагоне почти всю ночь не спали, пели и бузили. Весело было.

Утром, с заплечными мешками на плечах, шли по широким улицам уездного города Черногряжска в РИК¹⁹. Приземистые домики, длинные заборы и очень много церквей,— впрочем, частью уже обезглавленных.

Улицы были пустынные. Только у лавок Центроспирта стояли длинные очереди. И странно: почти не было в городской одежде,— стояли все бородатые мужики, в полушубках, многие в лаптях.

Юрка сказал, блеснув улыбкой:

— Чтой-то, товарищи, скучно как-то глядеть: одни деревенские. Ай тут городские водочкой не занимаются?

Длинный мужик с невьющейся бородой ответил угрюмо:

— Им-то с чего заниматься?

Другой добродушно крикнул:

— Добро свое, гражданин, пропиваем! Все одно, пропадать ему!

— С чего пропадать?

— Отберут. В колхозы гонят.

Ведерников вскипел:

— «Гонят»! А что же сами вы,— не понимаете, что в колхозах выгоднее?

— Может, милый человек, кому и выгоднее, не знаю того. А нам выгоды нету.

— Как же — нету? Дружно, сообща землю обрабатывать,— ужли же не выгоднее, чем каждому на своей полоске околачиваться?

— А станешь сообща так работать, как на себя? Может, у вас где такие есть люди, а у нас таких не бывает.

Взволнованно вмешался третий:

— Коли лошадь моя, я за ней вот как смотрю! Сам не доем, а уж она у меня сытая будет всегда. А в колхозе видал, какие лошади? Со стороны поглядеть, и то плакать хочется: одры! Гонять лошадей все мастера, а кормить никто не хочет.

На широкой площади, с шеренгой ларьков у собора, кипел базар. Но, собственно, не базар это был, а сплошная мясная лавка. Площадь краснела горами мяса,— говядиной, свиной, бараниной. Никогда ребята не видели столько мяса, и чтоб оно было так дешево.

На облучке саней сидел подвыпивший мужик. Из саней торчали красные обрубки ног трех овечьих туш и одной свиной. Мужик, смеясь, рассказывал:

— Все прикончил, теперь — ч-чисто! Можно в колхоз иттить!

Городская женщина сказала:

— Жалко, чай, резать было?

Мужик перестал смеяться и отер вдруг намокшие глаза.

— Милая! Как же не жалко? Ведь сам всех выходил. Любова-вался на них, как на красное солнышко. А ныне вот — что продаю,

что сами приели. Никогда столько мужик убоины не жрал, как сейчас. Плачем, милая,— плачем, давимся, а едим! Не пропадать же добру!

Шли ребята к РИКу призадумавшись. Глаза Ведерникова мрачно горели.

В РИКе присутствовали на заседании районного штаба по коллективизации, там получили назначения и директивы. Завтра утром должны были выехать на место работы.

Ночлег им отвели в районном Доме крестьянина. После ужина пили в столовой чай из жестяных кружек. Настроение было серьезное и задумчивое, не то, что вчера в вагоне. С ними сидел местный активист Бутыркин, худощавый человек с энергичным, загарелым лицом.

— Да,— он говорил,— добром с нашим крестьянством до многого не добьешься. Все народ состоятельный, плотники да землекопы, денег на стороне зарабатывали много. Про колхозы и слушать не хотят. Говорят: на кой они нам? Нам и без них хорошо, не жалуемся.

— Так как же вы?

— Поднажимать приходится маленько.

Ведерников решительно сказал:

— Правильно!.. Ах, н-негодяи! — Он взволнованно заходил вдоль стола, глубоко засунув руки в карманы.— В колхоз идти, а раньше того, понимаешь, всю скотину свою порежут! А рабочие в городах сидят без мяса, без жиров, без молока! Расстрелять их мало! Всему государству какой делают подрыв!

Юрка почесал в затылке, улыбнулся.

— Д-да-а... Тут, видно, работа позакковыристей будет, чем даже у нас на заводе ударяться!

Утром ребята по путевкам, полученным в исполкоме, разъехались по назначенным деревням.

* * *

Работа закипела. Собирали местных партийцев и комсомольцев, беседовали с ними и сговаривались, организовывали бедноту. Проводили собрания, страстно говорили о выгодности коллективизации, о нелепости обработки жалких полосок в одиночку. И сами опьянялись грандиозными картинами, которые рисовали перед слушателями: необозримые поля без меж, незасоренные посевы, гудение тракторов и комбайнов, дружная работа всех на всех, элеваторы, засыпанные тысячами центнеров зерна. Но весь пыл гас, когда взгляд упал на слушателей: чуждые, холодные лица и насмешливые глаза.

А потом выступали мужики. Говорить уже все научились, и говорили прекрасно.

— А машины вы нам дадите,— эти самые тракторы и... там еще какие?

— Со временем и машины будут.

— Со вре-ме-нем... Вот ты тогда со временем колхоз и строй!

— Товарищи! Да ведь и без машин... Вы подумайте только: чем каждому на своей полоске, то ли дело — все люди, все лошади дружно будут убирать общие поля!

— Дру-ужно!.. Кто это у тебя там дружно будет работать? Кому до этого дело?

Заговорил крепкий старик; на лице его было три цвета: снежно-белый — от бороды и волос, розовый — от щек и ярко-голубой — от глаз. Он сказал:

— Как это, гражданин,— дружно? Будут работать, как в старое время барщину на господ работали. Да у вас еще, небось, восемь часов работа? По декретам? А коли пашня моя, я об декретах не думаю, я на ней с темна до темна работаю, за землю свою смотрю, как за глазом! Потому она у меня колосом играет!

По всему собранию загудело:

— Правильно!

— А стану я у вас в колхозе так работать? Я буду стараться, а рядом другой зевать будет да задницу чесать? Как я его заставлю? А что наработаем, на всех делить будете. Нет, гражданин, не пойду к вам. Я люблю работать, не люблю сложа руки сидеть. Потому у меня и много всего.

Ведерников сурово слушал.

— Потому у тебя много, что ты кулак!..

Старик ударил ладонью по столу.

— Нет, я не кулак, я труждающий! Чужой труд никогда не имел! Что есть, все руками вот этими добыл,— я да два сына. Никогда не имел никаких работников, да и ну их к черту, лодырей этих!

В собрании засмеялись.

* * *

Ведерников, Лелька и Юрка работали в большом селе Одинцовке. Широкая улица упиралась в два высокие кирпичные столба с колонками, меж них когда-то были ворота. За столбами широкий двор и просторный барский дом,— раньше господ Одинцовых. Мебель из дома мужики давно уже разобрали по своим дворам, дом не знали к чему приспособить, и он стоял пустой; но его на случай оберегали, окна были заботливо забиты досками. В антресолях этого дома поселились наши ребята.

Деревня была крепкая, состоятельная. Большинство о колхозе и слушать не хотело. Из 230 дворов записалось двадцать два, и все эти дворы были такие, что сами ничего не могли внести в дело,—

лошадей не было, инвентарь малогодный. Прельщало их, что колхозу отводили лучшие луга, отбирали у единоличников и передавали колхозу самые унавоженные поля.

Ребята были мрачны. Лелька печально смотрела из окна антресоль на широкую деревенскую улицу, занесенную снегом,— такую пустынную, такую неподвижную. Вспомнила милый, кипящий жизнью завод свой. Сказала:

— А там, во глубине России,—
Там вековая тишина...

Как эту тишину прошибить, чем всколыхнуть?

Ведерников уверенно ответил:

— Прошибем!

До поздней ночи горел огонь в окнах сельсовета. Шло горячее совещание ребят с местным активом и беднотой.

* * *

Трехцветный старик (белая борода — розовые щеки — голубые глаза) выбрасывал из лошадиных стойл навоз, когда скрипнула калитка и во двор стали входить приезжие ораторы — Ведерников, Лелька, Юрка и за ними — несколько мужиков-колхозников ихней деревни.

Старик спросил:

— Что надо?

Не отвечая, прошли в избу. Старик обеспокоенно двинулся следом. На лавке сидели два его сына, такие же голубоглазые. Взволнованные бабы стояли у печи.

Пришедшие как будто не видели хозяев, не отвечали на их вопросы и разговаривали только между собою. Юрка сказал Ведерникову.

— Вот домик ладный! Как раз подойдет под ясли и детдом.

Оглядели избу, оглядели клетки, чуланы и амбары. Ведерников отрывисто сказал:

— Дайте ключи от сундуков и чуланов.

— На что вам? Позвольте, товарищ, узнать, в чем дело.

— Все ваше имущество мы реквизируем. Вы кулак и подлежите выселению.

Старик оторопел.

— Выселению?..

Раздался взрыв бабьих рыданий.

— Ба-атюшки! Да что же это?

Мужики стояли бледные.

Зияли раскрытые сундуки, зияли чернотой распахнутые двери клеток и кладовушек. На лавках и на чистом, строганом полу грудой лежали овчины, холсты, новые сапоги, мужская и женская одежда.

Местный пастух, в очень грязных, разбитых лаптях, выкладывал из сундука вещи, изумлялся и встряхивал волосами.

— Ну и добра-а! И откедова столько раздобыли!

Старик подошел к Ведерникову.

— Позвольте вам, товарищ, объяснить. Кулак, говорите. Не знаю, как по-новому сказать, а по-старому: вот вам святая икона,— никогда за жизнь свою не имел чужого труда, все с сынами своими горбом заработал.

Мужик в клочковатом полушубке сказал извиняющимся голосом:

— Василий Архипыч, а ведь торговлишкой-то ты занимался!

— Игде?

— Игде! А не бывало так, что по всей деревне холсты закупишь да вместе со своими повезешь в город продавать?

— Нукштож!

— Вот те и «нукштож»! — сурово сказал пастух. — Называется: нетрудовой доход.

Как на пожаре, переливался заунывный бабий вой, похожий на завывание осеннего ветра в трубе. Плакали ребята. Вдруг старуха вцепилась в рукав Ведерникова и закричала:

— Да вы что же это делаете, а? Ведь это же дневной разбой!

Дверь открылась, вошел местный учитель, — невысокий человек с маленьким носиком. Удивленно остановился, попятился. Старуха увидела его и завопила:

— Караул!!

Учитель поспешно скрылся. Старуха испуганно бросилась к Лельке.

— И ты тоже! Они от Христа отреклись, злодеи, а ты — молодая девчонка, и тоже лезешь в эту грязь! Не стыдно тебе разбой этот делать?

Старуха, рыдая, упала на лавку. Лелька с строгим лицом связывала в узлы отобранные вещи.

Юрка и пастух запрягали в сани на дворе хозяйских лошадей. Пастух восхищался:

— Ах, и лошадки же хороши!

Глядел им в зубы, щупал в пахах. Юрка спросил:

— В колхозе у вас пригодятся?

— Как не пригодится! На этих, друг, лошадях пахать — все одно, что трактор твой.

Старик в избе спросил Ведерникова:

— Что же вы нам оставите?

— А вот что на вас надето. Будет с вас и этого.

Два широкоплечих, голубоглазых сына старика стояли у стены и с такою смотрели ненавистью, что было жутко. Юрка, пастух и мужик в рваном полушубке стали выносить вещи.

На лавке сидел и всхлипывал пятилетний мальчишка, такой

же ярко-голубоглазый, как все мужчины. На ногах его были новые, еще не разношенные серо-белые валенки с красными узорами на голенищах. Ведерников оглядел их и спросил:

— Башмаки есть у тебя, мальчик?

Он робко взглянул.

— Есть.

Взял с подоконника и поспешно протянул Ведерникову. Ведерников сказал Лельке:

— Пусть переобуется. А валенки пойдут в детдом, бедняцким детям.

Лелька ласково взяла мальчика за плечо.

— Ну-ка, мальчик, скидай валенки. Вот у тебя башмаки какие хорошие! Довольно с тебя.

Мальчик покорно снял валенки и стоял босиком. Лелька сказала:

— Не надо босым стоять, простудишься. Надень башмаки.

Старуха сорвалась с лавки, вышибла поленом стекло в окне, высунулась и стала кричать на всю улицу:

— Караул! Карау-у-ул!

Ведерников строго сказал:

— Будет, старуха, не бузи!

Юрка, наморщившись, совал валенки в холщовый мешок, где уже много было валенок и сапогов.

Ведерников вышел на двор поглядеть, как укладывали вещи. К нему подошел старик.

— Товарищ, примите заявление: желаю с сынами моими идти в колхоз.

Ведерников оглядел его, усмехнулся.

— Тебя — в колхоз? Да ты на весь колхоз заразупустишь, весь его изнутри развалишь. Нет, старичок божий, мы богатеет в колхозы не принимаем. Лучше отправляйся кой-куда комаров покормить.

Старик спросил упавшим голосом:

— Вы что же, отправлять нас куда будете?

— Да уж тут, папаша, не оставим, будь покоен: очень от тебя большой вред идет на всю деревню.

Сани, доверху полные добром, выезжали со двора. По улице отовсюду тянулись груженные подводы, комсомольцы правили к церкви. На широкой площадке над рекою стояла церковь со снятыми колоколами и сбитыми крестами. Она была превращена в склад для конфискованных у кулаков вещей.

В воздухе было мягко, снег чуть таял. Юрка сидел на облучке груженых саней. Торчал из сена оранжевый угол сундука, обитого жестью, самовар блестел, звенели противни и чугуны. Юрка глупо задумался. Вдруг услышал сбоку:

— Дяденька!

Поглядел: рядом с санями, босиком по талому снегу, бежал голубоглазый мальчишка.

— Дяденька! Отдай валенки!

Юрка отвернулся, закусил губу и хлестнул вожжю лошадь. Мальчик не отставал. Вязнул ногами в талом снеге, останавливался в раздумьи и опять бежал следом, и повторял, плача:

— Дяденька! Отдай валенки!

* * *

Организовали весь комсомол окрестных деревень. Комсомольские бригады сплывали бедняков, обобществляли весь рабочий и продуктовый скот. Работали день и ночь. Из района и округа то и дело приходили настойчивые приказы: «Нажимай на сплошную», то есть на сплошную коллективизацию.

И нажимали. Раскулачивали состоятельных, сулили всяких бед середнякам и беднякам, которые отказывались идти в колхозы. На собраниях мужики вызывающе спрашивали:

— Да что же, конец концов: добровольно в ваши колхозы полагается идти или нет? Коли нет, то покажите, где такой декрет, чтобы всех нас гнать в колхоз?

Ведерников отвечал:

— Декрета нет, в колхозы идут добровольно. А вы мне только вот что скажите: вы — против советской власти?

— С чего нам быть против?

— А тогда что ж: мы, понимаешь, вас зовем в колхозы не из своей головы, вас зовет советская власть и партия Векапе. Коли не идете, значит, вы против советской власти. Ну, а уж этому не дивитесь: кто против советской власти, тех она лишает голоса.

Уныние и угрюмость повисли над деревнями. Походка у мужиков стала особенная: ходили, волоча ноги, с опущенными вперед плечами и понурыми головами. Часами неподвижно сидели и тяжело о чем-то думали. И каждый день новые приходили записываться в колхоз. А перед тем резали весь свой скот.

Резали поросных свиней, тельных коров. Резали телят на чердаках, чтоб никто не поглядел, голосистых свиней кололи в чаще леса и там палили. И ели. Пили водку и ели. В тихие дни над каждой деревней стоял густой, вкусный запах жареной убоины. Бабы за полцены продавали в городе холсты.

— Чего нам свое в колхоз нести? Там всё обязаны дать.

Комсомолия, руководимая Ведерниковым и Лелькой, рыскала по деревням, расспрашивала бедноту, накрывала крестьян с свежубитым скотом, арестовывала и отправляла в город. Ведерников кипел от бешенства.

— Ах, мерзавцы! И этак, понимаешь, по всему Союзу!

И Лелька откликнулась:

— В два-три месяца наделали то, чего потом годами не поправишь. Ведь весь скот повыведут! Ни молока не будет, ни мяса, ни шерсти... Расстрела для них мало!

И страстно, увлекательно, как только она умела говорить, Лелька говорила и на собраниях, и в частных беседах с крестьянами. Мужики слушали, пряча в бородах насмешливые улыбки, и отвечали цинично:

— А нам об этом какая забота? Что ж мы, супротив самих себя будем идти? Все одно, в колхоз отнимете. Лучше же мы получим для себя удовольствие.

* * *

Совместная работа в деревне сильно сблизила Лельку с Ведерниковым. Теперь они были настоящие друзья и открыто жили, как муж и жена, спали в одной комнате. Лелька упоенно наслаждалась товарищескою близостью с Ведерниковым, согласностью их настроений. Получалось то гармоническое и прекрасное, о чем она раньше не смела и мечтать. В одно сильное, действенное целое сливались стальная воля, беспощадность, классовое чутье Ведерникова — и ораторский талант, организаторские способности, задушевная непосредственность, женское обаяние Лельки. Весь актив они сумели спаять в крепкую, дисциплинированную массу, и ребята одушевленно бросались в работу по одному указанию своих вождей.

Только Юрка не совсем подходил к общей компании. Что с ним такое случилось? Работал вместе со всеми с полною добросовестностью, но никто уже больше не видел сверкающей его улыбки. По вечерам, после работы, когда ребята пили чай, смеялись и бузили, Юрка долго сидел задумавшись, ничего не слыша. Иногда пробовал возражать Ведерникову. Раз Ведерников послал ребят в соседнюю деревню раскулачить крестьянина, сына кулака. Юрка поехал, увидел его хозяйство и не стал раскулачивать. Сказал Ведерникову:

— Он середняк самый форменный, да еще маломощный. А от отца уж пять лет назад отделился.

Ведерников в ответ отрезал:

— Плохое у тебя, Юрий, классовое сознание. Нужно не только, понимаешь, корни вырывать, а и веточки сшибать.

— Да ведь свой брат, тот же рабочий.

— Рабо-очий! Какой такой рабочий?

И послал других. Как-то раскулачили они самого рядового середняка. Юрка опять встал за него, но Ведерников зажал ему рот одной фразой:

— Ну, пусть середняк! А чего в колхоз не идет?

Юрка несколько раз пробовал поговорить с Лелькой, поведать

ей свои сомнения. Но Лелька была теперь как будто другая,— прямолинейная и беспощадная, не хуже Ведерникова. Она в ответ нетерпеливо пожимала плечом и говорила с пренебрежением:

— Совсем у тебя, Юрка, искривляется классовое самосознание. Какое-то интеллигентское гуманичанье. Откуда это у тебя? Брось! Партия знает, что делает. Ты знаешь ее лозунг о полном выкорчевывании в деревне всякого капитализма? Ну и не миндальничай. А ты готов отстаивать каждого кулачка и проливать над ним гуманные слезы. В правый, брат, уклонец вдарешься.

* * *

На хороших лошадях, в щегольских санках, приехал Оська Головастов с товарищем Бутыркиным, местным активистом в районном масштабе. Пили чай, обменивались впечатлениями от работы в своих районах. У Оськи по губам бегала хитрая, скрытно торжествующая улыбка. Он спросил:

— На коллективизацию гнете? А мы вот с товарищем Бутыркиным немножко собираемся пошире размахнуться. Коммуну учреждаем в нашем селе.

— Это здорово!

— Приехали просить вас подсобить.

— Всем, чем хотите.

Ведерников положил руку на плечо Лельки.

— Этого оратора вам дадим: замечательнейший, понимаешь, оратор.

Лелька радостно вспыхнула. Оська слушал невнимательно, с блуждающими глазами. Потом улыбнулся замысловато.

— Это ладно. А главное — вот нам что. Завтра окончательное у нас собрание о переходе всего села в коммуну. Боимся, как бы не засыпаться с голосованием, есть кой-кто против. Приезжайте на собрание всем активом, голосните.

Расхохотались.

— Здорово! Нам тоже голосовать? Ну что ж! Мы все за коммуну. Определенно.

* * *

Собрание было в здании сельсовета. Председательствовал товарищ Бутыркин, бритый, с сухим, энергичным лицом. Лелька говорила задумчиво и сильно. Каштановые кудри выбивались из-под красной косынки, глаза на красивом лице блестели. Говорила о нелепости раздробленного хозяйствования, о выгодах коллективной жизни.

— Вы только подумайте: в вашем селе Сосновке четыреста дворов. И в каждом дворе каждый день топят печь, чтоб сварить

горшок щей и чугунок картошки. Каждый себе отдельно печет хлеб. Каждый отдельно нянчит ребят. Каждый отдельно ухаживает за коровой, лошастью. Сколько на все без всякого толку тратится сил, времени, средств!

Слушали настороженно, с ненавидящими глазами. Передние ряды были заняты одними бабами, мужики держались назади. Кончила доклад Лелька. Говорил — напыщенно и угрожающе — Оська. Председатель Бутыркин спросил:

— Не будет ли вопросов?

Посыпались от баб вопросы самые неожиданные:

— Правда ли, что бога нет?

— Откуда земля?

— Правда ли, что люди пошли от обезьяны?

— Что такое «эпоха»?

Бутыркин грозно поднялся.

— Гражданки! Старую песенку завели! Нас больше на ваш крючок не поймаете. Это на советском языке называется саботаж: только чтоб затянуть и сорвать собрание. Но я этого не допущу. Говорите ясно и коротко. Об деле. Только об деле говорите!

Поднялся сзади худощавый молодой крестьянин.

— Дай-ко мне сказать. Об деле скажу.

— Евстрат Метелкин. Говори,— неохотно сказал председатель.

Метелкин заговорил резким, властным голосом, приковывающим к себе внимание.

— Вот, гражданка, говоришь: общий скотный двор. Ладно. А где на него взять гвоздей?

— Гвоздей?..

Лелька беспомощно оглянулась на Оську. Оська ответил:

— Повыдергайте гвозди из какого-нибудь сарая. На что вам теперь индивидуальные сараи?

— Ну, два фунта понадергали!

— Да не из одного сарая.

— Та-ак! Чтоб один новый сарай сбить, хочешь двадцать старых развалить из-за гвоздей! Это называется строительство?

Поднялся председатель.

— Граждане! Так нельзя! Вопрос идет во всесоюзном масштабе,— понимаете вы это? А вы о каких-то гвоздях. Об деле говорите. По существу.

Стали один за другим подниматься крестьяне, говорили обычное: что никто на всех не станет работать, как на себя, что заварят дело — и сейчас же пойдут склоки, неполадки, бабы меж собой разругаются, и все подобное.

Вышел к переднему краю стола президиума Оська Головастов.

— Граждане! Долго будет тут эта болтовня? Объясняют вам,— вопрос стоит во всесоюзном масштабе, вопрос стоит о социалистическом строительстве. Поняли вы это дело? И власть вам тут не уступит, она вас заставит поступить по-нужному. Поэтому пред-

лагаю вам голосовать добровольно. А кто хочет идти против, на того есть Соловки, есть Нарым, а может, кое-что и еще по-солнее. Это имейте в виду!

Сдержанное гудение покатилося по рядам. Высокий мужик в меховом треухе снял со стены лампочку и потушил. Два дюжих парня быстро направились боковым проходом к столу президиума. Вдруг всех охватила жуть. Оська шепнул:

— Идут лампы тушить. Ребята! У кого револьверы, вынимай!

Все были бледны. Уж несколько случаев было в окрестных местах: мужики на собраниях тушили лампы и люто избивали приезжих ораторов. Ведерников встал и, держа руку на револьвере, смотрел в глаза подходившим парням. Те остановились.

Оська говорил, вода перед собою поднятою вертикально ладонью:

— Граждане! Успокойтесь! Все эти ваши штучки мы знаем, и ламп тушить не дозволим. Вопрос исчерпан. Бутыркин, голосуй!

— Граждане! Прошу потише! — заявил председатель. — Голосую. Кто за переход села Сосновки в поголовную коммуну, того прошу поднять руки. Кто против? Кто воздержался? Большинством голосов принято постановление о переходе вашего села в коммуну.

Рев поднялся в сборной:

— Кто такие тут голосовали? Кого вы сюда понагнали? Мы этих граждан даже не видали никогда! Еще раз голосуй, по списку!

Бутыркин грозно объявил:

— Граждане! Вопрос исчерпан! Заседание объявляю закрытым.

* * *

С утра партийно-комсомольский актив Сосновки с бедняцкою частью села стал обходить дворы и обобществлять скот. Забирали всю живность: лошадей, коров, овец, свиней, забирали кур и гусей. Бабы выли, мужики были бледны от бешенства. Отобрать — ребята отобрали, но что делать с отобранным скотом, не знали. Был на краю деревни огороженный жердями летний загон. Поместили туда. Три дня скотина стояла под открытым небом, заметаемая поднявшеюся вьюгою. Спросить было не у кого: Оська, дав общие директивы, ускакал. Перед отъездом он арестовал и отправил в город, как контрреволюционера, Евстрата Метелкина, отказавшегося войти в коммуну, имущество его конфисковал и передал в коммуну.

Дела у Оськи Головастова было по горло. Пьяный от власти и от взятого размаха, он носился по району, арестовывал, раскулачивал, разогнал базар в селе Дарьине, ставил ультиматумы членам сельсовета, не вступившим в колхозы, закрывал церкви, священников арестовывал, их семьи выгонял на улицу и запрещал

давать им приют. Двум священникам обстриг волосы и бороды. По лицу Оськи порхала странная, блуждающая усмешка, в глазах иногда мелькало безумие. Больше всего, больше достатка, больше славы и почета ему буйным хмелем кружило голову наслаждение власти над людьми: униженные поклоны и мольбы, бессильная ненависть мужчин, женские рыдания, отчаяние. И сознавать, что все это — от него, что захочет — и ничего этого не будет. И особенно приятно было именно думать: «А я этого не-з-а-х-о-ч-у! Унижайтесь. Унижайтесь задаром!»

* * *

Лельку раз нагнала на улице толпа ребятишек,— возвращались из школы. Она с ними разговорилась. Вдруг одна бойкая девчонка сказала (видно, что повторяла слова взрослых):

— Мы скоро все к вам придем, господский ваш дом разнесем по бревнышкам, вам глаза повыколем, а сами побросаемся в колодцы.

А другой раз Лелька еще более сильное получила впечатление. Возвращалась она из города,— давала в райкоме отчет о проведенной работе и достижениях. Со станции наняла мужика, поехала в санях. Мужик не знал, кто она, и говорил откровенно. И говорил так:

— Мы теперь узнали рабочий класс, какой он есть эксплуататор. Что эти рабочие бригады у нас в деревне разделяют!.. Мужик разутый-раздетый, а они в драповых польтах, в сапогах новых, морды жирные, жалованья получают по полтора ста рублей. Себя не раскулачивают, а мужика увидят в крепких сапогах: «Стой! Кулак!» Погоди, придет срок, мы с рабочим классом разделаемся.

А ехавший с ними другой мужик прибавил озлобленно:

— Скоро крестьянство будет убито, совсем станет мертвое. А только помер-то мы — вторыми! Раньше они все подохнут. Узнают, на ком Рассея стоит!

Лелька стала осторожно возражать. Они сразу замолчали.

* * *

В помещении одинцовской школы заседала приехавшая вчера комиссия по чистке аппарата. Ребята из бригады пошли для развлечения послушать. Чистили местного учителя Богоявленского. Маленький человечек с маленьким красным носиком, с испуганными глазами и испуганной бороденкой.

Чистка проходила для него счастливо. Крестьяне говорили благодушно:

— Человек хороший, чего там!

— Обиды никто от него не видал. Жаловаться не можем.

— Смирный человек, аккуратный.

Ведерников, улыбаясь, шепнул на ухо Лельке:

— Вот финтиклея-то! Кого он сможет спропагандировать в колхоз? Хорош помощник советской власти!

Лелька усмехнулась. Председатель спросил:

— Не будет ли у кого еще вопросов?

Встала Лелька.

— Позвольте мне! Скажите, гражданин. В этой деревне, в которой мы с вами живем, и в соседних деревнях,— везде кое-кого из крестьян раскулачили. Как вы смотрите,— правильно поступает власть, когда их раскулачивает, или неправильно?

Учитель растерянно забегал глазами по портретам вождей и красным плакатам.

— Как сказать. Если власть их раскулачивает, значит, знает за что.

— Я вас прошу ответить совершенно прямо: как вы оцениваете действия власти,— правильно ли она поступает, когда раскулачивает богатеев?

— Конечно, постольку-поскольку партией выдвинут лозунг о ликвидации кулачества как класса... Постольку-поскольку кулачество противится коллективизации...

— Вы это ваше «постольку-поскольку» бросьте. Прошу вас, гражданин, не петлять. Одно слово: следовало, по-вашему, раскулачить их? Да или нет?

Мужики тяжело глядели на учителя и ждали. Он был бледен. Старательно высморкал в скомканный платок красненький свой носик и ответил, запинаясь:

— Ну, ясно: следовало.

Мужики всколыхнулись. Говором и криком закипело собрание.

— Ишь, какой ныне стал! Правильно,— говоришь? Следовало? А забыл ты, кутья пшеничная, как отец твой долгогривый из нас кровь сосал? Гражданин председатель, примай заявление: его отец был дьякон! У него корова есть да свинья, его самого раскулачить надо! Мальчишка у него летось помер, так панихиду по нем служил в церкви!

И пошли выкладывать. Секретарь старательно записывал, что рассказывали мужики. Учитель сидел понурившись и молчал.

Ребята, смеясь выходили из школы. Ведерников хлопнул Лельку по плечу.

— Молодчина Лелька! Одним, понимаешь, вопросом показала его белую шкуру. Ну и ло-овко!

* * *

Заехал инструктор окружкома²⁰, носатый парень с золотистым чубом, в больших очках. Знакомился с работой местного и

приезжего комсомола, одобрил энергию. Одного только не одобрил: что в местной ячейке не хватает учетных карточек и комсомольских билетов. Потом нахмурился и вынул записную книжку.

— В окружке, товарищи, получена информация, что какая-то комсомолка приезжая проявляет явный правоопортунистический уклон. Ведет агитацию против раскулачивания, пишет крестьянам жалобы...— Полистал книжку.— Ратникова фамилия.

— Что-о?!

Ведерников расхохотался. Лелька вскочила.

— Это я — Ратникова!

Инструктор сурово сверкнул на нее очками.

— Ты?

Ребята дружно смеялись, и дружно все встали за Лельку,— и приезжие, и местные. Рассказывали о ее энергии и непримиримости, об умении организовать молодежь и зажечь ее энтузиазмом. Обида Лельки потонула в радости слышать такой хороший и единодушный товарищеский отзыв.

Инструктор почесал горстью в золотой своей копне.

— А как будто жаловались партийцы и комсомольцы... Ну, видно, ошибочка. Вот и ладно!

* * *

Весело и дружно работала ватага ребят. Сошлись они друг с другом. Приезжие были поразвитее и много грамотнее деревенских, занимались с ними, читали. Лелька была руководом и общедолюбимницей. От счастливой любви и от глубокого внутреннего удовлетворения она похорошела неузнаваемо.

Только Юрка держался в стороне. Совершенно невозможно было понять, что с ним делается. Работал он вяло, был мрачен. Давно погасла сверкающая его улыбка. Иногда напивался пьян, и тогда бузил, вызывающе поглядывал на Лельку, что-то бормотал, чего нельзя было разобрать. Близкие их отношения давно уже, конечно, прекратились. Он становился Лельке тягостен, и никакой даже не было охоты добираться, отчего он такой.

Ехал как-то Юрка на розвальнях из соседней деревни. Завинцовели на небе тучи, закрутился снег с ветром. Юрке предоставить бы лошади самой найти дорогу домой, но он,— городской человек,— стал править сквозь вьюгу, сбился на цельный снег и начал плутать.

Уже в сумерках наткнулся на жердяную изгородь, за нею темным стогом высилась крестьянская рига. Разобрав жерди, подъехал к избе с огоньком в окнах, стал стучаться, попросил приюта.

— Какая деревня?

— Полканово.

— До Одинцовки далеко?

— Эва! Осьмнадцать верст.

— Во куда заехал! Ну, товарищ, приюту. Сбился с дороги, закоченел.

— Зайди, зайди, чего ж там!

Нестарый мужик с бритым лицом ввел Юрку в избу. Горница была полна народа. Сразу стало Юрке уютно и все близко: в красном углу, вместо икон, висели портреты Маркса, Ленина и Фрунзе. За столом, среди мужиков и баб, сидела чернобровая дивчина в кожанке, с двумя толстыми русыми косами, с обликом своего, родного душе человека.

Хозяин сказал:

— Садись, парень. Пообожди маленько, сейчас кончим заседание.

Горячо говорили, размахивая руками. Об учете инвентаря и тяговой силы, о том, как добыть формалину для протравливания семян. Дивчина писала и делала арифметические подсчеты.

Юрка шепотом спросил соседа:

— Что это у вас за собрание?

— Колхозники. Обсуждаем план посевных работ.

Юрка с изумлением глядел: нет мрачных лиц, взглядов исподлобья. Глаза светлые, спорят все с живостью и с интересом, как о своем деле. Необычно это было для Юрки.

Мужики расходились. Хозяин подошел к Юрке, стал расспрашивать — кто, откуда. Подошла и дивчина в кожанке.

Хозяйка позвала ужинать. Пригласили и Юрку. После ужина пили чай. Юрка спросил девушку:

— А ты тоже тут на колхозной кампании?

— Ага!

— Как у вас дело идет?

— Да жаловаться не станем. Еще в прошлом году объединились в колхоз восемнадцать дворов, только всего, а в этом, понимаешь, еще пятнадцать уже дворов присоединилось! Увидали, насколько ладнее идет дело в колхозе.

Она ударила по плечу хозяина.

— Много он вот помогает. Он да еще двое. Горят на работе. Смотри, скоро все село втянут в колхоз.

Хозяину было приятно. Он конфузливо поднял брови и потер рукой губы. И сказал:

— Вот только с грамотой очень нам трудно,— с учетом этим самым, с бухгалтерией всякой. Кабы не эта наша товарищ,— хоть свертывай все дело. Сами ничего не понимаем, счетовода нанять,— где денег возьмешь?

— Привыкнете понемножку. Дело немудрое.— Девушка засунула руки в карманы кожанки и широким мужским шагом зашагала по горнице.— Ничего, налаживается дело. Пойдет определенно. Еще бы лучше пошло, если бы кой-какие товарищи не

мешали. Работает тут верст за восемь один из Москвы, Головастов.

— Головастов? Оська? Это наш, с завода нашего «Красный витязь»,— сказал Юрка.

— Вот негодяй! Слыхал ты, как он коммуну провел в Сосновке? Нагнал своих ребят из других деревень — приезжих и местных — и их голосами провел в Сосновке коммуну. А из сосновских никто за коммуну не голосовал. И вот вам пожалуйста — коммуна! Можешь представить, какая прочная будет коммуна?

Юрка покраснел. Он посоветился сказать, что и сам участвовал в этом голосовании.

— Форменный уголовный тип. Мы до него доберемся! Посмел там возражать против коммуны один, Евстрат Метелкин такой. Так его Головастов за это раскулачил, все отобрал в коммуну, самого арестовал и отправил в город. А он, понимаешь, несомненный середняк, два года пробыл на красном фронте, боевой товарищ вот этого нашего хозяина,— вместе брали в Крыму Чонгарский мост. Ранен в ногу. В деревне все время вел общественную работу, был членом правления кооператива, участвовал в организации мелиоративного товарищества, обучал ратников и допризывников,— ну, словом, ценнейший общественный работник. И ко всему: был один из зачинателей колхоза, первый в него пошел. А как начал Головастов загигать коммуну,— встал на дыбы. Тот его и арестовал. Рассказал мне все это Иван Петрович,— вот этот хозяин мой. Мы — телеграмму областному прокурору. Вчера Метелкин приехал назад, и приказ по телеграфу немедленно возвратить все имущество.

Юрка жадно слушал, редко дыша, даже рот раскрыл. А дивчина рассказывала.

— Весело работать. Только очень трудно. Самое трудное, что приходится бороться на два фронта: с инертностью крестьянства и с головотяпством товарищей, а то и подлостью их. Есть тут еще местный один «активист», Бутыркин. В молочной кооперации растратил пятнадцать тысяч, судился, но выкрутился; заведывал в городе Домом крестьянина, тоже уволен за растрату. Теперь всячески старается подсушить репутацию свою: устраивает с Головастовым вашим коммуну, проводит спешную коллективизацию, мужикам грозит: «Откажетесь — из города придет артиллерийский дивизион и снесет снарядами всю деревню». Мы тут в его деревне неподалеку организовали ясли,— сегодня как раз открытие,— Бутыркин под них отдал бывший свой дом. Большой дом, вместительный, самый кулацкий. Два года назад Бутыркин продал его за тысячу восемьсот рублей, а теперь у нового хозяина дом этот реквизирует под тем предлогом, что тот живет по зимам в городе. Такие беззакония,— кто то хочет, то и делает... Ты, конечно, ночевать у нас останешься?

— Да хорошо бы.

— Иван Петрович, можно?

Хозяин ответил:

— Ну, ясно. Просим милости.

— Так вот что: оставайся, а мне нужно идти на открытие яслей. Мы организовали, нужно сказать приветствие.

— А можно мне с тобой?

— О! Отлично! Идем. Тут недалеко, всего две версты лесом. Метель затихла. Шли просекой через сосновый бор. Широкий дом на краю села, по четыре окна в обе стороны от крыльца. Ярко горела лампа-молния. Много народу. В президиуме — председатель сельсовета, два приезжих студента (товарищи дивчины), другие. Выделялась старая деревенская баба в полушубке, закутанная в платок: сидела прямо и неподвижно, как идол, с испуганно-окаменевшим лицом.

Говорил длинную задушевную речь худощавый брюнет с загорелым, энергичным лицом. Очень хорошо говорил: о великом пятилетнем плане, о необходимости коллективной обработки земли. Юрка знал его: это был Бутыркин. Потом говорила новая знакомая Юрки — о значении яслей, о раскрепощении женщины, тоже о коллективизации. Юрку странно волновала и речь ее, — с какими-то неуловимо знакомыми интонациями, теми, да не теми, — и весь облик девушки, — мучительно-милый, знакомый и в то же время чуждый. И вдруг мелькнуло: «Лелька!» Все поразительно напоминало Лельку. Только глаза у этой были стального цвета, и больше ощущалось определенности в лице, больше — мужественности какой-то, что ли.

Дивчина кончила, села рядом с Юркой. Стала говорить школьная работница. Юрка спросил:

— Ты, случаем, не знакома с Лелей Ратниковой?

— Как же — не знакома! Родная мне сестра.

— Да что ты?! Вправду?

— Ну, ясно.

— Ведь она в нашей бригаде, здесь же.

— Здесь?!

Нинка так это крикнула, что все обернулись. Жадно стала расспрашивать вполголоса Юрку. Спросила:

— А ты меня завтра не возьмешь с собой, чтоб повидаться с нею?

— Ну как же? Очень хорошо. Назад тебя в санях же и отвезу.

Председатель стал вызывать женщин сказать от лица матерей. Бабы пересмеивались, толкались и прятались друг за друга.

Выступил опять Бутыркин. Он говорил хорошо, знал это и любил говорить. Юрка никак не мог согласовать с его задушевым голосом и располагающим лицом то, что про него рассказала Нинка. Бутыркин говорил о головокружительных успехах коллекти-

визации в их районе, о том, как это важно для социалистического строительства, о пользе яслей и детских приютов.

— Товарищи! И за наши ясли нам нужно ухватиться изо всех наших сил. Владелец этого дома упирается, хочет дом удержать за собой, подал на нас в суд, но мы этого дома все равно ни за что не отдадим. Лучше уж воротим те тысячу восемьсот рублей, что он заплатил за этот дом.

Прочли проект резолюции. Председатель спросил:

— Не будет ли каких добавлений к резолюции?

Нинка сказала:

— У меня есть добавление.

Вышла к столу президиума. Глаза блестели озорно и весело.

— Товарищи! Есть, к сожалению, и среди партийцев люди, которых кашей не корми, а дай им побольше наболтать разных красивых слов. А дойдет до дела,— форменный рвач, обыватель, только и думающий о своем кармане. Тем приятнее видеть, что выступавший здесь товарищ Бутыркин не из таких. Я удивляюсь, что в резолюции ничего не упомянуто о том, что тут заявил товарищ Бутыркин. Он обещается воротить новому хозяину те тысячу восемьсот рублей, что получил от него за этот дом, только бы дом остался за яслями. Это — поступок, достойный настоящего коммуниста-большевика. Я предлагаю в резолюции выразить благодарность товарищу Бутыркину за его предложение.

В публике взрывались короткие смешки. Бутыркин растерялся, вскочил, зло блеснул глазами.

— Я не это сказал!

Нинка невинно спросила:

— А что же вы сказали?

— Я сказал, что если суд присудит дом в его пользу, то дома ему не возвращать, а лучше отдать деньги, которые он за дом заплатил.

— Откуда деньги взять?

— Из общественных, конечно. Откуда же еще?

Нинка протянула:

— Я очень извиня-аюсь! Я думала, вы хотели отдать те деньги, что сами с него за этот дом взяли. Я вас не так поняла. Конечно, в таком случае об вас вовсе не нужно прибавлять в резолюции.

Женский голос из публики крикнул:

— Своих-то не хочется отдать, что за дом получил! А у другого дом даром отобрал! Ловок.

Хохот шел по собранию.

* * *

Утром Юрка с Ниной поехали в Одинцовку. Стоял морозец, солнце сверкало. За успокоившимися бело-голубыми снегами дым-

чато серели голые рощи, в них четко выделялись черные ели. Юрка настойчиво расспрашивал Нинку о ее работе, жадно смотрел в глаза.

— Так, говоришь, середняка никак нельзя раскулачивать? А если он в колхоз не желает идти? Значит, против социализму, значит, враг классовый! Нешто не так?

— Ясно, не так. Ленина не читал? Разрывать нам нельзя с крестьянством, надо его постепенно перевоспитать, а не нахрапом действовать.

Юрка недоверчиво поглядывал на нее.

— И вправду,— чтоб только добровольно шли?

— Ну как же иначе!

— А когда раскулачиваем, все нужно отбирать?

— Все, конечно. Весь инвентарь, весь скот и вообще излишки все.

Юрка поколебался, вдруг спросил:

— А с мальчишки пятилетнего валенки можно снять?

Нинка изумленно оглядела его.

— С ума сошел!

Юрка отвернулся и замолчал. Долго правил молча, старательно нахлестывал кобылу. Потом решительно повернулся к Нинке.

— Так не надо было валенки отбирать? Категорически?

— Категорически.

— Та-ак...

Всю остальную дорогу он глубоко молчал.

* * *

Нинка, не стучась, распахнула дверь и ворвалась к Лельке. Крепко расцеловались. Смеялись, расспрашивали, дивились, что так близко друг от друга работают и не знали. Нинка видела в комнате две кровати, видела Ведерникова, сидящего на одной из них. Но об этом не спрашивала. Кому какое дело?

Закусывали, пили чай. Лелька вдруг вспомнила.

— Погоди-ка! Тут недавно инструктор приехал, справлялся о комсомолке Ратниковой, что ведет подрывную работу. Напоролся на меня. А это, случаем, уж не ты ли была?

У Нинки знакомым Лельке озорным огнем загорелись глаза.

— Видно, я и есть. Все время доносы шлют, что развожу контрреволюционную работу... Наверно, про меня.

Осторожно вошел в комнату Юрка, присел к столу.

Не прошло и получасу,— между Нинкой и Лелькой запрыгали такие же колючие электрические искры, как, бывало, у них обеих с матерью, при беседе с нею.

Нинка изумленно пожимала плечами.

— Какая нелепость! Чего вы этуо принудительностью достигнете?

Лелька, враждебно глядя, отвечала:

— Ты не понимаешь, чего? «Бытие определяет сознание»,— слышала ты когда-нибудь про это? Как ты иначе перестроишь собственническую психологию мужика? «Убеждением»? Розовая водичка! Ну, будут рыпаться, бузить,— может быть, даже побунтуют. А потом свыкнутся и начнут понемножку перестраивать свою психологию. А дети их будут уже расти в новых условиях, и им даже непонятна будет прежняя психология их папенок и маменек.

— Вот какая установка! Это, Лелька, ново! Ни в каких партийных директивах я такой установки не встречала. Где это сказано?

Вмешался Ведерников и резко сказал:

— Это, товарищ, сказано в нашем пролетарском сознании.

А Лелька насмешливо прибавила:

— Тебе непременно хочется «директив»? Ты разве не читаешь директив из райкома и окружкома? Все они только одно повторяют: «Гни на сплошную». А как иначе гнуть? Или, может быть, ты не признаешь компетенции окружкома? Желаеться разговаривать только с Политбюро?

Расстались враждебно. Юрка повез Нину обратно.

* * *

Приехали к Нинке. Она стала звать Юрку зайти, попить чайку. Юрка привязывал лошадь к столбику крыльца. Вошел хозяин со странным лицом и взволнованно сказал Нинке:

— Тут из окружного исполкома приехал какой-то... Велел вам сейчас же, как приедете, прийти к нему в сельсовет... Э, да вон он. Не терпится. Сам опять идет.

Подошел человек в кожаной куртке, с широким, рябым лицом и шрамом на виске; на куртке алел орден Красного Знамени.

— Мне сказали, гражданка Ратникова приехала. Это вы?

Нинка побледнела от «гражданки».

— Я — Ратникова.

Приезжий оглядел Юрку и Нинкина хозяина.

— Нам нужно с вами, гражданка, поговорить наедине. Пойдемте, ходим.

Юрка глядел, сидя на перилах крыльца. Приезжий расхаживал с Нинкой по снежной дороге, что-то сердито говорил и размахивал рукою. Побледневшая Нинка с вызовом ему возражала. Приезжий закинул голову, угрожающе помахал указательным пальцем перед самым носом Нинки и, не прощаясь, пошел к сельсовету. Нинка воротилась к крыльцу. Глаза ее двигались медленно, ничего вокруг не видя. Вся была полна разговором.

Вошла с Юркою в избу и с усмешкою сказала хозяину:

— Велено всю работу прекратить и завтра явиться в райком.

Юрка спросил:

— В чем дело?

— Потом как-нибудь.

Пообедали вместе. После обеда сидели под навесом двора, на снятой с колес телеге. Нинка рассказывала: от облисполкома была получена директива: тем, кто вздумает выходить из колхоза, возвращать только одну треть имущества, а все остальное удерживать в пользу колхоза. Евстрат Метелкин привел к ней крестьян, Нинка им объяснила, что такого закона нет. Они ее попросили им это написать.

— Я, конечно, написала. Почему бы нет?.. Кричал, что это контрреволюция, что я вообще веду подрывную работу в крестьянстве, что еще сегодня утром об этом получено заявление в ГПУ от товарища Бутыркина. Грозился отправить меня отсюда по этапу. Я ему: «Вы говорите со мною, как с классовым врагом!» — «Вы, говорит, и есть классовый враг. Только помните, мы и не с такими, как вы, справлялись».

Юрка раздумчиво сказал:

— А он с орденом Красного Знамени. Значит, человек категорически приверженный.

Нинка поглядела на него, помолчала.

— Передал приказ райкома немедленно прекратить работу и завтра явиться в райком... Может, и правда, по этапу отправят,— с усмешкою добавила она.

— А как в город доедешь?

— Эка! Двадцать верст! Пешком дойду. Багаж небольшой,— один рюкзак.

Юрка с порывом сказал:

— Я тебя отвезу. Переночую у вас, а завтра утречком поедем.

Нинка с лаской пожала концы его пальцев.

— Ну, спасибо!

Пошли гулять в бор. Из-за сини далеких снегов красным кругом поднимался огромный месяц. Юрка, напряженно наморщив брови, сказал:

— Все-таки, видно, ты неправа. Не такую надо гнуть линию. Только к дезорганизации ведешь.

— Не зна-аю! — с вызовом возразила Нинка, а в глазах были тоска и страдание.— А одно я хорошо знаю: партиец ты, комсомолец,— а должен шевелить собственными мозгами и справляться с собственным душевным голосом. Только тогда окажешься и хорошим партийцем. Иначе ты — разменная монета, собственной цены никакой в тебе нет. Только всего и свету, что в окошке? Так всегда черногряжский райком и должен быть правым? Бороться нужно, Юрка, отстаивать свое, не сдаваться по первому окрику.

Юрка страдающе наморщился и согнутыми в когти пальцами стал скрести в затылке.

— Черт ее... Как это тут... Не пойму никак.

* * *

Утром приехали в Черногряжск. Вместе с Юркой Нинка пошла в райком. В коридоре столкнулись с рябым, который вчера был у Нинки. Нинка нахмурилась и хотела пройти мимо, но он, широко улыбаясь, протянул большую свою ладонь и сказал ласково:

— Здравствуй, товарищ Ратникова. Приехала-таки? Брось,— не стойло! Ворочайся назад. Нам такие, как ты, нужны.

— Что это значит?

Он поднял брови и виновато-добродушно улыбнулся.

— Ничего. Маленькую ошибочку дали. С кем не бывает!

В бюро ячейки — то же самое. Нинка ждала грозных криков, обвинений. А все были ласковы и смущены, говорили, что вызов ее — только недоразумение, извинялись и просили обязательно ехать назад.

В недоуменной радости Нинка вышла. К ней навстречу бросился Юрка с газетным листом в руках.

— Нинка, читай! Что написано-то!!

Нинка подошла к окну, развернула газету. На первой странице была большая статья. Заглавие:

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ УСПЕХОВ

Подпись: *И. Сталин*. Писано было в статье вот что:

Успехи иногда прививают дух самомнения и зазнайства... «Мы все можем!» «Нам всё нипочем!» Они, эти успехи, нередко пьют людей... Наша политика опирается на добровольность колхозного движения... Нельзя насаждать колхозы силой. Это было бы глупо и реакционно. А что происходит у нас на деле? Можно ли сказать, что принцип добровольности не нарушается в ряде районов? Нет, нельзя этого сказать, к сожалению... Кому нужны эти искривления, это чиновничье декретирование колхозного движения, эти недостойные угрозы по отношению к крестьянам? Никому, кроме наших врагов! К чему они могут привести, эти искривления? К усилению наших врагов и к развенчанию идей колхозного движения.

Нинка, давясь радостным смехом, смазала Юрку газетным листом по лицу.

— Ну, что, товарищ? Не вредит изредка и собственными мозгами поворочать?

Большинство вокруг было в смущении и испуге. Немногие были довольны и победительно посмеивались. Шла по коридору пучеглазая женщина с очень большим бюстом, с листом «Правды» в руках.

Юрка кинулся ей навстречу.

— Ногаева! Ты разве тоже здесь?

— А как же. Со следующей за вами партией выехала.

И с гордостью она рассказывала своим спокойно-уверенным, как будто не знающим сомнений голосом:

— Мы на эту левую провокацию не поддались с самого начала. Стали середняков раскулачивать,— мы сейчас же: «Стой!» Сельсовет нас слушать не хотел, но мы заставили. А про Оську Головастова написали в наш заводский партком, что он вполне дискредитует звание пролетария. И что ж бы вы думали! Заказным письмом послала,— и не дошло! С оказией потом второе послала. На почте тут письма перехватывали!

Юрка слушал с неподвижным лицом.

* * *

Вышли с Нинкой на улицу. По деревянным мосткам шагал подвыпивший мужик с газетой в руках. Потряс ею перед носом Нинки и Юрки, засмеялся.

— Против вашего брата газета писана!.. Ой, вот так газетинка! Три рубля заплатил на базаре за нее, и не жалко. Стоит того!

Все экземпляры газет были расхвачаны крестьянами моментально. Приезжали из деревень все новые мужики, специально, чтоб купить газету. Перепродавали номер за пять, за восемь рублей.

Юрка и Нина ехали назад. В деревнях звучали песни и смех. Нинка вдруг рассмеялась и радостно потеряла руки:

— Вот теперь поработаем!

Навстречу трусила лошаденка, в розвальнях сидели Оська Головастов и Бутыркин, оба с бледными, растерянными лицами. Тут же милиционер. Юрка соскочил с саней, подбежал, хотел поговорить, но милиционер не позволил:

— А-рес-то-ва-ны...

Юрка завез Нинку в Полканово и поехал к себе в Одинцовку. Там, в барском доме, тоже было общее смущение. Ведерников чесал в затылке, губы его закручивались в сконфуженную улыбку.

— Маленько перегнули, это что говорить. Засыпались! Лелька неподвижно глядела в окно.

* * *

Вечером под сильными ударами кулака затрещала Лелькина дверь. Лелька была одна. Вошел Юрка. Был очень бледен, волосы падали на блестящие глаза. Медленно сел, кулаками уперся в расставленные колени, в упор глядел на Лельку. И спросил с вызовом:

— Ну? Что?

Лелька удивленно приглядывалась к нему.

— Что это ты... какой?

— Ну, что, говорю? Правильно мы тут с вами поступали или неправильно?

— Неправильно, Юрка.

— Не-пра-виль-но... Ха-ха! Непра-авильно? — Он вцепился взглядом в глаза Лельки.— Сволочь ты этакая! Чего ж ты меня в эту грязь втравила?

Лелька теперь только сообразила, что Юрка глубоко пьян. В комнате стоял тяжелый запах самогона. Она отвернулась и, наморщив брови, стала барабанить пальцами по столу. Вдруг услышала странный хруст,— как будто быстро ломались одна за другую ледяные сосульки. Лелька нервно вздрогнула. Юрка, схватив руками спинку стула, смотрел в темный угол и скрипел зубами.

— Ох, тяжело! — хрипло заговорил он.— Понимаешь, бежит по талому снегу... А я, как проклятый, гляжу в сторону и лошаденку подхлестываю. А он, понимаешь, все бежит, не отстаёт. Босой.

Юрка судорожно сжал спинку стула и еще сильнее заскрипел зубами. Лелька подошла к нему. Уверенная в своем обаянии и всегдашнем влиянии, ласково положила ему руку на плечо.

— Юрка, слушай...

Он сбросил ее руку с плеча и вскочил.

— Отойди... гадюка!.. У-ух!! — Юрка отнес назад руку со сжатым кулаком.— Так бы и залепил тебе в ухо, чтоб торчмя головой полетела на кровать... Лелька!

Падающим движением подался к ней, схватил за запястья.

— Лелька! — Задыхался и со страданием смотрел на нее.— Выходит, можно было вас и не слушать... Можно было... п-плюнуть вам в бандитские ваши рожи! Ведь я с тех самых дней весь спокой потерял. Целиком и полностью! Вполне категорически! Каждую ночь его вижу... Бежит босой по снегу: «Дяденька! Отдай валенки!..» А ты, гадюка, смотрела, и ничего у тебя в душе не тронулось?

Он так крепко сжимал Лельке руки, что они совсем занемели.

— Не тронулось, а? А ведь ты — женщина. У тебя свои дети могут быть... Вот Нина, сестра твоя. Даже против героя с Красным Знаменем, и то пошла. Есть, значит, в душе... добросовестность... А у тебя что?

— Юрка, пусти руки. Мы с тобою обо всем этом поговорим, когда ты проспнешься.

— Не спать уж мне теперь. Боюсь я спать... Все мальчишка этот... Следом бежит. У-у, черт!!

Он отбросил руки Лельки и, шатаясь, направился к двери. Вошел Ведерников. Юрка насмешливо оглядел его.

— А-а... «Пролетарское сознание».

Остановился на пороге, гаркнул:

— Здесь погребен арестант Иван Гусев, трех лет!

И вышел...

До поздней ночи он одиноко шатался по деревне, рычал, буянил, скрипел зубами и бил себя кулаком в грудь. Потом исчез...

Через день на ветле у околицы нашли его труп висящим на веревке.

1928—1931

ЛЖИ НЕ БУДЕТ

Литературному творчеству В. В. Вересаев отдал 60 лет своей жизни. В 1885 году восемнадцатилетним юношей он опубликовал первое свое стихотворение «Раздумье». За день до смерти, в 1945 году, заканчивал редактирование своего перевода «Илиады» Гомера. Шестьдесят лет неутомимого литературного труда на рубеже двух веков. Он был свидетелем и участником бурных событий, полных противоречий, драматизма, крушения идеалов, разрушения судеб и в то же время созидания, постижения неизведанного, формирования нового. Это была эпоха трех революций и четырех войн, эпоха, летописцем которой стал В. В. Вересаев. Но его произведение — это записи не равнодушного наблюдателя жизни, а участника событий, который с суровой правдивостью и неподдельной болью писал о своих впечатлениях, мыслях, сомнениях. Россия, говорил он в день 50-летия своей литературной деятельности, не знала «ничего подобного тому бешеному ходу истории, подобно курьерскому поезду мчавшемуся, который на протяжении моей сознательной жизни мне пришлось наблюдать».

В. В. Вересаев принял революцию как великое историческое событие. Всей своей жизнью и творчеством он был подготовлен к революции, мечтал о ней, ждал ее, работал ради нее. Всегда, и когда писал свои произведения, и когда участвовал в революционном движении, и когда боролся с эпидемией холеры в Юзовке *, он чувствовал неразрывную связь со своим народом. И потому для него была противоестественна даже мысль об эмиграции. Вопросы «с кем быть» для него не существовало.

«В октябре 1917 года, в Москве,— писал он в „Записях для себя“,— окоп пересек Остоженку поперек. В окопе сидели рабочие, солдаты и стреляли вниз по улице, по юнкерам. Третий день шел бой. Совершалось великое и грозное. Не страница истории переворачивалась, а кончался один ее том и начинался другой» **.

Последовавшие за революцией годы потребовали от писателя осмысления происходящего в стране, в умах людей, их поступков, человеческих судеб. Не всегда его литературная деятельность получала положительную оценку. Но никто, никогда не упрекнул его в неискренности.

Он был рыцарем «излюбленной правды». «Такова должна быть философия всякого настоящего революционера,— писал Вересаев в неопубликованной лекции о Горьком.— Если какое-нибудь движение способно умереть от правды, то это — движение не жизнеспособное, гнилое, идущее неверными путями, и пускай умирает!»

* Теперь Донецк.

** В е р е с а е в В. Записи для себя. Тула: Приок. кн. изд-во, 1979. С. 238.

Служение правде Вересаев считал не своим достоинством, а своей обязанностью гражданина и человека, писателя.

Революция разделила творческий путь Вересаева на две почти равные части: 32 года до и 28 лет после революции. Такова уж была его судьба — жить и работать в эпохи, столь отличающиеся друг от друга. Оба эти периода его жизни были насыщены активной творческой и общественной деятельностью, и трудно отдать предпочтение одному из них. Более того, революция не стала для Вересаева тем рубиконом, который с таким трудом преодолевали некоторые писатели. Всем своим предыдущим творчеством Вересаев подготовил себя к революции, а его произведения отразили революционные процессы, происходившие в России. Он встретил 1917 г. в пору своей творческой зрелости, когда уже сформировалось его марксистское мировоззрение и определился творческий метод. В своем дневнике он записал: «Я знаю только две вершины духовного развития человечества: К. Маркс — в науке и Л. Толстой — в искусстве».

Вересаев прожил долгую семидесятивосьмилетнюю жизнь, полную борьбы с самим собой, борьбы за формирование в себе жизнеутверждающего мироощущения и следование высоким нравственным идеалам. До конца жизни он остался верен «завещанию» отца и матери, которое ему, двенадцатилетнему мальчику, они написали на подаренной книге:

«Может быть, в свете тебя не полюбят.
Но, пока люди тебя не погубят,
Стой,— не сгибайся, не пресмыкайся,
Правде одной на земле поклоняйся!..

Как бы печально ни сделалось время,
Твердо носи ты посильное бремя,
С мощью пророка, хоть одиноко,
Людям тверди, во что веришь глубоко!

Мало надежды? Хватит ли силы?
Но до конца, до грядущей могилы,
Действуй свободно, не уставая,
К свету и правде людей призывая!

1879 г.»

Хотя родители для Вересаева были высшим нравственным идеалом, он не всегда покорно следовал их принципам. В первые же годы сознательной жизни юный Вересаев ведет полемику со своим отцом, глубоко религиозным человеком с политическими взглядами либерала.

«Бог свидетель, что я не стараюсь, как, например, Преображенский и другие товарищи, нарочно сбросить с себя узду. Я нарочно читал всякие защиты христианства,— но что же мне делать, если они меня не удовлетворяют»,— записывает в дневнике семнадцатилетний Витя Смидович *. Свое отчаяние он выражает и в стихах:

* Смидович — фамилия писателя. Вересаев — его псевдоним. В первые годы творчества он подписывался псевдонимом В. Викентьев.

«Разбит кумир... рассеялись мечтанья.
Под властным взором строгого ума,
Как пред лицом полночного сиянья
Бежит ночная тьма.

Плачь, горько плачь над павшими мечтами!
Что жизнь без них? Она не дорога...
Она пуста... Но жизнь еще долга,—
А почва исчезает под ногами.

20 мая 1884 года».

Для Викентия Викентьевича начинается долгая, мучительная борьба за свое собственное, выстраданное мировоззрение. В полемике с отцом он вырабатывает свои новые взгляды. Спорами об утилитаризме и альтруизме, космополитизме и национализме, о теории Юма, о нравственности и ее связи с религией, о понятиях добра и зла заполнена переписка студента историко-филологического факультета Петербургского университета со своим отцом. В эти годы он много читает, изучает Гегеля и Канта, но нигде не находит ответов на мучившие его вопросы.

В 1885 г. он записывает в своем дневнике:

«Опять все чаще и чаще начинаешь думать о самоубийстве. Пускай оно на другой подкладке, а все-таки в результате то же самое. Истина, истина, где же ты? Десять тысяч лет тебя ищут, и десять тысяч лет в ответ на эти искания раздается только со всех концов этой проклятой земли безотрадный стон всего живущего. Я отказался от христианства, отказался недавно от атеизма, сунулся в философию; я не откажусь от нее, но то, что до сих пор от нее узнал, мне кажется очень остроумным, но больше ничего... Да, трудная вещь — создать в себе прочные, четкие убеждения, которые ничто не может поколебать».

Его убеждения принимают все более и более политическую окраску. «Неистовая ненависть к самодержавию, возмущение его угнетением и злодействами делались моим господствующим настроением»,— вспоминал Вересаев *.

Во время учебы в университете молодой Вересаев увлекается народническими идеями, организует литературный кружок, где жарко обсуждались общественные и моральные проблемы. Начав со стихотворения «Раздумье», он уже в 1887 г. пишет рассказ «Загадка». В условиях разгула реакции после событий 1 марта 1881 г., когда «самодержавие справляло свою победу», когда «наступили черные восьмидесятые годы», когда «народ безмолствовал», а в «интеллигенции шел полный разброд» (неопубликованная лекция Вересаева о Горьком), настроению «бездорожья» двадцатилетний юноша противопоставил свой призыв к борьбе за счастье. «Пускай нет надежды, мы и самую надежду отвоюем!» С такой высокой оптимистической ноты началось его творчество. И вера в человека, способного завоевать счастье, не покидала его до конца жизни.

Опубликовав повесть «Без дороги» (1894), которая вызвала горячие дебаты, Вересаев оказывается в самом эпицентре борьбы идей. Развенчав народничество как утопическую теорию, Вересаев порывает и со своими недавними заблуждениями. Он оказался первым среди писателей того времени, возглавившим в русской литературе идейную борьбу против народничества, чутко уловившим биение пульса общественной жизни. В том же 1894 г. и Ленин опубликовал свою работу «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов», также направленную против народничества.

* Вересаев В. Воспоминания. М.: Гослитиздат, 1946. С. 279.

Но прошло всего три года, и Вересаев откликнулся на новые умонастроения своего времени рассказом «Поветрие» (1897), предприняв попытку показать появление марксистского мировоззрения уже как общественного явления. Героиня из повести «Без дороги» Наташа теперь «нашла дорогу и верит в жизнь», ибо «вырос и выступил на сцену новый глубоко революционный класс» — рабочий класс.

Проходит еще четыре года, и он пишет повесть «На повороте» (1901), в которой марксизм в России уже не «поветрие», а боевая теория революционного преобразования общества. О повести «На повороте» одобрительно отозвался В. И. Ленин, восторженно встретил ее М. Горький. «Здорово это, весело, бодро, возбуждает желание обнять Вас крепко и — главное — своевременно это, как раз в пору, как раз Вы пишете о тех, о ком надо писать, для кого надо, и о том, о чем надо», — писал он Вересаеву. В Шлиссельбургской крепости, рассказывала Вера Фигнер, заключенные узнали о приближающейся революции из повести «На повороте».

Вересаев напишет о завершении своих исканий того времени в «Воспоминаниях»: «Безоговорочно становлюсь на сторону нового течения», т. е. марксизма. Но он не «легальный марксист», он не ограничивается, как они, лишь литературной деятельностью, а принимает непосредственное и активное участие в революционном движении: помогает агитационной работой ленинскому «Союзу за освобождение рабочего класса», пишет прокламации, устраивает в больничной библиотеке, которой он заведовал, склад нелегальной литературы, а у себя на квартире собрания революционеров-марксистов, помогает Горькому наладить связь с Петербургским комитетом социал-демократической партии. Последовали репрессии. В апреле 1901 г. Вересаева увольняют из больницы, устраивают обыск в квартире и по указанию министра внутренних дел высылают из Петербурга с запрещением в течение двух лет жить в столичных городах.

Он едет в Тулу, где живет под негласным надзором полиции. Но и там продолжает революционную деятельность: участвует в работе тульской организации социал-демократической рабочей партии и организуемых ею демонстрациях, пишет по ее заданию прокламации. Одна из них, под заглавием «Овцы и люди», сохранилась в архиве писателя. В ней он писал:

«Неужели вы не понимаете, что хозяева России вы, а не царь, что вы имеете право жить по своим законам и по своей правде... Братя, великая война началась... На одной стороне стоит изнеженный жизненными благами, облитый русской кровью самодержавец... на другой стороне закаленный в нужде рабочих с мускулистыми, мозолистыми руками... Россия принадлежит нам... В великой войне с царем, которая идет по всей России, мы не отступим, пока не завоюем свободы... Долой самодержавие! Да здравствует Социал-Демократическая Республика!»

Эту прокламацию разбрасывали участники первой политической демонстрации в Туле 14 сентября 1903 г. Последовали аресты участников демонстрации, затем политический процесс.

Газета «Известия» (№ 106, 9 мая 1928 г.) писала о друге и соратнике В. И. Ленина, профессиональном революционере А. Д. Цюрупе, который прибыл весной 1901 г. в Тулу: «Здесь он ведет революционную работу совместно с Вересаевым, Луначарским Платоном, Хинчуком и др. среди рабочих тульских заводов». Вересаев организует у себя на квартире нелегальные «литературные вечера, куда сходились сосланные студенты, лучшая часть интеллигенции, рабочие»*. Он пытается издать новый перевод «Капитала» К. Маркса, финансирует революционную деятельность социал-демократической партии.

Чинovníк жандармского управления сообщал тульскому исправнику:

* М и л о н о в Н. Русские писатели и тульский край. Тула, 1971. С. 155.

«В Департаменте полиции имеются указания, что состоящий под негласным надзором полиции врач В. В. Смидович (литературный псевдоним Вересаев) за свои «Записки врача» выручает большие деньги, которые почти полностью отдает на революционные дела... Имею честь покорнейше просить установить за деятельностью и сношениями Смидовича тщательное наблюдение и в последующем меня уведомить»*.

Как свидетельствует А. Н. Степанова, жена известного деятеля тульской организации большевиков С. И. Степанова, «рабочие охраняли Вересаева от ареста... Викентий Викентьевич очень много сделал для Тулы и тульских подпольщиков»**.

Таким образом уже в годы перед первой революцией Вересаев принимал активное участие в революционной борьбе в рядах социал-демократической рабочей партии, хотя и не был ее членом.

«В России, действительно, родилась светлая свобода. Ее могли теперь бить, души, истязать. Но, раз родившись, она была бессмертна. Убить и положить ее в гроб было уже невозможно»,— писал он в записках «На японской войне», участником которой был.

После поражения революции 1905 г. обстановка в России изменилась коренным образом. Идет на спад революционная волна. «Пир свободы кончился,— пишет Вересаев,— начиналось похмелье. Со всех сторон вздувались кроваво-черные мстительные волны»***. Начался разгул жесточайшей реакции, преследования цензуры, «...А Вересаев,— пишет с восхищением М. Горький 6 марта 1908 г. с Капри,— издал свою книгу! Bravo!»****

Таков был Вересаев в эти годы, когда в среде интеллигенции начался период идейных шатаний, неверия в силы и идеи революции, «период,— по свидетельству М. Горького,— самого позорного и бесстыдного десятилетия в истории русской интеллигенции». Это был кризис сознания эпохи. В. И. Ленин пишет «Материализм и эмпириокритицизм» (1909). Стало ясно, что центр революционной борьбы в 1907—1909 гг. сместился из области политической в область идеологическую, философскую. В литературе усиливаются настроения пессимизма и упадничества.

Вересаев резко изменяет направление своего творчества. Оставляя уже начатую работу над повестью о революции 1905 г., он пишет повесть «К жизни» (1908). Таков был ответ Вересаева на вызов эпохи.

Однако в художественном отношении повесть оказалась слабой. Время требовало ее скорейшей публикации, и потому образы в ней оказались несколько недоработанными, эскизными, а основная мысль автора, его позиция выражены недостаточно четко. «Я увидел, что у меня ничего не вышло»,— откровенно признавался автор. И тогда он начинает работать над новым произведением — первой частью книги «Живая жизнь» о Достоевском и Льве Толстом (1910). В ней Вересаев сталкивает два антагонистических мироощущения. Рассматривая их в различных аспектах, он не оставляет сомнений в своей позиции, решительно отстаивая жизнерадостное мироощущение Толстого, не Толстого моралиста и проповедника, а Толстого — художника, певца «живой жизни». Вторая часть «Живой жизни» («Аполлон и Дионис») продолжает линию первой части, но уже на другом философском материале. В этой книге Вересаев дает бой нищезанятию, получившему тогда широкое распространение среди интеллигенции.

* М и л о н о в Н. Русские писатели и тульский край. Тула, 1971. С. 154.

** Там же. С. 155.

*** Вересаев В. На японской войне. Записки/Собр. соч. М.: Недра, 1928. Т. 5. С. 263.

**** Имеется в виду издание записок «На японской войне».

В идее «Живой жизни, которую он развивал в своих произведениях до конца своих дней, Вересаев видел основной смысл своего творчества, так как считал важнейшей задачей литературы *воспитание у молодежи, у тех, кто будет жить после него, оптимистического мировоззрения, то есть любви к прекрасному, мужества в преодолении невзгод, темных сил вне и внутри человека*. Не раз возвращался он в разговорах к этой теме, говоря, что считает свою идею «Живой жизни» не только современной, но и тем «завещанием», которое хотел бы оставить будущим поколениям своих читателей.

В годы перед революцией Вересаев настроен резко оппозиционно по отношению к самодержавию. С презрением отказывается от звания почетного академика; принимает предложение М. Горького стать одним из редакторов создаваемых им сборников, в которых должны были принимать участие В. И. Ленин, А. В. Луначарский; работает председателем правления и редактором демократического «Книгоиздательства писателей в Москве», решительно провозглашая следующие цели издательства: «ничего антиреволюционного», «произведения антижизненные, антиобщественные и нехудожественные безусловно исключаются», «борьба за ясность и простоту языка» (письмо М. Горькому от 1.08.1912 г.). В издательстве сотрудничали М. Горький, А. Серафимович, И. Бунин. В архиве Вересаева сохранилась запись о собрании московской интеллигенции в марте 1917 г. в Художественном театре, где обсуждалось политическое положение в стране, отношение к войне. Среди присутствовавших, пишет Вересаев, были, «кроме Станиславского, Немировича и крупнейших артистов театра... еще Южин, много профессоров и сотрудников „Русских ведомостей“, князь Евгений Трубецкой, Н. В. Давыдов, С. Н. Булгаков, Бердяев, Андрей Белый, Брюсов, братья Бунины, Волошин и много других...»

Дико и странно было слушать раздававшиеся тут речи... Вдруг поднялся И. Бунин и сказал председательствующему Немировичу-Данченко:

— Я бы хотел, чтобы по этому вопросу выступил бы Вик. Вик. Вересаев.

...Я в то время вращался в революционной среде, часто виделся с Ив. Ив. Скворцовым-Степановым, Петром и Софьей Николаевной Смидович, Ногиным, Хинчуком, Милютиным... А ведь он, Бунин, знал, что я социал-демократ, вероятно, знал и мой взгляд на продолжение войны.

Немирович-Данченко предложил высказаться мне.

Я сказал приблизительно так:

— Еще совсем недавно самодержавие стояло над нами, казалось так крепко, что брало отчаяние... Тут собрались сливки русской интеллигенции. Какой бы огромный эффект получился, если бы эта интеллигенция, вместо того, чтобы требовать себе Константинополя и разных других лакомых кусочков, заявила бы во всеуслышание:

— Конец войне! Никаких аннексий, никаких контрибуций! Полное самоопределение народов!

В той среде, где вращался я, это давно стало банальнейшим общим местом. Но здесь это произвело впечатление взрыва бомбы. Объявлен был перерыв...»

На этом же вечере решено было создать что-то вроде клуба писателей. В этом клубе, пишет Вересаев, «преобладали о-н-и, а не мы. Вероятно, именно ввиду этого для компенсации выбрали председателем меня».

С первых же дней после октября 1917 г. Вересаев включается в революционную и общественную деятельность: работает в Совете рабочих депутатов в Москве в качестве председателя художественно-просветительной комиссии, пытается организовать издание дешевой «Культурно-просветительной библиотеки», участвует в работе только что созданного Госиздата, редактирует сборники «Слово», произведения А. Серафимовича, И. Бунина.

Незадолго до революции (в 1916 г.) Вересаев купил в Крыму в Коктебеле дачу. В феврале 1918 г. революция победила и там, и осенью того же года он решил месяца на три поехать на юг подлечить свою супругу, Марию Гермогеновну, и заодно закончить драму «В священном лесу». Но события развернулись иначе, в Крыму началась гражданская война, которая отрезала его от дома, от России до конца 1921 г. В конце 1918 г. Крым был занят белогвардейцами. Затем ненадолго, с апреля по июль 1919 г., там власть перешла к красным. Но лишь с ноября 1920 г. Крым окончательно стал советским.

Для Вересаева в бытовом отношении это были трудные годы. Приходилось много работать физически, чтобы прожить. Он болел цингой, арестовывался белыми, шесть раз был обворован, пришлось заниматься медицинской практикой, так как Коктебель был без врача, а больных было много. Не было приличной одежды, и Вересаев безжал своих больных на велосипеде в ночной рубашке, подаренной ему И. Эренбургом. Чтобы прожить, пришлось завести огород и уток, которых Мария Гермогеновна пыталась кормить медузами. Но и в этих условиях оптимизм и мужество не покидают писателя. На стене коктебельского кафе «Бубны», где каждый считал нужным оставить свой экспромт-автограф, он записал:

«А Вересаев среди сараев

Кормит, кормит курочек своих...»

Оптимизм не покидал его и потому, что годы после революции стали для него периодом небывалого творческого подъема. Он заканчивает в Коктебеле драму «В священном лесу», пишет рассказ «Состязание», работу «Художник жизни» (о Л. Толстом), начинает, будучи свидетелем революционных событий в Крыму, собирать материал и писать роман «В тупике». В январе 1919 г. он сообщает в Ялту С. Я. Елпатьевскому: «Я тут... написал драму (в первый раз в жизни!)... Вообще прилив сил чувствую необычайный, в жизнь мою мне никогда так не работалось».

И в Крыму писатель не представлял своей жизни без общественно-политической деятельности. Он выступает в защиту арестованного белогвардейцами первого председателя Старокрымского ревкома Г. Д. Стамова. В апреле 1919 г., как только ушли белые, избирается членом Коллегии Феодосийского отдела народного образования. 5 мая 1920 г., когда в Крыму снова установилась власть белогвардейцев, на его даче проходила подпольная конференция большевиков. В газетах даже появились сообщения, что Вересаев расстрелян белыми. «У начальства,— пишет он,— нахожусь я на подозрении. Хотел устроить чтение своей драмы в Коктебеле, не разрешили, в Феодосии — тоже не разрешили. Начальник уезда заявил мне, что я ...скомпрометировал себя службою у большевиков». Осенью 1921 г. он возвращается наконец в Москву и заканчивает роман «В тупике». Важное место занимает этот роман в истории русской советской литературы. Это было одно из первых крупных произведений о революции и гражданской войне. Еще не были созданы «Города и годы» К. Федина, «Разгром» А. Фадеева, «Железный поток» А. Серафимовича. В июле 1922 г. А. Толстой опубликовал в Берлине первую часть романа «Хождение по мукам». В августе 1922 г. В. Вересаев начинает публикацию своего романа «В тупике» (журн. «Красная новь», № 8). Роман, как и другие, более ранние его произведения («Без дороги», «На повороте», «Записки врача», «К жизни»), вызвал бурную общественную реакцию. В новом романе писатель сосредоточил свое внимание на судьбе русской интеллигенции, оказавшейся в эпицентре революционного взрыва.

Горький принял роман с воодушевлением. Он писал Вересаеву об этой книге: «...мне она дорога ее внутренней правдой, большим вопросом, который Вы поставили пред людьми так задушевно и так мужественно». Работа над романом подошла к концу, но никто не решался его печатать отдельной книгой. Ведь только что закончилась гражданская война, а события, описанные в романе, были злободневны, сложны и противоречивы. И тогда известный советский общественный деятель и публицист,

редактор альманаха «Недра» Н. С. Ангарский предложил прочитать роман политическим руководителям страны.

Вот как это описывает Вересаев в своих воспоминаниях: «Я кончал свой роман „В тупике“. Он должен был печататься в альманахах издательства „Недра“. Возможность прохождения романа сквозь цензуру вызвала большие сомнения. Редактор издательства „Недра“ Н. С. Ангарский имел какие-то служебные отношения к тогдашнему заместителю председателя Совнаркома Л. Б. Каменеву. В декабре м-це 1922 года Ангарский обратился к Каменеву с просьбой, нельзя ли бы было устроить у него чтение моего романа.

— А, вот и прекрасно!— сказал Каменев.— Первое января — день у всех свободный. Пригласим кое-кого и послушаем!

Первого января я с женой приехал в Кремль к Каменеву. Понемножку собирався народ, мне в большинстве совершенно незнакомый. Роман написан в виде отдельных сцен, можно сказать — в стиле blanc at noir *: как мне говорил один партиец, за одни сцены меня следовало посадить в подвал, а за другие предложить в партию.

Начал я читать. Стратегический мой план был такой: сначала подберу сцены наиболее острые в цензурном отношении, а потом в компенсацию им прочту ряд сцен противоположного характера.

Читал около часа. Обращаюсь к Каменеву:

— Может быть, можно сделать перерыв?

Каменев смущенно спросил:

— А вы долго собираетесь еще читать?

— Около часа.

— Нет, это совершенно невозможно. Тут еще товарищи Шор, Эрлих и Крейн ** что-нибудь сыграют нам, а потом сядем ужинать. Почитайте нам еще минут десять, а за ужином поговорим о прочитанном.

Нечего делать. Постарался подобрать для окончания несколько наиболее ярких в положительном смысле сцен, но все-таки в общем получилось такое преобладание темных сцен над светлыми, что дело мне представилось совершенно погибшим. Кончил. Жена сидела как приговоренная к смерти. Подошел смущенный Ангарский.

— Викентий Викентьевич, что же это такое?

Я стал расспрашивать Ангарского, кто здесь присутствует.

— Вот этот — Дзержинский, вот — Сталин, вот — Куйбышев, Сокольников, Курский.

Одним словом, почти весь тогдашний Совнарком, без Ленина, Троцкого и Луначарского. Были еще Воронский, Д. Бедный, П. С. Коган, окулист профессор Авербах и др.

Поиграли Шор, Эрлих и Крейн. Сели ужинать. Началось обсуждение прочитанного. На меня яро напали. Говорили, что я совершенно не понимаю смысла революции, рисую ее с обывательской точки зрения, нагромождаю непропорционально отрицательные явления и т. п.

Каменев говорил:

— Удивительное дело, как современные беллетристы любят изображать действия ЧЕКа. Почему они не изображают подвигов на фронте гражданской войны, в строительстве, а предпочитают лживые измышления о якобы зверствах ЧЕКа.

* Белое и черное (*фр.*).

** Известное московское трио, существовавшее с 1892 г.: Д. С. Шор (фортепиано), Р. И. Эрлих (виолончель), Д. С. Крейн (скрипка).

Раскатывали жестоко. Между прочим, Д. Бедный с насмешкой стал говорить об русской интеллигенции и прибавил:

— Недавно мне говорил Ив. Дм. Сытин: «Много этой сопливой интеллигенции толклось у меня в передней, когда я издавал „Русское Слово“». Забегая вперед, скажу, что я в своем заключительном слове сказал Д. Бедному:

— Что же касается той „сопливой интеллигенции“, о которой говорил тов. Д. Бедный, то я отвечаю ему вот что: товарищ Демьян! если вы хотите судить о достоинстве женщины, то не обращайтесь за экспертизой к содержанию публичного дома. Уверяю вас, информация его будет очень односторонняя. Вот Сытин говорит об интеллигенции, которая толкалась у него в передней. Соответствующая интеллигенция у него и толкалась. А вот вам я скажу, что сам этот Сытин толкался у меня в передней, приглашая сотрудничать у себя в „Русском Слове“ и никакого результата не добился. И так было, конечно, далеко не со мной одним.

Точно не помню, кто еще что говорил. Помню, еще очень сильно напал профессор П. С. Коган. Говорили еще многие другие. Потом взял слово Сталин. Он, в общем, отнесся к роману одобрительно, сказал, что Государственному издательству издавать такой роман, конечно, неудобно, но, вообще говоря, издать его следует.

После этого горячую защитительную речь сказал Ф. Э. Дзержинский:

— Я, товарищи, совершенно не понимаю, что тут говорят. Вересаев — признанный бытописатель русской интеллигенции. И в этом новом своем романе он очень точно, правдиво и объективно рисует как ту интеллигенцию, которая пошла с нами, так и ту, которая пошла против нас. Что касается упрека в том, что он будто бы клеветает на ЧЕКа, то, товарищи, между нами — то ли еще бывало!

На меня он произвел впечатление чарующее. За ужином я сидел рядом с ним. Он меня между прочим спросил:

— А скажите, пожалуйста, где сейчас находится этот Искандер, о котором вы пишете?

В моем романе был выведен председатель ревкома, садически жестокий армянин, взявший себе псевдоним „Искандер“. Я ответил, что после прихода белых Искандер бежал из Феодосии в Карасубазар. Но его выследили дашнаки и застрелили из револьверов при выходе из парикмахерской, куда он зашел с целью преобразить свою наружность. Когда меня это спрашивал Дзержинский, глаза его блеснули так холодно и грозно, что я почувствовал, что плохо пришлось бы этому Искандеру, если бы он был жив.

Между прочим, я его спросил, для чего было проделано в Крыму то, что мне пришлось видеть там, помнится, в 1920 году. Когда после Перекопа красные овладели Крымом, было объявлено во всеобщее сведение, что пролетариат великодушен, что теперь, когда борьба кончена, предоставляется белым на выбор: кто хочет, может уехать из РСФСР, кто хочет, может остаться работать с Советской властью. Мне редко приходилось видеть такое чувство всеобщего облегчения, как после этого объявления: молодое белое офицерство, состоявшее преимущественно из студенчества, отнюдь не черносотенное, логикой вещей загнанное в борьбу с большевиками, за которыми они не сумели разглядеть широчайших народных трудовых масс, давно уже тяготилось своей ролью и с отчаянием чувствовало, что пошло по ложной дороге, но что выхода на другую дорогу ему нет. И вот вдруг этот выход открывается, выход к честной работе в родной стране.

Вскоре после этого предложено было всем офицерам явиться на регистрацию и объявлялось, те, кто на регистрацию не явятся, будут находиться вне закона и могут быть убиты на месте. Офицеры явились на перерегистрацию. И началась бессмысленнейшая кровавая бойня. Всех являвшихся арестовывали, по ночам выводили за город и там расстреливали из пулеметов. Так были уничто-

жены тысячи людей. Я спрашивал Дзержинского, для чего все это было сделано? Он ответил:

— Видите ли, тут была сделана очень крупная ошибка. Крым был основным гнездом белогвардейщины. И чтобы разорить это гнездо, мы послали туда товарищей с совершенно исключительными полномочиями. Но мы никак не могли думать, что они так используют эти полномочия.

Я спросил:

— Вы имеете в виду Пятакова? (Всем было известно, что во главе этой расправы стояла так называемая „пятаковская тройка“: Пятаков, Землячка и Бэла Кун).

Дзержинский уклончиво ответил:

— Нет, не Пятакова.

Он не сказал кого, но из неясных его ответов я вывел заключение, что он имел в виду Бэла Куна. Рассказывал он кое-что про себя. Между прочим, рассказал с усмешкой, что во время империалистической войны он содержался в Варшавской каторжной тюрьме; перед сдачей Варшавы немцам его перевели в Орловский централ. „Если бы знали, то, пожалуй, не так бы старались увезти к себе“.

Он на меня произвел впечатление глубоко убежденного и хорошего человека. Роман мой в это время еще не был окончен. И когда я там во второй части выводил председателя ЧЕКА Воронько, я думал о Дзержинском.

Этот вечер сыграл решающую роль в появлении моего романа на свет. Когда в Главлите ознакомились с романом, там расхохотались и сказали:

— И вы могли думать, что мы разрешим такую контрреволюцию?

— Успокойтесь. Политбюро почти в полном составе слушало этот роман и одобрило к печати.

Каждое новое издание романа снова задерживалось Главлитом, и каждый раз требовалось новое вмешательство свыше, чтобы пропустить роман...

Между прочим. По поводу английского перевода романа „Times“ писала: „говорили, что в СССР нет свободы печати; мы же из предисловия романа с удивлением узнали, что автор романа — не эмигрант, не сидит в советской тюрьме, а благополучно живет и здравствует в Москве“*.

В своем романе Вересаев отразил судьбу русской прогрессивной интеллигенции в бушующем огне революции и гражданской войны. Вересаев был одним из первых среди русских писателей, взявшихся за эту трудную тему. Роман вызвал бурную реакцию. С недоумением отнеслись к названию романа. Почему «В тупике», кто «в тупике»? Но Вересаев всегда названию отводил особую роль: оно должно было заставлять думать читателя, ставить перед ним вопрос. Так было и с названием повести «Без дороги», которым Вересаев ввел в заблуждение даже вождя народничества Н. К. Михайловского, так было с названием рассказа «Поветрие» — о зарождении марксизма в России. По этому поводу Вересаев отвечал своим оппонентам: «Вы хотите, чтобы я называл свои произведения так, чтобы их названия подсказывали мое отношение к тому, что я описываю? Я сам долго мучился, взвешивая события, потом писал о них произведение и придумывал ему название. Я хотел, чтобы и читатели подумали хорошенько, помучились над теми же вопросами, что и я. Поэтому мои произведения и вызывали столько диспутов и обсуждений».

Но почему роман вызвал так много споров, Вересаев искренне не понимал.

«Ведь я даже эпиграф подобрал к нему такой, чтобы подсказать читателю мое отношение к происходящему,— говорил он.— Я взял его из „Ада“ Данте».

* Из архива В. В. Вересаева.

В этом эпиграфе — судьба многих русских интеллигентов, а в романе «В тупике» — судьба Ивана Ильича и Кати Сартановых. Они, видевшие до революции весь смысл своей жизни в служении народу, теперь оказались в нравственном и политическом тупике.

В романе дается широкое полотно событий, связанных со становлением Советской власти в Крыму. Прототипом большевика Леонида, как рассказывал Викентий Викентьевич, был известный революционер, родственник Вересаева, Петр Гермогенович Смидович. Прототипом коммунистки Веры была Мария Викентьевна Смидович — родная сестра писателя, профессиональный революционер-подпольщик.

В 1923 г. роман «В тупике» был опубликован полностью, а затем переиздавался еще семь раз. Но с 30-х гг. стала деформироваться общественная жизнь страны, роман более не издавался, а затем и вообще был изъят из общих фондов библиотек.

Теперь наступило время для нового издания романа, отразившего наиболее острый период истории нашей страны. Романа, с которым первыми познакомилась Ф. Э. Дзержинский, В. В. Куйбышев и другие соратники Ленина, но который неизвестен современному читателю.

Сразу же после появления романа «В тупике» Вересаев начинает работу над новым романом, который впоследствии был назван им «Сестры». Однако судьба этого романа, который вышел из печати в 1933 г., была еще более драматична. Он появился и сразу исчез с полок магазинов и библиотек. Вересаев, всегда вторгавшийся своими произведениями в самую гущу жизни, и в этом романе остался верен себе. События первой пятилетки с ее пафосом строительства и драматическими коллизиями стали темой нового романа. «Писательская моя сила — именно в связанности с жизнью», — записал он в дневнике незадолго до смерти. Но именно эта его особенность стала роковой и для романа «Сестры», и для всего последующего творчества писателя. Вот что вспоминал об этом Викентий Викентьевич:

«В 1924 году я получил письмо от одной читательницы комсомолки; она писала о себе и просила назначить ей час для встречи. Проговорили целый вечер. Переживания ее были глубокие и своеобразные. Она мне читала отрывки из дневника, который вела совместно со своей двоюродной сестрой, тоже комсомолкой вузовской. Дневник этот она оставила у меня. Она мне созналась, что шла ко мне, чтобы оставить у меня этот дневник, а самой покончить с собой. Наша тогдашняя беседа заставила ее изменить это намерение. Потом она прочла мою „Живую жизнь“, и это произвело в ее жизнеотношении глубокий переворот. Одно из самых моих приятных писательских переживаний — воспоминание о полученном тогда от нее письме, в котором она писала: „Никогда я до сих пор не думала, что можно по почте, под бандеролью, получить огромнейшую порцию самой настоящей, самой подлинной живой жизни“.

Этот дневник лег в основу первой части моего романа „Сестры“... Для дальнейшего хода романа одна из героинь сестер, Лелька, должна была поступить на завод, чтобы там в общении с рабочими „выпрямить“ свою подпорченную идеологию. Случай пришел мне на помощь. Меня пригласили выступить в клубе галашного завода „Красный богатырь“ в селе Богородском за Сокольниками. Назад я ехал с молодыми рабочими и сказал им, что хотел бы понаблюдать жизнь их завода. Они отнеслись к этому очень радостно и сказали, что переговорят с директором завода. Директор, Владимир Карлович Греве, отнесся к этому сочувственно, прислал за мной машину, поручил своему секретарю показать мне весь завод и дал мне постоянный пропуск. Я нанял комнату недалеко от завода и прожил в Богородском около полутора лет, иногда наезжая домой. Свел много знакомств с рабочими и работницами. Бывал в комсомольской ячейке. Секретарь ячейки был со мной очень любезен, но, как я

потом узнал от одной комсомолки, запрещал девчатам ходить ко мне в одиночку, а чтоб ходили стайками. Я слышал, что когда он предварительно справился обо мне в райкоме, то там ему обо мне пренебрежительно ответили:

— Так, мотается на задворках революции.

Я опасался, что когда рабочие узнают, что я собираюсь их описывать, они будут относиться ко мне очень подозрительно, недоумевая, чего этот человек стоит без дела, наблюдая их работу, торчит в уборных, слушая их разговоры. А когда узнали, что я писатель, стали очень доверчивы, стали приглашать к себе в гости...

Уже приступая к роману, я сильно сомневался, будет ли он цензурен. Но — самый, по-моему, правильный путь: когда пишешь, не думать о цензуре. Писал я с большим увлечением. Особенно помнится мне летняя работа 1930 года в глухой лесной рязанской деревушке, недалеко от Солотчи *, и потом следующее лето 1931 года на Николиной горе.

В конце 1931 года роман был кончен. Перечитал его и увидел, что он совершенно не цензурен. Попытался отдать его в ГИХЛ (Государственное издательство художественной литературы), которым тогда заведовал В. И. Соловьев. Он в ужасе отказался. Предложил еще в „Новый мир“ Гронскому. Он поспешил прислать роман назад с курьером, вероятно, даже боясь оставлять его лишнее время у себя в редакции.

Я решил, что роману этому света не видать. Один мой приятель-партиец забрал у меня роман и сказал, что попытается его „протолкнуть“... Я его уверял, что это дело совершенно безнадежное. И вдруг — чудо из чудес. Роман он дал прочесть А. И. Стецкому, заведующему отделом печати и пропаганды ЦК партии. Ему роман очень понравился. Он поручил Накорякову, заведующему Гослитиздатом, немедленно отправиться ко мне на дачу (дело было летом) и заключить со мною договор на самых выгодных условиях. По-видимому, он рассказал об романе и Горькому. От Горького звонили по телефону в Гослитиздат и просили прислать ему для прочтения в рукописи мой роман. Но я этому воспротивился.

Осенью 1932 года мы с Накоряковым готовили роман к печати. Он заявил, что сам берет на себя цензуру романа, и с гордостью уверял меня, что человек он очень храбрый и решительный и что нисколько не боится взять на себя ответственность. Впоследствии я имел возможность убедиться, что он, действительно, очень храбр, но лишь постольку, поскольку в данный момент храбро его начальство.

Месяц за месяцем роман набирался и уже печатался. Изменения, которые предлагались, были настолько незначительны, что я охотно на них соглашался. Например, моя героиня Нинка имела роман с крупным военным работником, жившим в Кремле, где она его посещала. Накоряков нашел, что это неудобно:

— Скажут, — вот чем занимаются в Кремле.

— Так в чем дело! Я в этой области всемогущ: даже не в 24 часа, а в 24 минуты могу его выселить из Кремля. И выселил на Никитский бульвар. И только еще несколько мелких поправок в таком же роде. Уже пятнадцать листов романа было отпечатано (первая и вторая части). Оставалось листа три последней, третьей части. Мне позвонила по телефону переводчица, просившая разрешения получить мой роман до выхода его в свет для перевода на немецкий язык, чтобы я дал распоряжение выдать ей из издательства гранки. Я согласился и дал распоряжение. Через несколько дней смущенная переводчица звонит мне и сообщает: чтобы вывезти оттиски моего романа за границу, она должна была представить его в Главлит. А Главлит разрешения не дает. Я сказал, чтобы она перестала настаивать, что это может очень повредить моему роману, пусть ждет его выхода.

* Село и районный центр в 19 км от Рязани.

Прошло несколько дней. Звонит мне Накоряков:

— Викентий Викентьевич, можно мне сейчас к Вам приехать?

— А в чем дело? Какие-нибудь препятствия явились?

— Нет, так, пустяки.

Приехал.

— Придется нам, Викентий Викентьевич, кое-что выкинуть из третьей части.

— Что же именно?

— Да вот там, этого мальчишку с валенками.

Я в ужас пришел: главный стержень всей третьей части заключается в том, что комсомольский парень Юрка участвует в деревне в раскулачивании состоятельного мужика; у маленького мальчишки отбирают валенки для детского дома. Юрка везет в санях раскулаченные вещи, а следом за ним по снегу бежит босой мальчишка, плачет и просит:

— Дяденька, отдай валенки!

Юрка не может отделаться от воспоминания об этом мальчике, которое приводит в нем душевный переворот. И вот этого-то мальчика и все упоминания о нем требовалось вычеркнуть! И многое еще он просил вычеркнуть.

— Вот, например, эта сцена раскулачивания: слишком ярко написана. Я — партиец, политику партии признаю вполне правильной, а читая Ваше описание, возмущаюсь до глубины души.

— Весь роман этим совершенно обесмысливается, тогда лучше его совсем не печатать.

— Что Вы, что Вы?! Ведь мы тут больше всего имеем в виду именно Ваши интересы. Вы себе не представляете, какая на Вас поднимется травля.

— Обо мне не беспокойтесь. Я пятьдесят лет нахожусь под огнем, человек обстрелянный.

Он убеждал меня подумать и не решать этого сразу. А дело, оказывается, произошло вот как. Переводчица сдала оттиски в Главлит. Заведующий Главлитом Волин пришел в негодование и ужас, как могли пропустить такую вещь. Позвонил Стецкому. Целый вечер просидели над романом Стецкий, его помощник Рабичев, Волин и Накоряков. В конце концов уже отпечатанные пятнадцать листов удалось отстоять, но в последних трех листах категорически было потребовано выбросить мальчишку с валенками.

— Я на это решительно не согласен. Пускай роман тогда совсем не выходит.

— Я Вас прошу только об одном: не давайте мне сейчас окончательного ответа, дайте его завтра.

После его ухода я пересмотрел оставленный им экземпляр. Там были отмечены красными чернилами все места, подлежащие, по мнению Главлита, исключению. Тут я воочию мог убедиться, как стараниями Главлита отражение живой подлинной действительности превращается в слащавую лакированную ложь. Беспощадно были вычеркнуты почти все отрицательные типы карьеристов, самохвалов, надутых комчанством. Вычеркнуто, что рабочие крали резину, что молодые работницы каучукового завода, вдыхавшие бензин, уже через два-три года становились раздражительными и нервными, с лица девушек исчезал румянец, в тридцать лет начинали походить на старух. Все это вычеркнуто, — у нас „счастливая жизнь“, и самые вредные производства — безвредны...

Эх, правда, правда,— главный и любимейший герой Льва Толстого,— выгнали тебя вон из русской литературы.

Но первые пятнадцать листов были уже отпечатаны, и в них остался весь тот „динамит“, который старался вытравить Главлит. Я видел, что это победа такая большая, что для нее можно пожертвовать третьей частью. Я позвонил Накорякову и сказал, что согласен на поправки. Приехал к нему. Тут я увидел, как он „храбр“ на деле. При-

шлось отстаивать каждое слово от поправок самых глупых. Сильно пришлось ослабить сцену раскулачивания, пришлось вытравить мальчишку с валенками; однако, Накоряков не доглядел, и в двух местах упоминания о мальчишке сохранились. Вся третья часть выглядела совершенно изуродованной, но при данных обстоятельствах я был даже этим доволен: читатель сразу мог видеть, что тут значительные пропуски.

Сговорились с Накоряковым окончательно, роман был отдан в печать, Накоряков предсказывал жестокие нападки на роман.

Я ему сказал:

— Николай Никандрович, через два года исполняется пятьдесят лет моей литературной деятельности, сочли ли бы Вы возможным по этому случаю выпустить полное собрание моих сочинений?

— Пятьдесят лет? Конечно, конечно! Об этом не может быть никакого разговора. Осенью следующего года нужно будет подробно об этом поговорить.

Роман разошелся моментально. Один из крупных работников издательства сказал, что сейчас же нужно будет приступить ко второму изданию. Между тем стали доходить до меня слухи, что роман вовсе не распродан, а изъят из продажи. На верхах он произвел очень неблагоприятное впечатление. В газетах и журналах градом посыпались разносные статьи, утверждавшие, что автор пишет о том, чего совершенно не знает, что клеветает на комсомольскую молодежь и т. п. Про клевету на любовные отношения между молодежью вообще говорили очень настойчиво. Одна комсомолка мне рассказывала. Собралось их несколько парней и девчат, все возмущались моим „клеветническим“ изображением их быта. Тогда одна сказала:

— У тебя два аборта было? А у тебя до сих пор три парня уже было? А ты сейчас не путаешься сразу с двумя девчонками?

Они смутились, и один сказал:

— Ну, пусть так, но зачем об этом рассказывать? Что скажут об этом за границей!

Другой случай был такой. Как-то в театре на общественном просмотре я сидел рядом с членом реперткома. Она мне сказала:

— Я была страшно возмущена Вашим романом „Сестры“ и тем, как Вы изображаете их любовные отношения. Мой сын комсомолец рассмеялся и сказал: „Эх, мама, Вересаев еще все очень смягчил. Если бы ты знала, что происходит в действительности!“

Интересно: „что сказали об этом за границей?“ Я получил несколько вырезок из английских газет об английском переводе моего романа, и в них я прочел нечто для меня чрезвычайно неожиданное. „Читатели,— писали газеты,— с удивлением убедятся из этого романа, что любовные отношения между русской молодежью носят совсем такой же характер, как и у нас“.

Осенью следующего года я созвонился с Накоряковым, чтобы, по условию, сговориться с ним насчет полного собрания моих сочинений. В коридоре около его кабинета висела большая „витрина брака“. Там был выставлен ряд книг. В отделе „Брак редакционный“ среди халтурных сборников эстрадных песен и произведений неведомых авторов красовался мой роман „Сестры“ с такой подписью:

„Объективно роман является клеветнической карикатурой на ленинский комсомол. Произведение изобилует многочисленными политическими ошибками (пропаганда авангардизма и комчванства, превращение соцсоревнования в принудительный способ увеличения производительности труда, обезличенный показ рабочей и колхозной массы, подмена социального момента сексуальным и др.) и поражает фальшью как характеристик героев, так и языка“.

Я прошел к Накорякову. Он с преувеличенной любезностью бросился мне навстречу, бегая глазами. Он, видимо, думал, что я пришел с ним объясняться по поводу витрины брака.

Я ему сказал:

— После того, что я сейчас прочел в Вашей витрине брака, я думаю, что разговор наш будет недолог. В прошлом году Вы мне предложили прийти этой осенью, чтобы сговориться насчет издания полного собрания моих сочинений.

Он еще сильнее забегал глазами.

— Да, знаете, сейчас очень трудно с бумагой. Навряд ли что-нибудь выдет.

— Николай Никандрович, давайте говорить начистоту. С бумагой в прошлом году было не лучше, а Вы охотно согласились на издание полного собрания. Дело, значит, не в этом.

Он взглянул мне прямо в глаза.

— Да, что ж! Должен Вам сказать, что на верхах очень недовольны появлением Вашего романа... А впрочем,— поспешно прибавил он,— один-два тома избранных сочинений мы издадим с удовольствием. Заходите на этот счет через год.

Разговор так и не состоялся.

*Февраль — август 1938 года.**

Так заканчиваются записи Викентия Викентьевича. Но он мог бы продолжить, так как «арест» романов «В тупике» и «Сестры» имел самые серьезные последствия для всего дальнейшего творчества писателя. Он увидел, впервые в жизни, что изолирован от своих читателей, что пятнадцатилетний его труд оказался бесполезен. Вот уже сорок восемь лет он шел своим путем в русской литературе. Его произведения «Без дороги», «Поветрие», «На повороте», «К жизни», «Живая жизнь», «Записки врача» всегда вызвали бурную реакцию читателей: и друзей, и недругов. Они влияли на общественную жизнь.

Вот что писал Вересаеву Л. В. Собинов, народный артист республики, по поводу 40-летия его литературной деятельности:**

«Позвольте поздравить Вас с Вашим дорогим трудящимся России праздником старому студенту начала 90-х годов. В те годы, годы безвременья и серой скуки, мы, студенты, были Вашей верной и преданной аудиторией. Вы будили в нас чувство живого молодого протеста против тусклой засасывающей действительности... Тогда впервые Вы бросили в нашу среду те новые идеи, на которых воспитались наиболее чуткие и передовые из студенческой молодежи» (1925).

А. Фадеев вспоминал на страницах «Литературной газеты»:

«Когда мы были еще подростками, мы уже слышали имя Вересаева, связанное с именами величайших писателей, на которых мы росли и воспитывались. Пушкин, Гоголь, Толстой, Чехов, Горький, Вересаев — вот в каком окружении вспоминается давно знакомое имя Викентия Викентьевича» (1937).

Подтверждает это и А. Серафимович:

«Вересаев никогда не произнес в своих писаниях ни одного лукавого, неверного слова. Правдивостью, искренностью проникнуты все его произведения, и они оказали громадное влияние на формирование дореволюционной молодежи и интеллигенции» (1943).

И вот теперь от него требуют писать по-другому. Но это означало бы отказаться от самого себя. Зачеркнуть все, что создано им. Еще в 1890 г. в своем дневнике начинающий двадцатитрехлетний писатель сформулировал свое творческое кредо: «Лжи не будет,— я научился не жалеть себя».

К нему шел Булгаков, чтобы унести с собой мужество в борьбе за правду. За правдой шла к нему комсомолка студентка Маша Петрова, прототип героини романа «Сестры», решившая покончить самоубийством. Максим Горький писал ему в 1925 г.:

* Из архива В. В. Вересаева. Публикуется впервые.

** Архив В. В. Вересаева. Публикуется впервые.

«Старый уважаемый друг и соратник. Недавно я писал Вам, что всегда ощущал Вас человеком более близким мне, чем другие писатели нашего поколения. Это — правда. Это — хорошая правда; думаю, что я могу гордиться ею. Затем — я знаю, чего стоит проработать сорок лет в России. И — каких лет! Проработать, непоколебимо идя своим путем, не уклоняясь ни на секунду от излюбленной правды».

И для Вересаева правда действительно была главным и любимейшим героем его произведений. Судьба последних романов не сломала Вересаева. Но когда правда оказалась изгнанной из русской литературы, ему оставался только один выход — замолчать. И он принял это трудное для себя решение. В письме к С. С. Лозовской от 25 мая 1934 г. он пишет:

«Беллетристику я бросил,— не стоит писать. Занимаюсь „Спутниками Пушкина“...»*

Вересаев видел вокруг себя писателей, и талантливейших, но писавших либо откровенно лживые произведения (к ним он относил «Хлеб» А. Толстого — 1937 г.), либо пытавшихся найти для себя выход в полуправде (таким произведением он считал «Поднятую целину» М. Шолохова — ч. 1, 1932 г.). Но это были пути не для Вересаева. Кстати, действительное мнение Шолохова о событиях тех лет Вересаеву было известно. Михаил Александрович рассказывал ему, как он добился аудиенции у Сталина, чтобы рассказать об ужасах коллективизации на Дону. Сталин слушал молча и вдруг, не сказав ни слова, встал и вышел из кабинета. Шолохов остался один, так и не досказав всего, что накипело на сердце.

После опубликования романа «Сестры» Вересаев прожил еще 12 лет, но, верный своему решению, не стал писать ни одного крупного беллетристического произведения о современной действительности. Было тяжело не писать о том, что просилось на бумагу, но зато он мог сказать о себе с гордостью:

«Да, на это я имею претензию,— считаться честным писателем» (письмо к А. Г. Горнфельду от 31 мая 1936 г.).

Много и напряженно работая, он продолжал живо интересоваться событиями, тяжело переживал в тридцатые годы потерю своих родственников, друзей и знакомых, заступался за них, обращаясь с письмами к Берии (копии некоторых из них сохранились в архиве писателя).

Неожиданным ударом для Вересаева было присуждение ему Сталинской премии в 1943 г. «Мне позвонили поздно вечером из редакции „Известий“,— рассказывал нам Викентий Викентьевич,— и поздравили, сообщив, что завтра в газетах будет опубликовано постановление о присуждении мне Сталинской премии. Я не спал всю ночь. Мучительно думал: за что? Какую на старости лет я мог совершить подлость, за которую меня награждает Сталин?» Утром все разъяснилось. Вересаев был награжден вместе с группой деятелей культуры, среди которых были В. И. Качалов, А. С. Серафимович и другие. Но 5 апреля 1943 г. Вересаев все же написал в своем дневнике.

«Совершенно неожиданное присуждение Сталинской премии „За многолетние выдающиеся заслуги в области литературы“. Еще такая же премия первой степени в 100 тыс. рублей присуждена Серафимовичу... По поводу полученной премии он напечатал в „Правде“ (№ 77 от 21/III) и „Известиях“ (№ 67 от 21/III) следующий отзыв: „У меня не хватает слов, чтобы выразить благодарность за присуждение мне высокого звания лауреата Сталинской премии... Жесткие времена мы пережили с Викентием Викентьевичем, когда при царизме нас топтали, наступали сапогами на горло, душили самые лучшие, самые чистые и молодые порывы... Большое у

* Публикуется впервые.

нас с Викентием Викентьевичем счастье. Наша многолетняя работа удостоилась самой высокой оценки — народного признания“. Удивительно... Когда это нас „топтали, наступали сапогами на горло“, как могли душить „самые лучшие, самые чистые и молодые порывы“? При всех цензурных рогатках можно было достаточно и проявлять себя,— не то, что позже, где выход был только один,— *честно молчать*.

В том же номере „Правды“ Храпченко, председатель Комитета по делам искусств, обзвывая деятельность новых лауреатов, пишет: „Книги писателей А. С. Серафимовича, В. В. Вересаева давно стали общенародным достоянием“.

Горько читать. Труда невыразимого стоило протащить каждую мою книгу даже в самом ничтожном тираже, и я прочною стеною был отгорожен от читателя.

Но жизнь продолжалась, и Вересаев продолжал напряженно работать. Появились известные читателям и любимые ими «Спутники Пушкина», «Гоголь в жизни», «Литературные воспоминания», «Записи для себя», цикл «Невыдуманных рассказов».

Много душевных сил и последние четыре с половиной года жизни отдал Вересаев осуществлению давно задуманного им труда: новому современному переводу великих поэм Гомера «Илиады» и «Одиссеи». Он считал эту работу наиболее важной последней своей задачей.

Поэтами Эллады Вересаев увлекался с юношеских лет, много переводил. Близкими ему по духу, помогавшими мужественно преодолевать невзгоды жизни были переведенные им строки Архилоха:

«Сердце, сердце! Грозным строем встали беды пред тобой.
Ободришь и встреть их грудью, и ударим на врагов!
Пусть везде кругом засады,— твердо стой, не трепещи,
Победишь,— своей победы напоказ не выставляй,
Победят,— не огорчайся, запершись в дому, не плачь.
В меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй.
Познавай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт».

Как-то в аудитории Политехнического музея Вересаев читал лекцию. Он говорил об удивительной жизнестойкости древних эллинов:

«Как может быть жизнь светла и радостна, когда в ней столько ужасов и скорбей?.. Гомеровские боги — это религиозные символы окружающих нас в жизни сил... Они могучи и сильны. Мы эти силы называем законами природы, случайностью, необходимостью... И не только снаружи действуют эти силы,— они действуют и на душу самого человека... Гомеровский эллин смотрел на жизнь бодро и радостно... И силою, делавшей для него мир прекрасным, была не сила художественной фантазии, не сила красоты, а *сила жизни...*»

Здесь Вересаев остановился, посмотрел в зал, поднял руку и прибавил: «И мужество!». А закончил он лекцию так:

«Гомер жил тридцать веков назад. Но не находите ли вы, что он ближе нам, современным людям, чем многие сотни поколений, отделявшие нас от него. Все эти века были заполнены величайшим поруганием жизни. Твердили, что „жизнь — это юдоль скорби, что мы осуждены в ней страдать, что истинная жизнь там, в загробном“. А Гомер через эти века кричит нам: „Неправда, жизнь светла и радостна. Это мы сами не сумели ее сделать такой“. И поэтому трехтысячелетнему старику мы можем позвать руку как самому близкому товарищу».

В ноябре 1941 г. в письме из Нальчика, куда Вересаев был эвакуирован в начале войны, он сообщал:

«Сегодня кончил переписывать набело последнюю песнь „Одиссеи“ и подписал: „конец“. Конеч! Переведены обе огромные поэмы Гомера: и „Илиада“, и „Одис-

сея“, больше двадцати восьми тысяч стихов. Мне кажется, если перевод когда-нибудь дойдет до читателя, он даст ему более точного Гомера сравнительно с устаревшим переводом Гнедича и недостаточно близким к подлиннику переводом Жуковского... Это была какая-то одержимость. Днем и ночью стихи клочотали в голове, как вода в кипящем чайнике. Я отрывался от обеда и ночного сна, чтоб написать набежавшие стихи... Сколько мне счастья дала эта работа!»

И это на восьмом десятке лет! Но таким одержимым он был всегда в своем творчестве. И до последних своих дней на этой земле, свидетелями которых мы были, Викентий Викентьевич сохранял оптимизм, молодость души и удивительную работоспособность. Он сохранил в себе и веру в будущее, в то, что *правда*, несмотря ни на что, восторжествует, ибо, любил он повторять слова Тагора, «неправда, вырастая в могущество, никогда не вырастет в правду».

Нелегкую жизнь прожил Вересаев, всегда прямо и с открытым забралом глядя ей в лицо. Шестьдесят лет стоял он под огнем, отстаивая свои взгляды. Немало мужества потребовала от него такая жизненная позиция. Да, именно мужество и честность перед своей совестью были главными чертами Вересаева в жизни. Благодаря им Вересаев до конца выполнил свой долг писателя и человека.

В. Нольде и Е. Зайончковский

ПРИМЕЧАНИЯ

В тупике

Осенью 1921 года Вересаев возвращается из Крыма в Москву и заканчивает роман «В тупике». В августе и октябре 1922 года отрывки из романа были опубликованы в журнале «Красная новь». В марте и июне 1923 года в альманахе «Недра» опубликованы 1-я и 2-я части романа. В 1924 году появилось первое издание романа (издательство «Мосполиграф»), в 1925 году — второе («Недра»), в 1925 году — третье («Недра»), в 1927 году — четвертое («Новая Москва»), в 1927 году — пятое («Недра»), в 1929 году — шестое (Полн. собр. соч. в 12 томах, «Недра»), в 1930 году — седьмое (Полн. собр. соч. в 16 томах, «Недра»); в 1931 году 9-й том, включающий роман «В тупике», был переиздан.

Текст печатается по последнему прижизненному изданию.

¹ Бутырская тюрьма в Москве.

² Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Создана постановлением Совнаркома от 20.12.1917 г. Во главе ее был поставлен Ф. Э. Дзержинский.

³ События в романе происходят в восточной части Крыма, в пос. Коктебель (теперь пос. Планерское) и городе Феодосии.

⁴ Прототипом *Кати* является супруга и троюродная сестра писателя Мария Гермогеновна Смидович.

⁵ Город *Пожарск* встречается и в более ранних произведениях Вересаева (например, в повести «Без дороги» — 1895 г.). Под этим названием писатель выводит свой родной город Тулу.

⁶ Привет из России (нем.).

⁷ *Элевсинские мистерии* — ежегодные религиозные празднества в честь Деметры и Персефоны в древнегреческом городе Элевсин; *кабиры* — в греческой мифологии божества малоазийского происхождения.

⁸ Подпольный съезд большевиков происходил на даче Вересаева 5 мая 1920 года.

⁹ *Паскаль Блез* (1623—1662) — выдающийся французский математик и физик, философ.

¹⁰ *Эсхил* (525—456 до н. э.) — великий древнегреческий драматург; *Гераклит* Эфесский (ок. 530—470 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист, представитель античной диалектики; *Эрвин Роде* (1845—1898) — немецкий филолог-классик, друг Ницше; *Вилламовиц-Мёллендорф* Ульрих (1848—1931) — немецкий филолог-эллинист.

¹¹ *Фидий* (нач. 5 в. до н. э. — ок. 432—431 до н. э.) — древнегреческий скульп-

тор периода высокой классики; *Архилох* (середина 7 в. до н. э.) — древнегреческий поэт; *Сафо* (Сапфо) (конец 7—6 вв. до н. э.) — древнегреческая поэтесса.

¹² *Рублев* Андрей (род. ок. 1360 — ум. 1430) — русский живописец, монах Андроникова монастыря; *Васнецов* Виктор Михайлович (1848—1926) — русский живописец; *Нестеров* Михаил Васильевич (1862—1942) — русский художник.

¹³ Белогвардейские части, названные в честь генерал-лейтенанта деникинской армии Маркова С. Л. (убит 12.06.1918 г.).

¹⁴ Песня из репертуара А. Вертинского.

¹⁵ Из стихотворения И. Северянина «Увертюра».

¹⁶ *Прокл* (ок. 410 — 485) — греческий философ-идеалист.

¹⁷ Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Цицерон» (у поэта «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые...»).

¹⁸ Прототипом *Белозерова* является ленинградский певец Касторский.

¹⁹ *Фермопилы* — горный проход из Фессалии (Сев. Греция) в Локриду (Ср. Греция), героическая оборона которого от наступавшей армии персидского царя Ксеркса (480 г. до н. э.) вошла в историю.

²⁰ Первая строка стихотворения Поля Верлена «Осенняя песня»: «Издалика льется тоска скрипки осенней...».

²¹ Строки из арии князя Игоря в одноименной опере Бородина.

²² *Желябов* Андрей Иванович (1850—1881) — русский революционер-народник, организатор и руководитель партии «Народная воля». Казнен в связи с покушением на Александра II; *Михайлов Александр* Дмитриевич (1855—1884) — русский революционер-народник. В 1882 г. приговорен к смертной казни, замененной пожизненной каторгой; *Фигнер Вера* Николаевна (1852—1942) — русская революционерка-народница. В 1883 г. приговорена к смертной казни, замененной пожизненной каторгой.

²³ Прототипом *Леонида* отчасти является троюродный брат писателя Петр Гермогенович Смилович (1874—1935) — профессиональный революционер, известный советский государственный и партийный деятель.

²⁴ Прототипом *Веры* является родная сестра Вересаева Мария Викентьевна — профессиональный революционер, врач, заместитель наркома здравоохранения. Умерла в 1925 г.

²⁵ *Дрягиль* — крючник, грузчик.

²⁶ *Дебальцево* — город в Донбассе.

²⁷ *Бёклин* Арнольд (1827—1901) — швейцарский живописец-символист.

²⁸ *Гарун-аль-Рашид* (Харун-аль-Рашид) — арабский халиф из династии Аббасидов. В сказках «Тысяча и одна ночь» образ его — доброго и справедливого государя — исторически ложен. Он был вероломным и мстительным деспотом.

²⁹ *Караимы* — немногочисленная этническая группа. Живут в Крыму и Литовской ССР.

³⁰ Строки из стихотворения Ж.-П. Беранже «Безумцы».

³¹ «*Ткачи*» — известная песня Г. Гауптмана о восстании силезских ткачей.

³² Из популярной в начале XX века революционной песни «Красное знамя». Авторы польского текста и русского перевода неизвестны.

³³ *Лиссагарэ* Проспер Оливье (1838—1901) — французский журналист, автор «Истории Парижской коммуны».

³⁴ *Эпитрахиль* — обрядовое облачение священника в православной церкви, представляющее собой ленту, надеваемую на шею.

³⁵ *Шеллер-Михайлов* Александр Константинович (1838—1900) — русский писатель.

³⁶ Начало стихотворения «Вурдалак» А. С. Пушкина. (Из «Песен западных славян».)

³⁷ Прототипом *Корсакова* является первый председатель ревкома Старокрымского района Г. Д. Стамов, в защиту которого перед белогвардейским командованием выступила группа интеллигенции, в составе которой был и Вересаев. В своем заявлении они, в частности, писали: «Гаврила Стамов является, безусловно, самым честным и благородным человеком среди своих односельчан... человеком гуманным, мягким и примиряющим».

³⁸ Ангельская песня (нем.).

³⁹ К. Маркс. Письмо Арнольду Руге (март 1843 г.).

⁴⁰ Ария Маргариты из оперы Ш. Гуно «Фауст».

⁴¹ В своих воспоминаниях об истории издания романа «В тупике» Вересаев писал: «...И когда я там во второй части выводил председателя ЧЕКА Воронько, я думал о Дзержинском».

⁴² Текст в угловых скобках был снят цензурой. Восстанавливается по авторской рукописи. (См. Приложение.)

⁴³ См. примеч. 42.

⁴⁴ Из «Баллады» А. Рубинштейна на слова И. С. Тургенева.

⁴⁵ См. примеч. 42.

Сестры

Роман «Сестры» был закончен В. В. Вересаевым в 1931 году. Вышел из печати в 1933 году в Гослитиздате, с тех пор не переиздавался.

Текст романа «Сестры», публикуемый в данном издании, восстановлен по авторской рукописи.

¹ Речь идет о дневнике, который вели двоюродные сестры Петровы (в романе они родные сестры Ратниковы) и который одна из сестер принесла Вересаеву.

² *Ходасевич* Владислав Фелицианович (1886—1939) — русский поэт, критик. Печатается с 1905 г. В 1922 г. эмигрировал из России.

³ *Кузнецов* Николай Адрианович (1904—1924) — пролетарский поэт, рабочий завода «Мотор». Член литературных групп «Рабочая весна» и «Октябрь». В 1924 г. бросил завод; выбыл из комсомола и покончил самоубийством.

⁴ *Столыпин* Петр Аркадьевич (1862—1911) — с 1906 г. министр внутренних дел, затем Председатель Совета министров. Убит в Киеве Багровым.

⁵ Дорогой товарищ (нем.).

⁶ Завод «Красный богатырь» в Москве в Сокольниках. Близ завода в с. Богородском Вересаев поселился на полтора года, работая над романом «Сестры».

⁷ *Скворцов (Степанов)* Иван Иванович (1870—1928) — большевик, литератор, историк, экономист. Участвовал в революционном движении с 1898 г., перевел и редактировал три тома «Капитала» К. Маркса, с 1925 г. редактор «Известий», с 1926 г. директор института В. И. Ленина при ЦК ВКП(б).

⁸ Теперь Киевский вокзал.

⁹ Теперь Бородинский мост.

¹⁰ *Театр им. Вс. Э. Мейерхольда* размещался на месте теперешнего Концертного зала им. П. И. Чайковского.

¹¹ «Азбука коммунизма», популярное объяснение программы Российской коммунистической партии, авт. Н. И. Бухарин в соавторстве с Е. А. Преображенским. М.: Госиздат, 1919.

¹² Теперь Ленинский район г. Москвы.

¹³ РУНИ — Районное управление недвижимого имущества.

¹⁴ *Распутин* Григорий Ефимович (1872—1916) — фаворит царя Николая II и его

жены Александры Федоровны. В качестве «провидца» и «исцелителя» приобрел неограниченное влияние при дворе. Убит в результате заговора в ночь с 17 на 18 декабря 1916 г. князем Ф. Юсуповым при участии великого князя Дмитрия Павловича и монархиста Пуришкевича.

¹⁵ Московский городской совет профессиональных союзов.

¹⁶ Теперь ДОСААФ.

¹⁷ Рабоче-крестьянская инспекция.

¹⁸ См. примеч. 5 к роману «В тупике».

¹⁹ Районный исполнительный комитет.

²⁰ Окружной комитет комсомола.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В первом издании романа «В тупике» Главлитом были сделаны купюры, которые восстанавливаются в настоящем издании по авторской рукописи (см. примеч. 42, 43, 45). Две сцены были исключены полностью. Чтобы не нарушать авторскую структуру романа, эти сцены даются в Приложении.

I

К Кате вечером зашел в комнату Мириманов, огляделся и, смеясь умными своими глазами, стал рассказывать:

— Интересную я сегодня вещь узнал от бывшего бухгалтера коммерческого банка. Он теперь служит в финотделе. Комиссар финансов, Мансуров,— настоящая его фамилия Слуцкий или Слуцкин,— потребовал список служащих. Просматривает. «Ицкинзон, Соловейчик, Гольдман, Марголин... Гальперин, Шапиро... Осипов... О-с-и-п-о-в?.. Может быть, Иозельсон? Нет? Осипов?» Вздохнул. «Вот нахалы! Везде пролезут!»

Катя хохотала.

— Леонид Александрович, ведь вы — кадет. Кадеты никогда не были антисемитами!

— Я не антисемит, боже меня избави! Но я просто смотрю на жизнь, не заслоняя глаз шорами, и не могу не видеть, что все, что сейчас происходит, дело еврейских рук и что большевики почти все сплошь — евреи.

— А я рада, что евреи влились в русское движение.— Катя вспомнила веселые глаза Гольдберга и его кипучую уметость.— Искусственные разгородки держали их всех вместе, теперь разгородки исчезли, и они начнут растворяться в нашей мяклой славянщине,— и сколько в нее вольты пружинной энергии, сколько практичности и уметости! Хорошо будет! Русская интуиция широкая — и еврейское умение овладевать жизнью.

— Они никогда не растворятся,— знающим голосом сказал Мириманов и сообщил Кате удивительнейшие и неожиданнейшие вещи.

Все события всемирной истории давно уже тайно направляются неким еврейским верховным советом, состоящим из «князей изгнания». Их цель — всемирное владычество «избранного племени», а пути — повсеместное разложение национального чувства и христианской религии, экономическое порабощение наций и революция. Великая французская революция происходила под национальным флагом, и евреи действовали через французов, сами не выдвигаясь:

мы там не встречаем ни одного еврейского имени. Русскую революцию удалось двинуть по антинациональному руслу,— и во главе движения пришлось стать самим евреям. Они ведут дело в своих целях, дурманят русским головы звонкими лозунгами, а те, как слепые дурачки, усерднейшим образом работают на пользу еврейского миродержавия.

Катя с изумлением слушала эту черносотенную чепуху.

— Вы смеетесь. А приходилось вам видеть «Протоколы Сионских Мудрецов»? Нет?.. Ну так не спешите смеяться, а раньше познакомьтесь с ними.

Ловким людям удалось выкрасть протоколы первого сионистского конгресса в Базеле. Некая чернская помещица передала их ставропольскому вице-губернатору Сухотину. Сухотин переслал их в копии министру Сипягину. Через неделю Сипягин был убит. Сухотин напечатал протоколы,— евреям сейчас же скупили все издание и уничтожили.

— Мне удалось за пятьсот рублей достать на одну ночь уцелевший экземпляр для прочтения. Вещь кошмарная. Заметьте,— протоколы напечатаны были задолго до войны. И точнейшим образом в них намечается к исполнению все, что случилось,— и всемирная война, и свержение русского самодержавия, как главного врага еврейства, и социальная революция. И даже пятиконечная звезда намечена как эмблема. Эта звезда красовалась на Бафомете,— так назывался идол тамплиеров, предшественников масонства; это — сатанинская пентаграмма заклинательной магии, «пламенеющая звезда» гностиков. И под знаком этой еврейско-антихристовой звезды евреи устремили одураченных гоев на штурм европейско-христианской цивилизации.

Ушел Мирманов, и Катя встряхивала головою, чтобы рассеять дурман, напущенный им. Вот куда скатились они,— и как легко, как просто!

2

За огромным квадратным окном из цельного зеркального стекла зеленел залитый солнцем садик, окруженный портиками. Над морем цветущих роз белели статуи фавнов и венер, шевелил своими махрами золотой дрок; над окном свешивались лиловые гроздья глициний. В столовой, от дубовой облицовки стен, было немножко сумрачно. За длинным столом сидели пришедшие на заседание пленума.

Эти пленумы ввел в своем отделе профессор Дмитревский. Еженедельно собирались все ответственные работники отдела, и их обсуждению предлагались намеченные отделом планы работ.

Профессор предупредительно обратился к студенту-комиссару:

— Вы будете председательствовать?

Студент конфузливо улыбнулся и поспешно ответил:

— Нет, пожалуйста, председательствуйте вы. Мне нужно скоро в ревком.

Профессор открыл заседание и полным голосом, привыкшим к юбилейным и банкетным приветствиям, начал:

— Товарищи! Сегодня в первый раз мы, наконец, имеем возможность приветствовать в нашей среде товарищей-рабочих, представителей центрального совета профсоюзов. Истинно плодотворною деятельность наша может быть только при теснейшем контакте нашего отдела с подлинными представителями пролетариата, знакомыми с его нуждами и требованиями, чуждыми тем предвзятым, книжным схемам, которые, может быть, суживали бы и обеспоживали нашу деятельность, будь она лишена связи с живую массой трудящихся...

И так далее,— пространно и красноречиво. Закончил он горячим приветствием товарищам-делегатам и просил их принять самое деятельное участие в работах отде-

ла. Все дружно захопали. Делегаты поднялись и с хмурыми лицами неловко поклонились.

— Теперь, товарищи, мы приступим к рассмотрению проекта организации рабочих клубов, который представит на ваше рассмотрение председательница клубной подсекции тов. Лидия Сергеевна Дроздова. Товарищ Дроздова, слово принадлежит вам.

Поднялась невысокая, сухонькая дама с пушистыми седыми волосами, в пенсне. Лицо умное и интеллигентное, но неприятные, затаенно-самолюбивые глаза. Напрягая слабый голос, она сообщила, что давно интересуется рабочими клубами, изучала их постановку в Швеции, Германии и Бельгии, напечатала по этому вопросу ряд статей в «Вестнике Европы» и «Вестнике воспитания». Потом стала излагать проект подсекции об организации в городе районных рабочих клубов.

Будут устроены библиотеки из реквизированных у бежавшей буржуазии книг, будут получаться местные и столичные газеты. Всячески должна поощряться самодеятельность. Освобождение рабочего класса должно быть делом самих рабочих. Теперь, при диктатуре пролетариата, не может быть уже тех препятствий, какие это дело встречало при царском режиме. Будут доклады, литературные вечера. Шахматы, шашки. Товарищи-артисты государственного театра выразили готовность режиссировать спектакли любителей-рабочих. Политических руководителей будет присылать агитбюро.

Профессор спросил:

— Угодно кому сделать замечания по докладу?

Один из рабочих-делегатов сказал:

— Позвольте мне.

— Пожалуйста, товарищ! — обрадовался профессор. — Ваша фамилия?

— Левин, представитель иглы.

Невысокого роста, рябой, с выпуклыми, суровыми глазами. Говорил он умело и уверенно, с чуть заметным еврейским акцентом.

— Только те рабочие организации прочны, которые созданы самими рабочими, а не даны им сверху. Этот доклад — типичный продукт интеллигентского творчества, где интеллигенты собираются осчастливить рабочих. Мне непонятно, почему докладчица не привлекла рабочих к самой выработке своего проекта...

Дроздова заволновалась.

— Я хотела это сделать, но...

— Не прерывайте меня, сумеете потом возразить... Вот вы говорите, что политических руководителей будет присылать агитбюро. Из какой партии будут эти руководители?

— Из коммунистической, конечно.

— Но разве вы не знаете, что в рабочей среде существуют и другие социалистические партии, — социал-демократы, социалисты-революционеры? Недавно были перевыборы центрального совета профсоюзов, результаты, как вы знаете: четыре меньшевика, два беспартийных и ни одного коммуниста. Почему же для политических бесед приглашаются одни коммунисты? Вы говорите: самодеятельность; шашки, шахматы... Время сейчас трудное и страшное, — не до шашек. Перед рабочим классом стоят самые сложные, самые запутанные вопросы, — они, может быть, на многие годы определяют его дальнейшую судьбу. Ему нужно вдумчиво, серьезно обсудить эти вопросы, в полной свободе, чтоб он мог действовать сознательно, а не по казенной указке...

Председатель-профессор беспокойно шевелил карандашиком. Докладчица порывалась возразить. Остальные сидели, опустив глаза в стол. Студент-комиссар озабоченно взглянул на часы и на цыпочках вышел из комнаты.

Катя с восторгом слушала. Среди духоты всеобщего безгласия и стараний приспособиться как будто вдруг подул в раскрытое окно свежим воздухом.

Делегат продолжал:

— Вы говорите: диктатура пролетариата. Да, пролетарий сейчас диктатор — на улице. Он может с любого хорошо одетого человека снять пальто и ботинки, может выбросить его из квартиры и поселиться в ней сам. Но раньше, чем быть диктатором, нужно быть человеком, нужно научиться уважать труд и мысль человеческую, нужно научиться не только разрушать, но и создавать, организовать, стремиться не к тому, чтоб устроить себе буржуазную обстановочку, а в муках и самоотверженных жертвах творить новую жизнь. И вот я вас спрошу: готов ли пролетариат для такой диктатуры?..

Вольный сквозняк носился по комнате, срывающий шапки и треплющий волосы.

Профессор прервал оратора:

— Виноват, товарищ, я вас попрошу держаться ближе к теме.

Докладчица, с самолюбиво горящими глазами, вскочила.

— Я вполне согласна с тем, что говорит товарищ-делегат, но мы имеем известные директивы, с которыми обязаны считаться. Нам приказано приглашать политических руководителей только из агитбюро.

— Ах, вам п р и к а з а н о... Тогда о чем же разговаривать. Только незачем толковать тогда о самостоятельности и диктатуре пролетариата.

С суровым презрением он оглядел ее и сел.

Профессор, примирительно улыбаясь, стал объяснять, что к самой выработке проекта рабочие не были привлечены потому, что в это время как раз шли еще выборы в центральный совет. Приглашение товарищей-делегатов на сегодняшнее собрание служит свидетельством желания отдела работать с ними рука об руку. Постольку, поскольку сверху не будет ставиться препятствий, Отдел и впредь будет считать первейшим своим долгом...

Делегат сидел и молчал.

В. ВЕРЕСАЕВ И ЕГО КНИГИ

Викентий Викентьевич Вересаев (Смидович — настоящая фамилия; печатался также под псевдонимами: В-ев; В-в; В. Викентьев) начал литературную деятельность в 1885 г. с публикации стихотворения «Раздумье» в журнале «Модный свет». Первые рассказы «Загадка» и «Мерзкий мальчишка» увидели свет в 1887 г. на страницах журнала «Всемирная иллюстрация».

Окончив тульскую гимназию, В. В. Вересаев поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета, а после его окончания в 1888 г. — на медицинский факультет Дерптского университета. За время учебы в Дерпте В. В. Вересаев опубликовал ряд рассказов, очерки «Подземное царство» — о рудниках Донецкого бассейна, где он работал во время эпидемии холеры.

Известность В. В. Вересаеву принесли его повесть «Без дороги» (1895. — Здесь и далее датируется первая публикация) и рассказ «Поветрие» (1898). Его повесть «Конец Андрея Ивановича» (1899 год), а также рассказы этого времени привлекли сочувственное внимание Л. Толстого. Рассказ «Лизар» (1899) был использован В. И. Лениным в книге «Развитие капитализма в России». В 1901 г. были напечатаны «Записки врача», вызвавшие широкий общественный резонанс.

Появление повестей «На повороте» (1902), «К жизни» (1909), книги «Живая жизнь» (ч. 1 — 1910; ч. 2 — 1914), романа «В тупике» (1923—1924) закрепило за писателем имя летописца настроений русской интеллигенции.

События русско-японской войны, на которую В. В. Вересаев был призван как врач в 1904 г., он отразил в своих записках «На войне» и в ряде рассказов.

Во время вынужденного пребывания в Крыму в период гражданской войны В. В. Вересаев закончил драму «В священном лесу» (1918), собирал материал и работал над романом «В тупике», написал рассказ «Состязание» (1919).

Результатом наблюдений писателя над жизнью заводской молодежи явилась серия произведений, затрагивающих актуальные для того времени проблемы новой морали: рассказы «Исанка» (1928), «Мимоходом» (1929), роман «Сестры» (1933).

Значительное место в послереволюционном творчестве В. В. Вересаева занимают «Невыдуманные рассказы о прошлом» (1928—1968), «Записи для себя» (1927—1968), «Воспоминания» (1936).

Плодотворной была литературоведческая деятельность В. В. Вересаева. Широкую известность приобрели его книги «Пушкин в жизни» (1926), «Гоголь в жизни» (1933), «Спутники Пушкина» (1934), ряд книг и статей о Пушкине.

Много занимался В. В. Вересаев и переводами. Он перевел Гомеровы гимны, поэму Гесиода, эллинских поэтов Архилоха, Сафо и других. В последние годы жизни писатель создал новые современные переводы поэм Гомера «Илиада» (1949) и «Одиссея» (1953).

Первые Сочинения В. Вересаева в 5 томах вышли в Петербурге в 1898—1909 гг. С тех пор вышли: три полных собрания сочинений (1913 — в 4 т.; 1928—1929 — в 12 т.; 1929—1931 — в 16 т.); собрание сочинений в 5 т. (1961) и в 4 т. (1985); избранное (1935, 1944, 1956, 1959, 1967, 1980, 1982) и более 150 сборников и отдельных изданий.

В последние годы интерес к творчеству В. В. Вересаева значительно вырос. Библиотека «Огонек» готовит новое собрание сочинений писателя в 4 т., в Москве и Харькове выходит книга «Гоголь в жизни», в Киеве — «Пушкин в жизни», роман «В тупике» издан в Минске и Ленинграде.

Принято решение об издании с 1993 г. восьмитомного собрания сочинений В. Вересаева (издательство «Художественная литература»).

СОДЕРЖАНИЕ

Вл. Лидин. В потоке жизни	5
В ТУПИКЕ	9
СЕСТРЫ	186
В. Нольде, Е. Зайончковский. Лжи не будет	370
Примечания	388
Приложение	392
В. Вересаев и его книги	396

Вересаев В.

В315 В тупике. Сестры: Романы/Предисл. Вл. Лидина; Послесл. и примеч. В. Нольде, Е. Зайончковского.— М.: Кн. палата, 1990.— 400 с.: ил.— (Из архива печати).

ISBN 5-7000-0206-X

Современному читателю неизвестны романы В. Вересаева «В тупике» (1923) и «Сестры» (1933). В начале 30-х годов они были изъяты с полок библиотек и книжных магазинов и с тех пор не переиздавались. В этих романах нашли отражение события нашей недавней истории: гражданская война и сложный период конца 20-х — начала 30-х годов.

В послесловие вошли не публиковавшиеся ранее материалы из архива писателя.

Литературно-художественное издание
Из архива печати
Вересаев Викентий Викентьевич
В ТУПИКЕ
СЕСТРЫ

Зав. редакцией Н. В. Ганиковская
Редактор Н. А. Трайнина
Художественный редактор Н. С. Антонов
Технический редактор Е. А. Орехова
Корректоры О. И. Поливанова, Л. В. Назарова

ИБ № 114

Сдано в набор 18.10.89. Подписано к печати 09.04.90.
Формат 60×88¹/₁₆. Бумага кн.-журн., для офс. печ., 60 г. Гарнитура Таймс.
Усл. печ. л. 24,50+0,49 вкл. Усл. кр.-отт. 25,73. Уч.-изд. л. 27,07+0,43 вкл.
Тираж 100 000 экз. Изд. № 228. Заказ № 979.
Цена 4 р.

Издательство «Книжная палата».
103009 Москва, ул. Неждановой, 8/10.

Набрано в Экспериментальной типографии ВНИИ полиграфии
при Госкомпечати СССР.
103051 Москва, Цветной бульвар, 30.

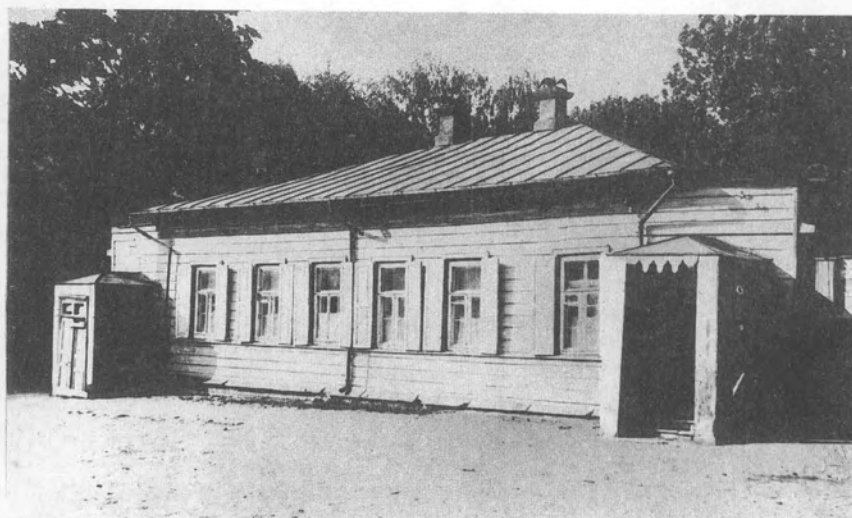
Отпечатано в Московской типографии В/О «Внешторгиздат»
при Госкомпечати СССР.
127576 Москва, ул. Илимская, 7.



*Мать писателя
Елизавета Павловна Смидович
(урожд. Юницкая)*



*Отец писателя
Викентий Игнатьевич Смидович —
известный тульский врач
и общественный деятель*



Дом в Туле, Гоголевская ул., 82, в котором родился и жил В. Вересаев



Семья Версаева (1886). Сзади слева В. Версаев — студент Петербургского университета



В. Вересаев — молодой врач. (После издания «Записок врача».)



В. Вересаев и Л. Андреев (1903)



В. Вересаев перед отъездом на русско-японскую войну



В. Версаев за работой



*На крыльце дачи на Николиной Горе.
На заднем плане В. Вересаев и его жена Мария Гермогеновна.
Перед Вересаевым его племянница В. М. Нольде*



В. Вересаев на Гоголевском бульваре в Москве





Издательство „Книжная палата“